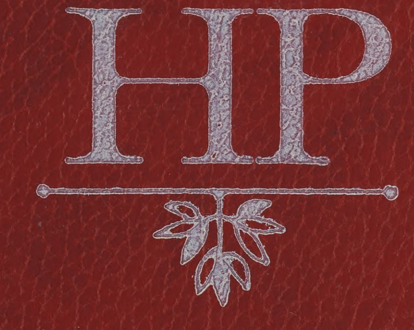



# ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ РУБЦОВЕ

НИКОЛАЙ
РУБЦОВ

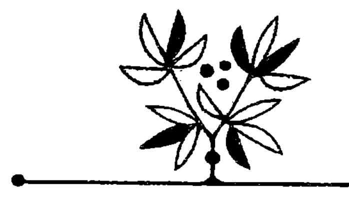


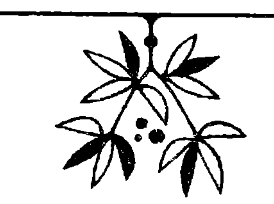
*Отложу свою скудную пищу.*
*И отправлюсь на вечный покой.*
*Пусть меня ещё любят и ищут*
*Над моей одинокой рекой.*

*Пусть ещё всевозможное благо*
*Обещают на той стороне.*
*Не купить мне избу над оврагом*
*И цветы не выращивать мне...*

HP



1936·1971



# ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ РУБЦОВЕ



КИФ «Вестник»
Вологда
1994

ISBN 5-900304-45-0



# ПОСВЯЩЕНИЯ



**Станислав Куняев**

## ПАМЯТИ ПОЭТА

Мы
были с ним знакомы,
как друзья.
Не раз
в обнимку шли и спотыкались.
Его дорога
и моя стезя
в земной судьбе
не раз пересекались.
Он выглядел
как захудалый сын
своих отцов...
Как самый младший,
третий...
Но все-таки звучал высокий смысл
в наборе слов его
и междометий.

Он был поэт,
как критики твердят,
его стихи лучатся добрым светом,
но тот,
кто проникал в тяжелый взгляд,
тот мог по праву
усомниться в этом.

В его прищуре
открывалась мне
печаль по бесконечному раздолью,
по безнадежно брошенной земле,
ну, словом, все,
что можно звать любовью.

А женщины?
Да ни одна из них
не поняла его души, пожалуй,
и не дышал его угрюмый стих
надеждою на них
хоть самой малой.

Наверно, потому,
что женский склад
в делах уюта
и в делах устройства
внезапно упирался в этот взгляд,
ни разу не терявший беспокойства.

Лишь иногда
в своих родных местах
он обретал подобие покоя
и вспоминал
о прожитых летах,
как ангел,
никого не беспокоя.

Он точно знал,
что счастье — это дым
и что не породнишь его со Словом,
вот почему он умер молодым
и крепко спит
в своем краю суровом,
на вологодском кладбище своем
в кругу теней
любимых и печальных...

А мы еще ликуем и живем
в предчувствии потерь
уже недальних.
А мы живем,
и каждого из нас
терзает все,
что и его терзало,
и потому,
пока не пробил час,
покамест время нас не обтесало,
давай поймем,
что наша жизнь — завет,
что только смерть развяжет эти узы —
ну, словом, все,
что понимал поэт
и кровный сын жестокой русской музы.

## Николай Старшинов

* * *

Рябина от ягод пунцова.
Подлесок ветрами продут.
На родине Коли Рубцова
Дожди затяжные идут.

В такую ненастную пору
Не шумной толпой, а вдвоем
Пройти бы к сосновому бору
Прекрасным и грустным жнивьем.

Следить — а куда торопиться? —
Отчаянный гон облаков.
Земле поклониться,
Напиться
Из тихих ее родников.

Забраться в осинник,
Послушать,
Что шепчут друг другу листы.
И думать: а наши-то души,
Как прежде, по-детски чисты?..

И так, ни о чем не печалясь,
Вдвоем постоять над рекой...
Мы часто случайно встречались,
И все в толчее городской.

Летели, летели недели,
Да что там недели — года...
Не раз в ЦДЛе сидели,
А вот у реки — никогда...

Бесчинствует ветер несносный.
Продрогнув с макушки до пят,
Гудят корабельные сосны,
Как мачты под бурей, скрипят,

И тучи нависли свинцово,—
Погожей погоды не жди...
На родине Коли Рубцова
Идут затяжные дожди.

**Анатолий Передреев**

## КЛАДБИЩЕ ПОД ВОЛОГДОЙ

Края лесов полны осенним светом,
И нет у них ни края, ни конца —
Леса... Леса... Но на кладбище этом
Ни одного не видно деревца!
Простора первозданного избыток,
Куда ни глянь... Раздольные места...
Но не шагнуть меж этих пирамидок,
Такая здесь — до боли! — теснота.
Тяжелыми венками из железа
Увенчаны могилки навсегда,
Чтоб не носить сюда цветов из леса
И, может, вовсе не ходить сюда...
Одно надгробье с обликом поэта
И рвущейся из мрамора строкой
Еще живым дыханием согрето
И бережною прибрано рукой,
Лишь здесь порой, как на последней тризне,
По стопке выпьют... Выпьют по другой...
Быть может, потому, что он при жизни
О мертвых думал, как никто другой!
И разойдутся тихо, сожалея,
Что не пожать уже его руки...
И загремят им вслед своим железом,
Зашевелятся мертвые венки...
Какая-то цистерна или бочка
Ржавеет здесь, забвению сродни...
Осенний ветер...
Опадает строчка:
«Россия, Русь, храни себя, храни...»

**Глеб Горбовский**

## ВОЛОГОДСКИМ ДРУЗЬЯМ

Нас познакомил
мертвый человек,
погибший
от укуса злобной суки...
Его уж нет.
Он завершил пробег...
Шагов его
вот-вот затихнут стуки...
Но Землю он любил —
не меньше нас!
Ее он славил
хрупким горлом птицы...
И оттого,
что нет его сейчас —
душе
не расхотелось веселиться...
На птичьи его песни
выпал снег.
И съежилась
последняя шумиха...
...Как заспанно мы любим:
как во сне...
Покуда просыпались —
стало тихо...

## Александр Колесов

* * *

Когда под гнетом
тяжкого застоя
Печальным стало
Родины лицо,
когда в стране забылось
все святое,—
пришел в ее поэзию Рубцов.
Как нежный сын,
заговорил он с Русью,
добром ответил
на людское зло...
И вспомнился нам
подвиг Иисуса,
и в наших душах
солнышко взошло.

*Нижний Новгород*

## Аркадий Коуров

* * *

Николай Михайлович
Рубцов.
Ты ушел. Звезда полей
сгорела.
До твоей души, ее рубцов
Не было при жизни людям
дела.
Был ты выше собственных обид,
Нет о них в твоих стихах
ни слова.
Русский, всеми признанный
пиит,
Не имевший собственного
крова,
Ни надежд, ни средств
и ни угла.
Жизнь тебя, как пасынка,
трепала,
Лаской и заботой обошла.
Нынче сына Русь в тебе
признала.
Глубину твоих стихов — измерь!
В них души безмерная
стихия.
Николай Михайлович, поверь,
Что тебя читает вся Россия.

*г. Свердловск*

## Владислав Кокорин

*Памяти Николая Рубцова и всех, безвременно ушедших до сего дня...*

* * *

Кто не понял — тому не понять,
Почему беспощадною метой
Метит судьбы российских поэтов
Ненасытного рока печать.
Выбивает таких сыновей!
Мать-земля, как ты их принимаешь?
Были ль дети на свете родней?
Разве снова таких нарожаешь?
Но довлеет проклятия дух
Над тобою, земная утроба:
Только примем младенца из рук,
И опять — в карауле, у гроба...
Кто там мелет? — «...пустая судьба...»
Пусть-ка он, в этот час, вместе с нами,
Выпьет чашу свою — за тебя...
Захлебнется, сердешный, слезами!
Я поверил бы в «случай слепой»,
И в брехню про «всемирный запой»...
Только кто-то, с железною хваткой,
Рвет и нынче судьбу за судьбой!!
Может статься,— мы все, по порядку,
Словно тени, уйдем за тобой..?

**Валентина Телегина**

## ПАМЯТИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

Слишком поздно мы любим поэтов,
Собираемся их уберечь.
Слишком поздно,
когда недопетой
Угасает тревожная речь...
Я тебя вспоминаю все чаще,
Вспоминаю пронзительный
взгляд,
В эту мглистую даль
уходящий,
Словно тающий в небе закат.
Шел ли ты вологодской дорогой
Или вел по Тверскому
друзей —
Все тревога, тревога,
тревога
Из души исходила твоей.
Бесприютно мотаясь
по свету,
Сам своим неудачам смеясь,
Ты читал нам любимых поэтов,
Как бы заново
жить торопясь...
Все могло бы сложиться
иначе!
Но в январской буранной
гульбе
Все яснее я слышу,
как плачет,
Как печалится Русь о тебе.
Плачет шелестом ивы
плакучей,
Да о чем уж теперь
говорить! —
Плачет ночью
звездою падучей,
Что могла б еще долго светить...
И поешь ты у темных околиц,

У задымленных снегом
крылец —
Самый чистый ее колоколец,
Самый русский ее бубенец.

**Виктор Коротаев**

## ПАМЯТИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

### I

Потеряем скоро человека,
В этот мир забредшего шутя.
У законодательного века
Вечно незаконное дитя.
Тридцать с лишним лет как из пеленок,
Он, помимо прочего всего,
Лыс, как пятимесячный ребенок,
Прост, как погремушечка его.
Ходит он по улицам Державы,
Дышит с нами Временем одним,
Уважает все его Уставы,
Но живет, однако, по своим.
«Как сказал он! Как опять слукавил!» —
Шепчут про него со всех сторон.
Словно исключение из правил,
Он особым светом озарен.
Только на лице вечерне-зыбком
Проступает резче что ни день
Сквозь его беспечную улыбку
Грозная трагическая тень.
И не видеть мы ее не вправе,
И смотреть нам на нее невмочь,
И бессильны что-нибудь исправить,
И не в силах чем-нибудь помочь.
В нашем мире риска и дерзанья,
Где в чести борьба да неуют,
Эти отрешенные созданья,
Как закаты, долго не живут.

### II

За окнами мечется вьюга,
Сквозит предрассветная мгла.
Душа одинокого друга
Такой же бездомной была.
И мне потому — не иначе —
Все кажется, если темно,
Что кто-то под тополем плачет
И кто-то скребется в окно.

Не раз ведь походкою зыбкой
То весел, то слаб и уныл
Он с тихой и тайной улыбкой
Из вьюги ко мне приходил.
В тепле отогревшись немножко,
Почти не ругая житье,
Метельные песни ее
Играл на разбитой гармошке.
Гудела и выла округа,
Но он вылезал из угла.
И снова холодная вьюга
Его за порогом ждала.
И слышало долго предместье,
Привычно готовясь ко сну,
Как их одинокие песни,
Сближаясь,
Сливались в одну.

III

Милый друг мой,
Прощаясь навеки,
В нашей горькой и смертной судьбе
Всею силой, что есть в человеке,
Я желаю покоя тебе.
Оставаясь покамест на свете,
Я желаю у этих могил
Чистых снов, тишины и бессмертья.
И любви.
Ты ее заслужил.

**Борис Укачин**

## ПИСЬМО НИКОЛАЮ РУБЦОВУ

...Эта горькая весть разминулась со мной,
И провел я весь день не грустя, не скорбя,
Потому что не знал я, что шар наш земной
Продолжает кружиться уже без тебя.

У поэта Шатры в нашем отчем краю
Я в селе Каракол в это время гостил.

Вспоминали друзей, пели песню твою:
«...И архангельский дождик на меня моросил...»

В то село Каракол не идут поезда,
То село далеко
От проезжих дорог,
И стоит над селом голубая звезда,
Как в одной из твоих вечно памятных строк.

В эту звездную ночь тих, пустынен Алтай,
Далеко на Тверском — наш родной институт.
Эх, Шатинов Шатра, вслух стихи почитай,
Пусть замедлится бег торопливых минут!

Благодарного лета кончалась пора,
И, уже набираясь для осени сил,
Русским строчкам в горах подпевали ветра:
«И архангельский дождик на меня моросил...»

Помнишь, Коля, как съехались мы на Тверской,
Кто откуда, со всей бесконечной страны,
Помнишь долгие споры над чьей-то строкой
И надежды, которых мы были полны?

Помнишь — мы по Алтаю бродили с тобой.
— Что за дивная силища в этой волне! —
Ты сказал о Катуни моей голубой,
И не скрою, что это понравилось мне.

Полюбилась тебе наших гор тишина.
— Я еще непременно приеду сюда!..—
Заверял ты меня, и твоя ли вина,
Что теперь не приедешь уже никогда.

И не верится мне, что с тобою вдвоем
На земле, где ты голову гордо носил,
Мы уже никогда-никогда не споем:
«...И архангельский дождик на меня моросил...»

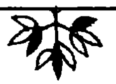
Перевел с алтайского
Илья Фоняков.



# ВОСПОМИНАНИЯ



# СЕРГЕЙ БАГРОВ



## ЗА ВОЛОГДОЙ, ВО МГЛЕ

### Рассказы о Николае Рубцове

### СЕРДЦЕ ЛАСТОЧКИ

Детство Коли Рубцова пройдет в неизбывной любви к животным и птицам, травам, солнышку и свободе. Закрой его в комнате, где нет окон, и сердце его, как у ласточки, разорвется от несвободы. С малых лет, даже месяцев, как посмотрит он с маминых рук на ромашковый берег Емцы, на ее поймы, церкви, лодки и тополя, так и выплеснет птичий восторг, так и дернется махоньким телом, точно зная что сияющий воздух его не обидит, примет в лоно свое и, качая, закружит в лучах светоносного дня.

А еще ему будет по нраву сидеть, как матросу, в высокой корзине, которую старшие сестры отправят с плота по воде, наблюдая, как крошечный брат запыхтит, загудит, объявляя себя настоящим архангельским пароходом.

В Няндоме, в предощущении воли он обойдется уже без матери и сестер. Первый свой выход в мир городских переулков осуществит он на третьем году. От Советской улицы — к улице Володарской. Таким маршрутом прокосолапит, преследуя мягонького щенка. Но щенок побежит, уводя его с каждым шагом все дальше и дальше. Он его

не поймает, хотя и бросится следом за ним в придорожную рощицу белотала, где заблудится и, заплакав, усядется на пенек, а потом, разморенный, свернется калачиком и заснет.

Его разбудит сестрица Надя и унесет, зажмуренного, домой, где при виде родни, он вздохнет, засияет глазешками, заволнуется от того, что его здесь все ждут, что сейчас его дружно посадят за стол, а потом он нырнет под теплое одеяло и опять, как вчера, станет слушать сестер, как они будут петь свои чудные песни.

Чем взрослее он становился, тем сильнее росло в нем желание заглянуть — что там дальше: за хмурым забором? За улицей? За большой пароходной рекой?

В Няндоме жили Рубцовы по двум адресам. Вначале — в добротном, уютно обставленном доме. Но после ареста хозяина жизнь семьи стала невыносимой. Из хорошей квартиры велено убираться. Чтоб духу здесь не было через сутки! В разгаре зимы, не имея ни средств, ни имущества, оказались Рубцовы среди сугробов. С грехом пополам удалось вселиться в гнилое, сарайного типа жилище. Мало кто от Рубцовых не отвернулся. Даже в девочках Наде и Гале, учившихся в средней школе, узрели опасных людей, с которыми надо быть настороже. Наде, имевшей редчайший песенный дар, воспретили петь песни как на концертах, так и на спевках. Надя была самой старшей и, чтобы как-то помочь своей маме, устроилась счетоводом в РАЙПО. Но вскоре она заболела и умерла.

Нельзя представить, как жили Рубцовы дальше. Одиннадцать месяцев просидел Михаил Андриянович в предварительной камере, ожидая суда, которого так кстати и не дождался, ибо на редкость честное по тем временам дознание вины за ним никакой не нашло, и его отпустили. Во все это время на Александре Михайловне скорбно лежало тяжелое бремя забот. На руках у нее оставались: 11-летняя Галя, 9-летний Алик, четырех и трехлетний Коля и Боря. Как смогла эта скромная женщина отвести от детей и холод, и голод, и лишения, и обиды? Наверное, кто-нибудь помогал. Русь во все времена стояла на праведных людях, чьи сердца откликаются на чужую беду. Видимо, кто-то из этих святых и помог Рубцовым выбраться из несчастья.

В Вологде жили Рубцовы тоже по двум адресам. Сначала в Прилуках, в бревенчатом доме, который сдала им хозяйка, уехав куда-то к родственникам на юг. Потом пере-

ехали ближе к центру, на Ворошилова, 10, снимая в большом коммунальном доме маленькую квартиру. Здесь в июне 1942-го года, когда умерла Александра Михайловна и ее кроха-дочь, когда Михаил Андриянович уехал на фронт, когда Галю взяла к себе тетя Соня, когда Алика приняли в ближний детдом, самых маленьких Колю и Борю постигнет участь заброшенных потеряшек, которым неведомо, где и как продолжать свою жизнь?

Одна из соседок вознамерялась Колю усыновить. Но тут в квартире, где жили Рубцовы, случился скандал. Хозяйка куда-то девала свои продуктовые карточки. Не признаваться же ей, что она потеряла их, будучи пьяной. Потому и свалила на первого, кто попался ей на глаза. И это, к несчастью, пало на Колю. Потрясенный таким беспощадно-бессовестным обвинением, мальчик тут же сбежал неизвестно куда. Возвратился через неделю, весь ободранный и голодный. Когда спросили его: «Где ты был?». Ответил: «В лесу!». «А чем питался?». «Дудками и корнями».

Вскоре его вместе с Борей увезли в Красковский детдом. Пожил день. Пожил два. И не выдержал скуки, общины и того, что все здесь сиротское и чужое и, глядя на ночь, тихонько ушел. До Вологды около 18 километров. И взрослый, не каждый бы их одолел. А тут недоростыш.

Целое лето он жил неприкаянно, то у знакомых отца, то у тетушки Сони, где обитала еще и Галя. И было побитому горем парнишке в грозном мире военного лихолетия заброшенно, робко и одиноко. Пуще всего он боялся, что снова его повезут в тот самый детдом, откуда он незаметно ушел.

Однако, когда его посадили на загремевшую по булыжной дороге телегу, почувствовал: больше уже не сбежит. Некуда было бежать. Не к кому. Тетушке Соне, так же как и знакомым отца, было не до него: хватало своих неустройств и печалей. И он, возвратившись в Красково, утешил себя, что и здесь можно жить. Ведь другие-то дети живут. Ну и он, получается, будет.

## РАСТЕРЯННАЯ УЛЫБКА

— Кончила-ась война-а!

В этих двух долгожданных словах, какие, борясь с волнением, выкрикнул в спальню дежурный, была чрезвы-

чайно великая радость, такая великая, что она не вместилась в маленькие сердца, и от каждой кровати вместе с вихрем взметнувшихся рук, подушек и одеял, вознеслось и, ударившись в окна, вылетело на волю:

— Гитлеру капут!!!

Всем казалось, что кончилось время сиротства, что вскоре в один полусказочный день дверь раскроется нараспашку и, стуча походными сапогами, в комнату, где живет само нетерпение, улыбаясь, войдет твой отец.

Так бы, пожалуй, и было. Именно так, если бы с поля войны вместе с живыми спешили и неживые.

Двухэтажный, застывший в глухом ожидании дом ожил однажды, расцвел десятками вспыхнувших глаз: детдомовский двор пересек одетый в военное человек.

За кем? Кто счастливчик? Кому так неслыханно повезло?

Повезло Наде Новиковой. Было сладко и горестно наблюдать, как высокий с усталым лицом, в гимнастерке без знаков отличия, постаревший от долгих страданий солдат уносил на груди счастливо трепещущую дочурку. Долго-долго смотрели детдомовцы им вдогонку. Смотрела Женя Романова. Смотрела Нина Попова. Смотрел навострившийся Коля Рубцов. Все-все смотрели и думали про себя: «Мой папа тоже вернется! Вот только разыщет мой адрес, узнает, где я,— тут за мной и придет...».

Но мало кто из отцов возвращался домой. И все равно, вопреки завершившимся срокам, ждали ребята отцов, веря в их исключительную живучесть, с какой на войне человека не убивают.

Потом, спустя месяцы, стали в детдом приходить бездетные женщины и мужчины. Выбирали себе, кто дочку, кто сына. Выбирали из самых красивеньких, ласковых и веселых. Дети дичились, пугаясь то лысого дядю, то тетю в очках и часто от новых родителей убегали. И вообще этот выбор для юных детдомовцев был мучителен, будто пытка, и вызывал в них не только испуг, но и черную мысль, что они не такие, как все, чем-то хуже обычных детей, и улыбка родителей их уже никогда не согреет.

Но и это прошло, отодвинулось, как чужое, которое им не может принадлежать. Осталось лишь чувство сиротского единения.

Третьего января 1946 года Коле Рубцову исполнилось десять лет. Самая бойкая из девчат Валечка Межакова

маршем на барабане вызвала в зал всех воспитанников детдома. И Коля, меньше всего полагавший, что эта шумливая сходка собрана ради него, был весело вытолкан к елке с флажками, где и вручили ему роскошный по тем временам сверхподарок — десять цветных горошин-драже!

А потом принесли единственную на детдом хранимую под ключом кирилловскую гармонь и потребовали:

— Играй!

Игре на гармошке Колю никто не учил. Сам, вечер за вечером, научился. Часто после просмотра какого-нибудь кинофильма его зазывали в класс или спальню и там умоляли вспомнить мелодию песни. Вспоминая, он тут же играл, а девочки пели, и было в такие дни всем по-особому и приветно, и весело, ну точно как дома около мамы.

Новогодняя елка с флажками. Десять круглых конфет. Знаменитая песенка о Катюше. Это запомнилось Коле. Запомнилось также и то, как его попросили:

— Прочитай, Колюха, стихотворение!

И он, запихав от волнения руки в карманы штанов, поднял голову и прочел:

*Скользят полозья детских санок*
*По горушечке крутой.*
*Дети весело щебечут,*
*Как птицы раннею весной.*

Ему хлопали. Ему улыбались. Словом, день тот, третьего января, прошел для него как сиятельный праздник.

Праздники были редки. Однако Коля умел их умножить. Поздно вечером, перед тем как заснуть, он вызывал в своей памяти самых близких людей. Они рисовались ему так живо, что он их видел, как наяву, и, тайно волнуясь, даже пытался с ними поговорить.

Видел красивую, с тонким овалом лица быстроногую Надю, которая часто брала его на руки и гуляла с ним под зеленой листвой старых лип.

Слышал Галю, которая пела, и было от этого пенья ему кротко, ласково и беспечно, ну точно младенчику в колыбели.

С Аликом чаще играл в военные игры, лазал с ним по деревьям, купался в реке.

С Борей же ссорился постоянно, но от этого не сердился, наоборот, был в мальчишеском восхищении, словно

маленький брат своим спором ему доставлял замечательную забаву.

Мать старался не вспоминать, ибо видел ее в тесовом гробу, который везут по улицам Вологды на телеге.

А с отцом, возникавшим из мрака детдомовской комнаты в белой рубахе, с задорным лицом и губами, как у азартного гармониста, он вел разговоры, пылко выпытывая его: «Ты где? Почему не ищешь меня? Неужели тебя убили?..»

Убили... Именно это и затвердит малолетний Рубцов про себя. Потому-то и скажет в стихотворении: «...На войне отца убила пуля...». Скажет, не зная того, что отец его жив, что живет он в Вологде, что он снова женат, и что там у него новые сыновья. Узнает об этом он через годы, когда повзрослеет и, встретившись с ним, увидит на бледном лице отца растерянную улыбку.

## СЧАСТЬЕ

После того, как по зимней поре, обув в крестьянские лапти, свели со двора единственную корову, жизнь детдомовцев стала еще сиротливей. Воровать никто из них не умел. Да и что воровать? У кого? Правда, в церкви, когда-то красивой, теперь обезглавленной день за днем работал маслозавод, который к себе приманивал запахом творога и сметаны.

Этот запах Колю и подтолкнул проникнуть в заветное помещение. Попал он туда по вечеру. Но не успел прикоснуться к рыльцу пузатого жбана, как был застигнут врасплох дежурившей сторожихой. Удивился Коля, когда пожилая женщина вместо того, чтобы заругаться и сразу отсюда его прогнать, налила в ковш молочных отстоев.

— Дуй, маломожной, сколь можошь! Мало — еще добавлю!

Уходил Коля с туго налившимся животом. Сторожиха вдогонку:

— Приходи, коль по нраву!

Коля пришел с целой группой замурзанных ребятишек. Вход посторонним сюда запрещен. Но у работниц завода были такие же дети, и все они, остро жалея сирот, ставили каждого около жбана.

Вместе со всеми пил, наслаждаясь сывороткой, и Коля. Пил и улавливал над собой заботные вздохи работниц.

И было ему под этими вздохами благостно и надежно, как под приглядом сердечной родни, которая не обидит.

Уже тогда у Рубцова высеклась искорка понимания, что самые добрые люди есть те, которые чувствуют справедливость. Этих людей видел он каждый день. Одни из них хлеб убирали. Вторые доили коров. Третьи верхом на возах уезжали в далекую Тотьму. Он им завидовал. А, завидуя, помышлял, что когда повзрослеет, то тоже станет таким же толковым умельцем. Рожь ли выращивать в поле, скот ли пасти, загружать ли бидонами сани — хоть куда и хоть где, лишь бы дело, какому его обучат, у него получалось быстрее всех.

Вечерами откуда-нибудь из укромного места он любил наблюдать, как сходились люди домой. Вот идут они, притомленные от трудов, кто по тропке, кто по дороге. Вот сошлись на заплесканной солнцем лужайке, и их с криками: «Папа! Мама!» встречают дочки и сыновья.

Любовью и ревностью пробивало его сердечко. Так бы могло быть и у него, кабы были с ним рядом его родные. Но все равно ему было отрадно, как если бы он ощущал на себе дорогое прикосновение, словно оно исходило от мамы.

Чтоб не расплакаться, оставлял это место и шел по той же тропинке, по той же дороге, по которой только что проходили работники ферм и полей. «Меня, когда я буду женатым,— говорил себе в передумьи,— тоже будут встречать, как их...»

Он верил в простого русского человека, который любит природу и родину, детей и свою работу. Он вспомнит его не однажды. И найдет для него особенные слова:

*Меня звала моя природа.*
*Но вот однажды у пруда*
*Могучий вид маслозавода*
*Явился образом труда!*
*Там за подводою подвода*
*Во двор ввозила молоко,*
*И шум, и свет маслозавода*
*Работу славил широко!*
*Как жизнь полна у бригадира!*
*У всех, кто трудится, полна,*
*У всех, кого встречают с миром*
*С работы дети и жена!*

*Я долго слушал шум завода —*
*И понял вдруг, что счастье тут:*
*Россия, дети и природа,*
*И кропотливый сельский труд!*

## НЕ СУДЬБА

К Нине Алферьевой, светловолосой, броского вида девчонке с мечтательными глазами был Коля Рубцов уж очень неравнодушен. Чувства свои, как и многие из мальчишек, он выражал через колкости и насмешки, то и дело таская девочку за косички.

Через двенадцать лет встретился с Ниной Рубцов в том же самом селе Никольском. Пришел к ней домой с первым своим рукописным сборником «Волны и скалы». Вот как об этом расскажет Нина: «Я его видела в Николе в шестьдесят втором году. Сам пришел ко мне в дом. Удивилась, что он такой лысый. Читал стихи из сборника не в переплете. До этого времени я о Рубцове почти ничего не знала. И не думала, что он пишет стихи и даже печатает их. В тот день он пел свои песни. Играл на гармошке. Как он играл! Его игру я помню еще по детдому. Мы часто собирались вместе и пели песни, которые слышали в только что просмотренном кинофильме. Запоминали их по рядам. Первый ряд заучивал первую строчку, второй — вторую, и так — до конца. Мелодию тоже быстро перенимали. И на другой день новая песня была уже нашей. Пели, как принято, в спальне. Рубцов подыгрывал на гармошке. И вообще я помню его очень живо. Так бы, казалось, его и окликнула: «Колька-Рубец!» Так мы звали его в Николе. Иногда я дралась с ним. Однажды он сжег все мои фотографии и открытки. Ох, как я плакала! А он смеялся.

Об этом я ему рассказала в ту нашу последнюю встречу в Николе. Он удивился, сказав, что никак не помнит такого печального случая...»

Не просто так заходил Рубцов к той симпатичной, в которую был влюблен еще в детские годы. Имел на нее серьезные виды. Тем более Нина Алферьева выросла в девушку статную. И могла бы составить Рубцову хорошую пару. Да вот, не судьба. Почувствовал это Рубцов и, раздвинув меха гармони, спел на прощанье одну из самых

отчаянных песен, вложив в нее силу и удаль своей неприкаянно-пылкой души:

*Потонула во тьме отдаленная пристань.*
*По канаве помчался, эх, осенний поток!*
*По дороге неслись сумасшедшие листья,*
*И всю ночь раздавался милицейский свисток.*

*Я в ту ночь позабыл все хорошие вести,*
*Все призывы и звоны из Кремлевских ворот.*
*Я в ту ночь полюбил все тюремные песни,*
*Все гонимые мысли, весь гонимый народ.*

*Ну так что же! Пускай рассыпаются листья!*
*Пусть на город нагрянет затаившийся снег!*
*На тревожной земле, в этом городе мглистом*
*Я по-прежнему добрый, неплохой человек.*

*А последние листья вдоль по улице гулкой*
*Все неслись и неслись, выбиваясь из сил.*
*На меня надвигалась темнота переулков,*
*И архангельский дождик на меня моросил...*

## СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Ежели я попадал в Никольское в теплую летнюю пору, то обязательно следовал за Рубцовым, и в первую очередь на реку, где мы купались и загорали.

В тот раз мы шли по суплеску Толшмы куда-то за крайние избы села. На косогоре, в зарослях лопухов и могучей крапивы виднелись ящичные обломки, а чуть повыше — калитки, лавочки и кресты.

— Это — кладбище,— подсказал мне Рубцов и предложил: — Давай заглянем!

Я отказался. Рубцов же, хрустя по кустам, поднялся наверх. До кладбища он не дошел. Остановился — весь выжидательность и тревога. Там, как будто кричали — негромко, однако настойчиво. Мне показалось, что кто-то оттуда передавал ему свой привет — живому от неживых.

Он возвратился и закурил.

— Ужасное место! — невесело хохотнул.— Чего бы там делать? А вот, иду, будто кто приказал.

Я показал ему обломки:

— А это чего?

— Гробы,— ответил Рубцов.— Их все время тут вымывает. Вода по весне — винтом! Иногда зальет весь погост. Помню, когда я был вот таким,— Рубцов показал ладонью где-то чуть выше уровня живота,— что здесь творилось! Лед и вода! И ливень! С громами! Кресты шатаются и трещат! Гробы, что тебе настоящие крокодилы! Всплывают! Мечутся тут и там! Много ушло по воде...

Лет через двадцать, когда в Тотьме встречались выпускники Никольского детского дома, я вновь услыхал о гробах, которые, как я понял, в злую весеннюю непогоду то и дело тревожит высокое водополье, вырывая их с останками из земли.

Словом, Рубцов нигде правдой не поступился. Все описал, как было:

*...Неделю льет. Вторую льет... Картина*
*Такая — мы не видели грустней!*
*Безжизненная водная равнина,*
*И небо беспросветное над ней.*
*На кладбище затоплены могилы,*
*Видны еще оградные столбы,*
*Ворочаются, словно крокодилы,*
*Меж зарослей затопленных гробы,*
*Ломаются, всплывая, и в потемки*
*Под резким неслабеющим дождем*
*Уносятся ужасные обломки*
*И долго вспоминаются потом...*

## СХВАТКИ

В Тотьме, когда учился Рубцов в Лесном, он всегда и во всем норовил быть лишь первым. Где он только себя не испытывал!

На стадионе среди футболистов он торопился забить поскорее собственный гол. Носился по полю страстно, с бешеным криком и матюками. Однако гол забивали другие. И через две-три игры к футболу он окончательно охладел.

В аудитории, на переменах средь всевозможных затей пользовалась успехом обычная схватка по-русски, когда выяснялось, кто был сильнее, и двое бойцов, жестоко

обнявшись, пытались свалить друг друга между столов. Помню, что Коля боролся едва ли не всю неделю. По три и четыре раза на дню. Из себя он был ничего. Ростом — метр шестьдесят. Сложением — гибок. Руки вертелись, как два колеса. В пылу своих первых побед, он был готов померяться ловкостью с каждым из всех тридцати обучавшихся в группе ребят. Из многих схваток его я запомнил последнюю — с коренастым Сережей Кокиным.

Как боролись они! Не было стула, какой бы они не свалили. Не было и стола, какой бы не стронули с места. Им не хватило и перемены. Раздался звонок, и тут полетела с грохотом на пол преподавательская доска. Дверь распахнулась, и в ней показался Борзенин, наш классный руководитель. Однако его не заметил никто. И только минуту спустя, когда Рубцов оказался внизу, припечатанным к полу, все встало опять на свои положенные места — и доска, и столы, и стулья.

Николай был расстроен не оттого, что его попенял добродушный Борзенин, а оттого, что он проиграл. После этого он ни с кем никогда не боролся: понял, что это удел не его.

Разумеется, в те подростковые годы Коля не ведал, что самые крупные схватки его — впереди, и пройдут они полем Поэзии, с которого будут его выталкивать, изгоняя, как изгоняют завистники Конкурента, боясь, что он может их всех умалить и затмить. Однако поэт проявит бойцовский характер, выдержит все и станет в конце концов тем, кем и назначено стать на роду.

## СТРАННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Двери в аудиторию были закрыты. Оттуда, как из холодной страны, доносился голос читавшего лекцию педагога.

Я опоздал. Не зная, что делать, пригнулся возле дверей, дабы только взглянуть и понять: пустят или не пустят? И тут на меня навалилось — свесились две ноги в рыжеватых полуботинках и чьи-то руки схватили за волосы, дернув их так, что голова моя заломилась. Еще не видя того, кто меня оседлал, по ухваткам, ботинкам и вероломству почувствовал — это Бадья, толстозадый сокурсник, не упускавший удобного случая, чтоб надо мною

не поглумиться. Такое к себе отношение я заработал из-за того, что ушел из стаи его раболепных дружков, и теперь он по-тихому мстил.

Я только всего и сделал, что распрямился, и мой наездник, не удержавшись, свалился, лягая ногами в воздухе так, словно пробовал кувыркнуться. Именно в эту секунду из вестибюля вбежал запыхавшийся Коля Рубцов. Увидев занятную сцену, расхохотался, благо и он Бадью не терпел и, пожимая мне руку, спросил:

— За что ты его?

— Я не конь, чтоб садиться ко мне на шею.

Бадья, раскрасневшись от ярости и досады, виляя ляжками, убежал. Я хотел было снова — к дверям. Но Рубцов удивленно раскинул руки:

— Неужели такой ты сознательный, что пойдешь нарываться на неприятность?

— Куда же тогда?

— Предлагаю: пойти прогуляться!

Что ж. Я спорить не стал. К тому же на улице было просторно и солнечно, всюду шелест и желтые листья.

Знали мы еще плохо друг друга. Около месяца проучились, и не было повода, чтобы о чем-то разговориться. И вот оказались вдвоем. Почему-то Рубцов с удовольствием шел вслед за мной. Хотя я его и не звал.

— Куда пошел-то? — спрашиваю его.

— К тебе.

— А чего у меня?

— Так. Взгляну. Как живут тотьмичи.

Мне не жаль. Тем не менее я удивился. Не тому, что Рубцов направлялся со мной ко мне в дом, а тому, что решился на это быстро и весело, словно знал меня тысячу лет.

Тогда я не ведал о странной способности Николая вечно к кому-то испытывать свой интерес, постигая душой того человека, который его чем-нибудь изумил, и ему с ним хотелось побыть подольше.

Отсюда, от этого любопытства, и шли у Рубцова знакомства. И дружба отсюда. И гнев к человеку, когда он вдруг в нем ошибался.

Он не ошибся во многих. В Александре Яшине, человеке особого благородства, кто его не однажды вытащит из беды. В Анатолии Передрееве, с кем Рубцов опрокинет не раз и не два банду борзых писак, когда те замахнутся на честь великого Пушкина и России. В Станиславе

Куняеве, на чью шутку в стихах он ответит такой же блистательной шуткой, от которой раздернется в хохоте рот.

Это будет, однако, все после. Тогда же, осенней порой 1950-го года учащийся первого курса Тотемского лесного техникума Коля Рубцов стоял на крыльце деревянного дома и, глядя на ропщущий в шепоте чутких черемух Кореповский ров, на резвых козлят во дворе, на скамейку под окнами и белеющую дорогу, по которой тащился гнедой, везя на телеге бочку с возницей, взволнованно говорил:

— Как много здесь русского! Как я люблю эту местность! Откуда все это? И для кого? Ты не знаешь?

— Не знаю,— ответил я.

— Значит, мне предстоит.

— Что предстоит?

Рубцов показал на двор, огород, улицу, ров и ропщущие деревья:

— Узнать: почему все это так сильно действует на меня...

## ЧЕЙ ХАРАКТЕР?

От кого Рубцов унаследовал свой характер? Обстоятельно и подробно на это ответить нельзя. Можно только предположить, что умением вдохновляться и вдохновлять, зажигательным смехом, жестами, мимикой и походкой он скорее похож на отца. А задумчивой грустью глубокого взгляда густоресничных коричневых глаз, добротой и отзывчивостью души, ранимостью чувств, сострадательной нежностью и способностью радоваться за тех, у кого сегодня успех, несомненно — на мать.

А от кого музыкальный талант? Впрочем играть на гармонике или гитаре умели все братья — и Алик, и Николай. А сестры Надежда с Галиной умели петь песни. И очень душевно. Галина поет и сейчас.

От сестры поэта Галины Михайловны Шведовой, живущей ныне в Череповце, я узнал, что Михаил Андриянович виртуозно играл на тальянке и хромке, пел тревожащим тенором песни и на всех посиделках был заводилой. Видимо, страстной игрой на гармошке и приманил он к себе кареглазую Шуру, свою будущую жену. Так же, как и она, приманила его к себе своим талым голосом,

который был слышен не только на праздниках и вечерках, однако и в храмовом хоре молоденьких певчих. Так и пошло по родственной линии: песня — от матери, музыка — от отца.

Жаль, что мы ничего не узнаем о деде поэта Андрияне Васильевиче Рубцове, который родился, женился и помер в трех километрах от Бирякова в деревне Самылкове. И про бабку его Раису Николаевну тоже знаем не больше. Лишь только то, что жила она с Андрияном, пока тот не помер. После чего обреталась или в семье сына Михаила, или дочери Софьи.

Как знать, может, в деде и бабке зарыта отгадка того, на кого был похож Николай, и кто из них так рельефно и крупно явил себя миру?

Я знаю, что это хотели бы знать и художники-вологжане. О всех говорить не берусь. Лишь о тех, с кем встречался и видел работы, в которых Рубцов как бы выхвачен из былого, представ перед нами встревоженно-резким и молодым.

У Евгения Соколова он — у струящейся Толшмы, среди тишины, трав и листьев, как прибывший из дальних земель на родину сын, у кого никогда уже больше не будет разлуки.

Геннадий Осиев увидел Рубцова в минуту его вдохновения, потому он — возвышенно-тонкий, исполненный света и чистоты, ну точно сама непорочность России.

Юрий Воронов создал трагического Рубцова. Словно стоит он в ночи перед светом летящего поезда, который не остановишь.

Валентин Малыгин понял Рубцова, как редкого гостя земли, к ногам которого опустили цветы и поляны, зеркальное плесо реки, стаю птиц и коня, ожидающего поэта, чтоб его подхватить и умчать в те края, где свергаются молнии и тревоги.

Мастера отразили в портретах Рубцова его поведение и характер, а также ту самую смертную связь, какая его скрепляла с родиной и народом.

## ПЕЧАЛЬНОЕ ПОВТОРЕНИЕ

Октябрь 1964 года. Москва. Общежитие Литинститута. Именно здесь, в одной из комнат большого студенческого жилища и познакомил меня Рубцов с осетинским поэтом

Хазби Дзаболовым. Полноватый, широкий в плечах, в модном костюме при галстуке с брошью, Хазби оставлял впечатление преуспевающего студента, который жил и будет жить только благополучно. По словам Рубцова у себя на родине в свои неполные 32 года Дзаболов считался едва ли не классиком осетинской литературы. Залогом тому была книга его стихов и публикации в ряде журналов.

В тот тусклый, без солнышка, день за столом студенческой комнаты рядом с шумной ватагой поэтов Дзаболов выглядел незаметно. Однако в его незаметности проступала природная выдержка, доброта и радушная щедрость восточного человека, которому нравится угощать. И он угощал, доставая из чемодана одну за другой бутылки сухого вина. «Дай бог!» — говорил, поднимая стакан, и всем было ясно, что щедрый Хазби в эти два мирных слова вкладывает любовь, желая всем, кого видел перед собой, благополучия и удачи.

Тогда я не знал, что Хазби был известен в литературе не только благодаря своему таланту, но и тому, что стихи его переводил Николай Рубцов. Переводил их с подстрочников, с тех прозаических слов, какие Хазби записывал на бумаге, стараясь выразить суть поэтической мысли.

В тот день Хазби передал Николаю стопку подстрочников, попросил его сделать их поскорее: в каком-то издательстве намечалась к выпуску книга. Рубцов заверил, что дело за ним не встанет, и спрятал рукопись в чемодан.

Неделю спустя, когда Николай, покинув Москву, оказался в Тотьме, я увидел в руках у него исписанный лист.

*Человек переносит любую беду,*
*Он сгорает в болезненном жарком бреду,*
*И заносит его обезумевший снег,—*
*Все равно переносит беду человек!*
*Но как трудно, как трудно бывает тогда,*
*Если рядом случится чужая беда!*
*Если кто-то страдает у вас на виду,—*
*И, душой проникая в чужую беду,*
*Вы не в силах пройти стороною и прочь,*
*Но не в силах ничем человеку помочь!*

Я спросил у него:

— Это ты написал?

— Хазби! — хохотнул Николай.— Я ему лишь помог

срифмовать. И еще помогу. Вот их сколько! — Он раскрыл чемодан, взяв оттуда стопку листов. Показав мне подстрочники, тут же убрал в чемодан.— Вот приеду в Николу — сразу за них и усядусь!

Вечером Николай уехал на пароходе. До последней минуты он сомневался: брать или нет с собой чемодан? Благоразумно решил оставить, так как от пристани в Устье-Толшме идти до Никольского — 25 километров, и все по грязной дороге, пешком.

Чемодан, где средь прочих вещей находились подстрочники, привезла Рубцову в Никольское Генриетта*. Но привезла уже в зимнюю пору. Вот как об этом пишет он мне в письме:

«...Я живу по-прежнему, среди зимней, рано темнеющей теперь скучной никольской природы. Нехотя пишу прозу, иногда стихи.

Жаль, что Гета (из Николы) без твоего ведома взяла у тебя дома мой чемодан. Она бы этого не сделала, если бы не спешила на грузовик, в котором отправлялась из Тотьмы. Между прочим, я просил ее, чтоб она только подстрочники стихов Хазби взяла из чемодана, но она без тебя все равно ничего бы не нашла, поэтому унесла их вместе с чемоданом.

Что буду делать дальше, я еще не знаю. Хочу все-таки до того, как поеду отсюда, что-нибудь закончить, хотя бы несколько глав повести, которую я задумал. А еще пришла в голову дурацкая мысль записать кое-какие свои соображения о поэзии в литературной форме и дать им заголовок «Письмо другу». Вот так, Сережа...»

Именно в декабре 1964 года Николай и возьмется за переводы. Не знаю, как насчет повести и заметок о поэзии, о стихах же можно сказать, что писались они у него хорошо — и свои, и Хазби Дзаболова.

*Закричит возле дома сорока,—*
*Мать, волнуясь, глядит из сеней:*
*О! Наверное, гость издалека*
*С доброй вестью торопится к ней!*
*Но... войну накричала сорока!*
*Сколько зим пронеслось, сколько лет*
*После этого скорбного срока!..*
*Но сороке доверия нет.*

---

* Нерасписанная жена.

*Закричит возле дома сорока,—*
*И тотчас, будто что-то стряслось,*
*Мать встревоженно смотрит с порога:*
*Злой иль добрый появится гость?*

До сих пор не постигну: кто написал эти строки: Дзаболов или Рубцов? Кто вложил в них трепещуще-пылкую силу лирического огня? Это неведомо мне. Как неведомо также и то: почему Дзаболов погиб 19 января 1969 года? Именно 19 января, в тот скорбный день, когда не станет с нами и Николая Рубцова?

## МЕЧТА

В августе 1965 года несколько дней Рубцов жил в двух километрах от Вологды, в деревне Маурино, где я снимал у местного жителя крохотную квартирку. Помню, как шли поутру средь поспевших хлебов по росистой тропе.

— Это мое! — Рубцов показал на взятое золотом поле ржи, не спеша уходившее к горизонту.

— Это тоже мое! — показал минут через пять на стайку вспорхнувших ласточек над забором.

— И это мое! — палец его обводил полукругом равнину лугов, над которыми громоздились, как горы, толпы сиренево-белых туманов.— Ты видишь обычное испарение. Я же — могучую конницу Чингис-Хана, поднявшую пыль на тысячу километров! Этот образ я забираю себе. Честное слово, я счастлив! Этого злого гения я знаю и понимаю.

— Понимаешь?

— Представь себе. Лучше всех! Я его чувствую всеми своими костями. Я напишу поэму о Чингис-Хане.

## ОБИДА

Жившие в Вологде в сороковые годы в доме, по улице Ворошилова, 10 соседи Рубцовых были обижены на поэта. Одна из соседок поведала мне:

«Жили Рубцовы не как все люди. Сегодня у них: спирт, музыка, веселье и пир, а завтра — зубы на грядке. Особенно бедствовали они, когда Михаил Андриянович от-

правлялся в командировку. В такие дни у них — ни хлеба, ни дров. Мы, соседи второго и первого этажей, чем могли, тем уж и помогали. И вот читаем в стихотворении: «...Соседка злая не дает проходу...» Таких соседок не было вообще. Все относились к Рубцовым по-доброму. Хозяйка — другое дело. Ее фамилия — Ульяновская. Рубцовы как раз у нее комнату и снимали. Ульяновская, правильно, никому не давала проходу, а малышам — и совсем. Работала она машинисткой. Пила. А после пьянки была злее злого вина. У нее как-то карточки потерялись. Так она взяла и свалила на Колю, хотя тот и про дело не знал. Про нее надо было писать: «не давала проходу», а не про нас».

Оснований, чтобы не верить бывшей соседке Рубцовых, нет и не было у меня. Наверное, так все и было, как рассказывает она. Думаю я, что Рубцов, применяя эпитет «злая» имел в виду именно их хозяйку, у кого стояли они на квартире. Назвал же «соседкой» ее главным образом потому, что слово «хозяйка» входило бы в текст не совсем органично. Хотя убежден: знай бы поэт, что он через этот эпитет обидит хороших людей, ни за что бы его не использовал так.

## ГИТЛЕР

Был Рубцов в раздражительном состоянии. Ехал рейсовым из Николы. Сидел спереди какой-то откормленно-гладкой молодки с ребенком. Сидел, скрепя сердце: вынужден был терпеть бесконечный младенческий плач. Молодка, словно и не было с нею дитя, не обращала на плач никакого внимания, сидела, как пень, безучастная ко всему. Кто-то из женщин не выдержал и заметил:

— Ты бы, мамаша, его успокоила! Потешкала бы его! Ишь, как он сердится, бедолажка!

Мамаша капризно вильнула плечом:

— Попробуй его успокой! Пищит, как зарезанный! Фу-у! Как он мне надоел!

Младенец был крепко связан по одеялу малиновым кушаком, напоминая живую куклу. Мать, рассердясь, подняла его вверх, пошлепала, покачала, и когда ребенок, бурея лицом, затрясся в неистовом реве, швырнула рядышком на сиденье:

— Пищи!

Рубцов обернулся. Долго впивался он грифельными зрачками в лицо и открытое горло молодки и вдруг объявил:

— Гитлер!

Женщина вскинула на Рубцова обиженные глаза:

— Кто — Гитлер?

— Ты!

Не понравилось молодухе.

— С чего это ты меня, дяденька, обзываешь?

— С того, что ты — Гитлер! — опять повторил Рубцов.

— А если я тебя отвечать заставлю за оскорбленье?

Рубцов согласился:

— Готов отвечать хоть в милиции, хоть в суде. Только и там я скажу, что ты — Гитлер!

Женщина с ненавистью смотрела на Николая, готовая вот-вот вцепиться ему в лицо и разорвать его на кусочки. И все же нашла в себе силы сдержаться и попыталась установить:

— Может, ты, дяденька, объяснишь?

Николай кивнул на зареванное дитя:

— Ты мучаешь человека!

— А тебе что за дело! — взъярилась молодка.— Слава богу, он мой! Что хочу, то и делаю с ним!

Николай показал на бегущие за автобусом перелески:

— Ради того, чтобы жизнь у всех в лучшую сторону изменилась — ты могла бы его выбросить за окно?

Женщина выкруглила глаза:

— У кого это там у всех?

Николай обвел глазами салон.

— У тех, кто, к примеру, в автобусе едет?

— Плевала я на автобус!

Николай уступил:

— В таком случае пусть не автобус! Пусть человечество! Мало тебе его?

— Хватит! — съязвила молодка.

— Смогла бы ты ради всего человечества,— снова поставил вопрос Николай,— ради его спасения выбросить этого реву в окно?

— Или я ненормальная?! Да пропади оно все человечество! На кой оно мне, если не будет дитё?!

— Вот поэтому ты и Гитлер! — сказал, заключая, Рубцов и решительно отвернулся, забыв мгновенно про

плач ребенка и молодуху: навстречу летели облепленные грачами саврасовские березы, чуть дальше — осиновая опушка, а по-за ней, через поле овса в сиянии теплых лучей — село на холме. Это была Россия, родимая мать-земля. Как он ее понимал и нежил, и нес в своем сердце. И ничего для него в эту минуту не было благонадежнее и дороже, чем эта бегущая вдоль дороги зеленая местность. И он смотрел и смотрел в автобусное окно, запоминая все эти русские перелески, мостики, выгоны и деревни.

## ДОМОЙ

Сколько раз Николай опаздывал то к автобусу, то к пароходу, и приходилось искать попутку, с какой бы можно было отправиться в путь. Уезжал, не заботясь о том, что его не доставят до места. Пусть подкинут хотя бы на треть или четверть пути. Там, где будет его неконечная остановка, в незаметном каком-нибудь грустном селеньи около чайной или поленницы дров он, подняв воротник пиджака, подождет и усядется вновь на любой бензовоз, пятитонку или трехтонку, лишь бы транспорт имел колеса, и, ревя, устремлялся вперед.

Кто считал его остановки на тракте: Вологда — Тотьма? На дороге: Никольское — Верхняя Толшма? Кто его видел в Чучкове и Воробьеве? В Погорелове? В Красном? В Манылове? В Бирякове? Ездил он на телегах и волокушах, на буксирах и катерах, лесовозных санях, в дровнях, розвальнях и каретах. Оттого так много стихов у него о старинной, в пыли и тумане дороге, о храмах и кладбищах над рекой, пароходных гудках, чистых звездах, матросах и пилигримах.

Особенно часто дороги его прерывались в Усть-Толшме. Здесь надо было через реку. Но переправа за Сухону прекращалась еще до потемок. Что делать, ежели всюду безлюдье и погашенные огни? Иногда он просился к кому-нибудь на ночь. После одной из таких ночевок он напишет в письме: «...Сережа, я здесь оказался совсем в «трубе». На Устье у меня потерялись или изъялись кем-то последние гроши...»

Но чаще всего он отсюда не шел никуда. Разживлял костерок и сидел, прокалывая глазами наступавшую на него вологодскую темную ночь.

Тишина, плеск волны, почерневшие елки на косогоре, месяц на вылете из-под тучи — всюду сон и покой. А в покое том — Русь. Спит и спит и не будет конца ее сну. Но поэт терпелив. Переждет эту ночь. Переправится на пароме. А уж там, как на крыльях,— домой!

## АВТОРИТЕТ

Однажды в редакции «Вологодского комсомольца» мы спросили у Николая:

— Коля, кого ты больше всего любишь из знаменитых? Не поэтов. Это мы знаем и так. А из тех, кем бы ты мог изумляться и восхищаться?

Рубцов подзадорил:

— А вы угадайте?

Тут же посыпались предложения. Кто-то назвал Эдуарда Стрельцова, великого футболиста, которым Рубцов и на самом деле всегда восторгался. Кто-то вспомнил маршала Конева, нашего земляка, о ком собирался писать в скором будущем очерк. Кто-то выкрикнул имя артиста Аркадия Райкина. Я тоже пристроил голос к хору коллег по работе, назвав должностное лицо, одной своей подписью разрешившее Николаю проблему с квартирой.

Рубцов, знай, покуривал, одобряя улыбкой всех тех, кого мы ему предлагали в авторитеты. И все же чувствовалось, что он был с нами согласен только частично. В конце концов он сказал:

— Ленина! — и с удовольствием пояснил: — Владимир Ильич,— наш человек! Сколько лет живем без него, а вспомните, в самую трудную пору в народе всегда говорили и говорят: «Вот если бы жив был Владимир Ильич». Всем людям хотел он хорошей жизни. И нес ее, эту жизнь. Потому что он видел путь. Свой путь. И наш путь. Если бы он не вмешался в дела России, то мы бы были сейчас другими.

Кто-то спросил, как обрушил кувалдой:

— Хуже?

— Темнее,— ответил Рубцов.

Через двадцать лет после смерти Рубцова в той же редакции «Вологодского комсомольца» меня спросили:

— Сейчас везде и всюду поганят Владимира Ильича. Как ты думаешь, был бы жив Рубцов, изменил бы о нем свое мнение или нет?

Я ответил:

— В те времена мы знали Ленина, как святого, который ни в чем ни разу не погрешил. И Рубцову он был известен в основном только с этой сусально-правильной стороны. Все дело, видимо, в том, кто из них понимал свой народ.

— Оба, наверное, понимали.

— Но если Ленин держал связь с народом через призывы, митинги и декреты, то Рубцов — через личную жизнь. Кто из них в таком случае был к нему ближе?

— Конечно, Рубцов.

— Ну, раз так, то поэт ни за что не пошел бы против него.

— Против Ленина?

— Против народа.

## ПРЕДСКАЗАНИЕ

Его называют пророком, когда говорят, что день своей смерти он угадал за несколько лет до нее. «Я умру в крещенские морозы...»

Его не стало, действительно, в эту пору. Но это не значит, что он заведомо знал, что умрет в обозначенный день. Здесь случайное совпадение. Был Рубцов величайшим из всех балагуров. А балагур — это, прежде всего, жизнелюб. И умирать он, понятно, не собирался. Тем паче в им же означенный день, о котором так ярко сказал он в стихотворении. Да и любого возьми, что за жизнь бы была, если бы знали мы точно, когда уберемся в иные края? Это была бы тончайшая пытка и первым ее не выдержал бы поэт.

Другое дело, когда он предсказывал то, что случится у нас без него.

*Мое слово верное*
*прозвенит!*
*Буду я, наверное,*
*знаменит!*
*Мне поставят памятник*
*на селе!*
*Буду я и каменный*
*навеселе!..*

Стоит же памятник Николаю Рубцову в Тотьме на берегу реки Сухоны. Знаменитый скульптор Вячеслав Михайлович Клыков изобразил Рубцова в непринужденно-веселой позе, будто поэт находится дома, на берегу любимой реки.

Стихотворение стало самой жизнью, той самой, в которой исполнилась воля поэта.

А вот еще один вещий пример:

*Мы сваливать*
*не вправе*
*Вину свою на жизнь.*
*Кто едет,*
*тот и правит,*
*Поехал, так держись!*
*Я повода оставил.*
*Смотрю другим вослед.*
*Сам ехал бы*
*и правил,*
*Да мне дороги нет...*

Это Рубцов о своей растерянности, о том, что не может, как все, удержаться на полном ходу, что не выдержит скачки, отстанет и навек потеряется позади.

Говорит поэт о себе, а сказал обо всех, кто в сегодняшнем дне. Все мы в хаосе быстрой езды, едем и едем себе, непонятно куда, неизвестно зачем и не знаем, что с нами будет.

Предупреждению лирика мы не вняли. А ведь он через гибель свою предсказал катастрофу любого и каждого, из чьих рук вырываются повода.

## ДВА ЗНАКОМСТВА

Начиная с 1965 года, в редакции «Вологодского комсомольца» Рубцов бывал постоянно. К журналистам, которых знал, был он приветлив и добродушен. К новичкам же, которых видел впервые, почему-то испытывал неприязнь, и знакомство с ними всегда начинал с каких-нибудь колкостей и придирок.

Помню две его стычки. Одну — с Вячеславом Макаровым, молчаливым, румяного вида корреспондентом, работавшим в бабушкинской газете. Рубцов сидел за машин-

кой, отстукивал стихи. Готовил большую подборку. После каждого отпечатанного стиха откидывался на стуле и закуривал сигарету, изъявляя желание с кем-нибудь тотчас же побалагурить.

Мы, строчившие срочно в очередной номер статьи, не всегда могли подключиться к рубцовскому разговору. Но Вячеслав страдал от безделья, сидел за подшивкой газет напротив Рубцова, и Николай обратился к нему:

— По всему видать, человек ты загадочно-интересный. Расскажи что-нибудь.

Вячеслав рассказывать не умел.

Николай отпечатал еще один стих. И опять, закурив, посмотрел на Макарова в ожиданьи:

— Ну? Давай! На чем ты остановился?

Но Макаров в ответ ни словца.

Еще пару раз попытался Рубцов настроить Макарова на беседу. Но тот лишь застенчиво улыбался.

В конце концов Рубцов рассердился и протянул в его сторону палец:

— Может, ты кем подослан сюда?

Ничего и на это Макаров не ответил:

Николай моментально вспылил:

— Ишь какой! Молчаливый и важный! А ты знаешь, что я не люблю, когда рядом со мной специально сидят и молчат!

Я почувствовал, что Рубцов сейчас может обидеть чересчур неконтактного журналиста.

— Коля! Зря! Вячеслав впервые видит тебя. Ты ему нравишься. Даже очень. Только тебе он об этом не скажет.

— Почему? — удивился Рубцов.

— Потому что стесняется.

— Правильно он говорит? — Николай кивнул на меня Вячеславу.

Тот чуть слышно ответил:

— Ага.

— Ну вот! — хохотнул Николай.— Наконец-то и Слава разговорился!

Вторая стычка произошла тоже в этой же комнате, когда к нам из далекой Вытегры прилетел редактор районной газеты Евгений Ермолин, шумливо-общительный журналист, незаурядный рассказчик, знаток бесчисленных анекдотов. Высокорослый, азартный, едва вошел в нашу комнату, как тут же громко заговорил со всеми и с каждым одновременно и, завладев всеобщим вниманием, не

сразу заметил, что в него откуда-то из-за машинки неодобрительно всматривается Рубцов.

Глаза Николая были прищурены — первый признак, что он недоволен.

— Есть же радио! Зачем еще-то одно?

Ермолин затих, почувствовав неприютность. Николай продолжал:

— Ты кто такой, чтобы так разговаривать здесь? Говоришь, говоришь и не можешь наговориться!

— Коля! Это же Женька Ермолин! — вмешался кто-то из нас, останавливая Рубцова.— Это свой! Компанейской души человек!

Этого было достаточно, чтобы Рубцов немного повеселел, ввернул какую-то шутку, и всем тотчас же стало как-то раскованно и легко.

Ермолин засыпал Рубцова потоком восторженных междометий, а под конец, перед тем, как уйти, предложил:

— Ты к нам! К нам в Вытегру приезжай! Я тебя с родиной Клюева познакомлю!

Встрепенулся Рубцов, словно сказал Ермолин о человеке, которого он считал безвозвратно пропавшим, а тот был поблизости, где-то рядом, в каких-нибудь пятистах километрах, и чтобы встретиться с ним, достаточно было ступить на трап самолета и полететь.

— Приеду,— дал Рубцов Ермолину слово.— Нынче же! В крайнем случае, через год...

Однако приехать он не успел. Как не успел сделать многое из того, к чему был заранее подготовлен.

## ХРАНИТЕЛЬ

Сейчас гадают: кто больше сделал для сохранения творческого наследия Николая Рубцова? Таких людей много. Однако из многих я назову Алексея Шилова, с кем познакомился в 1970 году.

Лысеющий, ниже среднего роста, в очках, с золотыми коронками человек не вызвал во мне никаких эмоций. Но это было до первой песни. После того, как он тронул струну гитары, как повел чистым тенором: «Рукой раздвинув темные кусты...», я сразу почувствовал божий дар.

Через неделю, встретившись с Николаем Рубцовым, я спросил у него:

— Ты, Николай, Леше Шилову доверяешь свои стихи, когда он их поет под гитару?

— А как же! — воскликнул Рубцов.— Я не имею права не доверять: Леша — талант! Это единственный в Вологде композитор, кто на стихи мои пишет музыку, которая нравится мне! А почему? Да потому, что я сам! Сам Лешу и критикую! А он со мной спорит! Отстаивает свое! Ты знаешь, какие у нас дискуссии с ним бывают! В парке Мира мы с ним так просто, что ли, времечко убиваем! Нет! Мы работаем! Работаем этим вот местом! И этим! — Николай погладил поочередно по груди и по голове.— Сочиняем песни Рубцова! И в парке Мира, и на квартире, и даже вот здесь! — Поэт показал вдоль аллеи на Пушкинской, где полыхали белые яблони, распространяя запахи многоцветья.

Этим сказано было все. В 1972 году я записал на магнитофон в исполнении Шилова двенадцать или тринадцать песен. Полагал, что в Архангельске их издадут отдельным песенником Рубцова. Но до Архангельска рукопись не дошла. Комиссия, которую представляли специалисты Дома народного творчества, прослушав пленку, дала заключение:

— Цыганский надрыв, мещанская томность... В общем, смесь того и другого. Нет... Это не то.

Теперь на стихи Николая Рубцова написано столько песен! Однако из всех я по-прежнему отдаю предпочтение тем, которые пел и поет Алексей.

Я благодарен Шилову также еще и за то, что он сохранил, записав на магнитную ленту, голос Рубцова, когда тот пел и читал стихи, и еще разговаривал средь застолья. Из разговоров поэта Шилов составил два монолога «О гениальности» и «Моя библия». Оба были опубликованы в двенадцатом номере «Нашего современника» за 1990-й год.

## ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕХОД

Иногда Рубцову хотелось сойти с поэтической высоты, на какую его вознесло само провидение. Часто он говорил, что желал бы пожить на земле обыкновенным простым человеком. Переправлять ли людей на пароме, пасти ли коров на лугу, возить ли на лошади сено — где угодно и кем угодно, лишь бы душе его было спокойно, и в грудь не вламывалась тревога.

Удержаться на поэтическом склоне, с какого видны божьи дали, было не просто. Для этого он должен был открывать для себя необычные связи: зла и добра, бесстрашия и испуга, бездны и выси, радости и печали. Мир переполнен контрастами. А между ними — губительный переход. Зная это, Рубцов испытывал напряжение, с каким проходил по нему. От края к краю, будто где-то внизу, под ногами находился провал, и он в любое мгновение мог сорваться. Он не срывался, пока в его сердце сияла поэзия, будто зажженная свечечка среди мрака, и он до конца видел путь.

Однако стихи удавались ему не всегда. В такие дни он был недоволен собой, все кругом раздражало и в руке его появлялся стакан.

Сколько раз я спрашивал у него:

— Ты, Коля, что-нибудь пишешь сейчас?

Он отвечал:

— Не пишу.

— А когда запишешь?

— Сам бы хотел об этом узнать.

— А другие? Есть же поэты, которые пишут в любом настроении. И книги выходят у них, почитай, каждый год.

— Я не завидую им. Потому что в книгах у них — не поэзия, а стишки. Стишки не от сердца, а от ума. В лучшем случае им дадут комсомольскую премию. И забудут. Вот Тютчев! Как долго он жил! А написал лишь одну небольшую книжку. Я тоже одну напишу.

— Но у тебя их четыре!

— Не в цифре дело, а в том, что все они могут вместиться в одну!

— Такую же, как у Тютчева?

— У Рубцова! — поправил меня Николай.

На последнем своем переходе он бы, наверное, не споткнулся. Его подтолкнули. И он сорвался. Убийцей его считается Дербина. В пылу тяжкой ссоры она задушила поэта. Однако были еще и другие, которые тоже толкали. Они приходили к Рубцову почти каждый вечер с бутылкой водки или вина. Казалось, ими кто-то негласно руководил, давая вещую установку: споить поэта и этим добить у него здоровье, вышибить память из головы, дабы стал он, как многие из немногих, хорошо управляемым и послушным.

В те свои предпоследние дни он думал о новых стихах,

о счастливом покое, о том, что в конце января сходит в ЗАГС и распишется с Дербиной, что сердцем его вновь завладеет прекрасная страсть, при которой он всех и все будет видеть провидческими глазами.

Но он просчитался. Смерть была для него неожиданной потому, что она находилась в руках той самой, с кем Рубцов собирался связать свою жизнь.

Дербина была женщиной рослой. Слишком много в ней было сил. В Николае же — слишком мало. Здоровье его нуждалось в поправке: подорвано гриппом, сердечными болями, пьянками, ссорами, скверной едой. Дербина убивать Рубцова не собиралась. Однако в гневе не ведала, что творит. И не стало поэта, ставшего жертвой нелепо-трагических обстоятельств.

В ту угрюмую ночь на улицах города было тихо. Тихо до онемения, словно Вологда, как вдова, прислушивалась к шагам поверженного поэта, не веря тому, что его больше нет, и что он никогда уже не пройдет по ее заснеженным переулкам.

## ЗАПОВЕДНАЯ ЛУГОВИНА

Есть в Никольском, на берегу речки Толшмы уединенная луговина, где, как старушки в накинутых шалях, стоят почернелые бани. Одна из них, крайняя к косогору, помнит Рубцова, наверное, и поныне, ибо в ней поэт не только парился и плескался, но, лежа на теплом полке, принимал, как желанных гостей, приходившие в голову страстные строки.

А за банями — крытый шелковым мятликом косогор, полого сбегающий к Толшме среди кустарников и деревьев. Здесь же — натоптанная тропинка. По ней Николай спускался по воду к перекату. По ней ходил в одиночестве, сочиняя стихотворения.

Отсюда до самого горизонта он видел все явное или тайное, что несла навстречу ему дорогая душе его толшменская земля. На этой земле написал Рубцов десятки стихотворений. Все они были выслушаны приезжавшими в гости к нему друзьями. Слушал эти стихи и я. И еще через голос Рубцова слушал голос мудрейшего Тютчева. Часть стихов читал он по памяти, часть по книге в бархатном переплете. В книге надпись: «Дорогому Коле от Гали и Стасика (Куняевы — С. Б.) 6-го мая 1964 года».

С книгой Тютчева Рубцов никогда почти что не расставался. Не расстался он с нею и после смерти, отправляясь, как вечный ее читатель, за пределы родимой земли.

## СВЕРГНУТЫЙ ЗНАК

В Тотьме, на улице Красная, 2, в доме, где обитали мои мать с бабушкой, Николай бывал часто. Приезжал он сюда со мной. Приезжал и один. Любил рассматривать толстолистные, в дорогих переплетах альбомы, старинные, черного дуба горку, комоды, шкафы и стулья, картину «Царь Петр и заговорщики». Любил наблюдать кружева, рождавшиеся на холсте барабана под пляску коклюшек в сморщенных пальцах бабушки Шуры, напевавшей что-то забытое про себя. Любил разговоры сходившихся иногда на наш огонек молодых прозаиков и поэтов. Любил поиграть с моим маленьким сыном, то качая его на колене, то подбрасывая куда-то к высокому потолку. Когда же был в отличном расположении духа, ходил по комнатам с сигаретой и писал про себя стихи.

Лет десять спустя после смерти поэта к фасаду дома моих родителей краевед Станислав Зайцев прикрепил мемориальную доску, где вывел собственноручно: «Здесь у писателя С. Багрова бывал поэт Николай Рубцов». Доска эта, возможно, висела бы и сейчас. Однако приехал в Тотьму кто-то из высших чинов Вологодского облисполкома. Увидел тисненую надпись и приказал: «Уберите! Здесь Рубцов у Багрова пил водку!»

Почему сняли памятный знак? С этим вопросом ко мне обращались многие тотьмичи. Но что я им мог ответить? Я и сам ничего в то время не знал. Но на Днях поэзии, посвященных 50-летию Рубцова, проходивших осенью 1985 года в Никольском и Тотьме, я все же попробовал этот вопрос прояснить, задав его председателю райисполкома Владимиру Федоровичу Захарову и первому секретарю райкома партии Тамаре Николаевне Чухиной. Оба ответили односложно:

— Доска оформлена и повешена самовольно, без соответствующего решения, а потому не имеет законного основания находиться на видном месте.

— Значит,— спросил я, предполагая,— ей здесь уже никогда не висеть?

— Ну почему же! — заверил Захаров.— Вот только примем решение — сразу же и повесим!

— Сделаем это как раз к юбилею поэта! — сказала Чухина, успокаивая меня.

Я поверил вождям района. Но оказалось, что зря. Сколько лет прошло с той поры. А памятный знак как валялся где-то средь утлых вещей райцентра, так и валяется до сих пор, не востребованный никем.

## СВЯТЫЕ ВОРОТА

Власть поэта над нашими душами тем и загадочна, что живет она после смерти творца, как если бы с ним ничего не случалось и не случится. Нет Рубцова. Однако, читая его стихи, время от времени ощущаешь неловкость, словно кто-то пристально наблюдает откуда-то со стороны за тобой. Поневоле задумываешься о тайном, и в первую очередь, о душе. Неужели она бессмертна? Полагаю, что да! Сама по себе она ведь не умирает, так как нет у нее ни возраста, ни болезней. Где ж тогда она обитает после того, как изжитое тело опустят в могилу? Видимо, в вечном пространстве с его пустотами, звездами и мирами. И веришь: она в тех самых пределах, какие способна забрать в себя твоя поисковая мысль. Быть может, она на Венере! Или на Марсе! Или в созвездии Ориона! Или на крыше какого-нибудь сарая! А может, пристроилась где-нибудь возле плеча твоего, сидит, никому не мешая, все думает, думает о своем, вызывая в тебе ответные думы, и ты начинаешь испытывать чье-то вмешательство и благоденствуешь, как у красивых ворот, за которыми прячется рай.

Рай в стихах Николая Рубцова разнообразен. Поэт заглянул в запредельное, за эти таинственные ворота и, поразившись видению, стал искать и нашел сочетание слов, которыми передал небывалость:

*...На темном разъезде разлуки*
*И в темном прощальном авто*
*Я слышу прощальные звуки,*
*Которых не слышит никто...*

*...И всей душой, которую не жаль*
*Всю потопить в таинственном и милом,*
*Овладевает светлая печаль,*
*Как лунный свет овладевает миром...*

*...Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье*
*И тайные сны неподвижных больших деревень.*
*Никто меж полей не услышит глухое скаканье,*
*Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень...*

*...И оттого, в любви своей не каясь,*
*Душа, как лист, звенит, перекликаясь*
*Со всей звенящей солнечной листвой,*
*Перекликаясь с теми, кто прошел,*
*Перекликаясь с теми, кто проходит...*
*Здесь русский дух в веках произошел,*
*И ничего на ней не происходит...*

Читаешь эти заветные строки и думаешь про себя, что рядом с землей знакомой есть и неведомая земля, которую знал лишь поэт, а так как он был чрезвычайно общительным человеком, то взял и сведения о ней оставил для нас.

Ангелы в тихом поле, цветы, чудеса, березы, Рубцов — все это неотделимо. Неотделима и связь поэта с родимой землей, без которой он даже там, в божьем мире, не в состоянии обойтись. Иначе чем объяснить явившийся сон, который мне подарила судьба в нынешнее Крещенье:

Конец января. Прохожие прячутся в шапки и полушубки. И вдруг над заснеженной Вологдой, как ниоткуда, возник в безрукавой рубахе с расстегнутым воротом улыбающийся Рубцов. То ли на облаке он, то ли на схожем с облаком пароходе. Машет оттуда рукой и смеющимся голосом, с хохотком:

— Меня нету, но я живо-ой!

Секунда — и вот уже он вдали. Уплывает над крышами зимнего города к горизонту, куда нырнуло недавнее солнце. И он туда же — в этот манящий закат, как в малиновые ворота, которые отворила чья-то неведомая рука.

## ИМЯ ТВОЕ

Двадцать три года прошло с той поры, как не стало с нами поэта. Однако снова и снова тянет в Николу. Тянет не только его друзей, но и тех, кто не знал при жизни Рубцова, но, читая его стихи, полюбил поэта так горячо, что хотел бы о нем узнать исключительно все.

«За что же Рубцов так любил Николу?» — спрашивал русский поэт Передреев, обнимая задумчивым взором село. Знакомясь с Никольским, этот вопрос задавали себе почти все писатели-вологжане. И каждый почувствовал, каждый понял, что здесь у Рубцова писались стихи. Писались раскованно и свободно, как только могут они писаться на святорусской земле, у которой эпитет — родная. А в селе те самые лица! Их любил Николай Рубцов, о многих писал, создавая портреты непритязательно-доброго Фили, старушек, которые машут платочками самолету, девочки Лены, шалуньи под старой березой и многих, многих других.

У своих земляков учился Рубцов первым стойким шагам по земле. Учился у них крепко веровать в светлое и святое. Потому-то и трудно представить Рубцова без имени тихой деревни Никола, в которой он пел и воспевал суровую Русь.

## АНАТОЛИЙ МАРТЮКОВ



# ВОСКРЕСНЫЕ ЦВЕТЫ

Весны в годы Великой Отечественной мирно обогревали село Николу и его жителей. Вроде и не было войны, а если она и была, то где-то далеко-далеко. Только в пионерской комнате детского дома время от времени перемещала красные флажки Евдокия Дмитриевна Перекрест. Флажки двигались на запад...

В пионерскую комнату приходили все. И старшие, и младшие. Полной хозяйкой там всегда была пионервожатая Евдокия Дмитриевна.

Многие годы спустя сама по себе являлась мысль: откуда она пришла в такое дальнее и глухое вологодское село? И где теперь эта статная и женственная украинка?

Мы, малыши, любовались и сокрытно любили непонятную ее внешнюю строгость. Высокий интеллект светился в большой печали ее глаз. Евдокия Дмитриевна брала листок бумаги с нотами. И начинала петь...

— Пойте,— обращалась она к ребятам. И в пионерской комнате вначале нестройно, потом слаженно звучала новая хорошая пионерская песня.

Ныне я не во всем доверяю тем, кто вспоминает отдельные мелкие детали из жизни детского дома военных лет. Одно мне кажется сомнительным, другое — придуманным, третье — слишком банальным. Но Колю Рубцова в эти самые мгновения нашей жизни я чаще всего вижу, и он всегда в памяти. Таким, каким был тогда.

Это не только он, но я — мы вместе — удивляемся таинственным способностям Евдокии Дмитриевны — читать по нотной бумаге любой мотив. Мы запоминаем слова и певучую мелодию голоса.

Поем про себя, не открывая губ, а только шевелим ими. Но поем. И никто не запретит нам это делать.

Сбор пионеров кончается. Кто-то остается в комнате, кто-то растревожился, как Вася Черемхин. А нас несет на крыльцо, где тепло и вовсю пахнет свежей оттаявшей землей.

Воскресенье. И мы отчасти свободные люди. Сочится влагой оранжево-глинистый высокий берег оврага, что в сторону деревни Камешкурье. Это у самого берега реки Толшмы под Николой. Отчетливы и удивительно свежи золотые копеечки мать-и-мачехи. Они обозначились по всему берегу пригретого оврага. Густая синяя дымка вытекает из оврага и реет над рекой.

Мы — это Валя Колобков, Виля Северной, Коля Рубцов,— стоим на речном мосту. Большая страшная вода мечется под ногами. Слева — село Никола с церковью из красного кирпича на возвышенности, справа от моста — дорога. Далекая, непонятная, по-апрельски живая, манящая. И непролазная.

Наверное, всем нам, кроме всего прочего, очень хотелось есть. Да, мы почти всегда ощущали недоедание.

Сорок с лишним лет спустя, мне по-прежнему мерещится вкус американского супа. Из зеленого горошка. Это блюдо запомнилось больше других. Этот суп из американского зеленого горошка — суп-пюре детдомовцы смаковали. Выуживали по пол-ложечке, ко рту старались подносить медленнее. Ан нет, тарелки пустели столь же быстро, как и со свекольным супом из ботвы.

К слову сказать, побывавший к началу лета 1970 года в Великом Устюге Николай Рубцов за обедом первым делом вспоминал суп-пюре...

Да, еды было мало. Но если взглянуть на фотографии тех лет, то со снимков смотрит одна простота, доброта и застенчивость. Не было в Никольском детском доме, как правило, детей-воришек, карманников или огородников.

Но зато, я в этом уверен, те самые цветы мать-и-мачехи, подснежники, а позднее любые другие были предметом особой радости только для детей из детского дома.

Ни один цветок, ни одна зеленая травинка не ускользала от взгляда детдомовского ребенка. Почему? Да потому, что все мы были детьми, матерей которых прибрала земля... Тот же Коля Рубцов радуется и несет в

руке четыре-пять золотистых цветочков мать-и-мачехи. Он застенчиво передает их Евдокии Дмитриевне.

Воскресные цветы.

Он не слышит благодарности или забывает ее, потому что цветы — обычный знак внимания. Даже самые простые.

А в следующий раз он будет искать заветные зеленые цветы. Будет искать их всегда...

На этот раз пионервожатая держит в руках новую книжку. На белой ее корке — красный рисунок. Пылающие дома, виселица с казненными людьми, отряд фашистов с автоматами.

Мы не видим войны, но она где-то гремит. «Неужели фашисты вот так же маршем пройдут и по Николе?» — появляется страшная мысль...

— Фашисты несут нам горе, мучение и смерть — медленно говорит прочитанное Коля.

Евдокия Дмитриевна кладет книжку в шкаф. Смотрит на карту, переставляет красный флажок ближе к востоку. Вздыхает...

Взрослой девушке или молодой женщине всегда к лицу красный цвет. Этим цветом для нашей пионервожатой был пионерский галстук.

Ах, как жаль, что нас, самых маленьких, не пускали на вечерние летние пионерские костры! Они загорались на вересковой поляне за селом Николой. И с огорчением, и с завистью провожали мы глазами пионерский детдомовский отряд. Отряд уходил, и нам оставалось только догадываться и представлять ночной пылающий костер, горячие лица ребят.

Потом была работа. На прополку картофельного поля или детдомовской пшеницы брали всех. Но и в поле во главе с пионервожатой Перекрест дети шли торжественным маршем.

Проживающая ныне в местечке Десятина возле Тотьмы воспитательница Никольского детского дома Антонина Михайловна Жданова (Алексеевская), рассказала, что до последнего времени Евдокия Дмитриевна жила в Пятигорске. Детдомовские педагоги бывали там и встречались с ней. По их словам, она выглядит уравновешенной и умудренной. Она все помнит, но не может воссоздать отдельные образы детей из детдома. Особенно самых маленьких, каким был Коля Рубцов. Ну что ж. Это и не обязательно. Важнее то, что ее, Евдокию Дмитриевну, детдомовцы помнят и вспоминают с любовью...

## ГАЛИНА МАТВЕЕВА



# В СЕЛЕ НИКОЛА...

Всегда с волнением читаю публикации о Николае Рубцове, которые регулярно присылают мне родственники, живущие в Вологде. Они будят во мне воспоминания о тех далеких днях, и в душе рождается приятное чувство: ведь я была когда-то, а точнее с 1943 по 1950 годы, рядом с ним, как старший товарищ Коли.

...Когда привезли в наш детский дом группу малышей-первоклашек (по-моему, их было 16 человек), наши воспитатели собрали нас, познакомили и сказали нам, что поскольку мы старшие, то обязательно должны взять шефство над малышами и заботиться о них, как о своих братьях и сестрах. Мы, «старшие»,— ученики 2—4 классов, в те суровые, военные, очень тяжелые годы слова воспитателей восприняли как должное, ведь мы считали себя действительно взрослыми и были серьезными не по годам. Я взяла шефство над Леной Дроздовской, а с Колей Рубцовым подружились как-то само собой. Он сразу выделился из своих сверстников. Был он маленького роста, черноглазый и очень серьезный. Шла война, с одеждой было трудно, по росту и по размеру вообще невозможно было подобрать ее, и мы помогали малышам одеться поаккуратнее, что-то ушивали, подшивали. И что было характерно: Коля сам стремился выглядеть аккуратным и опрятным. Он никогда не ходил с оторванными пуговицами, длинные рукава пальто не болтались — он их обязательно подогнет, брюки на нем сидели ладно и аккуратно. Эта подтянутость его и серьезность вскоре про-

явилась и в учебе. Учился он хорошо. В классах было холодно, ноги мерзли, хотя мы и сидели одетыми, в пальто и в шапках. Учебников не хватало, писали на старых книгах и газетных тетрадях (сами линовали их). Считали за великую радость, если попадалась чистая страничка. Наши учителя как-то ухитрялись сами изготовлять для нас чернила, а потом при коптилках колдовали над нашим письмом. Колиной учительницей была Клыкова Нина Ильинична, а я училась у Лапиной Надежды Феодосьевны. Однажды наша учительница принесла на урок русского языка Колино сочинение и зачитала его. Сочинение начиналось четверостишьем о природе, а дальше шло «раскрытие содержания». Слушать его было не только приятно, но и поучительно. Тогда, конечно, судьбы поэта Коле еще никто не пророчил, но как хороший ученик он был признан всеми.

Его детская душа и разум уже стремились к прекрасному. Я помню, как Коля любил песни, умел слушать их и сам подпевал.

В те военные, да и послевоенные годы, мы пели не детские песни, а наравне со взрослыми,— «Огонек», «Синий платочек», «На рейде», «Катюша», «Тачанка». Коля любил брать в руки нашу (в то время единственный музыкальный инструмент) гармошку и наигрывал мелодии этих песен. Мне в такие моменты было почему-то очень жалко его. Маленький такой... Мне казалось, что держать в руках инструмент ему очень тяжело. Коля был человеком очень чувствительной и нежной души. Уже в эти ранние детские годы он чувствовал, когда товарищу плохо, или он чем-то расстроен. Очень любил душевные разговоры. Иногда нам, старшим, поручалось проследить за порядком в спальнях,— Коля никогда не оставлял наши замечания без внимания. Надо сказать, ребята его очень слушались.

Если наш приход был в вечернее время, Коля очень любил, чтобы я задержалась у них подольше и что-нибудь рассказала. Наша детдомовская библиотека умещалась в двухстворчатый шкаф, так что особо не зачитаешься, но отказать им хотя бы в сказке... не было сил.

Коля любил, чтобы я садилась именно возле его кровати и при рассказе держала его руку в своей руке. Я уступала его желанию, стараясь хотя бы этим подарить ему немножко тепла и нежности, так недостающих всем нам в те годы. Когда я желала ребятам спокойной ночи, вста-

вала и уходила спать, кто-нибудь из мальчишек бросал мне ревностно: «Гаричева, а тебя Рубцов любит!». Я поворачивалась и говорила, что я их всех люблю.

Вот таким и было наше житье-бытье: как могли утешали друг друга, дарили немного нежности, внимания, заботы. По сути дела это была одна семья, только очень большая.

Когда в 1950 году я уезжала из детского дома, ребята меня провожали.

Я со всеми попрощалась, и все убежали выполнять свои обязанности, лишь Коля остался и не ушел до тех пор, пока попутка не подошла. Когда я уже сидела в кузове, Коля подошел к машине, достал из кармана фотографию и протянул ее мне. Надпись на обороте была сделана им заранее.

Потом я узнала, что наш детский дом в Николе упразднили. Я предполагала, что всех ребят перевезли в Тотьму. И вот, читая биографию Коли Рубцова, вижу, что это было действительно так.

Только в 1972 году, в годовщину памяти его, в передаче по радио «Зеленые цветы», я узнала о Николае Михайловиче Рубцове как о признанном поэте. Но для меня это было очень печальной радостью. С одной стороны, что это наш Коля! А с другой — его больше нет в живых...

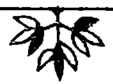
В 1980 году мне удалось побывать у родственников в Вологде, я съездила на кладбище и поклонилась его могиле. С поездкой в Вологду во мне словно всколыхнулось прошлое, наше детство...

Я читаю его книги, и они мне очень дороги. Многое в них так свежо, так будоражит память, словно я снова на родине, в своих вологодских краях, в селе Никола, где был наш детский дом. И вспоминается все до мелочей...

Во мне живет чувство огромной благодарности к поэзии Николая Рубцова, и не покидает мысль, что Коля отблагодарил нашу Родину за всех нас, за свое и наше воспитание. Пусть мы, кто был рядом с ним, не стали знаменитостями, но стали честными рядовыми тружениками.

Со своим письмом посылаю вам фотографию, ту самую, когда-то подаренную мне Колей.

# НИНА ВАСИЛЬКОВА (ПОПОВА)



## «НАМ БЫЛО НЕ ДО НЕЖНОСТЕЙ»

Впервые Колю Рубцова я увидела в 1943 году, когда ему было семь лет.

В сентябре или октябре месяце привезли из Красновского детского дома человек двадцать ребятишек. Маленькие, худенькие такие... Среди них был белокурый мальчишка Коля Рубцов.

Раньше, в войну, детей брали учиться с девяти лет: слабенькие были. А тут таких крох — и с семи лет послали учиться в первый класс.

Помню, что начали они учебный год не с 1 сентября, а после того, как приехали к нам в Никольский детдом Тотемского района.

Учительницу их не помню: все разные были учителя, менялись. Во втором или третьем классе наш первый соединили с приехавшими из Красновского детдома первышами.

Коля Рубцов резко выделялся среди всех приезжих: бойкий, кареглазый, сообразительный. Обо всем спрашивал — недаром его прозвали «почемучкой». Был еще, помнится, мальчик Коля Лебедев. Краснощекий, глазенки горят. Они почти всегда с Колей были вместе. А у Коли глаза — черные, с искоркой! Мальчишка был интересный, с азартом! И очень-очень аккуратный. Воспитатели его любили, иногда даже делали ему поблажку. В первых классах, что было — мне мало запомнилось. Кое-что помню только с пятого — шестого классов, где руководителем был у нас Игорь Александрович Медведев, затем он стал воспитателем.

Помню, например, как зачитывали Колино сочинение о молодогвардейцах в сорок восьмом году: тогда книга Фадеева только что вышла в свет. Текстов было мало: всего два на весь класс. По ночам и то читали, убегали в баню и «проглатывали» при свете самодельных коптилок. Тайно. На весь детский дом был один фонарь в коридоре. Так вот, надо было как-то умудриться отлить из него керосина в маленькую баночку да так, чтобы никто не увидел. Лучше всех это умел проделывать Коля Рубцов. Нальют керосину — и в баню, а там наденут на горлышко крышку от баночки из-под вазелина, в середине дырку проделают, вставят трубочку из жести, в нее фителек проденут — мигалка готова. Свет она дает едва заметный, но читать можно. И керосину брала она совсем немного.

Горел в маленькой деревянной бане, стоящей среди поля, этот «запоздалый огонек» — и жадно вбирал в себя страницу за страницей белокурый, черноглазый мальчишка. Книгу за книгой... Но никто еще тогда и предположить не мог, что пройдут годы и Коля станет знаменитым поэтом. А тогда мы боялись вздохнуть всей грудью, читали, затаив дыхание, очень бережно переворачивали страницу, чтобы не задуло наш огонек, нашу маленькую «теплинку», как мы тогда называли нашу мигалку-пикалку. А то еще разожжем на печке костерок из лучины или бумаги исписанной. Как только весь детдом не сожгли — не знаю.

Вот так и читал Коля Рубцов в школьные годы: при маленькой коптилке или при лучине, не считая, конечно, дневного света. Пока было светло, почти всегда читал — вот потому и поговорить с ним всегда было интересно. А как начнет о только что прочитанной книге рассказывать — часами говорит, говорит... Увлечется — глаза горят, жестикулирует, звукоподражает.

— Ну, Коленька,— шутили мы,— кажется, ты у нас артистом будешь.

— Нет. Моряком буду!

— Моряком?! Еще нос не дорос!

— Не бойся! Дорастет!

Еще в ту пору, классе в шестом, Коля Рубцов был редактором нашей стенгазеты, хорошо рисовал.

Наверное, ни стенгазет, ни сочинений Коли Рубцова в Николе не сохранилось, а он так крупно, так красиво и быстро-быстро писал! Не знаю, где сейчас наша учительница литературы и русского языка Дина Михайловна

Попова (это ее тогдашняя фамилия, у меня есть ее фото): может, у нее что-нибудь сбереглось?

Писал ли Коля в ту пору стихи? Об этом трудно сказать. Но нам он тогда ничего не читал из своих стихов. А вот на гармошке играл: мы поем, а он подыгрывает. Для нас тогда казалось, что он очень хорошо играл. Мы всегда все вместе были, дружили. Разделения на мальчиков и девочек не было: на скудных карточных пайках было не до нежностей...

Трудно жили, конечно, не только хлеба, а и бумаги, учебников, чернил — всего было мало. Ручек тоже не было: разделим карандаш на троих, привяжем суровыми нитками перышки-лягушки к обрубку карандаша и пишем такими вот приспособлениями. Да как еще писали! Каллиграфически правильно, со всеми нажимами и волосяными линиями. «Тетрадки делали из прочитанных газет и ненужных брошюр, чернила — из сажи. Вот как учился писать будущий поэт Николай Рубцов, как и все мы, в самые трудные для страны военные и послевоенные годы.

Большинство одноклассников Коли были эвакуированные дети. Из Белоруссии, с Украины. Из Ленинграда блокадного тоже были.

Многие из них нагляделись своими глазами, как фашисты измывались над людьми, над их родителями, как зверски убивали их.

Проснутся такие ребятишки ночью от кошмарного сна-воспоминания — и заплачут-заплачут, горько и безутешно зарыдают, зовя погибших родных.

— Мама, мама-маа! Где ты, мама?

А в ответ только протяжное завывание метели.

Холодно, бесприютно. Таким ребятишкам трудно было выжить в те полуголодные годы. И все-таки:

*Для нас звучало как-то незнакомо*
*И оскорбляло слово «сирота».*

(Н. Рубцов).

Многие верили, в том числе и Коля Рубцов, что после войны родители их вернутся и обязательно возьмут их из детдома — этой верой только и жили. И действительно, в сорок пятом, сорок шестом годах стали приезжать в Никольский детдом родители за детьми. Помню хорошо, как за первой из ребят приехал отец: за Надей Новиковой (эта девочка была к нам привезена из Красковского детдома вместе с Колей Рубцовым). Для нас приезд отца за Надей был большим праздником, потому,

что каждый поверил, что и за ним могут приехать. И жизнь наша с тех пор озарилась светом надежд, ожиданий. Коля Рубцов тоже ждал. Отца, от которого давным-давно не было ни слуху, ни духу. Он так и не дождался отца...

А наши одноклассники уезжали один за другим со своими родными: во всяком случае, в первый класс нас пошло 40 человек, а в седьмом осталось лишь девять. Хорошо помню из нашего класса Женю Романову, Тамару Шестакову, Мишу, Володю и Витю Горюновых — трех братьев из Белоруссии (ныне они живут в Ленинграде: есть фото и письмо от них).

Когда все по домам разъехались, в нашем классе осталось семь девочек и только двое мальчиков — это Коля Рубцов и Витя Горюнов.

Но все равно мы дружно и наперекор войне весело жили: у самой спальни была горка, так мы зимой с нее в большом котле катались. Сядем по нескольку человек в него — и... поехали! С шумом, гамом. Или от двора укатим большие санки (дровни), сядем всем классом — и помчались вниз. Но Коля почему-то такие шумные игры и катания не любил, а проводил время за чтением книг.

Зато летом любил вместе с нами строить шалаши, лес любил, с птицами пересвистывался. Слушал, все слушал, как деревья шумят.

Неподалеку от детдома речка была. Там мы купались, загорали, рыбу ловили. Коля любил с удочкой посидеть. Уединится в самом красивом месте и не столько удит, сколько любуется зарею, белыми лилиями, отражениями деревьев в воде.

В походы ходили (верст за сорок!). В Погорелово, например. Жгли костры, пели под Колину гармошку. Проказничали. Такое никогда не забудешь.

Летом большую часть времени мы отдыхали, но и работать тоже приходилось: готовили сено и веточный корм для овец, косили на детдомовских коров, картошку пропалывали и окучивали вручную — тяпками. И Коля вместе со всеми. Загорелый, волосы солнцем выжжены. А глаза, почти угольно-черные, так и горят. Веселый был человек.

Еще запомнилась Антонина Ивановна Жданова, она долгое время была нашим воспитателем. Потом она куда-то уехала. Классным руководителем был у нас Игорь Александрович Медведев, учил нас по труду, а Евдокия Дмитриевна Перекрест (ныне Сосоре) одно время была у нас

пионервожатой, сейчас живет на юге, в Краснодарском крае. Тоже очень любила Колю.

Грустно было расставаться нам после семи лет совместной жизни: голод и холод, слезы и радость — все перемыкали. И вдруг расставаться...

Колю Рубцова отправили первого в Ригу, в училище: он ведь так мечтал стать моряком! Потом недаром в стихах написал: «Как я рвался на море!». Отправляли без торжества. Выдали ему самодельный чемодан, который вместо замка закрывался гвоздиком. Мы, девчонки, подарили Коле 12 носовых платков — и все обвязанные, вышитые нами. Смутился Коля, но подарок наш принял и кепкой нам помахал на прощанье. Только не приняли его, хоть все экзамены на пятерки сдал: не вышел ростиком Коля, не на тех хлебах рос.

После Рижского речного училища, после неудачи, поехал Коля в Ленинград, хотел поступить в художественное училище: рисовать он тоже умел и любил, но только акварелью, а там надо было уметь рисовать маслом, да и гипсы — тоже. Делать нечего: приехал Коля обратно в Николу, как он ее называл, вернулся в детдом. Расстроенный очень. Он молчит — и мы молчим: словами горю не поможешь.

Вызвал Колю к себе директор детдома (в то время был им Вячеслав Иванович Брагин) и говорит: «Ну что поделаешь, Рубцов?! Иди к нам, в тотемский лесотехнический техникум».

Не понравилось ему в лесотехническом, бросил он этот техникум, уехал в Архангельск, снова хотел попасть на море. Ну, а дальше его биография известна...

Какие еще отдельные детали запомнились мне о Коле? Все время не расставался с шарфом, поэтому в детдоме все так и звали его — «Шарфик». В те годы уже заметна была принципиальность Николая Рубцова.

Мы почему-то думали, что он, такой умный, станет большим начальником, а он стал таким известным, даже знаменитым, поэтом. Жаль, что так мало прожил. Сколько бы еще написал!

# АЛЕКСАНДРА МЕНЬШИКОВА



## КАК СЕЙЧАС ВИЖУ...

С фотографий в его книгах на нас смотрит задумчивый человек с ранними морщинками на лице и лысиной во все темя. Но помню его и другим...

Тяжелое было время, шла Великая Отечественная война, когда я приехала учительствовать в Никольскую школу. Мне поручили первоклассников. В январе без учителя остался и второй класс. Приняла и его. Заниматься приходилось во вторую смену. Класс этот был особый — в нем учились только воспитанники детского дома. У них не было родителей. Недоставало обуви и одежды, с питанием тоже испытывали трудности. Дети выглядели худенькими и не по годам серьезными.

Вот среди этих маленьких сирот я и приметила сухощавого невысокого мальчишку с черными волосами и черными проницательными глазами. Сидел в среднем ряду на второй парте и чаще других попадался на глаза. К тому же всегда, когда я спрашивала урок, Коля первым поднимал тоненькую ручонку. Знает. Иногда и вертится, не слушает, а спросишь — ответит без запинки.

Он был очень любопытен. Едва ли не каждую перемену подходил со своими друзьями к моему столу и задавал массу вопросов: как, почему, где, что? — все надо знать ему. Старался быть первым во всем. Задачки решал лучше всех, писал лучше всех (четкий бисерный почерк у него был).

А если что читаешь, особенно стихи, он и ротишко раскроет. Обожала я Пушкина, много знала наизусть,

Никитина — тоже. И ученики мои полюбили их стихи. И сказки. Видимо, что любит учитель, то прививается и детям.

На уроках грамматики читала ребятам предложения из произведений Пушкина и Никитина, разбирала их. Учили стихи. Коля обязательно спросит: «А вы знаете все наизусть? Расскажите». И вот я читаю «У лукоморья...», или «О попе и о работнике его Балде», или еще что-нибудь. Смеются. Коля громче всех. А я рада, что их лица просветлели.

Коля любил читать стихи и читал хорошо. Встанет, расставит ноги, смотрит куда-то вдаль и декламирует, а сам, кажется, мысленно — там, с героями стихотворения. Я часто ставила его декламацию в пример остальным: читайте вот так; а ну, расскажи еще раз, пусть ребята поучатся. Книжки интересные читай ему хоть каждый день! Кончаются уроки, и опять слышу Колин голос: «А сегодня будем читать?»

Мальчик Рубцов обладал тонким вкусом. Однажды в мае дети шли в школу и по пути набрали букет цветов, принесли мне. Я похвалила их. После уроков Николай и его друзья отправились на луга и принесли букет еще лучше. Он не был большим, но выглядел очень красиво, цветы подобраны умело, будто художником.

Никого не обидит. Дружил и с девочками, особенно с Ниной Пашиной. Его старшим другом был Вася Шадрин. Дружил он и с братом Васи, Павликом.

Помогал в учебе слабым. Скажешь: «Коля, можешь объяснить, как задачу решить?» — он сразу же и охотно выполняет поручение.

Как сейчас вижу: идет зимой по улице в стареньких ботиночках, поношенная шапчонка сдвинута на одно ухо. Руки красные, как гусиные лапки,— не было рукавичек. Кое-как отогреешь их, а ребята уже снова торопятся на улицу. Зальют горку водой и катаются — и на ногах, и на боку, и на спине. Покроются лужи льдом, дети тут как тут и рано утром, и поздно вечером. Один раз три друга выкупались в ледяной воде. Пришли мокрые, как утята, но едва обсохли — снова на лед, уже на другую лужу.

Росла ель на берегу Толшмы у Попова гумна. Там их любимое место для купания. Ой сколько их там собиралось и на песке, и в воде — не сочтешь! Место глубокое. Коля хорошо плавал и учил этому других. Летом часто с Васей Шадриным ходил ловить рыбу удочками. Целыми

днями сидят на берегу, обхитрят пять-десять рыбешек, нанижут на ивовый прутик и, довольные, несут на кухню.

Любил домашних животных. Посмотришь — ребята едут с водовозом на лошади. Тут и Рубцов обязательно. Кто ведет лошадь за повод? Рубцов. Кто сел верхом и погнал лошадь на водопой? Опять же он.

От многих других отличала мальчишку исключительная честность. Однажды в школьном коридоре разбил он стекло. Никто этого не видел — другой бы умолчал, а он сразу ко мне пришел. Рассказывает, а у самого слезы на глазах, испуганно смотрит на меня. Ведь война. И стекол нигде нет. А когда я сказала, что стекло найду и завхоз вставит, его глазки снова засияли, стали доверчивыми. Извиняется: не нарочно разбил, поскользнулся.

...Потом он уехал из Никольского. Служил на флоте, работал, учился. Времена для него были трудные, но не отступил, учился. Хватило мужества — ведь ему никто не помогал материально. Вот бы пораньше заметить его способности, его талант! Доброты в нем было через край, доверчивости — еще больше: простота, не знающая границ... Вот такой человек и вырос в большой советской семье. Эта семья — Никольский детский дом, Никольская школа, что в Тотемском районе.

# ТАТЬЯНА РЕШЕТОВА



## «СКОЛЬКО ЛЕТ ПРОНЕСЛОСЬ...»

Родилась я в деревне Космово Междуреченского района. После окончания 7 классов в селе Шуйском поступила в 1950 году в Тотемское педучилище. В Тотьме мы и познакомились с Колей Рубцовым.

В те годы молодежь жила проще, работали с огоньком, умели и веселиться от души. Принято было в Тотьме собираться на танцы в лесном техникуме у «короедов» (как мы их звали) или в педучилище у «буквоедов» (так они нас называли). Танцевали под духовой оркестр или под гармошку. Глубокой осенью 1951 года (или зимой, точно не помню) мы с девочками пришли на танцы в лесотехникум. Народу в зале было много, тесно, ребята то и дело приглашали нас с подругой на танец. Отбоя от парней не было...

На очередной танец нас пригласили двое ребят. Меня вел в вальсе улыбчивый паренек, темноволосый, небольшого роста, одет, как и большинство его ровесников, в комбинированную хлопчатобумажную куртку, черные брюки. Все было отглажено, сидело ладно. Красивое лицо с глубоко посаженными черными глазами — все это как-то привлекало мое внимание. А главное, он все время что-то говорил, улыбался и хорошо танцевал.

В тот вечер ребята пошли нас провожать. Оглянувшись по дороге, я увидела, что сзади идет и мой симпатичный партнер по танцу. Позднее я узнала, что это Коля Рубцов.

Вечера танцев бывали часто. Коля на каждом из

таких вечеров настойчиво добивался моего внимания, но безуспешно. Вскоре по какому-то случаю он послал мне поздравительную открытку, на обратной стороне ее были написаны стихи. Я поняла, что это его стихи. Но такие обидные для меня, злые! Оценивая меня, он не жалел ядовитых эпитетов. Резкие очень стихи были. Мне показалось, что он несправедлив ко мне, и в гневе тут же я порвала открытку.

Теперь я уже не замечала Колю. Да вскоре и он перестал появляться. Слышала, что он не стал учиться в лесотехникуме и уехал поступать в горный.

Потом были письма, фотографии, признания в любви. Затем, летом 1954 года, встреча на выпускном вечере в педучилище. Он каким-то образом приехал поздравить меня с окончанием учебы. Это и сразило меня... Теперь уже только он провожал меня с выпускного вечера, с ним бродили мы по берегу Сухоны, дожидаясь ночного рейса парохода на Вологду. И теперь уже кто-то другой шел сзади нас и мешал нам. Об этом вспоминает Рубцов в стихотворении «У церковных берез»:

*У церковных берез,*
*почерневших от древности,*
*Мы прощались,*
*и пусть, опьяняясь*
*чинариком,*
*Кто-то в сумраке,*
*злой от обиды и ревности,*
*Все мешал нам тогда*
*одиноким фонариком...*

Это автобиографическое стихотворение. Рубцов сам говорил об этом при последней встрече, позднее. А тогда, в далекой юности, на пристани в Тотьме я плакала, провожая Колю, то ли от скорой разлуки, то ли от сознания, что и мне через несколько дней придется расстаться с милым мне городком, где прошла пусть полуголодная и полураздетая, но чистая и светлая юность.

В августе 1954 года неожиданно Николай приехал ко мне на родину в Космово. Тогда были приняты такие визиты, и ничего дурного тут не было. Он приехал с приятелем, который дружил с моей деревенской подругой Ниной Курочкиной. Мы вот-вот должны были отправиться на работу — в числе пятерых выпускников нам выпала доля учить детей русскому языку в Азербайджане.

Попал Коля в атмосферу внимания и ласки моей мамы (она узнала, что Коля сирота) и, истосковавшись по материнской ласке, он признавался мне, что хотел бы называть мою мать мамой. Говорил, что ему не хочется отсюда уезжать. Был август, поспела малина. С деревенскими девчатами и моими сестрами мы ходили по ягоды в лес. Для Коли интереснее была дорога в лес, природа, чем сама малина. «Смотри, какая красота!» — говорил он. Часто сидел на берегу речки Шейбухты или уходил в поле, в рожь. Таким я его и запомнила.

Из-за чего-то мы поссорились с ним, как часто бывает с молодыми людьми в 18—19 лет. Компромиссов молодость не знала. Коля уехал из деревни.

А вскоре мы с сокурсницами отправились на работу в Азербайджан — пароходом до Вологды, а затем поездом через Москву. Каково же было мое удивление, когда после отправления поезда в нашем вагоне появился Рубцов с гармошкой. Кажется, до полуночи мы пели под гармошку наши любимые песни. Я с ним не разговаривала, побаивалась, что он поедет за мной до Баку. А ведь там и для нас с подругами были неизвестность и страх. Коля нервничал, злился. А я еще не понимала, что обманываю себя, играя в любовь. Видимо, это было очередное увлечение. Николай почувствовал это и утром в Москве сказал мне, чтоб я не волновалась, едет он в Ташкент. Так мы расстались в Москве с нашей юностью... Но остались его стихи.

*И все же в холодные ночи*
*Печальней видений*
*других —*
*Глаза ее, близкие очень,*
*И море, отнявшее их...*

Писем я Рубцову из Азербайджана не писала, а спустя много лет случайно в газете прочла его стихи: «Дорогая! Любимая! Где ты теперь? Что с тобой? Почему ты не пишешь?..» Так мимо меня, не задев моего сердца, и прошла любовь человека, глубоко чувствующего, позднее талантливейшего поэта России Николая Рубцова. Видно, судьба...

Были потом еще и письма, и стихи, и приезд его в мою деревню к маме, чтоб повидать меня (по словам мамы), но, к сожалению, я была с мужем в отъезде в Ле-

нинграде. Погостив с неделю и не дождавшись меня, Николай уехал.

Была и последняя случайная встреча на улице Вологды летом 1969 года. Я узнала от него, что многие стихи его связаны с воспоминаниями о нашем знакомстве.

*Давно душа блуждать устала*
*В былой любви,*
*в былом хмелю...*

# ВАЛЕНТИН САФОНОВ



# НИКОЛАЙ РУБЦОВ

## Повесть памяти

*Часть первая*

## НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ

### Корабль

1

Эти заметки о нашей юности, о службе на флотах российских я определяю как повесть памяти. Память, однако, даже не подверженная склерозу,— инструмент, далекий от совершенства. Так вот, воскресить прошлое мне помогают дневники, которые вел я много лет подряд, начиная со второго класса. Дядька мой Петр Васильевич Скуратов, послевоенный редактор районной газеты в моем родном селе, буквально из-под палки приобщил меня к этому каторжному для несмышленыша труду: «Записывай, когда-нибудь пригодится!» Неволя со временем обернулась потребностью, привычкой.

Долгое время не мог набраться смелости перечитать их, удерживало какое-то нежелание возвращаться в прошлое, какое-то смутное чувство стеснения перед самим собой, боязнь, которой и сегодня объяснить не могу.

Но вот решился, тем не менее, перечитал. И удивился не только скрупулезной подробности, с которой запечатлена в дневниках былая наша жизнь, но и тому, какими мы были. То есть — отстраненно, с дистанции — разглядел я вдруг тех двадцатилетних мальчишек, проник в их мысли и потаенные мечтания, услышал их споры и разговоры, узнал их ошибки и заблуждения, увидел, что они читали, что сами писали, куда рвались душой. И самое главное для меня в этой повести памяти — нарисовать атмосферу тех лет.

Все пишущие о Рубцове непременно говорят о раннем его сиротстве, детском доме, службе на эсминце. Но это, так сказать, голые факты, внешние детали бытия. Мне же кажется совершенно необходимым раскрыть внутренний мир тогдашнего нашего существования, нравственный облик времени. Из ничего ничего не бывает. Поколение военных поэтов и прозаиков входило в литературу в гимнастерках, с опытом Великой Отечественной войны за плечами. Следом за ними выплеснулись на эстрадные подмостки сверстники Евтушенко и Вознесенского. Мы были их моложе на каких-нибудь пять-шесть лет, но мы были другими. Не писали автобиографий, биографий искусственно не лепили, жили естественной жизнью. И духовно нам был ближе негромкий опыт именно писателей военного поколения, нежели шумное лицедейство наших старших сверстников. Наверно, потому как раз помнили мы и жестокую боль войны, что сами по многу лет носили бушлаты и бескозырки.

Сегодня я с благодарностью вспоминаю тот давний день первого послевоенного года, когда Петр Васильевич подарил мне толстую тетрадь в твердом переплете, сказав при этом: «Первую запись сделаешь немедленно, в моем присутствии». И корю себя за то, что с годами утратил привычку к ведению дневника.

## 2

Все, даже и не видевшие моря, представляют, что такое корабль.

Не всем, однако, ведомо, что такое служба на боевом корабле. И многолетняя, изо дня в день, жизнь в четко ограниченных пространствах металлических отсеков. Но призвали — служи! Целых четыре года! И, положа

руку на сердце, скажу: эти четыре года были для нас превосходной школой жизни. А о корабле в стихотворении «Корабль», которое очень нравилось Рубцову, замечательно сказал наш флотский поэт Валерий Белозеров. Приведу здесь две строфы — первую и последнюю:

*Железные палубы, трапы, надстройки,*
*Железные поручни, люки, обрезы...*
*Железные кубрики, пиллерсы, койки —*
*Железо, железо, сплошное железо...*
*Открытые лица, широкие груди,*
*Железные палубы, трапы, обрезы,*
*Железные нервы, железные люди —*
*Железо, железо, сплошное железо.*

Помню, когда Валерий, в то время судовой врач, впервые прочитал эти стихи на занятии литобъединения, мы долго и потрясенно молчали. А затем поднялся Николай и торжественно изрек:

— Классика! Как тихоновская «Баллада о гвоздях».

И мы согласились с ним, ибо каждый подумал, что, наверное, так же мог бы сказать о себе, о своей службе на корабле, но вот не сумел, а старший лейтенант Белозеров сумел...

Теперь, по прошествии лет, понимаю, что Колина оценка стихотворения была несколько завышенной. Но ведь теперь-то я щеголяю в цивильном пиджаке — не в бушлате.

В те годы флотской нашей юности Рубцов был очень общительным человеком. С отчаянной смелостью врубался в любой разговор о литературе, тем паче о поэзии. Если сам читал стихи или вслух размышлял о чьих-то — тут Колю слушать не переслушать. И замыкался он лишь в том случае, когда невзначай или с назойливым интересом касались начал его жизни: где родился? возле кого рос? Коснуться этих самых начал — все равно что открытую рану зацепить: Рубцов или молча злился, или отвечал грубостью.

Конечно, все это — и злое, не подступись, молчание, и нарочитая грубость — лежало на поверхности, было формой самозащиты. А в душе его постоянно жила огромная, невыразимой силы, негаснущая тоска по родительской ласке, которой он, осиротев в младенчестве, не запомнил; тоска по отчему крову над головой, которого никогда не было в его жизни.

Как-то он меня спросил:

— У тебя родители живы?

— Живы.

— Отец воевал?

Я молча кивнул, испытывая странное стеснение и не решаясь рассказать, что не только отец — вся наша семья, включая меня и брата Эрика, прошла через войну, начиная с самого первого ее дня. Что пережили мы и угрозу расстрела, из-под которой увел нас назначенный немцами и раскаявшийся староста, и колючую проволоку концлагеря, и лесные партизанские землянки.

— Ты счастливый: отец и мать есть — не пропадешь! — позавидовал Николай.— А я вот всю жизнь один. И всю жизнь боюсь затеряться. В детдоме боялся. И потом, когда бродяжил, менял адреса и работу. И в учебке тоже, когда выдернули из привычной одежки.

Справедливости ради замечу, что мы с ним дружили на равных, не обижая друг друга, и, наверно, я знал его больше, чем другие наши ребята в литературном объединении, и был он со мной открытее и откровеннее. Потому и не поразило и не смутило меня его стихотворение, напечатанное однажды во флотской газете «На страже Заполярья». Начиналось оно строками: «Над вокзалом — ранних звезд мерцанье. В сердце — чувств невысказанных рой...» И дальше речь шла о том, как моряк-отпускник приезжает на побывку, обнимает на пороге дома родную мать.

Все — от первого лица.

Стихи-призрак, стихи-мечта!

Кстати, в этих стихах Коля буквально повторяет слова из более ранних «Деревенских ночей: «...крики перепелок, ранних звезд мерцание». Теперь «Ночи» поют как романс.

## 3

Мы жили литературой, жили поэзией — обостренно, взволнованно, взахлеб. И я еще скажу об этом особо, а здесь напомню лишь, что год нашего призыва на службу — 1955-й. Что незадолго перед тем умер Сталин. Что именно на время нашей флотской службы пришелся XX съезд партии, сурово осудивший культ личности. Решения съезда ошеломили и потрясли нас. Отчетливо помню собственные ощущения тех лет: если в книге, взя-

той из корабельной библиотеки, спотыкался на имени Сталин — откладывал ее, не дочитав. Потому, наверное, искал преимущественно классику.

Было много споров, много разговоров; и неясного, смутного хватало. Вот почему дорожили мы каждой возможностью вырваться на занятия литературного объединения. Вырывались не только ради занятий, подчас довольно бледных... Главное начиналось после — когда, разбившись на группки, бродили мы по улицам Североморска или уходили в сопки, подальше от начальства и несговорчивых патрулей. Тут уж доставало и споров, и суждений!

«Железные люди с железными нервами» тоже подчас давали слабинку. Помню, флотская газета напечатала подборку стихов Вити К. С портретом автора — молодцеватого старшины второй статьи,— с теплым напутствием. Такие подборки были традицией, почти все члены литобъединения прошли через эту купель, через этот обряд крещения. Витя, человек неуступчивый и сверх меры самолюбивый, на радостях «заложил за воротник» и, уличенный в непозволительном проступке, надерзил начальству. Его, естественно, наказали, «зарубив берег», то есть надолго лишив увольнений. А когда праведной службой добился он прощения — пришел к нам с надрывной жалобой:

— Обрыдло все!

— Что — все?

— Да все на свете! И чертовы эти сопки, похожие на сухари, и окаянное море.

— Море-то при чем? — спросил я, изрядно обиженный на бравого старшину: моими стараниями его подборка увидела свет, мне же первому и нагорело за его грехи.

— А при том! — взъярился Виктор.— Куда ни глянь — каждая вещь с казенным клеймом. Подушка, на которой сплю, одеяло, которым укрываюсь, простыня. На полотенце клеймо, на робе, на бескозырке! И сами клейменые, словно каторжные.

Зло сплюнув, он отвернулся и пошел вниз по улице Сафонова, самой в те времена красивой — парадной — улице. А мы стояли на широких ступенях Дома офицеров, в одном из зальчиков которого только что отзанимались литобъединенцы, и растерянно смотрели ему вслед. Хоть бы руку, что ли, подал на прощание!

— Виктор! — позвал я негромко.

— Не надо,— тронул меня за рукав Рубцов.— Не стоит.

— Нелепо все, глупо,— возразил я.— Надо догнать.

— Не стоит,— повторил Коля. И, нахмурив лоб, после паузы, выговорил с сожалением: — Не будет из него поэта. Только себя и видит, и никого вокруг больше.

Рубцов оказался прав в своем пророчестве. Вот уже и десятилетия минули с того момента, как простились мы с флотом, а Виктора в литературе — с поэзией ли, с прозой — так и не встретил я ни разу.

Вспоминая не единожды эту картинку, снова и снова прокручивая ее в воображении, я думал: вот Рубцов-то как раз всю жизнь спал на клейменых подушках и укрывался одеялом с казенным клеймом. В детдоме, на флоте, в общежитии Литературного института. Вот он-то как раз больше, чем кто-либо другой, имел право сказать, что все ему обрыдло.

Ан нет, и намеком не обмолвился!

Еще штрих — и к портрету поколения, и к портрету Рубцова.

Зашел разговор о событиях в Египте: по времени пришлись они на осень пятьдесят шестого года. Арабам империалисты не могли простить национализации Суэцкого канала: против Египта с ходу развязал войну Израиль, на стороне Тель-Авива немедленно выступили англичане и французы.

По флоту была объявлена повышенная готовность: тревоги игрались поминутно, спали мы не раздеваясь, да и громко это сказано — спали. Счастлив уже, коли вырубишься на полчаса — до очередной сирены.

Мир, казалось, висел на волоске. Вот-вот полыхнет она, третья мировая...

Все, к счастью, обошлось. Прежде всего потому, втолковывали нам, что твердую и непреклонную позицию занял Советский Союз.

Так вот, вспоминая те дни, Рубцов обмолвился, что писал заявление с просьбой отправить его в Египет в составе интернациональной бригады. На помощь страдающему народу.

Мы бредили интербригадами, нам не терпелось взять оружие в руки. Из уст в уста передавали, что на одной «тридцатке-бис» (модель эсминца) подобные заявления написали сто тридцать матросов и четыре офицера.

— Ну и что у тебя вышло? — спросил я с сочувствием.

— Толку не вышло,— ответил он.— Вызвал «святой отец» и прочитал «проповедь». Тем и кончилось!

«Святой отец», так мы называли заместителя командира корабля по политчасти, вызвал и меня. По такому же точно поводу. И сказал, что кандидату в партию, молодому коммунисту, надлежит удерживать матросов от искренних, но неумеренных порывов, а не подогревать всякие там настроения.

— Все понял? — поинтересовался зам. под занавес. На флоте не принято отвечать «нет».

— Так точно, понял! — гаркнул я и вышел за дверь, не столько потрясенный, сколько раздавленный тем, что наш интернационализм подрублен под корень.

## ЕСЕНИН

### 1

К Есенину у Рубцова отношение особое. «...Невозможно забыть мне ничего, что касается Есенина»,— однажды напишет он мне. Но это будет позже, в пятьдесят девятом, когда мы всерьез начнем искать следы пребывания Сергея Александровича в Мурманске.

Что я знал тогда о Есенине? Что мы все знали о нем?

Теперь вот думаю, что имя Есенина в памяти народа хранилось всегда. Как и великое имя Пушкина. Роились вокруг этого имени легенды, домыслы, преувеличения, но в каждой побасенке, в каждом расхожем анекдоте явственно слышалась всечеловеческая симпатия к большому и незаслуженно обиженному после смерти поэту. Обиженному тридцатилетним забвением.

Помню, районный судья Петр Егорович Сухов за кружкой пива, в предбаннике, рассказывал мужикам, как после гражданской войны служил он в Константинове участковым милиционером. И как Есенин, приехав к матери, в загуле перебил стекла в теткином доме. Сухов, по долгу службы и не без помощи местных мужиков, связал буяна. «Развяжи!» — потребовал поэт, отоспавшись. И, освобожденный от уз, надавал блюстителю порядка звонких пощечин. Меня, мальчишку, поразило, что об этих пощечинах судья вспоминал как о почетной награде.

Знание о поэте, пусть и искаженное, неверное, приходило к нам раньше его стихов.

Правда, мне повезло. Логику в средней школе преподавал нам Владимир Васильевич Аббакумов. Фронтовик, потерявший на войне ноги, юрист по образованию, он страстно любил поэзию. Прознав, что я пишу стихи, пригласил меня домой. И мне, единственному слушателю, часа три кряду читал Есенина наизусть. А потом под честное слово одолжил «до завтра» прижизненный томик поэта. Я спрятал книжицу в карман куртки и вылетел на улицу, забыв попрощаться: боялся, что учитель передумает, отберет Есенина назад. Весь вечер и всю ночь напролет при скудном свете лампы-семилинейки и переписывал стихи в тетрадь. Весь том, до заключительной точки... А после, к великому удовольствию однокашников и неудовольствию школьного начальства, читал Есенина на вечерах. Уходя на службу, взял тетрадь с собой.

Знал я, понаслышке, конечно, и о том, что жива еще Татьяна Федоровна — мать поэта, сестры Шура и Катя.

— Эх, поговорить бы с ними! — загорелся Николай.— Вот расскажут...

## 2

Обращаюсь к дневниковым записям. По их содержанию можно судить о том, как открывали мы для себя Есенина.

**Учебный отряд. 7 февраля 1956 г.**

В овладении специальностью, ежели верить полученным оценкам, дело идет отлично, фактически же этот критерий вряд ли заслужен мною. Учу и учусь, правда, в меру, но без желания особенного! Любовь к механике во мне так и не проявилась. Была бы это литература!..

Кстати о литературе. С интересом ожидаю бандероли от Эрика, в которой твердо надеюсь обнаружить альманах «Литературная Рязань» с новым (и пока единственным) романом А. Чувакина «Урожай» и с оценкой Назыма Хикмета по творчеству Есенина...»

Примета времени, середины пятидесятых: литературные альманахи издавались едва ли не в каждом областном городе. Меня о жизни рязанских пиитов и беллетристов аккуратно информировал брат: восемнадцатилетний Эрнст Сафонов был в то время студентом Рязанского пединститута, но занятиям в аудитории предпочитал «поденку» в областных газетах.

«20 марта 1956 г.

Альманах «Литературная Рязань» прочел залпом. «Урожай» Чувакина — серая, недоделанная вещь, скорее, объединенные в целое газетные очерки и репортажи.

Остальное тоже оставляет желать лучшего.

Заслуживает внимания публицистика Прокушева о С. Есенине. Наконец-то начинают менять мнение об этом пока не признанном большинством поэте.

Народ еще не знает Есенина-лирика, Есенина — тонкого певца человеческих чувств и страстного патриота своей многострадальческой Родины. В гениальном поэте видят, к прискорбию, хулигана, блатнягу, автора пресловутого «Луки».

Здесь, пожалуй, необходимо сделать небольшое уточнение, дабы не бросать тени на весь народ. В том, что наипошлейшего «Луку» сочинил Сергей Есенин, меня горячо и долго убеждал капитан-лейтенант Е., корабельный артиллерист. И был очень рассержен тем, что я не принял на веру его слова.

«Североморск, борт эсминца «Смышленый». 21 декабря 1956 г., пятница.

Вчера кончил читать «Печаль полей» С. Ценского, поэму в прозе.

Анна, жена Ознобишина, внешне и внутренне чем-то удивительно напоминает Анну Снегину из поэмы Есенина. Именно такой я почему-то и представлял ее себе...

«Соскучась» по Есенину, наведался в гости Рубцов. Я достал из рундука тетрадь с есенинскими стихами, вырезки из газет, альманах «Литературная Рязань», еще какие-то книжки. И мы ушли в машинное отделение, подальше от посторонних глаз.

На крышке металлического ящика, набитого ветошью, и устроились мы со своим духовным богатством. Вернее, устроился Николай, а я, чтобы не мешать ему, ушел на свое заведование — к маневровому устройству. Работа на корабле, тем паче у механика, всегда есть, лишь бы руки не ленились: крути гайки, драй медяшки...

Коля прочитал все, что было у меня о Есенине, а тетрадь, не открывая, спрятал за пазуху, под суконку.

— Это я один читать буду, дома,— сказал, по справедливости разумея под домом свой кубрик.

Какими-то днями позже брат прислал мне двухтомник Есенина, выпущенный в 56-м году в Госиздате.

Светло-сиреневый переплет, зеленое пятно неприхотливого пейзажа на обложке.

Вот это был праздник!»

Мне и теперь они дороже многих нарядных изданий, эти затрепанные, с оборванными уголками страниц, томики есенинских стихов и поэм. Всякий раз, когда беру их с полки, невольно думаю о том, что мои друзья-моряки узнавали Есенина по этим книжкам. Без сомнения, в те времена это было самое полное собрание поэта.

Да, вот еще, чтобы не забыть. Тогда, в машинном отделении, мы не читали друг другу собственных стихов. Даже, кажется, и в голову не пришло такое — читать себя. Говорили только о Есенине...

## 3

Взрослели мы — взрослело наше знание о Есенине. Память народа и время сняли запрет с имени поэта. И точно плотину прорвало! В театрах столичных и периферийных городов профессиональные декламаторы выступали с программами «из Есенина». Провинциальные издательства, пусть и робко, с оглядкой, начали выпускать сборники его стихов. Критики и литературоведы чуть ли не соревнование затеяли, кто из них больше и лучше скажет о Сергее Александровиче.

Так, субботним вечером 24 января 1959 года моряки встречались с народным артистом СССР Николаем Константиновичем Симоновым. Посмотреть на исполнителя роли Петра Первого хотелось, конечно же, многим: зал в Доме офицеров был битком набит. Симонов начал вечер не с рассказа о сцене и кино, а — неожиданно для всех и потому под аплодисменты — с эпизода о том, как в 1918 году видел в Самаре Маяковского, Бурлюка и Есенина. Первые двое, повествовал очевидец, эпатируя благородную публику, гуляли по улицам в трусах и персидских халатах, размалеванные во все цвета радуги. Есенин же был одет в пестрядиную российскую рубаху и мужицкие порты, подпоясанные веревкой.

«Мне в эту встречу не верится, выдумал ее Симонов»,— в тот же день записал я в дневнике.

Рубцов Симонова не слышал. Но реакция его, когда я рассказал ему о вечере в Доме офицеров, была еще более энергичной:

— Чушь! Врет твой Симонов...

## 4

Я после демобилизации уже работал во флотской газете «На страже Заполярья». Как раз в это время где-то вычитал, что Есенин бывал в Мурманске. Запись в дневнике по этому поводу предельно лаконична:

«12 января 1959 года, понедельник.

...Отдельно — Есенин. Поэт был в Мурманске. Факт. И все! Белое пятно в литературе.

Стереть пятно!

Вот эта задача особенно влечет и волнует меня сейчас».

Смутно припоминаю, что о посещении Есениным Мурманска рассказывал мне и некий седовласый капитан дальнего плавания: я приезжал к нему из Североморска за материалом для флотской газеты.

Написал Рубцову на корабль, который в это время базировался близ Мурманска. И вскоре получил ответное письмо, в котором были такие строки:

«...Сперва о деле. Ты говоришь, что необходимо (или желательно) узнать подробности поездки Есенина в Мурманск. Действительно, это надо сделать, и кто-то должен добиться здесь успеха, т. е. узнать, что требуется. К сожалению, для меня это пока почти невозможно, поскольку, сам знаешь, я на службе, и потому лишен свободы действий.

Надо бы поехать в Мурманск и на месте попытаться найти людей, которые помогут. Перепиской вряд ли чего добьешься, но, не имея других средств, я все-таки написал одно письмо в Ростов-на-Дону знакомой преподавательнице литературы, она любит Есенина и прекрасно знает его биографию. Недавно она тоже была в Мурманске продолжительное время. Может, подскажет, с чего начать. А если в подходящее мурманское учреждение написать? Мало толку?

Что бы там ни было, помнить об этом буду постоянно. Да и невозможно забыть мне ничего, что касается Есенина. О нем всегда я думаю больше, чем о ком-либо. И всегда поражаюсь необыкновенной силе его стихов. Многие поэты, когда берут не фальшивые ноты, способны вызвать резонанс соответствующей душевной струны у читателя. А он, Сергей Есенин, вызывает звучание целого оркестра чувств, музыка которого, очевидно, может сопровождать человека в течение всей жизни.

Во мне полнокровной жизнью живут очень многие его стихи. Например, вот эти:

*Кто видал, как в ночи кипит*
*Кипяченых черемух рать?*
*Мне бы в ночь в голубой степи*
*Где-нибудь с кистенем стоять!*

Так и представляется, как где-то в голубой сумрачной степи маячит одинокая разбойная фигура. Громкий свист... Тихий вскрик... И выплывает над степью луна, красная, будто тоже окровавленная...

Что за чувства в этих стихах? Неужели желание убивать? Этого не может быть! Вполне очевидно, что это неудержимо буйный (полнота чувства, бьющая через край,— самое ценное качество стиха, точно? Без него, без чувства, вернее, без нее, без полноты чувства, стих скучен и вял, как день без солнца), повторяю: это неудержимо буйный (в русском духе) образ жестокой тоски по степному раздолью, по свободе. Неважно, что образ хулиганский. Главное в нем — романтика и кипение, с исключительной силой выразившие настроение (беру чисто поэтическую сторону дела). Вообще, в стихах должно быть «удесятеренное чувство жизни», как сказал Блок. Тогда они действительны...»

Мне кажется, эти строки из письма Рубцова в комментариях не нуждаются. Коля тут весь на виду, прозрачен насквозь: и в своем отношении к Есенину (...невозможно забыть мне ничего, что касается Есенина. О нем всегда я думаю больше, чем о ком-либо»), и к поэзии вообще (цитирую Блока: «...в стихах должно быть «удесятеренное чувство жизни»). Да и не только цитирует — чуть ниже выносит безжалостный приговор серости, бесталанности: «...в большинстве стихов наших флотских, как ты называешь, пиитов (да и не только наших) как раз недостает этого. Какие-то скучные, схематичные стишки. Не стоит говорить о том, что они не будут жить: они рождаются мертвыми...»

Некая наивность стиля, сбивчивость в изложении легко объяснимы: письмо писалось, что называется, «из-под полы», во время политзанятий.

В 1984 году в журнале «Литературное обозрение» (№ 2) были опубликованы письма Алексея Прасолова. Вот что писал он о Есенине в октябре 1965 года:

«Есенин — это та песня, которая несет отсвет вольной Руси, не мыслимой сегодня и не могущей так раскованно повториться. Никого не оставляет эта песня равнодушным, потому что наше вчера еще так недалеко (та вольная буйная стихийная сила), и как бы ни замкнули нас железные условия прогресса, цивилизации — молодость наша легко ранит своей песнью, отголосок которой — во всем Есенине.

Это — только об одном его луче. А их у него много — и все живые».

Я прочитал это письмо и замер, пораженный сходством оценок, тем, как одинаково верно и одинаково глубоко понимали Есенина и судили о нем Николай Рубцов и Алексей Прасолов. И даже в схожести житейских их судеб, в раннем трагическом исходе есть что-то одинаково роковое, неотвратимое.

## 5

Я не занимаюсь литературоведением, пишу — по памяти, дневникам и сохранившимся письмам — лишь о том, что было. Не хочу быть пристрастным и утверждать, что Есенин оказал решающее влияние на стихотворчество Рубцова. Это не так, конечно. Но вот возникло однажды высказанное неким критиком и ставшее едва ли не расхожим мнение, что Рубцов целиком вышел из сюртука Тютчева и Фета, что он — прямой продолжатель их поэтической линии в нашей советской литературе. Не знаю, не знаю... Глупо было бы мастерить литературные весы и укладывать на одну их чашу эталоны с табличкой «Воздействие Есенина на Рубцова», на другую — «Воздействие Тютчева и Фета...». Какая из чаш, де-мол, перетянет?.. Николай Михайлович тем и хорош, что, к счастью, самостоятелен, оригинален был в поэзии. Достоверно же и непреложно одно: Тютчев и Фет пришли к нему гораздо позже Есенина, пришли уже к сложившемуся, умелому мастеру. Кстати говоря, круг литературных привязанностей Рубцова не ограничивался тремя названными именами. Он и Блока не чужд был — отнюдь! И виртуозное мастерство Хлебникова импонировало ему. А Пушкин! А Гоголь!.. Он многое знал и помнил, потому что много читал и прочитанное основательно «переваривал» в себе.

А первооткрывателей из нас не получилось. Сколько

ни ходили мы по «следам» Есенина в Мурманске — нас, увы, постигла неудача. Ни очевидцев его пребывания в этом городе не сыскали, ни документов не нашли. Может, не слишком настойчивы были в своих поисках?

Да нет, настойчивости, задора и желания хватало, но, видно, не с того конца за поиски взялись. А вот недавно я узнал, что мурманский поэт Владимир Сорокажердьев оказался удачливее нас. Ему — об этом он сам сообщает в письме — удалось установить, что Сергей Александрович Есенин предпринимал в свое время поездку в Мурманск, но до конечной цели маршрута не добрался. Так тогда, в двадцатые годы, сложились обстоятельства...

## ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ

### 1

Спасибо родному Северному! Флот и денно и нощно (слово к месту, ибо долгую полярную ночь со счетов не сбросишь) пекся о своих начинающих поэтах и прозаиках. 28 июля 1957 года организованно оформилось литературное объединение при газете «На страже Заполярья». Теперь мы уже встречались не от случая к случаю, а в дни занятий, заведомо зная, чья проба пера станет предметом разговора. Политуправление рекомендовало командирам частей не чинить нам препятствий с увольнениями (если, конечно, мы не имели замечаний по службе). Нам даже билеты выдали, вернее, удостоверения. Плотные корочки в синем — традиционного морского цвета — переплете, с девизом «За нашу Советскую Родину!», с названием материнской организации: «Редакция газеты «На страже Заполярья». По внутреннему полю слева значилось, что «тов. имярек является членом литературного объединения при газете Северного флота «На страже Заполярья», а справа содержалась просьба к командованию части «оказывать тов. имярек всяческую помощь и содействие в организации и подготовке материалов для флотской газеты, а также предоставлять ему возможность регулярного посещения занятий литературного объединения». К удостоверению этому, скрепленному печатью и подписью редактора газеты, даже бестрепетные патрули относились с долей почтения.

На сохранившемся у меня удостоверении значится номер 29. В списках объединения я шел следом за Николаем, так что номер его документа, скорее всего, двадцать восьмой.

На одном из занятий был принят устав объединения. Самой серьезной карой — за нарушение дисциплины, аморальные проступки, плагиат — было исключение без права возврата. При желании можно было бы вспомнить две-три шумные истории — и с так называемой «аморалкой», и с плагиатом. Думаю теперь не без грусти, что, по молодости лет, были мы бескомпромиссны, а порой и безжалостны.

Литобъединение не только сдружило нас — и показало, чего мы стоим. Есть в моем дневнике такая запись: «Сегодня замначПО некто Буржимский передал мне мнение капитана Матвеева (что-то вроде заведующего несуществующим литотделом в редакции «На страже Заполярья») о моих последних стихах: «Стихи написаны на уровне поэтов-профессионалов, и мы сомневаемся, что такие стихи может написать простой матрос (?!). Потому и не решаемся их печатать — из-за боязни плагиата». Ну что ты будешь делать? А я полагал, что нужно стараться писать лучше. Ан скверно выходит дело! Чем лучше пишешь, тем меньше шансов печататься в газете...»

Минет какое-то время, и, став сотрудником все той же газеты «На страже Заполярья», я отплачу Матвееву звонкой монетой. Повод для этого представится неожиданный: в отделе вдруг запахло мертвечиной, да так, что дышать невмоготу. Помытарились, посудачили и — вызвали мастеровых. Те подняли половицы и обнаружили под ними дохлую крысу, которой и вечная мерзлота не мешала интенсивно разлагаться.

*Стихи — они не сапоги,*
*Вся суть, наверное, в поэте:*
*Матвеев прочитал стихи —*
*И крыса сдохла в кабинете,—*

тотчас вслух сообразил я. Через полчаса этот немудреный стишок повторяла вся редакция. Самолюбие Владимира Васильевича было задето, да так, что и два десятилетия спустя, в подвале ЦДЛ, не преминул он выговорить мне за прошлое.

Но это к слову, мимоходом. А вообще-то, уж коли мои незатейливые вирши заронили искру сомнения в душу

Владимира Васильевича, что говорить о стихах Коли Рубцова! И его, бедного, поначалу не публиковали по той же самой причине: а дано ли такое рядовому матросу?! И только когда сошлись мы ближе, когда воочию узнали цену каждому — развеялись все сомнения, исчезла необходимость подозревать и проверять...

## 2

Это потом уже, годы спустя, в известном ныне всем стихотворении Рубцова «Стукнул по карману — не звенит...» появится пронзительная концовка:

*Если только буду знаменит,*
*То поеду в Ялту отдыхать...*

И возвышенно-грустное название свое — «Элегия» — обретет это стихотворение позже. В таком виде, строго говоря, будет оно опубликовано на сотой странице сборника «Звезда полей», выпущенного издательством «Советский писатель» в 1967 году.

Мы, североморцы, услышали это стихотворение десятью годами раньше. Был у нас в заводе добрый обычай: каждое занятие литобъединения завершать чтением юмористических стихов, экспромтов, пародий и эпиграмм друг на друга, чаще всего сочиненных тут же, по ходу разговора. Молодые все были, зубастые, случалось порой, слово опережало мысль: где бы и подумать, помолчать — ан нет, спешишь высказаться...

Вот в такой как раз обстановке и прочел Рубцов стихи, которым в будущем суждено будет стать «Элегией». И не было в ней, то бишь в них, в стихах, ни слова о Ялте: последняя строфа целиком повторяла первую, только глагол «полетели» стоял в настоящем времени. И «зенит» соседствовал с другим эпитетом: «безоблачный». Вот так читалось: «В коммунизм — безоблачный зенит улетают мысли отдыхать...»

Мы — три десятка моряков, летчиков, солдат, военных строителей — восприняли это стихотворение как шутку, не более. А иначе и быть не могло. Давайте вспомним:

*Но очнусь и выйду за порог*
*И пойду на ветер, на откос*
*О печали пройденных дорог*
*Шелестеть остатками волос.*

*Память отбивается от рук,*
*Молодость уходит из-под ног,*
*Солнышко описывает круг —*
*Жизненный отсчитывает срок...*

Очень уж не вязалась печальная наполненность этих строк с обликом автора — жизнерадостного морячка. Впрочем, даже не то, что не вязалась — противоречила ему. Был Николай, как уже сказано, ростом невелик, но крепок. Пышные усы носил — они ему довольно задиристый, этакий даже петушковатый вид придавали. Короткую, по уставу, прическу, в которой если и содержался намек на будущую лысину, то весьма незначительный. Да и не впервой надел он тельняшку — успел, до военного-то корабля, на рыболовных походить. Помните: «Я весь в мазуте, весь в тавоте, зато работаю в тралфлоте...» А стихи читал напористо, энергично — не так, как читал позже, на гражданке, когда стал если и не знаменитым еще, то достаточно известным.

Повторяю, мы воспринимали это стихотворение как шутку. И по-своему были правы. Кто из нас, двадцатилетних, мог всерьез воспринять строки о памяти, что «отбивается от рук», о молодости, что «уходит из-под ног»? Жизненные дали для нас, по сути, только начинались...

После — надолго — первые строки этого стихотворения стали для литобъединенцев своеобразным паролем. Встречаясь — в увольнении, на занятиях ли — кто-то протягивал руку, приветствуя товарища, и с улыбкой изрекал: «Стукнул по карману — не звенит...» «Стукнул по другому — не слыхать...» — неизменно подхватывал второй. Так оно, в общем-то, и было, по этой вот строчечной сути: велико ли жалованье у матросов и старшин срочной службы?!

Сам автор, помнится, читал стихотворение с улыбкой, чуть виноватой. Вроде бы говорил: не принимайте всерьез, ребята...

Вот ведь как все обернулось!.. Не знаю, успел ли Николай в Ялту. А на сохранившейся у меня коллективной фотографии литобъединения он все тот же: значок отличника ВМФ на суконке, перемежающиеся полоски тельняшки, пышные усы, задиристые, цепкие глаза.

В сборниках Николая Рубцова «Элегия» датируется шестьдесят первым или шестьдесят вторым годом. А это

неправильно: надо бы ставить пятьдесят седьмой или пятьдесят восьмой. Среди тех, кто слышал ее в то время, были и нынешние писатели Борис Романов, Станислав Панкратов, Юрий Кушак, Илья Кашафутдинов, Владимир Матвеев, Александр Золототрубов, журналисты Олег Лосото, Владимир Ивачов, Лев Сузин...

Нужно сказать, что у нас, литобъединенцев, служба и творчество шли, говоря по-флотски, параллельными курсами. Нас никто не освобождал от вахт, от выходов в море, от исполнения нелегких моряцких обязанностей. Более того, участвовать в работе литературного объединения имели право только отличники боевой и политической подготовки, и «добро» на такое участие давалось в каждом случае командиром части или корабля. В то же время Политуправление Флота и редакция газеты постоянно привлекали нас к выпуску тематических и литературных страниц, поручали нам подготовку различных листовок и агитплакатов. Очень часто выступали мы в подразделениях, на кораблях, в матросских клубах, в Домах офицеров и даже на «голубом экране» — студии только что народившегося в Мурманске телевидения. Силами литобъединения было выпущено несколько сборников поэзии и прозы, и в сохранившихся у меня книжках немало страниц со стихами матроса Николая Рубцова. В феврале 1959 года увидел свет первый номер нашего альманаха. Имя ему дали мы, исходя из своего географического положения «Полярное сияние». Насколько я знаю, уже и после того, как распрощались мы с Севером, альманах продолжал выходить в свет, хотя никого из нашего поколения североморцев и в литобъединении, и в редакции флотской газеты уже не осталось.

Но это — к слову. Речь же о том, в каком котле мы варились, какую получали закалку. Скажу, не кривя душой: это была отличная школа. Не объяснишь случайностью тот факт, что более двадцати человек из нашего литобъединения — все сверстники почти, ровесники, одного года призыва ребята («годки» — на флотском языке) — стали членами Союза писателей СССР. Многие бывшие матросы и старшины сегодня — профессиональные журналисты или издательские работники, получившие после службы образование в Литературном институте, в Московском и Ленинградском университетах.

## 3

Однажды Николай прочитал стихи, в которых царапнули слух слова «клавиатурное сопрано».

— Тут что-то не так,— заметил я.

— Сам чую, что не так. А как надо?

Но «как надо», я тоже не знал. И мое музыкальное образование ограничивалось уроками пения в начальной школе.

Вертели так и этак, прикидывали, взвешивали и... пришли к мысли, что все-таки правильно: «клавиатурное» — от слов «клавиши, клавиатура».

Коли правильно — можно и успокоиться. Тем паче что и ребята в литобъединении придерживаются той же точки зрения. Ум, как известно, хорошо, два — лучше, а тут вон сколько умов сразу!

На следующем занятии Коля просветленно возвестил:

— Олухи мы все! Не клавиатурное, а колоратурное сопрано...

Точно ведь, колоратурное! И что за наваждение, как это мы все забыли?

— Ты-то каким образом вспомнил? — спросили его.

Ухмыльнулся загадочно:

— Нашлась добрая душа, просветила...

С той же самой поры держу в памяти и четыре строчки из другого его стихотворения:

*Июньский пленум*
*Решил вопрос:*
*Овсом и сеном*
*Богат колхоз...*

Продолжения не помню.

Едкие, насмешливые стихи. «Писал на политзанятиях»,— признался.

# ГАДЖИЕВА, 9

## 1

В Североморске до поры до времени моим пристанищем стал дом № 9 по улице Гаджиева. Мы четверо — Стас Панкратов, Володя Соломатин, Юра Кушак и я — жили коммуной, и это была необыкновенно замечатель-

ная жизнь! Комната, заставленная узкими солдатскими койками и раскладушками. Два стола с грудами рукописей на них. Пишущая машинка «Москва» с разболтанным шрифтом. Фотокамера на подоконнике. Книги — тоже на подоконнике и на полу, стопками.

Ребята, конечно же, и не подумали запастись в зиму дровами, а дом был тот еще — финский, «сборно-щелевой», битком набитый сквозняками и морозом! В разверстую пасть прожорливой печки летело все, что подвертывалось под руку: подшивки газет, старая обувь, черновики. Прогорало моментально, тепла не набиралось и столько, чтобы у приоткрытой дверцы согреть руки. Кушак и Соломатин спали не раздеваясь, в пальто и шапках, мы со Стасом держали форму: отбивая дробь зубами, разоблачались до трусов, ныряли под одеяло, как в прорубь во льду. В какую-то особо лютую минуту родился лозунг: не возвращаться домой без полена! Научились прихватывать у заборов, благо темень — хоть глаз выколи. Соломатин однажды перестарался: выдергивая полешко, развалил всю поленницу, зашиб ногу. На шум выскочил хозяин, спустил на Володьку здоровущего пса. Спасение было в одном: отбиваться поленом. И Володька остервенело отбивался, и вернулся к родному очагу искусанным, хромым, но — победителем, с трофеем под мышкой.

Потолок в своей обители мы сплошь залепили фотографиями, а Новый год встречали у елки, подвешенной к этому самому потолку, причем висела она, украшенная черновиками и авторучками, макушкой вниз. Вечером первого января елку со всеми украшениями торжественно сожгли все в той же печке.

— Весело живете, парни,— позавидовал Рубцов, навестив нас в увольнении.— Я про вашу хату песню сочиню.

Песни «про нашу хату» он не сочинил, но наведывался часто. А однажды, когда живший за стенкой сосед пришел ругать нас за то, что не топим печь и воруем его тепло, Коля поднялся со стула, простер длань с указующим перстом и торжественно изрек:

— Вы грубый, невоспитанный человек в грязных сапогах. Вам нет места в этом храме. Немедленно выйдите вон!

Ошарашенный сосед, тупо моргая, послушно скрылся за дверью. Мы рассмеялись.

— С чего ты про сапоги завернул? Он же в шлепанцах ввалился.

— Мне показалось, что в сапогах. В грязных,— на полном серьезе ответил Рубцов.

Навряд ли он сохранился до нынешних дней, этот дряхлый дом на улице Гаджиева. А я вспоминаю его, как вспоминают молодость: с теплой грустью в душе. Хватило в нем места и для Ильи Кашафутдинова, и для Олега Лосото, и для Володи Ивачова, когда их тоже позвали служить в газету, и для многих других отчаянно неустроенных и отчаянно веселых парней.

Нет уже в живых Володи Соломатина, работавшего после Севера в секретариате «Литературной России». Умер Коля Рубцов. Мы, живые, порой не встречаемся годами. Но если повезет, если столкнемся на каком-нибудь писательском совещании — разговор невольно начинаем так:

— А помнишь, на Гаджиева, девять...

## 2

Редактор флотской газеты Михаил Ефремович Овчаров, несмотря на полковничьи погоны, был добрейшей души человек. Он обладал драгоценным даром подметить любой мало-мальский талант. Сколько возился он с нами, молодыми, как щедро открывал страницы газеты для наших стихов, рассказов, очерков, как много сил и сердечного жара вложил в выпуск нашего альманаха «Полярное сияние»!

Имя Николая Рубцова, как и имена других флотских поэтов и прозаиков, все чаще появляется в печати. И не только под стихами (или над заголовками таковых). Вот, к примеру, любопытная цитата из фельетона Георгия Семенова, обрушившего свой сатирический бич на графоманов. Поучая их необходимости бережного отношения к поэзии, к слову, фельетонист говорит: «...к 25-летнему юбилею Флота вышел литературный сборник «На страже Родины любимой». В нем напечатаны стихи военного летчика Василия Выхристенко, подводника Владимира Жураковского, радиотелеграфиста Александра Проценко, дальномерщика Николая Рубцова... Не вдаваясь в анализ творчества начинающих флотских поэтов, хочется отметить, что на каждом стихотворении, вошед-

шем в сборник, лежит печать трудолюбия. Сами же авторы ничем не выделяются среди окружающих, это скромные люди... Все они познали первую радость творческого успеха, влившись в литературное объединение...»

Пишущий жаждет печататься. Это естественно. Нам мало было газеты, хотелось видеть свои творения на страницах книг.

Политуправление пошло навстречу: выпустили несколько сборников.

Аппетит приходит во время еды: возжелали постоянного издания. Всерьез мечтали о журнале для Северного флота, стопроцентно убежденные, что по художественным своим достоинствам не уступит он ни «Советскому воину», ни «Советскому моряку». А ежели очень постараться — можно и переплюнуть их.

Наверно, в тщеславном своем честолюбии мы так запугали будущих своих конкурентов, что в журнале нам отказали наотрез (иначе и быть не могло). Зато разрешили альманах журнального типа, который и нарекли мы «Полярным сиянием».

Запись в дневнике:

«14 февраля 1959 года, суббота.

Наш альманах помалу готовится к выпуску. Прискорбен тот факт, что едва ли не 50 процентов всей печатной площади заняты под вирши, большой стихотворный обзор, песни и снимки В. Матвеева. Подготовка альманаха была сосредоточена в руках этой «звезды седьмой величины» (он о себе), редколлегия оказалась слабовольной. Но черт с ним, жаль вот только, что многие талантливые ребята не попали. Рубцов, например, Волоха Соломатин...»

«Ах поэты, забавный народ!..» — воскликнул некогда Есенин. Забавный... Со сколькими знаком и дружен, сколько начинающих стихотворцев приходит ко мне сейчас, неся в руках тонкие тетради с первыми опытами, а в душе — груз неведомых надежд. Двое или трое, из глубинки, взяли за правило читать новые стихи по телефону, загадав мне тем самым непосильную загадку: из каких таких гонораров оплачивают они дорогостоящие междугородные переговоры?! Но в общем-то я о другом. О том, что даже самый застенчивый и наискромнейший из поэтической когорты про себя уверен, что именно он подарит миру заветное, сокровенное, небывалое слово. Что именно ему потрясенное человечество отольет памятник из чистого золота.

Владимира Васильевича Матвеева, в то время капитана, начальника отдела культуры в газете, мы по-свойски звали Володей. В расположении духа любил Володя рассуждать о поэзии, о месте каждого в ней. Чтобы быть понятней, привлекал на помощь астрономию.

— На небе,— втолковывал за чашкой чая,— есть звезды первой, второй и других величин. Так и в поэзии. Твардовский — звезда первой величины. Б. и Ф.,— называл известных поэтов-маринистов,— звезды второй величины. Ну а я, наверно, пока седьмой,— потупя очи долу, скромничал он. И тут же вносил поправку: — Но все равно звезда!

— Да что там звезда! — не выдержал однажды Коля Рубцов.— Солнце ты, Владимир Васильевич. Незаходящее солнце кольской поэзии.

Так оно, «солнце кольской поэзии», и привилось применительно к Володе.

Не знаю и припомнить теперь не могу, почему в первый номер альманаха не вошли Колины стихи. Может, сам Рубцов не подготовил подборку к сроку. А может, и Владимир Васильевич перестарался, чересчур щедро подавая себя. «Солнце» рассверкалось вовсю, и другие флотские поэты, представленные каждый одним-двумя, отнюдь не из лучших, стишатами, выглядели в этом сиянии бледно и немощно.

Обернулось все это скандалом. Запись в дневнике: «12 апреля 1959 года. Занятие литературного объединения. Вели разговор о выпуске второго номера альманаха. Общее сетование по поводу того, что в номер первый не вошли стихи Н. Рубцова».

Сетование — мягко сказано. Разговор был жарким, штормовым. В пух и прах изругали Матвеева и единодушно — вот что главное! — сошлись во мнении, что Рубцова следовало подать шире, чем кого бы то ни было.

Так оно и сталось — по-сказанному. Во втором номере «Полярного сияния» Николай был представлен полнее всех других поэтов: разворотом, россыпью стихов на отдельных страницах, даже пародией. Впрочем, пародия была не его — на него.

## 3

Теперь о пародии.

Есть у Рубцова небольшое стихотворение, главная героиня которого — наша неприхотливая, стойкая северная береза. Впервые оно было опубликовано в газете «На страже Заполярья», потом вошло в юбилейный сборник «На страже Родины любимой». Вот оно, это стихотворение:

**Северная береза**

*Есть на Севере береза,*
*Что стоит среди камней,*
*Побелели от мороза*
*Ветви черные на ней.*
*На морские перекрестки*
*В голубой дрожащей мгле*
*Смотрит пристально березка,*
*Чуть качаясь на скале.*
*Так ей хочется «Счастливо!»*
*Прошептать судам вослед.*
*Но в просторе молчаливом*
*Кораблей все нет и нет...*
*Спят морские перекрестки,*
*Лишь прибой гремит во мгле.*
*Грустно маленькой березке*
*На обветренной скале.*

Такие вот сентиментальные, и не без влияния классика, вирши. Но Колина «Березка» вдруг вызвала бесчисленное множество подражаний. В редакцию хлынул поток стихов о полярной березке, отдел культуры оказался буквально заваленным ими. Машинистки задыхались, перепечатывая письма с убедительной просьбой к военкорам больше не тратить вдохновения на милую сердцу карликовую березку. Военкоры, не вняв просьбе, упрямо продолжали рифмовать «березу» с «материнскими слезами» и «девичьими косами». Тогда-то мы, сотрудники отдела — Станислав Панкратов, Юра Кушак и автор этих строк, «осердясь» на Рубцова, породившего «Березу», подражателей и подражания и задавшего нам столько работы, и сочинили пародию. Позднее, в ряду других, опубликовали ее во втором номере альманаха «Полярное сияние». Переписываю ее оттуда.

*Н. Рубцову*
и прочим поэтам, воспевшим заполярную березку (список бесконечен).

**Березка заполярная**

*Есть на Севере береза,*
*Что стоит среди камней,*
*Есть на Севере береза —*
*Дай попробую о ней!*

*Распишу ее, раскрашу.*
*В голубой дрожащей мгле*
*Хороша береза наша,*
*Лучше нету на земле.*

*Пусть о ней стишата хлипки,*
*Но коль дан пиитам дар,*
*Обдерут ее как липку,*
*Изведут на гонорар.*

Не обольщаю себя надеждой относительно художественных достоинств нашего коллективного творения. Но свершилось чудо! Пародия, прочитанная поначалу на занятии литобъединения, сделала свое дело: стихи о березке, насколько я помню, больше в редакцию не приходили. А Коля Рубцов, слушая пародию, улыбался. Те, кто близко знал его, помнят, как умел он улыбаться: застенчиво, смущенно. И, как бы подводя итог всей этой истории, сказал:

— Все правильно, ребята. Согласен и не в обиде. Как-то бездумно мы иногда пишем: берем то, что лежит на поверхности...

Подозреваю, втайне он был доволен тем, что незатейливое его стихотворение так взбаламутило флотских стихотворцев.

Но мог ли я думать в то время, что через много лет услышу своеобразное продолжение этой истории? Весной 1975 года черновицкие писатели пригласили в гости группу рязанских литераторов: наши области с давних пор и дружат, и соревнуются меж собой. Остановились мы в гостинице «Буковина». Там, в холле, поджидая товарища, разговорился я однажды с коридорной. Милая женщина, белорусска по национальности, она рассказала,

как во время войны пятнадцатилетней девочкой партизанила, как съездила минувшей осенью на встречу боевых друзей в Полесье. Затем — по какому случаю, не вспомню — сообщила, что ее родственник недавно отслужил срочную на Северном флоте, что вечерами приходит в гости к ней, к ее мужу, и «поет под гитару моряцкие песни, очень красивые — то веселые, а то и грустные».

— Вот эта мне особенно нравится,— сказала женщина.— Сейчас я вспомню ее, попробую напеть...

И напела. Слова я узнал сразу: «Северная береза». Те самые Колины стихи. Но Рубцов, доподлинно знаю, сам под гитару их не пел. Выходит, когда-то и где-то, в кубрике какого-то корабля, кто-то из моряков, перебирая струны гитары, придумал для незамысловатых в общем-то слов и мелодию не очень-то хитрую, а получилось душевно, хорошо.

Это тоже высокое качество рубцовской поэзии: многие его стихи поются, и песни те, можно сказать, по всем признакам народными стали.

## В ЗАПАС

### 1

По дому тоскуют все — и первогодки, и «старички». Но тоска у тех и других неодинаковая. Салажонок, которому, по присловью, служить как медному котелку, то есть бесконечно долго, в будущее старается не заглядывать. А тоску-печаль свою изливает в длинных посланиях знакомым девушкам, где чаще всего напропалую врет про свои воинские доблести. У старослужащих позиция иная. Тут все: и беспокойная думка о том, как устроить свою судьбу после службы, и неуемное стремление подстегнуть время, убыстрить бег дней, оставшихся до желанного «дембиля». Иные умельцы, дабы не впасть в отчаяние, а домой вернуться в лихой военно-морской красе, часами обтачивают козырьки для неуставных, стачанных на заказ «мичманок», перешивают клеши и суконки.

Рубцову тоже предстоит увольнение в запас. И нет у него никаких планов на будущее, только смутная тревога в душе. Подтверждение тому — строки из письма,

которое получил я от него в феврале пятьдесят девятого года:

«...О себе писать ничего пока не стану. Скажу только, что все чаще (до ДМБ-то недалеко!) задумываюсь, каким делом заняться в жизни. Ни черта не могу придумать! Неужели всю жизнь придется делать то, что подскажет обстановка? Но ведь только дохлая рыба (так гласит народная мудрость) плывет по течению!»

Те же мотивы и в другом письме, которое принесли мне в последний день мая. Его, пожалуй, стоит привести полностью.

«Валя, здравствуй! Здравствуй!

Пишу тебе из мурманского госпиталя. Требовалась легкая операция — вот я сюда и угодил.

Дня три-четыре мучился, потом столько же наслаждался тишиной и полным бездействием, потом все надоело. На корабль не очень-то хочется, но и здесь чувствуешь себя не лучше, чем собака на цепи, которой приходится тявкать на кошку или на луну.

Обстановка для писания стихов подходящая, но у меня почти ничего не получается, и я решил убить время чтением разнообразной литературы. Читал немного учебник по стенографии — в основном искал почему-то обозначения слов «любовь» и «тебя», читал новеллы Мопассана, мемуары В. Рождественского в «Звезде», точнее, в нескольких «Звездах», и даже «Общую хирургию» просматривал. Между прочим, пришло здесь в голову, кажется, удачное сравнение: моряк обязан знать свое дело, как хирург свое дело знает. Каждый моряк.

Еще занимаюсь игрой в шахматы.

В понедельник или во вторник на следующей неделе выпишусь.

Ночами часто предаюсь воспоминаниям. И очень в такие минуты хочется вырваться наконец на простор, поехать куда-нибудь, посмотреть на давно знакомые места, послоняться по голубичным болотам да по земляничным полянам или посидеть ночью в лесу у костра и наблюдать, как черные тени, падающие от деревьев, передвигаются вокруг костра, словно какие-то таинственные существа.

Ужасно люблю такие вещи.

С особенным удовольствием теперь слушаю хорошую музыку, приставив динамик к самому уху, и иногда в

такие минуты просто становлюсь ребенком, освобождая душу от всякой скверны, накопленной годами.

Ну, хватит об этом.

Посылаю тебе два стихотворения: «Дан семилетний план», «Сестра». Первое озаглавлено строкой Н. Асеева, этот заголовок измени, если хочешь, как хочешь.

Второе написано с посвящением девушке-медсестре.

Не подумай, что я влюблен, точнее, не подумай, что только я в нее влюблен: ее любят все за ее чудесный характер и работу. С ней говорить — то же, что дышать свежим, чистым воздухом.

Если что не пойдет в газету, сообщи об этом.

В прошлое воскресенье случайно увидел Проценко. Он к кому-то приходил в госпиталь. Поговорили немного о делах, так сказать, литературных.

Ну, будь здоров!
До свидания!

С приветом, с горячим дружеским приветом

*Н. Рубцов.*

P. S. В стихах о семилетке в последней строфе слова «Ведь в каждом деле...», может, лучше заменить на «И в каждом деле...». Посмотри. В таком случае после сл. «растущее» надо будет, наверно, поставить многоточие?

А ты получил стихи «Первый поход»? А будет напечатано «Счастливого пути»?

Ответ пиши, конечно, не на госпиталь, на прежний адрес».

Прежде чем заняться комментариями к этому письму, я заглянул в дневник. Освежить в памяти, чем жили мы и чем жила страна в те последние дни мая 1959 года.

Наши заботы были негромкие. Я, к примеру, только что вернулся из командировки в Заполярный и Никель — молодые северные города. В Заполярном мне повезло: среди его строителей-добровольцев встретил девушек-землячек — героинь своего будущего очерка. А Никель произвел удручающее впечатление: «Газы, выделяющиеся при выплавке никеля из руд, уничтожают все живое: вокруг голые стволы когда-то огромных красавиц сосен, трава не растет, и только человек живет»,— записал я в блокноте.

Это, как говорится, во-первых. А во-вторых, нашей вольнице, нашей коммуне на Гаджиева, 9, пришел конец, о чем также свидетельствует запись в дневнике: «Стах

(Панкратов) в отпуске. Не успел доехать до дому — получаем телеграмму: женился! Предлагает подумать нам о жилье. Вполне обоснованно. Нужно выметаться».

Выметались по-разному. Хитрый Юра Кушак вызвал из Москвы жену с ребенком, и Михаил Ефремович, поворчав для порядка, выбил-таки для него комнату в таком же «сборно-щелевом» доме, но уже на окраине Североморска, на улице Восточной. А я, холостой-неженатый, надолго перетащил свою раскладушку в редакцию, в тесный кабинет художника Коли Рубаненко. О мои ноги, торчащие из-за приоткрытой двери, по утрам спотыкался заместитель редактора Василий Прокопьевич Беловусько. Отношения у нас с ним, начисто лишенным чувства юмора, с самого начала были отнюдь не радужные, теперь же он и вовсе грыз меня поедом.

Впрочем, все это, как уже сказано, явления заурядные, второстепенные. Личного, так сказать, порядка. А вот запись о событии куда более значительном: «...завершил свою работу III съезд писателей.

Особенного, мне кажется, в жизнь литературы советской он ничего не внесет.

Понравилось выступление Твардовского. Хорошо говорили Б. Зубавин, А. Калинин.

Хрущев в своей речи занимался тем, что рассказал несколько анекдотов писателям и призвал их быть лакировщиками. В дурном понимании этого слова. Иначе о выступлении премьера не скажешь».

В те же примерно дни меня из культотдела перевели на должность литературного секретаря. «В целях улучшения работы редакции» — так было сказано в приказе. Я отчаянно сопротивлялся, но... дисциплина оказалась сильнее. И запись в дневнике по этому поводу предельно скорбная: «Работаю в секретариате, с потерей в жалованье. Ребята смеются: последователь Гагановой».

Строкомером я овладел быстро, и шрифтами на полосе научился играть — дальше некуда, но лишился живого дела!.. А потом вдруг обнаружилось, что, получив доступ к редакционному портфелю, я могу чаще ставить на полосу рассказы, очерки, стихи наших авторов. И я не то что смирился — успокоился.

А теперь вернемся к письму Рубцова. Кое-что в нем требует уточнения или пояснения.

Саша Проценко, матрос, с которым Николай случайно встретился в госпитале, был одним из активнейших в

нашем литобъединении поэтов, печатался во флотской газете, в коллективных сборниках.

«А будет напечатано «Счастливого пути»? — спрашивает Рубцов в постскриптуме. Тут вот о чем речь. Под такой рубрикой газета наша в то время — не от случая к случаю, а довольно часто — печатала поэтические подборки с обязательным портретом автора, с коротким напутственным словом кого-нибудь из товарищей по перу. Подборку Николая мы тоже дали, но вот сколько ни ворошил свои бумаги — не нашел вырезки с его «Счастливым путем». И теперь мне хочется попросить нынешних молодых поэтов и прозаиков Северного флота: если вам, дорогие друзья, попадутся на глаза эти строки — полистайте в архивах редакции подшивку газеты «На страже Заполярья» за 1959 год, начиная с июня месяца. Вы обязательно найдете эту подборку.

Сохранились, вместе с письмом, и оба стихотворения, о которых упоминает Николай. Думается, нет надобности приводить здесь первое из них — «Дан семилетний план». На мой взгляд, оно отличается заданностью, прямолинейностью, нехарактерно для Рубцова.

Зато сколько мягкого, неназойливого, истинно рубцовского юмора в простеньком стихотворении «Сестра»! (Там и посвящение конкретному человеку — «Медсестре Д. Наде», кстати сказать, фамилия на оригинале указана полностью.)

Вот это доброе свойство — смотреть на окружающий мир, на свое в нем место с мягкой и грустной улыбкой — будет блестяще проявлено Николаем в его поздних стихах. В таких, к примеру, как «Родная деревня», «Старпомы ждут своих матросов...», «Добрый Филя», «Медведь», «Про зайца...». Как в знаменитой «Шутке» («Мое слово верное прозвенит!..») или в крохотных по размеру стихотворениях «Узнала» и «Коза». Господи боже мой, да разве ж перечислишь все! И не мое это вовсе дело — пусть разбором поэзии занимаются профессиональные критики. То же, что я сейчас пишу,— всего лишь набросок к портрету товарища, робкий черновик.

Итак, «Сестра» (разбивка строк в стихотворении соответствует оригиналу).

*Медсестре Д. Наде*

*Наш корабль с заданием*
*В море уходил,*

*Я ж некстати в госпиталь угодил.*
*Разлучась с просторами*
*Синих волн и скал,*
*Сразу койку белую ненавидеть стал.*
*Думал, грусть внезапную*
*Как бы укротить?*
*Свой недуг мучительный*
*Чем укоротить?*
*«Жизнь! — иронизировал.—*
*Хоть кричи «ура»...*
*Но в палатку юная вдруг вошла сестра.*
*Словно гений нежности,*
*Гений доброты,*
*Обратилась вежливо,*
*Жаль, что не на «ты».*
*— Это вы бушуете? —*
*В голосе укор.*
*Ласковей добавила:*
*— Сделаем укол.*
*Думал я о чуткости*
*Рук, державших шприц,—*
*И не боли — радости*
*Не было границ.*
*Знать, не зря у девушки*
*Синие глаза,*
*Как цветы, как русские наши небеса.*

Подпись под стихотворением: старший матрос (старшим стал!) Рубцов Николай. И номер воинской части, то есть в этом случае адрес воинского госпиталя.

В газете это стихотворение не публиковалось. Не знаю, читал ли его Николай медсестре Наде, скорее всего — нет. Но подозреваю, что именно обаяние Нади и заставило его искать стенографические обозначения слов «люблю» и «тебя».

И еще вот на что хочу обратить внимание — на то, как перекликаются строки из первого письма со строками из второго. В первом: «...все чаще (до ДМБ-то недалеко!) задумываюсь, каким делом заняться в жизни...». Во втором: «Ночами часто предаюсь воспоминаниям. И очень в такие минуты хочется вырваться наконец на простор, поехать куда-нибудь, посмотреть на давно знакомые памятные места...»

Тот, повторю, кому довелось служить в армии или

на флоте, знает: последний год — он самый трудный. И тоска по дому теребит сердце, и в то же время неуверенность волнует: сможем ли мы, уже отвыкшие от гражданки, найти себя, свое место в цивильной жизни? Человек с характером, с темпераментом Коли не мог позволить себе плыть по течению, делать то, что подскажет обстановка. Не мог он уподобиться лежачему камню, под который вода не течет. И всей своей короткой, стремительной жизнью доказал это.

Он и заветное свое желание «послоняться по голубичным болотам да по земляничным полянам или посидеть ночью у костра» успел исполнить. Бродяжничал (в самом лучшем смысле этого слова) по Руси — вечный странник, непоседа, не имеющий ни кола, ни двора. Истинный Поэт!

Но все это будет потом, потом. А пока — госпитальная жизнь, которая пусть и легче корабельной, «но и здесь чувствуешь себя не лучше, чем собака на цепи». Со стихами не ладится, оттого и читает все подряд; и, вечно тоскующий по вниманию, по ласковому слову, влюбляется, и даже в шахматы, люто ненавидимые им, играть пробует. Выйдя из госпиталя, вернется на корабль, продолжит боевую службу. Даже — превосходный ведь был моряк-то, знал свое дело дальномерщика не хуже, чем хирург знает свое! — успеет стать старшиной второй статьи.

## 2

Из госпиталя он вернулся просветленный и, если здесь уместно это слово, обновленный.

— Что с тобой было, по какому случаю операция? — спросил его.

Беспечно махнул рукой.

— Ерунда!

И похвастался не без усмешки, что на дармовых харчах прибавил в весе, достиг упитанности «выше средней». Иронизировал, не догадываясь, что не за горами время, когда подолгу будет жить впроголодь...

Наверно, в предчувствии скорого расставания, встречались мы теперь, как никогда, часто. Был самый разгар полярного лета, и алый парус солнца круглые сутки плавал над головой, не желая прятаться за сопки. Мы ча-

сами шатались по улицам Североморска — вдоем, втроем, вчетвером. Все друзья, ровесники. Читали друг другу стихи — свои и чужие. Спорили — яростно, тоже друг друга не щадя. Мечтали о том времени, когда обретем уверенность в своих силах, чтобы написать об этом вот — о флоте, о Североморске, о юности своей на улицах Сафонова, Гаджиева, Полярной. Повести написать, поэмы...

Что-то подзадержались мы с исполнением этой мечты, а, ребята? Это я к Стасу Панкратову обращаю свой вопрос, к Юре Кушаку, к Илье Кашафутдинову, к Сереже Шмитько. И к себе самому.

Но это так, в порядке лирического отступления. Или напоминания о том, что долги надо платить.

Да, вот еще... Погода держалась на редкость теплая, и грибы на мшанниках росли чаще, чем карликовые березы. Уйма, пропасть грибов! Когда в городе дышать становилось невмоготу (изредка, а случается такое и на Крайнем Севере), мы подавались на Щука-озеро. Купались в обжигающе ледяной воде, бродили в сопках, то и дело кланяясь грибам.

Как-то уехали на редакционной машине: шофер, Юра Кушак, отважившийся на самоволку Коля Рубцов и я. В озеро Рубцов входил неохотно: кусается вода, жалит! Зато обилие грибов поразило его несказанно. Радовался как ребенок:

— Господи, да их тут косой не возьмешь!

К вечеру вернулись в редакцию и с двумя ведрами, полными отборных грибов, двинули на Восточную, к Юрке. Шагали бодрой рысцой, предвкушая, как отварим грибки да сыпанем на сковородку — экое будет жаркое! И тут случилось неожиданное: дорогу нам преградила хмельная ватага, особей этак шесть или семь. Матерятся, кулаками сучат. Запахло мордобоем. Мы с Юркой опустили ведра, готовые защищаться, а Коля проворно нагнулся и схватил с земли ребристый булыжник.

— Не подходи! — выкрикнул с исказившимся лицом.

Ватага покружилась вокруг нас и, матерясь, уступила дорогу.

— Это, кореша, не те, не они...— донеслось в спину сожалеющее, с хрипотцой.— Хотя и этим бы ввалить стоило.

— За Нинку изгваздать хотели,— пояснил всезнающий Кушак, имея в виду перезрелую сотрудницу редакции, за которой давно и не без успеха волочился тупо-

ватый сверхсрочник двухметрового роста. И уточнил: — А за Нинку вовсе и не нас надо...

— Колька,— сказал я Рубцову,— ты же противник всякого насилия, а тут... за камень сразу.

Он внимательно взглянул на меня: не смеюсь ли? И очень серьезно ответил:

— Я же детдомовский. Меня часто били. Может, вовсе убили б, да вот... приходилось иногда.— И, наверно, желая оправдаться, добавил: — Видал, какие жлобы! Каждый вдвое меня длинней.

Несостоявшаяся эта драчка почему-то запомнилась. Дело, скорее всего, в том, что впервые увидел я Рубцова, готового переступить черту...

А вот когда собираю грибы в своей Мещере — непременно оживают в памяти тот давнишний солнечный день в сопках, взрывная Колина радость, порожденная обилием грибов, и стихи его, написанные позже: «Сапоги мои — скрип да скрип...»

## 3

К осени солнце сошло на нет, скупыми, короткими стали светлые часы.

В воскресный день, получив увольнительную, Коля на катере добрался из Мурманска в Североморск и объявился у меня на квартире: в сентябре я как раз стал новоселом, на двоих с Олегом Лосото получил шестнадцатиметровую комнату в новом каменном доме.

— Проститься пришел. На этой неделе уезжаю. Точка! Отслужил...

Посидели, помолчали. По рюмочке-другой — каюсь! — в нарушение воинских уставов опрокинули.

— Куда же проездной выписываешь?

— Еще не надумал.— Грусть была в его голосе.— Может, в Вологду, в деревню подамся, а может, в Ленинград. Там у меня родственник на заводе работает. Приютит на первый случай. Ты все-таки питерский адрес запиши — оно вернее...— И с той же грустью добавил: — Четыре года старшина голову ломал, как меня одеть-обуть и накормить. Теперь самому ломать придется... Да не о том печаль. Ждал я этого дня, понимаешь? Долго ждал. Думал, радостным будет. А вот грызет душу тоска. С чего бы?

Я проводил его к причалу. Мы стояли на берегу. Был час прилива. Тугая волна медленно наступала на берег, закрывая отмели, тинистое дно, весь тот травяной, древесный и прочий хлам, который годами скапливается в море.

— Ты-то долго на Севере задержишься? — спросил он.

— Не знаю. Учиться нам надо.

— Надо, еще как надо! Только получится ли сразу?.. Все думаю, к какому берегу волна меня прибьет...

Истекало время его увольнения, и катер был готов отвалить от причала, и надо было прощаться. Мы обнялись.

— Ну будь!

— Будь!..

Он все стоял на палубе и размахивал бескозыркой, пока не скрылся катер из виду.

## 4

Через какое-то время я написал ему в Ленинград, собственно, не совсем даже в Ленинград — во Всеволжский район, на Невскую Дубровку, на улицу Первой пятилетки. То есть по адресу, который он и оставил.

Ответ пришел нескоро. Николай писал, что и мое письмо получил не сразу, «поскольку с прежнего места жительства... давно перебрался в Ленинград». Поздравлял меня с началом семейной жизни (его выражение) и по этому случаю даже непритязательные стишки сочинил:

*Пусть в дальнем*
*домике твоем*
*Никто ни с кем не лается.*
*Пусть только счастье*
*входит в дом*
*И все, что пожелается.*

Рассказывал о том, как ему живется (а жилось ему, судя по всему, не очень-то сладко). Интересовался делами в литобъединении, судьбой своих стихов. Жаловался на скудный гонорар из нашей газеты. Кланялся знакомым.

«Вообще,— писал,— живется как-то одиноко, без волнения, без особых радостей, без особого горя. Старею

понемножку, так и не решив, для чего же живу. Хочется кому-то чего-то доказать, а что доказывать и кому доказывать — не знаю. **А вот мне сама жизнь давненько уже доказала необходимость иметь большую цель, к которой надо стремиться»** (подчеркнуто мной.— В. С.).

Вроде и бодрым был тон в письме, а зябко мне стало, неприкаянно, когда раскрыл я его и прочитал. Будто воочию всю неустроенность, все одиночество Колино увидел. Пошел к секретарю редакции — выяснить, почему уволенному в запас североморцу такие скудные гонорары платят. И понимал: гонораром, даже самым высоким, тут немного поможешь.

То письмо было отправлено из Ленинграда 2 июля 1960 года. А еще через два года стоял я у дверей общежития на московской улице имени Добролюбова. Был поздний август, сумерки — тот хороший теплый час, когда и через силу не усидишь в стенах дома. Тем паче свежим воздухом подышать хотелось, потому что через день или два начинался для меня второй курс учебы в Литературном институте.

К общежитию подходили двое. И что-то в походке невысокого, одетого в белую рубашку с короткими рукавами парня показалось мне странно знакомым.

— Скажите,— окликнул он,— где тут...

И в ту же минуту лицо его дрогнуло, изменилось. И, наверно, изменилось мое лицо.

Такой неожиданно радостной была наша встреча.

— Колька, Колька,— укорил я,— зачем же ты усы-то сбрил?

— А-а, усы...— махнул он рукой.— Тут вон на голове волос совсем, считай, не осталось. Очень я это переживаю...

*Часть вторая*

# В ЛИТЕРАТУРНОМ ИНСТИТУТЕ

## Общежитие

### 1

Итак, мы обнялись у дверей общежития.

— А я предвидел, что на крыльце тебя встречу. Ехал в троллейбусе и знал: сейчас увидимся,— сказал Рубцов.

Это было на него похоже — вот так, убежденно, на полном серьезе, говорить о том, во что за минуту до того и сам не верил. Или о чем не подозревал. Хотя... Он же знал, что я учусь в Литературном, писал я ему об этом.

— Ты ведь ко мне вышел?

Я, наверно, разочаровал его, честно ответив, что вышел просто-напросто подышать.

— Но разве это что-нибудь меняет? — спросил я.— Давай чемодан, пошли на вахту. Помогу устроиться, а потом ко мне... Посидим, потолкуем.

Вот в эти первые мгновения встречи, в минуты бессвязного, прыгающего с одного на другое разговора и сфотографировал нас незамеченный нами Иван Кириллович Чирков.

Вездесущего Чиркова, или — попросту, по-студенчески — Кириллыча, без сомнения, помнят все выпускники послевоенного Литинститута. Значась преподавателем физкультуры, он, по-моему, больше преуспел в своем пристрастии к фотообъективу. Не сыщешь студента, которого он не умудрился бы «отснять». Подозреваю, что в архиве у Ивана Кирилловича богатейшее в мире фотособрание преуспевающих и несостоявшихся талантов. Только из публикации этих снимков с коротенькими хотя бы комментариями получится захватывающая повесть, где великое будет соседствовать с малым, а трагическое со смешным.

Поработав исподтишка, со стороны, Кириллыч подошел ближе, поздоровался, усадил нас на скамью в сквере и велел смотреть в объектив. Он, по-моему, не прочь был истратить всю пленку, но нашей выдержки хватило ненадолго: нас сжигало нетерпеливое желание наговориться вдосталь. Все же два, да нет, уже три года минуло с того момента, как расстались мы на североморском причале.

Шепнув Кириллычу, чтобы малость погодя поднимался наверх, в 207-ю, я, на правах старожила, перевалившего на второй курс, повел Николая в «общагу». Добрейшая Лидия Ивановна, помощница коменданта, тотчас определила ему комнату на пятом этаже, отомкнула каптерку. И пока Рубцов таскал матрасы и простыни, я этажом выше собирал на стол, застеленный газетами, нехитрую снедь.

## 2

— Ну вы живете тут! — восхитился он, предварительно постучав в мою дверь. Тоже, между прочим, деталь: даже в нашей бесшабашной литинститутской вольнице Коля никогда не входил в чужую комнату без стука. И тем отличался от многих других... А восхищение его, с которым переступил он порог, было, так сказать, восхищением вообще: Рубцова поразили порядки, царившие в стенах общежития (не нравы, а именно порядки) О нравах речь впереди...). Просторная комната на двоих, холлы с телевизорами, кухни и подсобки на каждом этаже, душ...

— Буржуями живете, все равно как в доме отдыха! — повторял он, пристраиваясь к столу. И вдруг вздрогнул, откачнулся: — А это зачем здесь?

Я проследил за направлением его взгляда: с тумбочки, свирепо щеря зубы, пустыми глазницами взирал на Рубцова голый череп.

— Для впечатления, Колька... Потомок Чингисхана, никак не меньше.

Череп этот с на редкость крепкими зубами и скулами явно выраженного монголоида привез из Киргизии, с раскопок какого-то захоронения, Женя Маркин. «Там все золото тащили, а я, дурак, ухватил эту черепушку и бегом от геологов,— вдохновенно врал он проездом в Рязань.— Пусть у вас поживет временно».

«Временно» не получилось — череп прижился постоянно. Ребята посвящали ему философские стихи о бренности земного бытия и растаскивали зубы на сувениры.

— Убери,— попросил Николай.— Не могу я... с ним.

Убрал, а когда «посиделки» наши кончились — запоздно, если не сказать на рассвете, снова водрузил его на тумбочку. Но Рубцов, приходя, уже не обращал внимания на эту, как я теперь понимаю, глупую и никчемную игрушку.

— А я, между прочим, уже книгу издал! — похвастался он в тот день, доставая из потертого ученического портфельчика пестро раскрашенную в синие, коричневые и зеленые цвета тетрадь. «Волны и скалы»,— прочитал я на обложке и, конечно же, с ходу насел на него:

— Подари!

— Не выйдет. Тираж больно маленький: всего два экземпляра. Один для автора, второй для издателя,—

заливал Рубцов, не выпуская тетради из рук.— После моей смерти подлежит обязательному уничтожению. Такова моя воля, так я написал в завещании...

Кочевряжился он недолго: я все-таки завладел сборником и убедился, что это отпечатанная на машинке рукопись, искусно сработанная под книгу.

— Могу подарить,— вдруг расщедрился Коля, но теперь я уже встал в позу:

— Подаришь, когда на самом деле издашь.

До сих пор не могу простить себе этой неумной выходки. Уверен, что у меня эта первая книга Николая Рубцова — а именно так называл он ее: первой своей! — сохранилась бы в целости.

Но где-то, у кого-то она все же сохранилась. А в общежитии, помню, ходила из рук в руки, читалась нарасхват. Кто-то даже пытался умыкнуть ее, и не единожды, но рано или поздно книга возвращалась к Рубцову.

...Снимаю с полки наши коллективные сборники, изданные на флоте, перечитываю Колины стихи. Волны и скалы — особенно любимый им, чаще всего употребляемый образ. Крутые, упругие волны и дремотные, хмурые скалы.

Иного названия у первой книги Рубцова и не могло быть. Оно — как итог четырехлетней службы на корабле и послефлотских скитаний, как приговор и дань прошлому, прожитому и пережитому.

Начинался новый день в его жизни, и, показалось мне, входил в него Николай Михайлович уже иным человеком.

## 3

Сборник «Воспоминания о Рубцове» (Северо-Западное книжное издательство, 1983 г.) изобилует свидетельствами очевидцев, подчас, на мой взгляд, довольно пристрастными. Перечитать все — сделать вывод: каждый из очевидцев приложил руку к становлению рубцовского таланта. И уже очерчивается круг действующих лиц, которые, якобы влияя на Рубцова, помогли ему подняться на невероятные творческие высоты.

Убежден, все это не так. Далеко не так. Николай Михайлович пришел в институт не подготовишкой, а мастером, способным создавать зрелые, поражающие воображение стихи. Иные из тех, кто тщится сейчас выдавать

себя за его учителей или доброжелателей, отлично понимали это. И завидовали его таланту. Порой зло завидовали и всячески старались принизить и унизить Рубцова, оскорбить насмешкой, завертеть, закружить в пьяном круговороте, выставить беспомощного — случалось и такое — за дверь, на позорище.

Где они теперь, эти опекуны наизнанку, какой след оставили в литературе? Думаю, и называть-то их имена рядом с именем Рубцова — зазорно.

Я не оправдываю Колю, не леплю из него ангела. Есть и его доля вины в том, что помимо нашей общежитейской нечистой братии постоянно крутились вокруг него приблатненные типы, наезжавшие из «Питера». Поражали не столько их усеченные, лишенные славянского корня фамилии, сколько бесцеремонная наглость, бандитская развязность, с которой лезли они в душу поэта... Есть его вина и в том, что на первых порах за чистую монету принимал и лицемерные похвалы, и подлые заискиванья, и наглую лесть. К тому моменту, когда вдруг прозрел он и увидел истинную цену всей этой накипи, душа его перестала быть цельной. В ней поселились, разрастаясь порой до гипертрофированных размеров, угрюмая подозрительность, грустное отчаяние, агрессивная озлобленность.

Он светлел лицом, встречая в коридорах общежития давних флотских друзей — Бориса Романова, Илью Кашафутдинова, Игоря Пантюхова, часто навещавшего нас студента журфака МГУ Олега Лосото, сотрудничавшего в московских газетах Сергея Шмитько. Тянулся сердцем к молодым, незамутненным — Борису Шишаеву, Василию Нечунаеву. Но ведь и мы, бывшие флотские, и те, кто моложе нас, тоже каждую встречу начинали с бутылки. И заканчивали ею. В трагическом исходе Николая Рубцова и нашей вины не отнять. Горький, непоправимый урок...

Но вот что еще... Перечитываю дневники тех, литинститутских лет и заново погружаюсь в эпоху — сложную, противоречивую, обильную на самые невероятные неожиданности. И думаю: как трудно было жить в этом временном, построенном из острых углов пространстве легко ранимому, ничем не защищенному поэту!

Но это — особая тема.

## 4

Уже пошлостью стали рассказы о том, что Коля Рубцов, то ли оригинал, то ли юродивый, все четыре времени года — осенью и зимой, весной и летом — ходил в валеных сапогах, в опояске из вервия.

Ходил в валенках: но зимой! И правильно делал. Во-первых, потому что практично, а во-вторых, и это главное, жалел свои больные ноги. Лишения сиротского детства даром не прошли — аукнулись через годы.

О веревке — ложь!

Пальтишко на нем, верно, было не из модных. И пиджаки-рубахи не всегда только что из магазина. Но вот чего не отнимешь у Рубцова — опрятности. Не терпел «пузырей» на штанинах, тщательно и подолгу стирал всякое случайное пятно на одежде. Да и старое, немодное сидело на нем так плотно и цельно, что казалось неотъемлемым, не нуждой, а качеством, черточкой в характере.

Однажды стихотворец Ф-в, желая стать студентом Литинститута, завалился на кафедру творчества в лаптях и телогрейке, подпоясанный действительно веревкой. Нахальный и, как все графоманы, изобретательный, хотел поразить и разжалобить мудрейшего Сергея Ивановича Вашенцева.

Рубцов, встретив Ф-ва на лестнице и не зная его, понял, однако, с какими намерениями тот возник в доме Герцена.

— Как же ты осмелился... таким убогим — и в русскую литературу! — воскликнул он гневно.— Ведь в русскую, дурак!

# ALMA MATER!

## 1

Так вот, о времени, на которое пришлась наша учеба в Литературном институте. Я уже сказал, что было оно, время, сложным, бурным и противоречивым.

Экономическая политика Н. С. Хрущева, тароватого на самые невероятные посулы, перестройки, эксперименты, начисто вымела с прилавков магазинов мясо и масло вкупе с такими расхожими продуктами, как мука, крупа и макароны. Правда, витрины были заставлены консер-

вами из кита: вскроешь такую баночку, а ее содержимое на глазах из серого становится бурым. Засвечивается! В деревне, которая кормила страну хлебом, очереди за печеным хлебом выстраивались с вечера. Как в недоброй памяти сорок шестом.

В литературе скандальный тон задавали тогдашние молодые. У подножия памятника великому Маяковскому выкрикивали стишки будущие диссиденты и перебежчики. Тут же из-под полы продавали порнографию, секс-макулатуру и тощие книжицы с тухлой — из-за кордона! — религиозной начинкой.

Россию навестила Ольга Карляйст — внучка Леонида Андреева. По Москве ее водил и возил Андрей Вознесенский. В книге «Голос в снегу», вышедшей за границей, Карляйст назовет поэтессу А. самой модной женщиной в столице. И этот дешевый комплимент вызовет бурное ликование у сверстников и почитателей поэтессы.

Парижский еженедельник опубликовал «Автобиографию рано созревшего молодого человека». Снова взрыв ликования — в толпе, бдящей у памятника Маяковскому. Тут же ее, «Автобиографию», подслеповато отпечатанную на папиросной бумаге, «толкают» желающим за приличную деньгу. Стипендии, ей-ей, не хватит...

Один из будущих зачинателей знаменитого «Метрополя», захмелев от накатившей «оттепели», не устает кричать со всех трибун: «Мы — четвертое поколение в литературе, и мы протягиваем руку Дудинцеву, Пастернаку, Эренбургу...»

Сам Илья Григорьевич на собрании писательского актива Москвы, куда затащил меня наш ректор Иван Николаевич Серегин, жалуется на притеснения и гонения, которым подвергал его Сталин. Возмущенная Галина Серебрякова, пережившая ссылку и нечеловеческие мучения, гневно выкрикивает с трибуны того же актива:

— Вам ли жаловаться! Вы в Париже отсиделись... И у Сталина любимчиком были!

В кипении нездоровых страстей вдруг родился документ о мирном сосуществовании идеологий, под которым поспешили подписаться и некоторые маститые, утратившие чувство партийной принципиальности. На том же самом активе, проходившем в здании МГК, они, убеленные сединами или увенчанные лысинами, произносили покаянные речи. Мое личное впечатление: очень хотелось верить в искренность ораторов, в то, что заблуждались и впрямь

случайно. И еще — острое чувство жалости к ним: так жалеют увечных...

Естественно, все эти кипения не проходили мимо Литературного института, так или иначе задевали его, но в тогдашнем институте был здоровый, не склонный к истерикам коллектив. Когда я говорю это, то имею в виду и преподавателей, и студентов. Мы, студенты, в большинстве своем были людьми взрослыми, хлебнувшими и армейской службы и работы. Обремененные семьями, не имеющие никакой материальной поддержки, вкалывали как могли и где могли, лишь бы прокормить себя и детей: на стипендию не больно-то разбежишься. И когда нам недоставало партийного понимания тех или иных явлений — нас выручало, скажем так, классовое чутье. Сытенькие «бунтари» у подножия памятника Маяковскому не стали родней нам. Дошло и до того, что там же, у памятника, схлестнулись однажды. Сперва в дискуссии, в поэтическом споре, затем — и в этом есть своя логика — на кулаках. Не мы начинали, но и хлипкими оказались не мы.

Сам факт существования Литературного института не всем был по нраву. Как раз тогда, в 63-м, И. Г. Эренбург в частной беседе с нашими однокашниками изрек буквально следующее:

— Горький, который в течение всей своей жизни очень многое делал для развития пролетарской литературы, в последние годы стал ей вредить. Самой крупной его диверсией было создание Литературного института...

Илья Григорьевич не обладал властью, достаточной для того, чтобы поправить «ошибку» Горького. Нашлись, однако, люди, имеющие эту власть в избытке. В июне 1963 года Литинститут, вернее, очное его отделение прекратило свое существование. Набор очников на новый учебный год отменили. Правда, нас, уже учившихся, пожалели — решили довести до диплома.

— Нам, выходит, повезло, мы — последние из могикан,— грустно констатировал перевалившш на второй курс Коля Рубцов.

## 2

Рубцов не был образованным диалектиком, но превосходно понимал диалектику нутром.

Не покачнулся, не сбился с пути. Не соблазнился дешевым успехом «ниспровергателей».

И не случайно, русский до мозга костей, с обостренным чувством любви к Родине, исторг из своего существа этот пронзительный вскрик: «Россия, Русь! Храни себя, храни!..» Не рвущее душу стенание, а тревожный колокольный набат — вот что такое эта стихотворная строка в пять коротких слов, из которых два повторяются дважды. Набат, как известно, к смирению не зовет.

Вообще в стихах Рубцова последних лет понятия **Россия** и **Русь** встречаются, как никогда, часто.

Вместе с тем напряжение, в котором пребывали и литература, и страна, болезненно ощущалось и болезненно переносилось поэтом. Как-то на вечере, посвященном его памяти, известный стихотворец, вспоминая Рубцова, рассказывал:

— Приходил он к нам в «Юность» — такой тихий, застенчивый, в пестром шарфике. Мы его так и прозвали: «Шарфик». Убежден, он, Шарфик, жил только поэзией, ни о чем другом не думал.

Думал. О многом думал. Не Шарфик — поэт и гражданин Николай Рубцов.

Не зная иного выхода для своей печали, шел на скандал, на чудачества.

В комнате общежития размашисто, через всю стену, начертал ломаными, неровными строчками: «Я, Николай Михайлович Рубцов, возможность трезвой жизни отрицаю!..»

Как топором врубил.

Тут, на грех, комиссия с проверкой общежития. Вселенский скандал! Приказ об изгнании из стен. Студенты снарядили делегацию к ректору — с трудом отстояли.

Историю о том, как Рубцов «беседовал» с классиками, доводилось мне слышать от доброго десятка людей. Среди них — известные поэты, руководители творческих семинаров в институте; часто печатающийся критик; несколько серьезных прозаиков. И каждый давал руку на отсечение, что был очевидцем. А звучало примерно так:

Захожу, понимаешь ли, к Николаю Михайловичу — и оторопь берет. Он до чего додумался! Снял со стен на этажах портреты Пушкина, Лермонтова, Белинского, Блока, снес к себе в комнату, расставил у стены и учинил с ними пьянку. Им наливает и себя не обходит. Да еще чокается с каждым: «Ваше здоровье, Александр Сергее-

вич!.. Ваше, Михаил Юрьевич!..» Ну и далее, по порядку. Только я на порог — он мне жест рукою: «Выйди вон, не мешай! Видишь, я с классиками беседую, с равными себе. А ты тут лишний!»

Так оно и было, все тут правильно, за исключением одной, возможно, не самой существенной детали. Истинные очевидцы этого эпизода — студенты Борис Шишаев и Василий Нечунаев: как раз их-то и выгнал Коля за порог. Был и еще один свидетель — комендант общежития Палехин, единственный, кажется, человек, при виде которого Рубцов испытывал неподдельное чувство страха. Других очевидцев не было! Я застал Колю уже в тот момент, когда он, протрезвевший, тихий и покорный, под надзором коменданта разносил портреты по этажам, водворяя на место.

На другой, кажется, день нашелся у него подражатель: этот пытался снять на этажах часы — большие, типа корабельных, впаянные в стенку на две стороны.

Может, и не стоило бы ворошить все это давнее, неблагополучное, но пора положить конец домыслам и досужим инсинуациям. Пора очистить зерна от плевел, пока еще живая наша память способна воссоздать образ Рубцова таким, каким был поэт въяве.

## 3

Наверно, каждый творческий вуз богат своими чудаками: на то он и творческий! И все же убежден, пальма первенства принадлежит Литературному институту. Что ни студент — оригинал! На какие только трюки ни пускались, чтобы прославить или утвердить себя! Вот сейчас, когда пишу эти строки, вспоминаю почему-то Сашу С. Прескверные сочинял стихи, зато как здорово — без отдыха, кавалерийским аллюром — по ступенькам лестницы поднимался на руках на седьмой этаж. И спускался вниз, опять же на руках! Иные чудачества десятилетиями хранятся в памяти поколений. Салажата от литературы уже не про отцов — про дедов рассказывают, живописуя их дебоши, амурные похождения, взаимоотношения с преподавателями, а то и просто удачную строчку, незамысловатый экспромт, лихой сюжетец, так и не вышедший за рамки устного словотворчества. Жаль, что Alma mater наша до сих пор не взрастила собственного Николая

Васильевича Гоголя! Какие возможности для написания новых «Вечеров», скажем, «...в общежитии Литинститута, близ Зеленого дома». «Зеленым домом», по цвету приземистого зданьица, именовалась наша троллейбусная остановка.

Так вот, даже в нашем трудноуправляемом мире, гораздом на хитрую выдумку и неожиданный поступок, поведение Рубцова чаще всего оказывалось непредсказуемым.

Я не видел его на лекциях, не знаю, как внимал он слову, однако, что, если лекция случалась скучной, малоинтересной, Рубцов не ждал, когда зевота сломает скулы: поднимался и, презирая гнев маэстро, покидал аудиторию.

Не терпел фальши, не мог смириться с ней. И если в студенческом кругу, где каждый из поэтов норовил поразить товарищей невиданной рифмой, неслыханной строчкой, кто-то начинал петь не своим голосом, читал откровенно бездарные вирши, вставал Рубцов и, простирая руку, показывал на дверь:

— Выдь немедля отсюда! Тебе нет места среди настоящих.

Однажды по общежитию разнесся слух: Рубцова исключают из института за скандальную драку — учинил дебош в ресторане Дома литераторов и два дюжих милиционера никак не могли привести его в чувство. В моей записной книжке соседствуют две записи, помеченные одним и тем же числом — 6 декабря 1963 года. Первая: «Завтра вечер в ЦДЛ — в честь 30-летия института». И, чуть ниже, вторая: «А Кольку-то Рубцова исключили из института. Избил замдиректора ресторана ЦДЛ. Грусть».

Приказ об исключении Рубцова вывесили на доску незамедлительно, и в железно продуманных его формулировках действительно фигурировали слова «драка» и «избил». Только нам-то, студентам, не верилось, что тщедушный, полуголодный и, главное, не терпящий никаких драк Коля Рубцов мог осилить дюжего дядю, немало и с пользой для себя потрудившегося на ниве литературного общепита. Начали собственное расследование. Выяснилось, что содержание приказа, мягко говоря, противоречит истине. Дело было так. В одном из залов Дома литераторов заседали работники наробраза, скучая, внимали оратору, нудно вещавшему с трибуны о том, как следует преподавать литературу в средней школе.

Колю, проникшего в ЦДЛ с кем-то из членов Союза, у дверей этого зальчика задержало врожденное любопытство. Так и услышал он список рекомендуемых для изучения поэтов. Список показался ему неполным.

— А Есенин где? — крикнул Рубцов через зал, ошарашивая оратора и слушателей.— Ты почему о Есенине умолчал?

Тут и налетел на Колю коршун в обличье деятеля из ресторана, ухватил за пресловутый шарфик, повлек на выход. Противник всяческого насилия, Рубцов, задыхающийся от боли и гнева, попытался оттолкнуть интенданта, вырваться из его рук.

— Бью-ут! — завопил метрдотель. Подскочила прислуга, при своих, что называется, свидетелях составили протокол, который и лег в основу грозного приказа об исключении.

Институт бурлил: в перерывах между лекциями только и разговору, что об учиненной над Николаем несправедливости.

В ректорат и партком снова пошли студенческие делегации.

За Рубцова вступились известные поэты.

На волне юбилейных торжеств, связанных с тридцатилетием института, приказ об исключении отменили. Дело передали в товарищеский суд.

Тут тоже не обошлось без передержек, и, вспоминая это судилище, до сих пор испытываю я жгучее чувство стыда.

Председательствовал на судебном заседании профессор Водолагин, запомнивший меня еще по вступительным экзаменам. Когда прикрыли очное отделение института, Водолагина и меня снаряжали в Вешенскую — искать защиты у Михаила Александровича Шолохова. То ли командировочных в кассе не хватило, то ли поняли вдруг, что и авторитет классика нам не подмога, но поездка сорвалась... Так вот, Рубцов, беззащитный и растерянный стоял на сцене актового зала и слова не мог вымолвить в свое оправдание. Сотни глаз были устремлены на него.

— Так как же будем жить дальше? — после длинной морали вопросил Водолагин.— Ведь вот есть же у нас студенты... ни в чем подобном не замешаны.— Строгим взглядом обвел зал.— Вон, к примеру, Валентин Сафонов.

Бедный Коля пролепетал что-то невнятное.

— Что? Не слышу. Громче! — настаивал Водолагин.

— Буду, как Валя Сафонов,— через силу выдавил Рубцов.

Я готов был сквозь землю провалиться, но земля не разверзлась подо мной. А довольный результатом Водолагин тотчас отпустил Рубцова со сцены.

## 4

Николая перевели на вечернее отделение, выдворили из общежития. Сердобольные вахтерши закрывали глаза, когда поздним вечером, крадучись, пробирался он в студенческий наш дом, чтобы переночевать у кого-то из товарищей. Комендант, однако, был безжалостен.

— Николай Андреевич,— пришел я к нему,— безвинно-напрасленно человек страдает.

— Садитесь,— предложил Палехин и затеял длинный разговор о Кильдине, памятном ему по годам войны, о флоте. Растаял, растворился в воспоминаниях, голосом дрогнул.

— Так, говорите, Рубцов тоже североморец? — неожиданно прервал себя, и в голосе его снова зазвенел металл.

— Самый доподлинный. Всю службу отмотал на эсминце...

— Ведет себя как-то... Ладно, пусть зайдет.

— Когда?

— Да хоть сейчас.

Стремглав бросился за Николаем, отыскал его в какой-то чересчур гомонливой компании и понял, что примирение сегодня не состоится: не простит ему Палехин взъерошенного вида, да и Рубцов не понесет повинную голову.

Назавтра и послезавтра тоже ничего не вышло. А там как-то подзабылось все, и опять вспыхнуло, и снова подзабылось. Теперь уже вряд ли кто доподлинно скажет, сколько раз Рубцова изгоняли из института и общежития, сколько раз восстанавливали в правах.

Да и так ли важно это, так ли существенно? Важнее другое: недолгие и нелегкие дни, прожитые Рубцовым в Москве, оказались для него тем же, чем бывает запальный шнур для динамита. Энергия, которая годами накапливалась в его смятенной, ищущей, не знающей

покоя душе, вдруг прорвалась наружу, пролилась стихами. Перед Рубцовым широко открылись двери редакций и издательств. Да что там двери! Сердца читателей доверчиво распахнулись ему навстречу. Критика заговорила о нем.

Пришел успех!

## «Я ЛЮБЛЮ СУДЬБУ СВОЮ...»

### 1

Беда многих начинающих, а подчас и солидных авторов в том, что, оседлав однажды проворного конька, они десятилетиями не слазят с него, любимого. Скачут по проторенной дорожке, благо и направление задано, и рука набита. Надежно, удобно! Сбегаю с геологами в тайгу — пою про тайгу и геологов. Прокатят меня в самолете — творю про воздушный флот. Иной невзыскательный критик еще и обласкает за преданность теме. А всмотреться поглубже — мелководье, перепевы самого себя.

Истинному таланту такая позиция претит!

Творческий опыт Николая Рубцова скоротечен, но богат содеянным. Поэт жил в непрестанном развитии.

Мне представляется сегодня, что время, отданное Рубцовым сознательному творчеству, можно разделить на три периода. Шесть-семь лет, включающих в себя годы флотской службы и последующих скитаний в Ленинграде,— первый, начальный. Или, точнее, подготовительный. Второй период — пятилетка в Литературном институте. И третий — те последние, короткие, как мгновение, три с половиной года, что оставалось ему прожить на белом свете.

Горький, говоря о Есенине, назвал его óрганом, созданным природой исключительно для поэзии, для писания стихов. В какой-то степени это определение справедливо и по отношению к Рубцову. Чем бы ни занимался он, в какие переделки и передряги ни попадал, он не уставал и не переставал творить. Именно московский, или — применительно к страннической его натуре — литинститутский, период я склонен считать самым ярким, самым плодотворным в поэтической работе Рубцова. Все то многое, что сделано им в эти, с 62-го по 67-й, годы, сделано самобытно и неповторимо. В этом легко убедить-

ся — достаточно взять в руки любой сборник Николая: их теперь уже немало издано по стране. Стержнем, основой каждого из них остаются стихи, написанные Рубцовым в студенческие годы, частично вошедшие в три первоначальных его сборника: «Звезда полей», «Душа хранит» и «Сосен шум» (в этом же ряду, пожалуй, следует упомянуть и крохотную «Лирику», увидевшую свет в Северо-Западном книжном издательстве еще в 1965 году).

## 2

Рубцов отдал дань неизбежному — волнам и скалам. Захоти он и дальше петь о море, кормиться возле волны — пожалуй, стал бы первым в ряду поэтов-маринистов. И первенство это давалось ему без особого труда. «Я весь в мазуте, весь в тавоте, зато работаю в тралфлоте!» «Старпомы ждут своих матросов. Морской жаргон с борта на борт летит...» «Потонула во тьме отдаленная пристань...» Что ни строка — все чеканка: свое видение предмета, свои буйные краски и — обязательная честность, которую, увы, в нашей маринистике иные бойкие авторы не без успеха подменяют высокопарной риторикой.

Жизнь его после службы на флоте была далека от уюта и благополучия, но эта неуверенность не убила романтически-возвышенного начала в душе Рубцова. По сточечной сути своей он остается романтиком. Но романтик вырос из детских штанишек, уже не волны и скалы влекут его в поэзии — иные темы захватывают воображение Рубцова, иные песни стекают на листы бумаги с острия его пера.

Прежде всего он пристально вглядывается в деревню. Он переживает свое — после долгой разлуки — возвращение на тихие деревенские улицы, заселенные по преимуществу добрыми, исключительно порядочными, подчас немного чудаковатыми жителями. Это возвращение — и праздник, и печаль... Из-за боязни превратить свои заметки в подобие научного трактата я постараюсь как можно меньше пользоваться цитатами, даже названия стихов приводить не стану: они, уже сказано, доступны каждому читателю. Думается мне, однако, что в деревне Николай Михайлович видел и любил прежде всего Россию, Русь: ее начала, теряющиеся в родниках истории; ее людей, ее природу; ее величие, славу, боль. И деревня

у Рубцова своя — неповторимая и своеобычная, он изображает ее не в глобальном размахе — от росинки до звезды, а через деталь, через образ, через конкретное явление: кони в ночном, дряхлый дед на печи, перевоз через речку, забытое кладбище, сельская школа, древние старушки... Масштабное, всечеловеческое — в обычном, рядовом! Все мы знаем эту исконную деревню, всем нам она мила, близка и дорога. Не потому ли так будоражит и поднимает нас деревенская поэзия Николая Рубцова?

Подчеркну, что деревня у Рубцова вовсе не патриархальна, напротив — самая современная, самая нынешняя. Процесс ее обновления (или перерождения?) проистекает постоянно:

*Ах, город село таранит!*
*Ах, что-то пойдет на слом!*
*Меня все терзают грани*
*Меж городом и селом...*

Вот бы, думаю, издать отдельной книгой все стихи Рубцова о деревне. Только о деревне! Да со строгим соблюдением хронологии — по годам, как по вехам! Как слагалось, как пелось... В каком бы новом, неожиданном качестве предстал перед нами поэт!

## 3

Деревня для Рубцова — Родина, Отечество. Но деревня — и странички его жизни, судьбы. Его детство.

Становясь старше, мы все чаще обращаемся к своим истокам, к началу.

А начало у Рубцова горькое, даже страшное: «Мать умерла. Отец ушел на фронт. Соседка злая не дает проходу...»

Служа на корабле, пребывая в относительном благополучии (одет, обут, накормлен), он еще может тешить себя стихами о несбыточном:

*Скоро, переполненный любовью,*
*Обниму взволнованную мать...*

Это из «Отпускного». Тут не только сладкий самообман — тут заданность, чужие мысли. Как, скажем, и в не публиковавшихся до сих пор стихах «Дан семилетний план».

Став старше, снова хлебнув скорбей и лишений, Рубцов уже никогда не решится сказать заведомую неправду.

И все чаще будет задумываться о детстве, искать себя в нем. Будет мучительно напрягать память, чтобы — через годы и штормы — разглядеть лицо покойной матери. Чтобы сказать о ней пронзительно и горько: «А где-то есть во мгле снегов могила мамы...» Или вспомнить — со слезами в голосе — как нес он «за гробом матери аленький свой цветок».

С детства обделенный теплом, он и сам очень часто скупится на тепло, во всяком случае, на внешнее его проявление. Однако навстречу радушию, когда оно без фальши, неподдельно, открывается весь, без остатка. Видел я его таким в домашней — пусть и в чужих стенах! — но в простой домашней обстановке, среди простых людей. Лучится ответной лаской, искренен и чистосердечен, и — ни единой колючки!

Сердце сжималось от радости и боли, когда видел его таким.

Счастливы те из нас, кому долгие годы сопутствуют в жизни матери!

## 4

Особняком стоят для меня стихи Рубцова, посвященные русским писателям.

Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тютчев, Фет, Блок, Есенин, Хлебников...

Какие тени потревожил Николай Михайлович! С каким предельным лаконизмом и в то же время исчерпывающе говорил о каждом! И пусть не все стихи равноценны, но вот где воистину оправдалось крылатое: «Краткость — сестра таланта!»

Имя Пушкина дорого каждому поэту на Руси. И каждый — исключений нет! — хотя бы раз в жизни писал о нем. Хорошо ли, плохо, длинно ли, коротко, но — писал! Пожалуй что втайне каждый и пушкинский сюртук примерял на себя. Вполне простительная дерзость, ибо плох солдат, не мечтающий стать генералом.

Рубцов свое отношение к Пушкину, свое понимание Пушкина выразил всего-навсего в четырех строках:

*Словно зеркало русской стихии,*
*Отстояв назначенье свое,*

*Отразил он всю душу России!*
*И погиб, отражая ее...*

Это — не эпитафия, это — о Пушкине по существу!

Лермонтов, Гоголь, Тютчев явлены нам вживе — знакомыми вроде бы, хрестоматийными сюжетами; дуэль одного; приезд в столицу другого; пессимизм и нечеловеческая усталость третьего... Но ведь как явлены, как это сделано — по-рубцовски оригинально, неожиданно!

Его отношение к предтечам свято, но и собственное достоинство он блюдет, потому что уже догадывается, предчувствует, что и сам в российской словесности займет далеко не последнее место.

К стихам о классиках примыкают стихи о современниках — Дмитрии Кедрине и Николае Анциферове.

Кедриным увлекались мы еще на флоте, он тоже был нашим «открытием» тех лет: стихи и поэмы его — очень русские, очень честные — нравились, волновали, как волновала и трагическая, такая нелепая смерть.

Анциферов, окончивший институт раньше, часто наведывался в общежитие. Помню, однажды вчетвером собрались мы в комнате: два Николая — Анциферов и Рубцов, да мы с Эриком. Поэты устроили что-то вроде состязания: читали стихи — по очереди, через одного. Начав где-то в полдень, выдохлись только к позднему вечеру. Да и не потому выдохлись, что стихов не осталось, а потому, что голосов не стало. Мы с братом оказались скверными судьями: так и не решились отдать кому-то пальму первенства. Впрочем, ребята и не очень настаивали...

«Последняя ночь» и «Памяти Анциферова» — не только глубокая скорбь по близким духовно людям, умершим не своей смертью. Это — автобиография, это — о себе, о том, чему предстояло быть.

## 5

Понимаю, что беглые мои заметки не исчерпывают темы, возможно, не очень-то и доказательны. Но что и кому нужно доказывать? Каждый из нас любит поэзию по-своему, на свой лад и воспринимает ее.

Успех Рубцова, о котором я обмолвился выше, не был случаен.

Случайные успехи недолговечны.

Тут — напротив.

Он, этот успех, был подготовлен всем течением его жизни:

неустанной работой души;

смелостью, с которой Николай Михайлович отринул устоявшиеся каноны, первоначальные уроки и пришел к своей самобытности;

совестью и позицией гражданина;

вдохновением, рождаемом в тяжком труде.

Все это вместе и есть талант!

Печалясь о рано ушедшем из жизни земляке, Василий Белов сказал на страницах газеты «Советская Россия»: «Жаль, он так и не сумел выстоять перед пагубной страстью...»

Жаль — и Рубцова, и Анциферова, и Блынского...

Но вот о чем подумалось мне еще. Все мы, и я в том ряду, много толкуем о лишениях, выпавших на долю Рубцова, о несчастьях, ходивших за ним по пятам. А ведь сам-то он... сам он, видимо, другой доли и не желал. С этой был счастлив. О чем со всей определенностью и сказал в своих стихах: «Я люблю судьбу свою, я бегу от помрачений!..»

Никому не ведомо, в какой мере каждый из нас зависит от обстоятельств. Сложись жизнь Рубцова по-иному — может, и не было бы у России такого певца.

## ПРЕДЗИМЬЕ

### 1

Вхождению Рубцова в большую литературу содействовал «Октябрь». В августе шестьдесят четвертого опубликовал его подборку из пяти стихотворений.

Не всякое имя молодого поэта запоминается после первой публикации.

Рубцова запомнили сразу. Если не по имени, то по стихам. И по сию пору вижу, как в Опалихе ввалился в электричку краснощекий, словно нарумяненный, мужичонка с корзиной, полной ядреных рыжиков. Сел на свободное место, пристроил корзину на коленях и, разводя толстые губы в блаженной ухмылке, заведенно повторял:

— Сапоги мои — скрип да скрип...

И видно было, и без перевода понятно, как музыка рубцовских стихов ложится в лад его душевному настрою.

Время от времени у дверей общежития появлялись экзальтированные девицы или дамочки (и черт не разберет, что они за сословие!), приходившие специально «посмотреть на Рубцова». Комендант и вахтеры хранили бдительность: уж коли сам Мастер — и такое случалось! — проникал на ночлег через окошко, вскарабкиваясь к нему по водосточной трубе, то отношение к экзальтированным особам выражалось в формуле: не пущать и гнать!

Умельцы любую кочку используют для закрепления достигнутого.

Коля не был умельцем. Славой не кичился, не бахвалился, денег не берег. Сам щепетильно честный, помнивший до последнего рубля все долги и безукоризненно возвращавший их, стеснялся попадаться на глаза тем, кому давал в долг. Уже и ощутимые получая гонорары, жил все по тому же принципу: «Стукнул по карману — не звенит...»

Единственной корыстью, которой одарила Рубцова растущая популярность, стала возможность почти неограниченно путешествовать. «Дух бродяжий» никогда не угасал в его душе, а тут вдруг вспыхнул с новой силой. Надолго, никого не предупредив, исчезал Николай из общежития.

— Откуда? — спросишь.

Назовет, откуда вернулся. Теперь, за давностью лет, уже и не припомню всех его маршрутов. Но однажды на тот же вопрос ответил нестереотипным:

— Есть тут одна квартирка. Отсиживался. Раны зализывал.

Тогда я пропустил мимо ушей эти слова. И вспомнил о них гораздо позже.

## 2

Жарким летом шестьдесят шестого года вернулся я в Москву из какой-то командировки. Студенческий наш приют на Добролюбова 9/11 пустовал. Странно было видеть разверстые двери комнат, голые койки и столы за ними, косые лучи солнца, ломающиеся в чреде окон. Непривычный, безжизненный мир в доме, обычно полном кипения и суеты.

Прошел этажами по скрипящим — заскрипели вдруг, на безлюдье-то! — паркетинам.

Чу! Вот и голоса в угловой комнате.

За дверью — поэтическая сходка: Коля Рубцов, Боря Шишаев, Вася Нечунаев. Ведерный бак пива на столе, вокруг, на газетных листах, монбланы жареной кильки. И — накал страстей: читают по кругу стихи, запивают из поллитровых, прихваченных у ларька кружек.

Я присоединился к столу.

У Васи Нечунаева стихи детские, то есть для детей. Посмотришь на его устрашающе голый череп, на скорбный лик мученика и аскета — и не хочется верить, что перед тобой одаренный детский поэт. А послушаешь стихи — убедишься: воистину талантлив!

В длинностроких Бориных стихах гуляет ветер. То есть образ ветра — то мягкого и доброго, то беспощадного и всесокрушающего — главенствует в них.

— Ты Луговского начитался,— сказал я ему.

Самолюбивый Борька обиделся, начал задираться, кричать, что сроду не читал Луговского и читать не собирается.

— Он одного меня читает,— невесело пошутил Коля. И тихо попросил: — Дайте мне-то сказать.

В тот день и услышалось впервые вот это:

*Я буду скакать по холмам*
*задремавшей Отчизны,*
*Неведомый сын удивительных*
*вольных племен!..*

Читал он вяло, невыразительно, да и выглядел неважно: глаза провальные, скулы обострились, горбится; в замедленности жестов и слов чувствуется страшная усталость.

То ли по этой причине, то ли еще почему, но стихи в тот день мне не понравились, почудилось в них что-то чужое, наносное.

— Тут больше Блока, чем Рубцова,— сказал я в ответ на его вопросительный взгляд.

— А ты свои почитай! Посмотрим, кого там больше — Блока или Луговского,— распалясь, петушком взвился Борис.— Что, слабо?

— Слабо, потому как давно пишу прозу. Да и вообще после Пушкина писать стихи считаю за подлость.

— А проза после Достоевского — не подлость?

Назревал скандал — заурядное явление в нашем многострадальном доме.

Рубцов выбрался из-за стола, потянул меня за рукав.

— Проводи меня, Валька.

— Куда?

— Да тут, поблизости. Боюсь один оставаться... Одиночества боюсь.

Вышли на улицу, сели в машину и по ночной столице, пропетляв переулками и закоулками, приехали к... Достоевскому. Великий писатель, сутулясь, стоял на постаменте: голову склонил, руку, как мне показалось, прижал к обнаженному сердцу. Купы деревьев теснились за ним, и тихий шум листвы походил на приглушенный, придавленный стон.

Любое слово, сказанное нами, было бы в эти минуты кощунственным.

Так и стояли — молча.

Долго стояли.

А потом, миновав какой-то грязный, неухоженный двор, опять же грязным коридором и в кромешной тьме поднялись в грязную, обшарпанную квартиру с голыми стенами.

Все, что было там, мнится мне теперь сумбуром, если не кошмаром: наваждение стихов и прозы, воспоминания о службе на флоте, споры — чаще беспредметные, никчемные, и снова стихи, стихи, стихи...

Знаю, стихотворение «В гостях» («Трущобный двор. Фигура на углу. Мерещится, что это Достоевский...») написано в другом городе и по другому поводу. Но когда перечитываю его — испытываю жуткое ощущение достоверности тогдашнего нашего долгого сидения. Все было размыто: граница между светом и тьмой, реальностью и фантазией, кошмаром и явью, поэзией и прозой...

Существовали они в Москве, да и теперь существуют и трущобный тот двор, и конкретный поэт — хозяин «притонного жилища», и его издерганная подруга:

*А перед ним, кому-то подражая*
*И суетясь, как все по городам,*
*Сидит и курит женщина чужая...*
*— Ах, почему вы курите, мадам!*

В этом обшарпанном, грязном доме, по соседству с Достоевским, и вынужден был скрываться Николай Михайлович в те дни, когда уж вовсе некуда было податься.

Рассказывают, что хозяин той странной квартиры, не без помощи своих многочисленных друзей, сейчас представляется благодетелем Рубцова.

Нужно ли?

Однажды, уже осенью, в начале последнего для него учебного года, Рубцов пришел ко мне, чтобы сказать: перечитал всего Блока и не нашел ничего похожего на те свои стихи — «Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны...».

И я с легким сердцем признался, что был не прав, что в тот жаркий и душный день не иначе как бес попутал меня...

## 3

Я намеренно вынес в название этой главы неласковое слово «Предзимье».

Бессребреник и вечный странник, после окончания института скитается Рубцов по градам и весям России, нигде не задерживаясь надолго. То ли от чего-то бежит, то ли чего-то обрести жаждет.

А чего — покоя?

Не для него покой.

Со слезами на глазах поет он под гитару «Прощальную песню»:

*Чтобы девочка, куклу качая,*
*Никогда не сидела одна.*
*— Мама, мамочка! Кукла какая!*
*И мигает, и плачет она...*

Поет — и сам плачет.

Где-то там, на Севере, в родных ему местах, ждет его девочка. Дочь. И мать этой девочки ждет. А он, ежели и проговорится о том,— скупо, нехотя:

— Есть там одна женщина... Тебе неинтересно.

Постоянно окруженный «телохранителями» из числа не шибко преуспевающих в поэзии, в минуты душевного разлада он бежит от них, ищет спасения в одиночестве, но и долгое одиночество страшит его. Помню, встрепанный, перепуганный, ворвался он в редакцию журнала «Молодая гвардия»:

— Спрячь, меня там Ф-н преследует.

Ф-н был из категории прожженных дельцов: грузный, поседевший прежде времени, в очках с серебряной оправой, он с треском завалил творческий конкурс в Литературный институт, жил в Москве без прописки и налов-

чился затаскивать Рубцова в разные сомнительные компании, где за вино и закуску Николай должен был читать стихи и бренчать на гитаре.

Я вышел в коридор, сказал Ф-ну, что, если когда-либо увижу его возле Рубцова, сломаю ему шею. Злодей ретировался, но, думаю, еще не раз затягивал Николая в свои паучьи сети.

А вот вдали от шума городского, на светлых просторах Руси Рубцов отходил душой, оттаивал, на какое-то время становился самим собой — улыбчивым и просветленным.

На какое-то время!..

Вспоминаю Колин приезд в Рязань, вовсе неожиданный и затеянный им ради Есенина — в Константиново поездки ради. Было это в марте 1968 года. Я к тому времени работал в редакции областной газеты «Приокская правда».

Таял снег, дули пронзительные ветра. Подняв воротник пальто и кутая шею в шарф, Рубцов ходил по сырым улицам и сокрушался, что не сохранилось зримых примет пребывания Есенина в городе.

Поздним вечером, точнее, в ночи даже, пришли мы, несколько человек, на территорию кремля — к могиле Полонского. И долго стояли у хлипкой решетки, отгородившей от нас мраморную глыбу надгробья.

А потом, отвалив в сторону от заповедника, бредя по колено в громыхающем снегу, наткнулись мы на гору ящиков — выброшенную за ненадобностью магазинную тару. Колина душа исстрадалась по живому пламени, по теплу. Достал из кармана спички.

— Запалим костер, мужики.

Синие тени падали на хрусткий, подмороженный снег, передвигались вокруг огня, а нам было весело, хорошо было, и мы читали стихи. Весна пьянила...

Впрочем, не обошлось и, строго говоря, без эксцессов. Стихотворец С-н, всегда не в меру суетливый и хмельной, кажется, с рождения, желая понравиться Рубцову, затеял читать что-то несусветно нудное, выматывающее душу. Читал он с подвывом, замогильным голосом. Коля вежливо прослушав одну или две строфы, резко взмахнул рукой:

— Хватит, уймись. Ты безнадежный графоман!

С-н, обычно ершистый, поперхнулся, смущенно умолк, не осмелился возражать. Да и что тут возразишь, коли

голая правда!.. Вступиться за него тоже никто не пожелал.

Костер наш прогорел лишь к утру.

Так получилось, что поехать в Константиново я с Николаем не мог — предстояла мне срочная командировка совсем в другом направлении. Позвонил ребятам в редакцию рыбновской районной газеты, попросил, чтобы встретили самым достойным образом. А поехал с ним мой брат Эрнст, в то время ответственный секретарь областной писательской организации.

Простились мы у меня дома — за чашкой чая, под гитарный перезвон и трогательные Колины песни.

В Константинове, рассказывали мне, Коля был угрюмо сосредоточенным и резким, экскурсовода слушать не пожелал — по комнатам музея ходил в одиночку, вздрагивая, испуганно оборачивался на каждый звук: кашлянет ли кто-то, ступенька скрипнет... О чем он думал в те минуты — можно только догадываться, сочинить нельзя...

— А Коля обиделся на тебя,— сказал Эрик.— За то, что в Константиново не поехал. Хотелось ему к Есенину вместе с тобой...

Знать бы, как оно в скором времени обернется,— наплевал бы я на ту командировку, на производственную дисциплину! Да ведь все думаем, что живем вечно...

## ОБОРВАЛАСЬ ПЕСНЯ

### 1

Страница из записной книжки:

«24 января 1971 г., Рязань.

Странное и непонятное творится в природе: с 19 января, вместо положенных крещенских морозов, оттепель, какие только во второй половине марта бывают. Дожди, море воды под окнами, температура плюс один, плюс два градуса.

А вчера плакал. В «Литературной России» прочитал «Слово прощания» — умер Колька Рубцов.

И работать не могу — все о нем думаю, и настроение препаршивое.

Умер он 19-го.

Представляю его в гробу — маленького, обиженного на кого-то. На жизнь, может?..»

Вот и сейчас, когда переписываю эти строки, ком подкатывает к горлу.

Боря Шишаев узнал о смерти Рубцова в Москве. И стремглав полетел в Вологду. Успел на похороны.

И рассказывал о нем, лежащем в гробу так, как мне и представлялось. Только уточнял: на губах тихая улыбка стыла. Словно бы простил всех.

Боря — мистик по натуре.

## 2

За год до своей кончины Коля предрек:

*Я умру в крещенские морозы,*
*Я умру, когда трещат березы...*

Принято считать, что такие горькие предвидения — удел больших поэтов.

Но Рубцов вовсе не искал смерти — он хотел жить.

В письме, полученном мною весной 1975 года, Игорь Пантюхов рассказывал о неожиданной встрече с Николаем на безлюдном Чуйском тракте, вблизи Монголии. «Мы ехали от границы с редактором алтайской «молодежки» Юрой Майоровым и вдруг увидели двух — таких редких в здешних местах — голосующих парней,— писал Игорь.— Одним из них был Колька. Мы обнялись, и, едва забравшись в газик, он начал читать, видно, только что рожденную «Дорогу» — почему-то она не вошла в «Сосен шум», но две строки из нее, наполненные рубцовской светлой грустью, звучат у меня в ушах и сердце до сих пор: «Здесь первый человек произошел, и больше ничего не происходит...»

Эта встреча двух поэтов — бывших моряков случилась как раз во время поездки Рубцова на Алтай, гостевания его в доме добросердечной Матрены — сестры Васи Нечунаева. О поездке на страницах сборника «Воспоминания о Рубцове» в очерке «Его беспокойная пристань» рассказывает Борис Шишаев: «Я узнал потом, что поездка была для него благотворной: Николай много ездил по краю, отдыхал и писал. Когда мы встретились снова, он был гораздо уравновешеннее...»

Но вернемся к письму Пантюхова.

«А потом — наша предпоследняя встреча в Архангельске, в декабре, кажется, семидесятого на выездном

секретариате РСФСР, где в досиня прокуренном номере гостиницы мы до смерти читали стихи. Колька вытащил из кармана только что вышедший сборник «Сосен шум» и протянул мне:

— На, на память...

— Так нарисуй что-нибудь...

— А я еще помирать не собираюсь...

Так и стоит у меня этот сборник без автографа...»

Дальше Пантюхов повествует и о последней, «как всегда, неожиданной встрече» с Николаем — во дворе Литинститута: «Стоял солнечный, предвесенний какой-то день. Коля был какой-то светлый, аккуратно застегнутый, тихий. И после обычных: «Как ты? Где ты? Что ты?» — он вдруг без всякого перехода спросил:

— Слушай, Игорь, а ты не знаешь, почему нынче у нас в Вологде на площади так много ворон? Много-много, как никогда...

Я расхохотался: «Спроси,— говорю,— старик, чего-нибудь попроще... Я и в Вологде-то никогда не был...»

Тут, конечно, ничего не придумано: таким он и был, Коля Рубцов,— неожиданный в своих словах и поступках, как и в своих стихах — неожиданный.

Тихий философ по натуре, Рубцов много размышлял о жизни и смерти. И много писал об этом. И конечно же, старался увидеть, прозреть, что там — за последней чертой?

Умер, как и загадывал, на крещенье. Одного не угадал: про морозы. Именно в тот черный день — 19 января — грянула оттепель с дождями.

## 3

Преподаватель школы милиции Лидия Абрамовна Токарева подробно, под впечатлением личного знакомства, рассказывала мне об убийце Николая.

О мотивах, якобы толкнувших на убийство.

Не нахожу нужным воспроизводить здесь этот рассказ. Мотивы — светомаскировка, сказки для наивных и легковерных.

Для меня несомненно одно: убивали талант, душу русскую убивали.

Нашлась в том обильном стаде ворон и самая черная...

## 4

В июле 1982 года я приехал в Североморск.

Падал снег, кружил метелью, забивал дыхание и взгляд.

Североморска я не узнал, хотя он и снился мне частенько. Красавцем снился.

На месте бывшего нашего — деревянного, серенького — открылся вдруг новый каменный город — добрый молодец и под метелью расцвеченный во все цвета радуги.

Высоченные дома на вечной мерзлоте.

Надежные бетонные причалы взамен былых — деревянных, уныло поскрипывающих.

Могучие корабли... Впрочем, корабли и у нас были что надо!

В отделе культуры солидного учреждения меня неверно поняли. Прознав, что мы с Николаем когда-то печатались во флотской газете, решили немедля помочь делом. Сняли телефонную трубку, набрали номер редакции и попросили к аппарату Николая Михайловича Рубцова.

Мне стало не по себе, поднялся и вышел из отдела.

После корил себя за несдержанность. Чем она провинилась, та услужливая дамочка с сигаретой в крашеных губах? Порыв ее был искренний, чистосердечный, а что не читала Рубцова, не знает о нем — так это не вина ее, а может, беда.

Живут же и благоденствуют на белом свете люди иного толка. При жизни поэта хулили его, как могли, подвергали гонениям и притеснениям, а теперь вдруг выставляют себя ценителями его поэзии, прижизненными друзьями. Статейки о нем печатают, и ничего — сходит...

Та малосведущая дамочка — ангел в сравнении с ними.

## 5

После смерти Николая написал я стихи. Вряд ли когда еще обращусь к рифмам, не мое это дело, но те стихи хочу привести здесь.

### Памяти товарища

*Я буду скакать по холмам*
*задремавшей Отчизны...*
**Н. Рубцов**

*То ль от кнута, то ль от лихой погони*
*В суровый день, в холодный день зимы*
*Навеки ускакали наши кони*
*За снежные, высокие холмы.*
*Попробуй догони каурку с сивкой!..*
*Будь всех хитрей — и то не превозмочь,*
*Лишь ржанья неуемного обрывки*
*Над сонным полем тихо носит ночь.*
*И оттого мне странно и досадно,*
*А попросту сказать, печально мне,*
*Что не промчится больше поздний всадник*
*Лихим аллюром по родной стране;*
*Что там, где было всех начал начало,*
*Куда не раз мы устремляли взор,*
*Мигнул у корабельного причала*
*Прощально одинокий семафор.*
*Судьба ли то? Досадная ль оплошка?*
*На этот счет немы твои стихи.*
*Вон северная ягода — морошка,*
*Не сорванная, падает во мхи.*
*Умчались кони — нет им укорота,*
*И ржанье их растаяло во мгле,*
*Но, слава богу, зельем приворотным*
*Твое осталось слово на земле...*

## 6

Величайший такт и трогательную мудрость проявили земляки Николая Михайловича Рубцова, начертав на памятнике ему строчку из «Видений на холме»:

*Россия, Русь! Храни себя, храни!..*

# ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ



## ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОЭТ

Николай Рубцов — поэт долгожданный. Блок и Есенин были последними, кто очаровывал читающий мир поэзией — непридуманной, органической. Полвека прошло в поиске, в изыске, в утверждении многих форм, а также — истин. Большинство из найденного за эти годы в русской поэзии позднее рассыпалось прахом, кое-что осело на ее дно интеллектуальным осадком, сделало стих гуще, эрудированнее, изящней. Время от времени в огромном хоре советской поэзии звучали голоса яркие, неповторимые. И все же — хотелось Рубцова. Требовалось. Кислородное голодание без его стихов — надвигалось... Долгожданный поэт. И в то же время — неожиданный. Увидев его впервые, я забыл о нем на другой день. От его внешности не исходило «поэтического сияния». Трудно было поверить, что такой «мужичонко» пишет стихи или, что теперь стало фактом, будет прекрасным русским поэтом... Неожиданный поэт.

В самом начале шестидесятых годов проживал я на Пушкинской улице — угол Невского — возле Московского вокзала. И, естественно, дом мой был проходным двором. «Зал ожидания» — прозвали друзья мою коммунальную квартиру, где в десятиметровой комнатенке порой собиралось до сорока человек... Пришел однажды и Николай Рубцов. Читал свои морские, рыбацкие стихи. Читал зло, напористо, с вызовом. Вот, мол, вам, интеллигенты бледнолицые, книжники очкастые! Сохранилась и запись магнитофонная того времени. Ее сделал Борис Тайгин,

собиратель голосов и рукописей многих начинающих поэтов той поры. А внешне Николай на людях всегда как бы стеснялся привлекать всеобщее внимание. Вещал из уголка, из-за чьей-нибудь спины.

Стихов тогда читалась масса, поэты шли косяком. Одно только литобъединение Горного института выплеснуло до десятка интересных поэтов. И голос Рубцова, еще не нашедшего своей, корневой, драматической темы Родины, России, темы жизни и смерти, любви и отчаянья, тогдашний голос Рубцова тонул в окружающих его голосах. И это — закономерно. В Ленинграде Рубцов был в какой-то мере чужаком, пришельцем. Однажды привел с собой брата с гармошкой. И мы все пошли в один из ленинградских садиков, сели на лавку и стали играть на гармошке и петь песни. Городские люди на нас с интересом смотрели. А Коля не мог иначе. Ему так хотелось: щегольнуть гармозой, северной частушкой или моряцким гимном — «Раскинулось море широко»... Он таким образом заявлял в городе о себе, сохраняя в себе свое, тамошнее, народное...

Однажды он пришел ко мне на Пушкинскую и сказал, что посвятил мне одно стихотворение. Что ж, было даже приятно. Значит, Коля и во мне что-то нашел. Ну читай, говорю, ежели посвятил. И Коля прочел «Трущобный двор, фигура на углу...» Стихотворение тогда называлось «Поэт» и содержало гораздо больше строф, нежели в нынешней, посмертной редакции. И заканчивалось оно как будто бы по-другому. Однако не это главное. Главное, что стихи взволновали, даже потрясли своей неожиданной мощью, рельефностью образов, драматизмом правды... И Коля для меня перестал быть просто Колей. В моем мире возник поэт Николай Рубцов. Это был праздник.

Николай Рубцов был добрым. Он не имел имущества. Он им всегда делился с окружающими. Деньги тоже не прятал. А получка на Кировском заводе доставалась нелегко. Он работал шихтовщиком, грузил металл, напрягал мускулы. Всегда хотел есть. Но ел мало. Ограничивался бутербродами, студнем. И чаем. Супы отвергал.

Помню, пришлось мне заночевать у него в общежитии. Шесть коек. Одна оказалась свободной. Хозяин отсутствовал. И мне предложили эту койку. Помню, как Рубцов беседовал с кастеляншей, пояснял ей, что пришел ноче-

вать не просто человек, но — поэт, и потому необходимо — непременно! — сменить белье.

С Николаем мы расстались, когда он уехал в Москву, в Литинститут. Я учиться там не хотел. И дороги наши надолго разошлись. Я был слишком занят самим собой, своими стихами. И проворонил взлет поэта. Второе рождение Рубцова.

Не секрет, что многие даже из общавшихся с Николаем узнали о нем как о большом поэте уже после смерти. Я не исключение. Но мне от этого не стыдно. Мы горели одним огнем, одними заботами. Хотя и под разными крышами, но под одним небом — русским небом. И меня пощадила жизнь, а его — искрошила. Подарив чуть позже бессмертие. Созданное его трудом. Его талантом. Его любовью к Родине, к ее слову. Мы расстались, но мы — рядом. Вот они, его «Подорожники», его «Сосен шум», его «Зеленые цветы». Я протягиваю руку, и глаза касаются Рубцова, души его нежной, опаленной, но всегда — живой.

Популярность поэзии Николая Рубцова среди людей, читающих стихи, не затухает. Скорее — наоборот. Популярность, возникшая почти сразу же после гибели поэта, теперь перерастает в прочную закономерность приятия рубцовской музы как бесспорно истинного, устоявшегося, почти классического. Лирика поэта издается теперь в самых разнообразных сериях, рубриках, библиотечках.

А ведь поэта, о котором идет речь, не стало совсем недавно. И вся-то его сиротская, детдомовская поначалу жизнь длилась немногим больше тридцати лет. И родился он не в конце прошлого литературного и даже не в начале нынешнего, блоковского, века, а в самом разгаре нашей Советской эпохи. И вдруг — чуть ли не классик! Почему? Ведь на наших глазах промелькнуло множество интересных стихотворцев, заполонивших своими сочинениями сотни и сотни томов. А, скажем, к библиотечке «Поэтическая Россия» или «Поэтической библиотечке школьника», где нынче издается Николай Рубцов, их даже близко не подпускают. Почему?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо отличать Поэзию от ее заменителей. Подлинное от поддельного.

Во все исторические периоды, по крайней мере, от начала письменности, а не только в нынешние высокоэрудированные времена, сочинители делились на два разряда:

на владельцев литературных способностей и на обладателей поэтического дарования, дара, как говорили прежде.

Овладеть умением слагать стихи — не такая уж трудная или безнадежная задача. Этому процессу сейчас способствуют миллионные тиражи поэтических изданий, радио, телевидение, где стихи читают и взрослые, и дети, и даже... вычислительные машины, которые попутно горазды и сами нечто забавное сочинить. Теперь отличить подделку от правды в стихосложении могут только очень чуткие, я бы сказал, талантливые читатели, а также — Время. Да, лишь оно, бесстрастное Время, способно просеять, взвесить, подвергнуть духовному анализу все сотворенное людьми впопыхах, в движении их по жизни. И в итоге на полку Времени (а не библиотеки!) наконец-то ставится книжечка, или картина, или нотная тетрадь, а то и голос певца, вообще — нечто свое, уникальное, неповторимое, иногда внешне как бы продолжающее некий ряд, скажем, Кольцов — Никитин — Есенин. Или другой ряд, скажем, Тютчев — Фет — Блок... Продолжающее в развитии, а не в уподоблении рабском.

Знаю, что многие из критиков, а также собратьев моих по перу, рассуждая при случае о поэтической судьбе Николая Рубцова, сразу же причисляют его чуть ли не к апологетам Есенина. Наивная несправедливость. Преодолимая близорукость. Рубцов жил в свое время, Есенин — в свое. То, что ощутил, выстрадал, впитал своим дарованием один, не мог до него выстрадать, ощутить другой, каким бы провидцем последний ни оказался. Чувства — индивидуальны. Можно исповедовать одни и те же идеи: устремления мысли, но восторгаться или страдать, возгораться и гаснуть каждый обречен самостоятельно. И здесь нужно четко отделить одно понятие от другого: понятие школы и поэтической судьбы, нутряной сути поэта, что всегда целостна, всегда первозданна.

*Тихая моя родина!*
*Ивы, река, соловьи...*
*Мать моя здесь похоронена*
*В детские годы мои...*

Эта музыка, интонация слов — выстрадана. Так писать мог только один человек, а именно — Николай Рубцов. Это его кровные слова, его естественное состояние души.

*До конца,*
*До тихого креста*
*Пусть душа останется чиста!*

Или:

*Россия, Русь! Храни себя, храни!*
*Смотри, опять в леса твои и долы*
*Со всех сторон нагрянули они —*
*Иных времен татары и монголы.*

Так написать мог только истинный поэт, живший болью своей эпохи, патриот земли родной в самом высоком смысле этого слова, потому что мысль «храни» перерастает здесь рамки личного и даже — отчего. Сохраняя любовь и память к своему изначальному, к родимой деревеньке, городу, речке детства, мы тем самым сохраняем любовь к Отчизне и даже больше — ко всему живому на земле.

Поэзия Николая Рубцова помимо эмоционального несет в себе мощный нравственный заряд, иными словами — она, его поэзия, способна не только воспитывать в человеке чувства добрые, но и формировать более сложные духовные начала.

Поэзия Рубцова — не «тихая», не камерная, не подходит она под определение «деревенской» поэзии. Она просто — поэзия. Поэзия Николая Рубцова. И спасибо ему от нас запоздалое за красоту и пронзительность этой поэзии, спасибо ему за любовь его земную, неопалимую.

# ИГОРЬ МИХАЙЛОВ



## В «НАРВСКОЙ ЗАСТАВЕ»

Когда я принял литературное объединение «Нарвская застава» от поэтессы Натальи Грудининой, я уже знал, что это объединение — одно из сильнейших в Ленинграде. Немало известных поэтов начинало здесь свой творческий путь: Илья Фоняков, Анатолий Поперечный, Анатолий Аквилев, Михаил Сазонов, Николай Малышев, Нонна Слепакова... Познакомившись с кружковцами, которыми должен был руководить, порадовался их слаженности в работе и серьезному отношению к делу, а прежде всего — бесспорной одаренности многих из них.

Даже на таком фоне сразу обращала на себя внимание яркая индивидуальность Николая Рубцова. Привлекали стихи молодого поэта, удивительно жизнелюбивые, в которых некая рисовка «морской души» маскировала собой подлинную влюбленность в море. Уже позади была грустно окончившаяся любовь к девушке, которая «и раньше приходила нескоро», а однажды «не пришла совсем». Много позже поэт вспоминал «глаза ее, близкие очень, и море, отнявшее их» и даже довольно лихо шутил по этому поводу:

*Любимая чуть не убилась,—*
*Ой, мама родная земля! —*
*Рыдая, о грудь мою билась,*
*Как море о грудь корабля.*

Как и некоторые другие молодые поэты, работавшие на Кировском заводе, Николай Рубцов совмещал занятия

в «Нарвской заставе» с занятиями в заводском кружке. «Нарвская застава» привлекала почти профессиональным отношением к делу, занятиями по теории и истории поэзии, кружок на заводе — возможностью публиковаться в газете «Кировец». В 1961 году редакция этой газеты выпустила сборник стихов «Первая плавка», в который вошли пять стихотворений Рубцова. К подборке приложена очень удачная юношеская фотография поэта. В 1963 году в Лениздате вышел сборник «Продолжение песни» (стихи поэтов Кировского завода), но в нем только одно стихотворение Рубцова — «В кочегарке». Два его стихотворения («В океане» и «Разлад») опубликованы в другом лениздатовском сборнике «И снова зовет вдохновенье» (1962).

...Странно сейчас перебирать пожелтевшие листки со стихами Коли Рубцова — те экземпляры, которые давались на обсуждение в «лито». Вот шесть стихотворений, украшенных решительным минусом его оппонента: «На родине», «Фиалки», «Соловьи», «Видения в долине», «Левитан» и «Старый конь». Может быть, иногда чрезмерно суровы и требовательны к молодому поэту были его друзья, но отчетливо видишь, что в своих оценках они редко ошибались.

Нельзя не согласиться, что «Фиалки» мелки по теме, что «Видения в долине» длинноваты, вторичны, грешат красивостями («сапфирный свет на звездных берегах», «безмолвных звезд сапфирное движенье»). «Старого коня» и «Левитана» критиковали за, возможно, неуместную в стихах такого рода игру слов: «Хоть волки есть на волоке, и волок тот полог, едва он сани к Вологде по волоку волок» или «звон заокольный и окольный у окон, около колонн». Зато вполне уместной была признана звуковая перекличка в одном из его шуточных стихотворений (кажется, никогда не входившем в книги Рубцова):

*Вредная,*
*неверная,*
*наверно.*
*Нервная, наверно... Ну и что ж?*
*Мне не жаль,*
*Но жаль неимоверно,*
*Что меня, наверно, и не ждешь.*

Очень нравился нашим «литовцам» своеобразный юмор Рубцова. И характерно, что именно здесь впервые

«на ура» были приняты те его стихи («В океане», «Я весь в мазуте, весь в тавоте, зато работаю в тралфлоте»), которые стали его первыми публикациями и сразу составили ему добрую репутацию. На обсуждении отмечалась своеобразная самоирония, причудливо окрашивающая описание «трудового процесса» в сочетании с совершенно необычной «локальностью». «Я хрипло ругался, и хлюпал, как шлюпка, сердитый простуженный нос». Никто никогда не писал таких стихов о неудачной любви, где несомненная боль обязательно прикрывалась иронией: высмеять — значило для поэта выздороветь («Разлад», «Ненастье», «Утро утраты»).

И уж совершенный восторг вызвало у товарищей Рубцова одно из самых улыбчивых его стихотворений — «Утро перед экзаменом»: для ошалевшего от занятий школяра скалы стоят «перпендикулярно к плоскости залива», «стороны зари равны попарно», облако несется «знаком бесконечности», и даже «чья-то равнобедренная дочка» двигается, «как радиус в кругу». Было тут же установлено, что именно с «равнобедренной дочки» и началось это стихотворение.

Да, товарищи по «лито» очень четко «засекли» тот момент, когда из-под пера Рубцова стали появляться зрелые, художественно совершенные стихи. К сожалению, далеко не так обстояло дело в его взаимоотношениях с печатными органами.

Задним числом мы иногда любим лакировать путь поэта, украшать его розами и выщипывать тернии. Нередко Рубцов приходил на занятия злой, раздраженный: «Опять не взяли стихи в «Смене». Что они там понимают в стихах!» Нет, путь Рубцова в литературу не был безоблачным, но он умел относиться к жизненным трудностям с юмором.

Кажется, в последний год пребывания Рубцова в нашем литобъединении секретарь «Нарвской заставы» Борис Тайгин благоговейно перепечатал на машинке в нескольких экземплярах (для себя, автора и его друзей) первый стихотворный сборник Николая Рубцова под названием «Волны и скалы», включающий 38 стихотворений.

С книжечкой этой Рубцов в то время не расставался. Очень мальчишеская, очень задиристая, но ярко талантливая, она как-то компенсировала ему отсутствие настоящей «прессы». Позже он рассказывал, как приехал с нею в Москву поступать в Литературный институт имени

А. М. Горького, даже не надеясь, что его примут, поскольку приехал с изрядным опозданием, когда экзамены уже кончились. Однако «Волны и скалы» так очаровали экзаменаторов, что Рубцов был зачислен добавочно на очное отделение. Оживленный, не сразу поверивший своему счастью, примчался он в Ленинград увольняться с Кировского завода. Но, поступив в Литературный институт, Рубцов не порвал отношений с «Нарвской заставой». Приезжая в Ленинград, он непременно навещал товарищей.

Запомнилось мне выступление Рубцова на отчетном вечере в конце занятий. Я впервые видел его перед большой аудиторией. В чтении его чувствовалась глубоко затаенная сила, да и манера чтения была совершенно необычной, резко индивидуальной. Читая, он проделывал рукой какие-то вращательные движения, пригибаясь при этом:

*Ну что ж! Моя грустная лира,*
*Я тоже простой человек —*
*Сей образ прекрасного мира*
*Мы тоже оставим навек.*

...Я вслушивался в нотки голоса, столь знакомого, и сердце мое резануло чувство тревоги за судьбу этого человека. Может быть, это было предчувствие неблагополучия? Не знаю... Оно пришло и ушло. После окончания Литературного института, хотя Николай Рубцов и бывал в Ленинграде, мне не пришлось с ним свидеться.

# БОРИС ТАЙГИН



## «ВОЛНЫ И СКАЛЫ»

В шестидесятые годы мне нередко доводилось бывать в Ленинградском Доме писателей. Там довольно часто устраивались вечера поэзии рабочей и студенческой молодежи. На одном из таких вечеров, 24 января 1962 года (дата точная: сохранился пригласительный билет), читал свои стихи на вид молодой, но почти без волос, худощавый и невысокий парень — Николай Рубцов.

До него уже многие побывали на сцене, читая свои стихи. В подавляющем большинстве стихи эти были буднично-серыми, а порою и откровенно пустыми, слушали их не очень внимательно, и в зале стоял характерный шумок, когда аудитория, как говорится, «и слушает, и не слушает».

Николай Рубцов на сцену вышел в заношенном пиджаке и мятых рабочих брюках, в шарфе, обмотанном вокруг шеи поверх пиджака. Это невольно обратило на себя внимание. Аудитория как бы весело насторожилась, ожидая чего-то необычного, хотя здесь еще не знали ни Рубцова, ни его стихов.

Подойдя к самому краю сцены, Николай посмотрел в зал, неожиданно и как бы виновато улыбнулся и начал читать... Читал он напевно, громко и отчетливо, слегка раскачиваясь, помахивая правой рукой в такт чтению и почти не делая паузы между стихотворениями.

Стихи эти, однако, были необычными. Посвященные рыбацкой жизни, они рисовали труд и быт моряков под каким-то совершенно особым углом зрения. И насквозь

были пропитаны юмором, одновременно и веселым, и мрачным.

Аудитория угомонилась, стала внимательно слушать. И вот уже в зале искренний смех, веселое оживление после очередных шуточных строк. И искренние шумные аплодисменты после каждого стихотворения. «Читай еще, парень!» — кричали с мест. И хотя время, отведенное для выступления, уже давно истекло, Николаю долго не давали уйти со сцены.

После окончания вечеров поэзии в Доме писателей обычно никто не спешил в гардероб. Люди собирались в кулуарах большого здания-дворца, на площадках лестниц, в комнатах отдыха, в буфете. Обменивались мнениями о прослушанных только что стихах, о выступивших поэтах.

Вокруг Рубцова, севшего за один из столиков в буфете, собралась, оживленно беседуя, группа молодых людей, которые, вероятно, знали его раньше. Но подходили и те, кто впервые его услышал. На меня его стихи произвели настолько чарующее впечатление, что непременно захотелось познакомиться с их автором!

Однако сделать это удалось несколько позже. Еще в декабре 1961 года я был принят в литературное объединение «Нарвская застава» при Дворце культуры имени Горького. Это был кружок молодых рабочих поэтов, которые собирались по вечерам один раз в неделю и под руководством поэта Игоря Михайлова изучали основы теории стихосложения, историю русской и советской поэзии, а также делали критический разбор того, что пишут сами члены кружка. А один раз в год, в мае, организовывался вечер встречи. Печатались пригласительные билеты, приглашались все желающие.

Такой вечер состоял из двух отделений: сначала шло вступительное слово руководителя кружка и выступления его членов, а после перерыва стихи читали гости, поэты-профессионалы или те, чьи стихи уже публиковались в периодике, у кого готовилась к изданию книжка... Вот на такой вечер 6 мая 1962 года во Дворце культуры имени Горького в качестве гостя приехал читать свои стихи Николай Рубцов. Здесь во время перерыва я и познакомился с ним.

Мы легко и просто разговорились. Я рассказал ему о впечатлениях январского вечера поэзии в Доме писателей. Он как-то весело внимал моему, вероятно, сбивчи-

вому и не очень вразумительному рассказу, потом записал мой домашний адрес и телефон, и мы договорились, что он приедет ко мне.

И вот 1 июня 1962 года Николай Рубцов появился у меня дома. Он оказался простым парнем с открытой душой, и минут через десять мы уже беседовали как старые друзья. Я рассказал, что решил записывать на магнитофонную ленту стихи своих друзей в авторском чтении. Николай одобрил это начинание и тут же сам зачитал мне на ленту десять своих стихотворений.

Показал я Рубцову и несколько машинописных книжечек со стихами моих друзей и предложил сделать такой же сборник его стихотворений.

У Николая было с собой довольно много машинописных листов с его стихами, и мы, не откладывая дела в долгий ящик, стали обсуждать, что из себя должна представлять такая книжка.

Расстались мы в этот вечер добрыми друзьями. Рубцов обещал в скором времени вновь зайти ко мне. Я немедленно начал печатать на машинке оставленную им подборку стихотворений. В течение полутора месяцев с того дня Николай бывал у меня довольно часто. Он приносил новые стихи, постоянно исправлял уже готовые строки, а то и целые строфы.

К началу июля книжка уже имела свое лицо. В окончательном варианте в нее было включено 38 стихотворений разных лет, разделенных на восемь тематических циклов: 1. Салют морю. 2. Долина детства. 3. Птицы разного полета. 4. Репортаж. 5. Звукописные миниатюры. 6. Ах, что я делаю? 7. Хочу — хохочу! 8. Ветры поэзии.

Назвал Н. Рубцов ее «Волны и скалы», объяснив, что «волны» означают волны жизни, а «скалы» — различные препятствия, на которые человек натыкается во время своего жизненного пути. Стихи в книжке — именно об этом.

7 июля книжка была, наконец, полностью готова, и оставалось лишь ее переплести. Николай весь этот вечер был у меня, долго и внимательно перечитывал машинопись, остался очень доволен и, между прочим, сказал, что ему пришла в голову мысль написать несколько слов «от автора». 11 июля он принес готовый текст. Перепечатав авторское предисловие, я переплел все шесть экземпляров, и 13 июля книжки лежали у меня на письменном столе совершенно готовые. Полуторамесячная работа была завершена.

Вечером пришел Николай, увидел эти книжки и был растроган чрезвычайно. В тот вечер по моей просьбе для записи на магнитофонную ленту Рубцов прочел еще два стихотворения, новые, только что написанные: «Поэт» с посвящением Глебу Горбовскому и другое — веселое и шуточное — «Разлад» (к сожалению, это последнее на ленту попало не полностью: техника подвела).

В конце августа 1962 года Николай Рубцов взял на заводе небольшой отпуск за свой счет и поехал в Москву. А в начале сентября, вечером, буквально на несколько минут, зашел ко мне радостный и возбужденный: его приняли в Литературный институт, хоть он и опоздал на вступительные экзамены! «И вот,— сказал он,— забежал к тебе попрощаться и еще раз поблагодарить тебя за книжку: я на собеседовании читал стихи, держа ее в руке, и потом она побывала в руках у всех членов комиссии, вызвав у них удивление и восхищение немалое! Думаю, что она являлась для меня как бы талисманом. Всегда буду хранить ее как самое дорогое, заветное! А экзамены разрешили мне сдать в течение семестра!» Я пожелал ему ни пуха ни пера. Мы дружески, тепло попрощались, и он ушел. То была наша последняя встреча.

# НИКОЛАЙ КОНЯЕВ



## В ПРИЮТИНСКОМ ПАРКЕ

Приютино — не пустое место на литературной карте страны. Десятки прославленных писателей бывали здесь. По преданию в Приютинском парке написаны многие басни Крылова. Бывали здесь Пушкин и Батюшков...

Впрочем в 1955 году, когда сюда приехал Николай Рубцов, о славном прошлом Приютино, если и вспоминали, то только редкие старожилы. Все здания усадьбы Олениных принадлежали тогда НИАПу — научному испытательному артиллерийскому полигону.

Жили в Приютине тесно. Брат Рубцова занимал со своей семьей крохотную комнатушку в бывшем барском доме, где сейчас располагается музей, а Николай поселился в здании напротив. Там на втором этаже в просторном с тремя окнами зале было общежитие. В большой комнате (96 кв. м), перегороженной шкафами и занавесками, жили двенадцать человек, двое из них с семьями...

О жизни Рубцова в Приютине почти ничего не известно, но в архиве Вологодской области хранится в фонде Рубцова несколько фотографий, подаренных поэту в Приютине, в его записной книжке, хранящейся в этом архиве, удалось найти несколько адресов.

По этим адресам и отправились мы с поэтом Николаем Тамбе, поискать знакомых Рубцова.

Дом, где жил Рубцов, сейчас реставрируется. По узенькой лестнице мы поднялись на второй этаж, заглянули в комнату — общежитие. Полы там уже сняты, и проемы окон как-то неестественно поднялись к потолку... И, ко-

нечно, давно уже расселены все бывшие приютинцы...

Впрочем, нам повезло. Уточняя, где находился дом номер два, мы обратились к рабочему, возившемуся во дворе запущенного флигеля.

— А вы подождите немного...— ответил тот.— Сейчас Николай приедет. Вроде он жил в том доме...

— Ему не Беляков фамилия? — спросил я.

— Беляков...— ответил парень и удивленно посмотрел на меня.— А вы откуда знаете?

О Белякове я знал из книг Николая Рубцова, из его:

*Не подберу сейчас*
*такого слова,*
*Чтоб стало ясным все*
*в один момент,*
*Но не забуду Кольку Белякова*
*И Колькин музыкальный*
*инструмент...*

— стихотворение, написанное в Приютине, в 1957 году.

— А...— сказал парень.— А вон там за флигелем Колькина мать сидит... Поговорите с ней, если хотите.

Действительно, в глубине двора грелась на солнце древняя старушка, а у ног ее, теребя сползшие чулки, крутился толстый, похожий на мячик щенок.

— Колюшка-то? Рубцов-то? — переспросила бабушка, когда нам удалось докричаться до нее.— Как же, как же не помнить... А где он чейчас-то, чего-то давно я его не встречала...

Мы не стали рассказывать, что — увы! — уже не встретить Рубцова, что давно умер он, что его именем названа улица в Вологде, что на берегу холодной реки стоит ему памятник... Восьмидесятичетырехлетняя старушка лучше помнила то, что было в пятьдесят пятом году, чем то, что случилось вчера. Она и нас, похоже, приняла за приятелей Рубцова.

— Дружил он с моим Колькой-то...— сказала она.— Такой хороший паренек был...

Николай Васильевич Беляков разговорился не сразу. Жизнь у него сложилась нелегко, изломанно, да и не очень-то он готов был к воспоминаниям о том давнем времени. Хотя и слышал Николай Васильевич о Рубцове по радио, хотя и попадались ему упоминания о Рубцове в газетах, но настоящая слава Рубцова, похоже, еще не дошла до Приютина.

Немножко разговорился Николай Васильевич в парке, когда вспомнил вдруг — слышанное еще тогда в 55-м — рубцовское четверостишье:

*И дубы вековые*
*над нами*
*Оживленной листвою*
*трясли.*
*И со струн под*
*твоими руками*
*Улетали на юг журавли...*

— Ну как жили? — рассказывал он.— Бродили, колобродили, по ночам не спали. Рубцов много рассказывал, стихи читал, вспоминал детство свое, какое оно у него было плохое — рано остался без родителей. У них было два брата: он и Олег...

— Альберт...— поправил я.

— Олег, по-моему... Он уже женат был, жил тут в господском доме, у них там типа комнаты было... А Николай в нашем доме жил, в общежитии. Ну мы поговорили там, познакомились... Я ему понравился, он мне понравился, в общем подружились. Другие-то на Николая как-то не обращали внимания, потому что он такой, какой-то привязчивый был, все старался свои стихи прочесть... А у тех людей свои заботы... Ну, а нашел меня, и мы с ним частенько в этом парке сидели, разговаривали. Но большинство он свои стихи говорил. Прочитает, а потом спрашивает: нравится? Ну, нравится, нормально, конечно... И он и говорит: пойдем, я тебе еще почитаю. Так и ходим всю ночь с ним. Можно сказать, частенько ходили... Поэму свою читал, начиная с самого малого детства, как он из детдома. Про себя и про брата. Они как раз вместе и росли в детдоме. Как трудно было кормиться, как они убегали с братом. В общем читал там о каждой корочке хлеба. Рассказывал эту поэму очень долго... А вообще нормальный парень был. Дружбу любил настоящую. Не любил, когда изменяют ему, даже женщина или мужчина. Он верил в человека...

Этот бесхитростный рассказ Николая Васильевича Белякова я записал на магнитофон, и только дома, перенося его на бумагу, услышал громкие, порой заглушающие нашу беседу, голоса птиц. Такие же, как здесь, пели и Николаю Рубцову...

— Вы, наверное, и в армию его провожали? — спросил я.

— Нет... Ну, в общем, об этом не обязательно знать, но заступился я за одного товарища и, короче, посадили меня. И вот он мне туда писал письма. Такие письма были ужасно-прекрасные...

— А они не сохранились?

— Нет... Я потом снова сидел. Этот дом разломали, а мы во флигель перебрались. Куда-то исчезло все.

— А вы потом встречались с Рубцовым?

— Да... Он приезжал сюда, когда узнал, что я освободился. И вот такой интересный эпизод был. Он вышел на Бенгардовке и решил машину проголосовать, чтоб сюда приехать. Поднял руку. Остановилась машина. Куда? В Приютино... Ну, садись... А это вытрезвитель, в общем, был. А Коля поддавший. Ну и отвезли его туда. А у него с собой сто пятьдесят рублей денег было. Ну, короче, пока его не раздели, восемьдесят рублей он спрятал в валенок. А остальные отдал. Ну и, короче говоря, когда оттуда вышел, деньги, которые отдавал, ему вернули, а те, что в валенке были — исчезли. А ко мне он наутро пришел. В дырявых валенках. Вот честно говорю — дырявые пятки. Сто пятьдесят рублей, а пятки — рваные.

— А в каком это году было?

— Это было... В шестьдесят втором году я женился... Шестьдесят четвертый примерно. Точно не помню, но так, у меня сынишке уже было года два. Вот он пришел и жалуется, так, мол, и так, в такую историю попал. Ну, короче говоря, взяли мы, это дело отметили... И он уехал в Вологду. Обещал приехать. Даже, по-моему, это не шестьдесят третий был, а где-то побольше, потому что больше я его не видел...

— Может, он из Москвы приезжал?

— Да... Он учился там где-то. Значит, это было позже. Из Москвы он тоже ко мне приезжал, а это было позже. Потому что у меня опять неприятность получилась. и короче, я уже в лагере узнал о его кончине. Такой «Молодая гвардия» журнал есть. Там некролог написан был: трагически погиб... Я потом спрашивал вологодских ребят, а они говорят: да, его жена зарубила...

— Задушила...

— Или задушила там. Ну... Я многих вологодских ребят спрашивал: знаете ли такого? Да, говорят, знаем...

Николай Васильевич замолчал. Вообще разговор этот давался ему нелегко, и сейчас, переписывая его с магни-

тофонной пленки, я вижу, что исчезают в записи не только голоса приютинских птиц, но и напряженные паузы, а главное то, как преодолевает Николай Васильевич свое, естественное при беседе с незнакомым человеком, стремление скрыть кое-какие моменты собственной биографии. И удивительно не то, что удается разговорить его; собственно говоря, я и не прикладывал сил к этому, просто, вспоминая Рубцова, Николай Васильевич сам забывал о своем решении, начинал говорить правду, как бы против своей воли, рассказывая и о себе, ничего не скрывая. Пожалуй, впервые, разговаривая со знакомыми Рубцова, ощущал я, как незримо вмешивается в нашу беседу сам Николай Михайлович Рубцов.

— Мама ваша его хорошо помнит...— осторожно сказал я.

— А как же...— улыбнулся Николай Васильевич.— Отлично помнит. Он мою мамку здорово любил. Сюда приходил, никогда ему ни в чем не отказывали. И он такой внимательный был... А сам веселчак, на гармошке любил играть. Ночами тут покоя не давал некоторым. Гармошка, она ведь громко играет, не то что так просто... Он из-за Таи очень сильно переживал. Очень расстраивался. Он мне и туда, в тюрьму, писал, и сюда... Почти все письма стихами были написаны.

О Тае я тоже кое-что знал. В ГАВО в фонде Рубцова я видел фотографии красивой девушки, которые Рубцов сберег в своих бесконечных странствиях. На обороте одной фотографии надпись: «На долгую и вечную память Коле от Таи. 30.08—55 г. Красоты Приютино здесь нет, она не всем дается, зато душа проста и сердце просто бьется». И еще одна фотография той же девушки, только помеченная уже концом декабря 55 г.

— А где она теперь живет? В Ленинграде?

— Тая-то? Нет... Здесь она живет. Поедемте, покажу.

И вот мы в квартире Таи Смирновой — сейчас Таисии Александровны Голубевой.

Момент встречи выбран неудачно. Еще не исполнилось сорока дней со смерти мужа — на телевизоре рядом с его рамкой стоит рюмка, прикрытая ломтиком хлеба. Не вовремя мы пришли — да откуда же знать? — но Таисия Александровна не отказывается от беседы.

Чуть смущаясь, чуть посмеиваясь над той собой, давней, она роется в альбоме.

— Рубцов веселый был. Такой веселый, ой! Выйдешь,

бывало, на крыльцо, а он уже на гармошке играет. И на танцах играл.

— Здесь и танцплощадка была?

— Да... Народ к нам даже из города приезжал. Парк такой хороший был. Это сейчас он заросший.

— И под гармошку и танцевали?

— Угу... Еще радиола была. А так вообще и под гармошку.

— А Рубцов вам писал из армии?

— Конечно. Только сейчас уже не сохранилось ничего. Вот... Только фотографии. Тридцать ведь лет прошло.

И она положила на стол четыре фотографии. На одной — Николай Рубцов в куртке-москвичке с белым воротником с густыми еще, зачесанными на бока волосами, лежит под кустом в траве и чуть усмехается. На обороте его рукой написано:

*«Мы с тобою не дружили,*
*Не встречались по весне,*
*Но того, что рядом жили,*
*Нам достаточно вполне!*

Тае от Коли.
29/8—55 г.
Приютино».

Через два дня Тая подарит Рубцову свою фотографию, ту, которая хранится сейчас в Рубцовском фонде.

Остальные фотографии — уже со службы.

На одной стихи:

*«Не стóит ни на грош*
*сия открытка... Все ж.*
*Как память*
*встреч случайных,*
*Забытых нами встреч,*
*На случай грусти тайной*
*сумей ее сберечь.*

Тае от Коли.
1/1—1956 г.

— А письма? Наверное, вы и сначала их не хранили?

— Так, а как-то у нас ничего серьезного не было. Почему-то не нравился он мне. Сама не знаю, почему. Девчонка была, так чего понимала? Кто нравится — кто не нравится... Мы же и не знали раньше, что он такой знаменитый будет, когда он с армии вышел. А до этого мы ничего не знали, что он, оказывается, такой грамот-

ный. А у нас с ним ничего не было. В армию его провожала, да так... А потом я замуж вышла.

— А он приезжал к вам потом?

— Приезжал... а я уже была замужем. У меня ребенок. Он приезжал в таком виде... Мы даже перепугались все. Была весна, а он в рваных валенках, весь оборванный... И пришел ко мне на квартиру.

— Ну и чем эта встреча кончилась?

— А ничем. Он мужу моему говорит, выйди, мне надо с ней поговорить. А я говорю: нет, чего нам с тобой разговаривать? Николай тогда посмотрел на мужа и говорит ему: смотри, если только обидишь ее, из-под земли достану.

— Значит, любил все-таки...

— Любил...— И Таисия Александровна вздохнула.— Я потом об этой встрече его родственнице рассказывала, которая на Котовом поле живет. А она говорит: никогда не поверю. Он, знаешь, как ходит. С тростью, в шляпе, разодет весь. Ну, не знаю, я говорю, я его таким никогда не видела... А он, что? Правда, с тростью ходил?

Нет... Никогда не ходил Николай Рубцов с тростью, и вообще — всегда очень мало заботился о своей одежде. Это только на памятнике, кажется, и приодели его, обули в красивые туфли, накинули на плечи элегантное пальто...

Я пишу это и смотрю на подаренные мне Таисией Александровной фотографии молодого Николая Рубцова.

В москвичке с белым воротником, перепоясанный ремнем с бросающейся в глаза пряжкой, девятнадцатилетний Рубцов крутит в руках травинку и смотрит прямо в объектив фотоаппарата. Через несколько дней ему идти в армию. Растерянности нет в его взгляде. Здесь, в Приютине, остаются его родные, друзья, любимая девушка. Похоже, что этот юноша с фотографии уже все определил для себя...

И не случайно, что на побывку в пятьдесят седьмом году Рубцов едет в Приютино, как некогда ездил на каникулы из Тотьмы в Никольское.

О том, насколько иллюзорным было представление Рубцова о Приютине как о своем доме, написано в его стихах.

В пятьдесят седьмом году от возведенного им в своем воображении дома не осталось и следа. Посадили в тюрьму друга. Любимая девушка вышла замуж. Брат собирался

уезжать отсюда... В общем, все, как в стихотворении, посвященном Кольке Белякову:

*Сурова жизнь. Сильны ее удары,*
*И я люблю, когда взгрустнется вдруг,*
*Подолгу слушать музыку гитары,*
*В которой полон смысла каждый звук.*
*Когда-то я мечтал под темным дубом,*
*Что невеселым мыслям есть конец,*
*Что я не буду с девушками грубым*
*И пьянствовать не стану, как отец.*
*Мечты, мечты... А в жизни все иначе.*
*Нельзя никак прожить без кабаков.*
*И если я спрошу: «Что это значит?» —*
*Мне даст ответ лишь Колька Беляков.*

И тут же, в сборнике — рядом стихотворение, обращенное к брату:

*Помню, как луна смотрела в окно,*
*Роса блестела на ветке.*
*Помню, мы брали в ларьке вино*
*И после пили в беседке.*
*Ты говорил, что покинешь дом,*
*Что жизнь у тебя в тумане,*
*Словно о прошлом, играл потом*
*«Вальс цветов» на баяне...*

Увы, в пятьдесят седьмом году недельный отпуск стал для Рубцова прощанием с местом, которое уже привык он считать своим домом.

*Я люблю, когда шумят березы,*
*Когда листья падают с берез.*
*Слушаю — и набегают слезы*
*На глаза, отвыкшие от слез...*

Брат исполнил свое обещание, уехал, перебрался в Воркуту. А Николай Рубцов, хотя и приезжал после пятьдесят седьмого года в Приютино, но только в гости. Еще одна местность могла стать его домом и не стала им, еще один вариант его возможной жизни был зачеркнут его безжалостной судьбой...

# ПО СЧЕТУ БЫЛО «ЗАПЛОЧЕНО»

## Из документальной повести

...Рубцов поступил в Литературный институт, когда ему исполнилось двадцать шесть с половиной лет. Детдом, годы скитаний, служба на флоте, жизнь лимитчика-работяги... Это осталось позади. Впереди — неясно — брезжил успех. Пока же Рубцов был рядовым студентом.

О жизни Рубцова-студента написано столько, что порою трудно отделить правду от слухов, факты от домыслов, и волей-неволей приходится обращаться к архивным свидетельствам.

Свернешь с Тверского бульвара, пройдешь мимо памятника Герцену через двор, в дальний угол, к гаражу... Здесь, в полуподвале, и находится хранилище институтских документов. Сразу за дверью — металлическая, выгороженная перильцами и оттого похожая на капитанский мостик, площадка... Металлическая лестница ведет вниз к стеллажам, на которых пылятся бесконечные папки и гроссбухи... Часть институтского архива вообще не разобрана и свалена в соседней комнате прямо на пол. В этом канцелярском, зарастающем пылью море и искал я архивные свидетельства о Рубцове-студенте...

«Проректору лит. института от студента 1 курса Рубцова Н.

Объяснительная записка

Пропускал последнее время занятия по следующим причинам:

1). У меня умер отец. На три дня уехал в Вологду.

2). Взяли моего товарища Макарова. До этого момента и после того был занят с ним, с Макаровым.

3). К С. Макарову приехала девушка, которая оказалась в Москве одна. Несколько дней был с ней.

Обещаю не пропускать занятий без уважительных причин.

10/XI—62 г. *Рубцов*».

Поверх этой объяснительной записки резолюция: «В приказ. Объявить выговор».

«Ректору Литературного института им. Горького тов. Серегину И. Н. от студента первого курса осн. отд. Рубцова Н. М.

Заявление

Я не допущен к сдаче экзаменов, т. к. не сдавал зачеты. Зачеты я не сдавал потому, что в это время выполнял заказ Центральной студии телевидения... Писал сценарий для передачи, которая состоится 9 января с. г.

Прошу Вас допустить меня к экзаменам и сдаче зачетов в период экзаменационной сессии.

7/1—63 г. *Н. Рубцов*».

Резолюция: «В учебную часть. Установить срок сдачи зачетов 15 января. Разрешаю сдавать очередные экзамены».

«Ректору Литературного института им. Горького тов. Серегину от студента 1 курса Рубцова Н.

Объяснительная записка

После каникул я не в срок приступил к занятиям. Объясняю почему это произошло.

Каникулы я проводил в отдаленной деревне Вологодской области. Было очень трудно выехать оттуда вовремя, т. к. транспорт там ходит очень редко.

Причину прошу считать уважительной.

25/II—63 г. *Н. Рубцов*».

Резолюция: «В учебную часть. Принять к сведению объяснения т. Рубцова».

Приведенные мною объяснительные записки и заявления студента Рубцова несколько не соответствуют образу бесшабашного поэта, который рисуют авторы некоторых воспоминаний.

«Его знаменитое «Возможно, я для вас в гробу мерцаю» попало в руки Серегина. Он вызвал Рубцова к себе. Между ними состоялся короткий разговор. Ректор спросил: «Это ваше заявление, Рубцов?» Коля ответил: «Да». Ректор с сожалением посмотрел на Рубцова, как-то съежился и с горечью сказал: «Коля! Это же мальчишество! Иди!»

А стихи были такие:

*«Возможно, я для вас в гробу мерцаю,*
*Но заявляю вам в конце концов:*
*Я, Николай Михайлович Рубцов,*
*Возможность трезвой жизни отрицаю».*

Процитированные воспоминания — не ложь, не обман. Бесспорно, что подобная трактовка исходит от самого Рубцова. И этот, трансформированный в легенде облик все-таки более точно отражает состояние души автора «Тихой моей Родины», «Прощальной песни», нежели ставящие двадцатисемилетнего поэта в унизительное положение выкручивающегося школяра объяснительные записки.

Хотя... Ведь и эти заявления и объяснительные записки — истина. Та горькая истина, о которой исследователи творчества Рубцова и авторы воспоминаний стараются почему-то не думать...

В архиве Литературного института хранится объемистый фолиант, озаглавленный «Лицевые счета студентов на буквы Н—Э за 1963 год». Страница номер тридцать два в этом фолианте посвящена анализу материального достатка студента Рубцова. Записи по-бухгалтерски немногословны и содержательны:

19 января 1963 года выплачена Рубцову стипендия 22 рубля. Удержано 1 руб. 50 коп. То же самое в феврале, марте, апреле, мае.

Жить на такие деньги в Москве было невозможно. И не разобрать чего больше — юмора или горечи? — в рассказе А. Черевченко, вспоминавшего, как Рубцов, вернувшись из института, долго лежал по своему обыкновению прямо в пальто на койке, а потом вдруг неожиданно спросил: «Саша... А зачем тебе два пиджака?». Подумав, Черевченко решил, что второй пиджак ему и правда ни к чему. Тут же пиджак был продан. На выручку купили две бутылки вина, кулек жареной кильки, батон, пачку чая и конфеты-подушечки. Был пир.

Вот так и жил Рубцов. Но вернемся снова к «лицевым счетам». 25 июня 1963 года Рубцов получил аж 66 рублей — стипендию сразу за три летних месяца. Что и говорить, 62 рубля 50 копеек — три с половиной рубля составили удержания — немалые деньги для двадцатисемилетнего, имеющего ребенка, человека. С этими деньгами и уехал Рубцов в Никольское. А вот когда вернулся назад, опоздав на занятия — он задержался в Николе, чтобы побрать клюкву — приказом номер 157 его лишили сентябрьской стипендии, и в сентябре он не получал ничего. Точно так же, как и в ноябре... Ну, а вскоре его вообще отчислили из института. Всего, как свидетельствует бесстрастный бухгалтерский документ, за полтора года учебы на дневном отделении Рубцов получил чуть больше

двухсот рублей — примерно столько же он получал на Кировском заводе в месяц.

Конечно, в общежитии Литинститута нищета переносилась легче, но двадцать семь лет слишком большой возраст, чтобы не замечать ее. Рубцова раздражало, что друзья специально приводят своих знакомых посмотреть на него — как в зверинец...

Очень точно передает состояние Николая Рубцова в литинституте Борис Шишаев: «Когда на душе у него было смутно, он молчал. Иногда ложился на кровать и долго смотрел в потолок... Я не спрашивал его ни о чем. Можно было и без расспросов понять, что жизнь складывается у него нелегко. Меня всегда преследовало впечатление, что приехал Рубцов откуда-то из неуютных мест своего одиночества. И в общежитии Литинститута, где его неотступно окружала толпа, он все равно казался одиноким и бесконечно далеким от стремлений людей, находящихся рядом. Даже его скромная одежда, шарф, перекинутый через плечо, как бы подчеркивали это.

Женщины, как мне кажется, ни на каплю не понимали Николая. Они пели ему дифирамбы, с ласковой жалостью крутились вокруг, но когда он тянулся к ним всей душой, они пугались и отталкивали его. Во всяком случае те, которых я видел рядом с ним. Николай злился на это непонимание и терял равновесие».

Живший одно время с Рубцовым в одной комнате общежития ленинградец Сергей Макаров вспоминает, что Рубцов «знал много страшных историй про ведьм и колдунов и часто рассказывал их по ночам. Рассказывал глуховатым голосом. Против окон нашей комнаты качались ночные фонари, тени ползли по потолку, и я представлял их ожившими силами зла — настолько впечатляющими были эти истории. Тогда я вскакивал как ошпаренный и быстро включал свет. А Рубцов в эти минуты хохотал...»

Конечно, Рубцов сам испытывал судьбу, сам из озорства вызывал из сумерек злых духов ночи. В его стихах навязчиво одни и те же образы ведьмовских чар. Иногда, как, например, в стихотворении «Сапоги мои — скрип да скрип» шутливо:

*Знаешь, ведьмы в такой глуши*
*Плачут жалобно.*
*И чаруют они, кружа,*
*Детским пением...*

но чаще, и с каждым годом все грознее и неотвратимее, уже не в озорном воображении, не в глубинах подсознания, а почти наяву возникают страшные видения:

*Кто-то стонет на темном кладбище,*
*Кто-то глухо стучится ко мне...*

И все это — и пугающая самого Рубцова чернота, и отчаянная нищета, и понимание необходимости своих стихов — сплеталось в единый клубок. И как результат,— срывы, те пьяные скандалы, о которых так часто любят вспоминать теперь. Конечно, ничего особенного, страшного в этих скандалах не было, и, безусловно, другому человеку они бы сошли с рук. Но не Рубцову... Ему мало что прощалось в этой жизни. За все он платил, и платил по самой высокой цене...

Осень шестьдесят третьего года помимо новых гениальных стихов принесла Рубцову и неприятности. Впрочем, поначалу они не особенно пугали. Просто жестче сделалось вдруг отношение к Рубцову, и то, что прощалось еще год назад, теперь каралось.

Выписка из приказа № 157 от 24 сентября 1963 года: «§ 2. За пропуски занятий по неуважительным причинам снять со стипендии на сентябрь месяц следующих студентов: 2. Рубцова Н.— 2 курс».

Выписка из приказа № 203 от 22 ноября 1963 года: «§ 4. Студента 2 курса тов Рубцова Н. М. снять со стипендии на ноябрь месяц за пьянки и систематические пропуски занятий без уважительных причин».

И наконец, приказ по Литературному институту им. Горького № 209 от 4 декабря 1963 года: «3 декабря с. г. студент 2-го курса Рубцов Н. М. совершил в Центральном Доме Литераторов хулиганский поступок, порочащий весь коллектив студентов Литературного института. Учитывая то, что недавно общественность института осудила недостойное поведение Рубцова Н. М., а он не сделал для себя никаких выводов, ИСКЛЮЧИТЬ ЕГО ИЗ ИНСТИТУТА ЗА ХУЛИГАНСТВО с немедленным выселением из общежития. Проректор Литературного института А. Мигунов».

Есть какая-то жестокая и неумолимая логика в череде этих приказов. Смешно было бы утверждать, что Рубцов не пил и вел себя примерно и тихо. Нет! Пил... Буянил... Но не следует забывать и того, что пили и буянили в Литературном институте многие. И разумеется, адми-

нистрация института не испытывала особого восторга по поводу пьянок, и время от времени принимала меры... Однако, судя по папке с приказами за вторую половину шестьдесят третьего года, никто не карался так жестоко, как Рубцов. Так, может быть, скандалы Рубцова отличались каким-то особым размахом? Нет... Судя по воспоминаниям тогдашних студентов литинститута такого не было... Откуда же тогда систематическое, отчасти смахивающее на травлю, преследование? Откуда это уже почти совсем мстительное: «ИСКЛЮЧИТЬ... с немедленным выселением из общежития»? Ведь для большинства студентов выселение из общежития значило лишь разлуку с Москвой. Для Рубцова же это было полной катастрофой, ибо никакой иной, кроме общежитской, жилплощади он не имел. В личном деле был подшит тетрадочный листок в косую линейку, на котором Николай Рубцов изложил всю свою биографию. Помимо автобиографии были в деле Рубцова и выписка из трудовой книжки, и сверенная с паспортом анкета... Так что проректор А. Мигунов, подписавший роковой для Рубцова приказ, очень хорошо знал, что значит для того «немедленное выселение из общежития».

Возможно, со временем, когда будут опубликованы дополнительные свидетельства и материалы, прояснятся все детали этого рокового в жизни Рубцова события, но и сейчас уже можно восстановить в целом историю изгнания поэта из института.

Ректором тогда был И. Н. Серегин. В памяти многих студентов осталось его худое, изможденное лицо. Серегин был неизлечимо болен. Диагноз: белокровие, рак крови. К Рубцову Серегин относился хорошо и, перелистывая выписки из приказов, вшитые в дело Рубцова, можно увидеть, что все наиболее жестокие кары обрушиваются на голову Рубцова как раз в отсутствие Серегина.

4 декабря 1963 года Рубцова отчислили из института. 20 декабря состоялся товарищеский суд, который «решил войти в ректорат института с предложением о восстановлении т. Рубцова в правах студента и о наложении на него за совершенный поступок строгого административного взыскания с последним предупреждением». 21 декабря Рубцов пишет заявление на имя Серегина И. Н.: «Учитывая решение товарищеского суда прошу восстановить меня студентом института». И уже 25 декабря появляется приказ № 216, подписанный Серегиным:

«В связи с выявленными на товарищеском суде смягчающими вину обстоятельствами и учитывая раскаяние тов. Рубцова Н. М., восстановить его в числе студентов 2 курса. Объявить ему строгий выговор с предупреждением об отчислении из института в случае нового нарушения моральных норм и общественно-трудовой дисциплины».

Мы уже говорили, что И. Н. Серегин был неизлечимо больным человеком. Надо сказать, что в отличие от других администраторов литинститута он был еще и порядочным человеком. Тот же А. Черевченко вспоминает, как отчаявшись от притеснений А. Мигунова, уехал он в Харьков, плюнув на институт, и здесь через два месяца его разыскал посланец ректора. Он передал А. Черевченко записку И. Н. Серегина: «Саша! Напиши заявление о переводе на заочное. Через неделю я ложусь в больницу и оттуда меня уже не выпустят».

Вот и Рубцова Серегин спас.

Хотя, если судить здраво, ничего особенного он не сделал. Ведь Литературный институт и задумывался его создателями, как особое учебное заведение. Контингент учащихся был не велик и весьма специфичен. Возраст однокурсников Рубцова колебался от двадцати до тридцати лет. За спиной у каждого был свой немалый жизненный опыт, и единые мерки ко всем не подходили. При И. Н. Серегине и не было единых мерок. В институте царила почти домашняя обстановка. Во всяком случае, гнев начальства легко смягчался, ошибка исправлялась. Так произошло и с Рубцовым. Кара за его, рядовые для студента литинститута, прегрешения оказалась слишком суровой, и И. Н. Серегин, возвратившись ненадолго в институт, исправил ошибку.

Но так было при И. Н. Серегине. Он спас Рубцова и снова лег в больницу. Теперь уже навсегда. И спасать Рубцова стало некому.

И снова удивляешься, как точно совпадает судьба Рубцова с историей страны. В начале шестидесятых ужесточается общая обстановка в стране. Прежние полулиберальные отношения постепенно вытесняются. Каждый конкретный человек становится интересным для системы не своей неповторимой сущностью, а лишь как исполнитель определенной социальной роли. В разных учреждениях это проходило по-разному и в разное время. В Литинституте процесс бюрократической унификации студен-

тов совпал с последними месяцами работы в институте И. Н. Серегина. Новую институтскую администрацию Николай Рубцов раздражал уже тем, что не умел в нужную минуту сделаться незаметным, выпирал из любых списков и реестров. Нет, он не был особенным бунтарем. Просто, если обычного дебошира можно было все-таки как-то приструнить, то случай с Рубцовым оказался тяжелее. Никакие нравоучения, никакие собеседования не могли помочь преодолеть ему безнадежную нищету и неустроенность.

И еще. Рубцов все время, с какой-то удручающей последовательностью, раздражал почти всех, с кем ему доводилось встречаться. Он раздражал одноглазого коменданта общежития, прозванного Циклопом, раздражал официанток и продавцов, преподавателей института и многих своих товарищей. Раздражало в Рубцове несоответствие его простоватой внешности с тем сложным духовным миром, который он нес в себе. Раздражение в общем-то понятное. Эти люди ничего бы не имели против, если бы Рубцов по-прежнему служил на кораблях Северного флота, вкалывал бы на заводе у станка или работал в колхозе. Это, по их мнению, и было его место. А Рубцов околачивался в стольном граде, учился в довольно-таки престижном институте, захаживал даже — ну посудите сами, разве это не безобразие?! — в святая-святых — в ЦДЛ. Разумеется, люди покрупнее, поопытнее понимали, кто такой Рубцов, но таких людей в окружении поэта было немного, и новая администрация Литературного института не относилась к их числу.

То, что произошло с Рубцовым в июне 1964 года, настолько невероятно, что любой пересказ будет выглядеть как грубая ложь. Поэтому я и вынужден вопроизвести здесь ряд документов, которыми была нагружена покатившаяся на Николая Михайловича Рубцова «телега». Напомню только вначале, что Рубцов успешно сдал весеннюю сессию за второй курс и, как явствует из приказа № 101 от 22 июня 1964 года, был переведен на третий курс. Аттестуя его, поэт Н. Н. Сидоренко дал ему самую блестящую характеристику: «Если бы вы спросили меня: на кого больше всех надежд, отвечу: на Рубцова. Он — художник по организации его натуры, поэт по призванию». Уместно будет напомнить здесь, что крупные подборки стихов Николая Рубцова уже были заверстаны в журналах «Юность» и «Октябрь». И вот...

«Гл. администратору ЦДЛ от метрдотеля ресторана.

Докладная записка

Довожу до вашего сведения, что 12 июня 1964 года трое неизвестных мне товарищей сидели за столиком на веранде, который обслуживала официантка Кондакова. Время уже подходило к закрытию, я дал распоряжение рассчитываться с гостями. Официантка Кондакова подала счет, тогда неизвестные мне товарищи (разрядка наша — Н. К.) заявили официантке, что они не будут платить, пока им не дадут еще выпить. Официантка обратилась ко мне, я подошел и увидел, что товарищи уже выпивши, сказал, что с них довольно, и пора рассчитаться, на что они опять потребовали водки или вина, тогда я обратился к дежурному администратору, которая вызвала милицию.

Когда приехала милиция и попросила, чтобы они уплатили — один из них вынул деньги и сказал — «деньги есть, но платить не буду, пока не дадут водки». Время было уже 23-30 и буфет закрыт. После долгих уговоров один из них все же рассчитался, и они были выпровождены из ЦДЛ. 16.VI.64 *Казенков*».

Вот такой документ. Составлен он был четыре дня спустя после происшествия, когда дело об очередном «дебоше» Рубцова в ЦДЛ уже закрутилось вовсю, и следовательно, у нас нет никаких оснований предполагать, что метрдотель Казенков скрывает какие-то иные «хулиганские» действия посетителей, кроме тех, что указаны в докладной. Поэтому и позволяет его «Записка» почти с документальной точностью восстановить все детали «недостойного поведения» Рубцова в тот вечер.

Рубцов вместе с двумя товарищами (имена их так и остались неизвестными) после экзамена по советской литературе зашел в ЦДЛ — «отдохнуть», как напишет он в объяснительной записке. Сели за столик, заказали какую-то еду, бутылку вина. После пересчитали свои рублевки и трешки и решили заказать еще выпивку. В принципе, кроме того, что пить вообще вредно, ничего криминального, ничего особенного в их поведении не прослеживается... И, вероятно, ничего шибко-примечательного и не произошло бы в тот вечер, если бы не обладал Рубцов прямо-таки удивительной способностью раздражать обслуживающий персонал, даже если и вел себя тихо и

скромно. Феномен этот можно объяснить только особой холуйской безжалостностью разных администраторов и официантов к слабому. Опытным, натренированным взглядом они сразу различали, что здесь, за столиком в ресторане, Рубцов не на своем месте, что он не свой человек здесь. Эти жиденькие прядки волос, этот заношенный пиджак... У Рубцова даже одежды не было, чтобы укрыться со своей беззащитностью от безжалостного, пронизывающего взгляда. А коли беззащитен — в этом и заключается холуйская психология! — значит на нем и можно сорвать накопившееся за день раздражение.

Разумеется, набегавшуюся за день официантку Клаву Кондакову, красивые глаза которой до сих пор помнят пожилые посетители цэдэловского ресторана, можно понять. Уставшая, задерганная, Клавочка все чаще раздраженно косится на столик, за которым сидят и пересчитывают измятые рублевки и трешницы молодые люди — люди явно не богатые, явно не влиятельные. Нет, Клавочку раздражали и другие клиенты, но это другие люди, им — пересиливая раздражение — обязательно нужно улыбнуться, чтобы не нарваться на неприятность, там нужно сделать вид, что тебе самой доставляет удовольствие угождать им... И от этого еще сильнее раздражение против этих, троих, которые просительно и жалко улыбаются, комкая в потных руках рублевки... И тогда — погрубее, порезче! — «Платить будете?!» А в ответ снова просительные, заискивающие улыбки — не успели обзавестись эти молодые люди невозмутимостью и величественными манерами завсегдатаев ресторанов... Да и сюда-то попали случайно, показали вместо пропусков студенческие билеты, на корочках которых было написано «Литературный институт имени Горького при Союзе писателей СССР», их пропустили на вахте, но могли ведь и не пустить... Так вот заискивающие улыбки и неуверенное, нерешительное: «А можно еще заказать... Водочки...» — Нельзя! — режет официантка, которой надоело бегать; надоело подавать на столики водку.— Будете платить?!

— А мы платить не будем, пока не принесете!

Не надо, не надо бы говорить этого, и уже понимают они, что не надо бы, но — поздно, уже захлопнулась западня.

— Ах, вы платить не будете! — торжествующе, на весь зал звучал голос Клавочки, и уже не исправить ничего, потому что Клавочка торопливо убегает, скрывается

за дверями... И совсем неуютно становится за столиком.

Все это игра. Игра для вымотавшейся за день официантки Клавы Кондаковой, небольшая разрядка после утомительного дня для метрдотеля Казенкова. Только для испуганных студентов это не игра. И совсем уже не игра для строго-настроенного предупрежденного Рубцова. (В своей объяснительной записке он напишет 18 июня: «Неделю назад я зашел в ЦДЛ с намерением отдохнуть после экзамена, посмотреть кино, почитать. Но я допустил серьезную ошибку: на несколько минут решил зайти в буфет ЦДЛ, и в результате к концу вечера оказался в нетрезвом состоянии. Работниками милиции у меня был взят студенческий билет».)

Момент вывода из ЦДЛ нашей троицы — весьма важный и чрезвычайно загадочный. Именно здесь, возле вахты, бесследно исчезают двое участников «дебоша», и остается только один Рубцов. Он один фигурирует далее в обвинительных документах.

«Директору Дома литераторов тов. Филиппову Б. М. от ст. контролера Прилуцкой М. Г.

Докладная записка

Довожу до вашего сведения, что во время моего дежурства 12.VI.64 г. после 23 часов ночи, подходит ко мне метрдотель ресторана и говорит, что три человека, сидящие за столиком в ресторане отказываются платить счет. Придется вызвать милицию.

Войдя в ресторан я узнала одного из сидящих, это был студент Литинститута т. Рубцов Н. М.

На предложение оплатить счет — три товарища заявили, что счет они оплатят после того, как будет подана еще одна бутылка вина. В продаже вина им было отказано, и я вызвала милицию.

По приезду милиции счет был оплачен (разрядка наша, орфография — автора записки Н. К.). Удостоверена личность этих людей: все они оказались студентами Литинститута.

Вот при каких обстоятельствах студенческий билет т. Рубцова был отобран милицией и оказался у меня и передан руководству Дома литераторов.

17.VI.64 ст. контролер *Прилуцкая*».

Докладная записка М. Г. Прилуцкой существенно проясняет загадочное исчезновение двух участников «дебоша». Прилуцкая сама пишет, что «войдя в ресторан, узнала одного из сидящих, это был студент Литинститута т. Рубцов Н. М.», и именно Рубцов-то, а вернее, возможность впутать его в новый скандал, и интересовала, по-видимому, М. Г. Прилуцкую более всего в этой истории. Забавная игра, затеянная официанткой Кондаковой для собственного развлечения, начинает приобретать именно с этого момента весьма дурной оттенок, и все более смахивает на расправу над Рубцовым.

«Директору ЦДЛ тов. Филиппову Б. М.

Докладная записка

12 июня в 23 час. 15 минут к дежурному администратору Леонидовой Э. П. и старшему контролеру Прилуцкой М. Г. обратилась официантка ресторана Кондакова К. А. с просьбой вызвать милицию, так как три посетителя не расплачиваются, требуют еще спиртного и ведут себя вызывающе.

По приходе милиции инциндент, в основном, был улажен, но в вестибюле был задержан один из этих посетителей и выяснилось, что все они студенты литинститута, а задержанный оказался известным по своему скандальному поведению в ЦДЛ студентом Рубцовым Н. М. Вопрос об исключении его из Литинститута ставился осенью 1963 г. в связи с дебошем в пьяном виде в ЦДЛ.

В апреле — мае 1964 я дважды просил Рубцова покинуть здание ЦДЛ, куда он приходил с писателями, причем 2-й раз он в компании с Куняевым и Передeлиным (Очевидно имеется в виду Передреев — Н. К.) оскорбили писателя Трегуба. (Трегуб Семен Адольфович, критик, вел в Литературном институте спецкурс по творчеству Николая Островского.— Н. К.)

У Рубцова отобран студенческий билет, который прилагается к докладной.

Прошу Вас принять соответствующие меры.

Помощник Директора ЦДЛ *Сорочинский*».

Круглая печать.

Перечитывая эти докладные записки, можно заметить, как постепенно сгущаются краски вокруг в общем-то безобидного происшествия. Вот и в докладной записке

Сорочинского появляется фраза: «ведут себя вызывающе», отсутствовавшая в *докладных метрдотеля и Прилуцкой*. Привлекаются и какие-то другие события, которые если и имели место, то не в тот, роковой для Рубцова, вечер.

«Дирекция Литературного института имени Горького. Копия: Секретариат Правления Союза писателей СССР тов. Воронкову К. В.

в письме № 19/29 от 4 декабря 1963 года дирекция ЦДЛ ставила вопрос о хулиганском поведении в ЦДЛ студента В/института Н. М. Рубцова, учинившего в нашем клубе в пьяном виде дебош.

Н. М. Рубцову было категорически запрещено посещение Центрального Дома литераторов, он был исключен из состава студентов Литинститута, но в дальнейшем почему-то восстановлен (разрядка наша — Н. К.).

В апреле и мае 1964 года студента Рубцова дважды пришлось удалять из ЦДЛ, а 12 июня с. г. это пришлось сделать уже при помощи милиции, так как напившись в ресторане, он и компания, с которой он находился, отказались оплатить заказанный им ужин.

Дирекция ЦДЛ вынуждена вновь просить дирекцию Литинститута им. Горького принять меры в отношении студента Н. М. Рубцова и поставить нас в известность об этом.

При сем прилагаю студенческий билет Н. М. Рубцова, отобранный у него милицией и докладные записки дежурного секретаря ЦДЛ тов. Прилуцкой, пом. директора тов. Сорочинского и метрдотеля ресторана тов. Казенкова.

Директор ЦДЛ *Б. Филиппов*». 17 июня 1964 года.

Как написала в своей докладной записке М. Г. Прилуцкая, «счет был оплочен». Но похоже у Сорочинского, Прилуцкой, Филиппова был свой счет к Рубцову, и поэту предстояло «заплотить» по нему сполна.

И стоит ли удивляться, что эта компания чиновников от ресторана очень легко нашла общий язык с чиновниками от Литературного института. 18 июня 1964 года у Рубцова была взята объяснительная записка по поводу случившегося. Что нужно было объяснять ему? То, что они хотели купить втроем еще одну бутылку вина? Впрочем, сам факт происшествия никого не волновал. Нужна была причина, повод... 25 июня 1964 года проректор

А. Мигунов наложил резолюцию: «За систематическое появление в нетрезвом виде в ЦДЛ отчислить из числа студентов очного отделения». Напомним, что резолюция эта появилась уже после того, как Рубцова перевели на третий курс.

Нет сомнений, что прежний ректор института И. Н. Серегин не допустил бы такого поворота дела — ведь ничтожным, надуманным был сам повод для исключения Рубцова. Но это Серегин. Нравственные и духовные качества нового главы института не сильно отличались от психологии ресторанных официантов и администраторов. Какая-то холуйская ненависть к Рубцову сквозит в его изложении мотивировки изгнания гениального поэта из института:

«26 июня 1964 г. Союз писателей СССР Консультанту Секретариата правления СП СССР тов. Соколову Б. Н.

Уважаемый Борис Николаевич! В ответ на Ваше письмо от 24 июня с. г. сообщаю, что Рубцов Н. М. после дебоша, учиненного им в ЦДЛ в декабре месяце, был строго осужден всем коллективом института. На заседании товарищеского суда он давал обещание, что исправится. Однако он продолжал нарушать дисциплину. Его еще раз предупредили на комиссии по аттестации студентов II курса. Несмотря на принятые меры общественного воздействия, Рубцов Н. М. снова недостойно вел себя 12 июня (июня — Н. К.) с. г. в ЦДЛ.

За систематическое появление в нетрезвом виде в ЦДЛ и недостойное поведение Рубцов Н. М. исключен из числа студентов очного отделения. Тов. Рубцов просит разрешить ему заниматься без отрыва от производства. Если он осознал свою вину, положительно проявит себя на производстве, можно будет рассмотреть вопрос о зачислении на заочное отделение.

Проректор *А. Мигунов*».

Едва ли случайно совпадают даты письма Б. Н. Соколова, кстати сказать, отсутствующего в деле, и даты резолюции А. Мигунова на объяснительной записке Рубцова. Как ни грозны были украшенные круглыми печатями документы из ЦДЛ, которые пришли в институт, видимо, 18 июня — в этот день и заставили Рубцова написать объяснительную записку — но все же и за круг-

лыми печатями невозможно было скрыть всю смехотворность так называемого «дебоша». И хотя и тяготел А. Мигунов по своей сущности ко всем этим Сорочинским — Прилуцким — Филипповым, но без приказа он не мог решиться исключить Рубцова. Этот приказ и поступил, по-видимому, 24 июня в письме неведомого нам консультанта из СП СССР.

Неясно, как был сформулирован этот приказ, но ясно, что он был. Рубцов должен был «оплотить» по счету, выставленному компанией Сорочинских, Трегубов, Филипповых, Прилуцких. Рубцов заплатил по нему...

# ЭДУАРД КРЫЛОВ



## НА ПЕРВОМ КУРСЕ

В первые дни учебы мы часто собирались в одной из комнат общежития и нередко всю ночь напролет читали по кругу свои стихи. Мнения при этом, как правило, не высказывались, за грудки друг друга никто не брал, рубашек не рвали — все это будет позже. А пока поэты только знакомились, соразмеряли свой бесспорный талант с другими сомнительными талантами, вынырнувшими неизвестно откуда, пытались определить свое место в поэтической иерархии будущего курса, семинара.

...Вошли Рубцов и Макаров, чтение было прервано. Рубцов прошел к кровати, где уже сидели человек пять, ребята подвинулись. Он не то чтобы сел, а как-то упал боком на кровать, провалив и без того нагруженную сетку и сам провалившись между рослыми ребятами. Сергей остался у дверей.

Стали читать дальше. Рубцов слушал, крутил головой, хмурился, иногда усмехался, но не открыто, а только намеком, даже не в половину, а в четверть жеста (вообще это было характерно для него — не доводить ни одного мимического жеста до конца). Стихи ему явно не нравились. Дошла очередь до Сергея Макарова. Он прочитал стихотворение «Павел Васильев». Рубцов был доволен, в полужестах его сквозило — знай наших. Кто-то завел нудную поэму. Рубцов поскучнел, опустил голову на руки. Кончилась поэма, и в полной тишине прозвучал голос Рубцова: «Бездарно все».

Возник ропот. Кто-то крикнул:

— Ты не выступай, а прочти стихи. Тогда посмотрим.

Рубцов встал:

— Не буду читать, не хочу. Пойдем, Сережа.

И они ушли.

Осенью наш курс работал в колхозе под Загорском. Стояли дождливые, слякотные дни, и даже настырный, радеющий за дело колхозный бригадир, бывший фронтовик с дыркой в горле, которую он затыкал пальцем, когда говорил, был склонен считать, что работать в поле нельзя.

Мы целыми днями валялись на соломенных тюфяках и придумывали себе занятия. Высшим смыслом всех занятий было «узнавание» друг друга. Пожалуй, самым незаметным среди всех был Николай Рубцов.

В тот день, как и в предыдущие, поэты читали свои стихи. Рубцов подошел к нашей группе, лег, облокотясь, на тюфяк, послушал немного, а потом очень искренне сказал:

— Разве это стихи?

— Читай свои,— предложил кто-то.

Он сел и монотонным голосом стал читать «Фиалки». Но с каждой новой строкой голос становился звонче, выразительнее, пока не превратился в то, что называют «криком души».

Впечатление было очень сильным. В то время кумирами читающей публики были Евтушенко, Вознесенский... В Рубцове сразу почувствовали нечто совсем другое. Парадоксально, но «необычная» поэзия «под Евтушенко» звучала уже слишком обычно, а «обычная» поэзия Рубцова прозвучала необычно.

Рубцову ничего не было сказано, но стихов больше не читали.

Позже на курсе выделились три явных лидера — Николай Рубцов, Александр Черевченко, Павел Мелехин. Прозаики сразу и безоговорочно признали первым Николая Рубцова, поэты либо вовсе не признавали его, либо признавали с большими оговорками и отводили ему очень скромное место. Самыми же преданными его почитателями были люди нелитературных кругов. Все они, кому я читал стихи Рубцова, просили переписать их и познакомить с поэтом. Напоминаю, что это был 1962 год.

Какое-то время мы жили с ним в одной комнате. Стол его всегда был завален стихами, старыми и новыми, рукописными и отпечатанными на машинке. И я никак не мог

понять, когда же он их пишет. Во всяком случае, ни разу не видел его «сочиняющим» стихи. Днем у него явно не было для этого времени, вечерами мы шли к кому-нибудь в гости или к нам кто-нибудь приходил. Ложились всегда поздно, и утром я видел его обычно еще спящим.

Но однажды я проснулся очень рано, в пятом часу, и вышел в коридор. Рубцов, в пальто с поднятым воротником, совершенно ушедший в себя, мерил шагами коридор. Он не сразу заметил меня, а, увидев, остановил:

— Вот, послушай строчки.

И прочитал почти законченное стихотворение, которое позже стало называться «Плыть, плыть...»

Над стихами он работал всегда и везде, но лучшие его часы — это глубокая ночь и самое раннее утро. Потом он снова ложился спать. Не помню, у кого написано о Есенине, что тот в самом тяжелом состоянии мог заснуть за столом на пятнадцать—двадцать минут и проснуться совершенно трезвым. Точно так же мог Рубцов. Он был готов в любую минуту встать и начать работу.

О Рубцове порою говорят и даже пишут как о человеке характера тяжелого, вздорного, неуравновешенного, чуть ли не злого. Ссылаются при этом на различные эксцессы. Да, эксцессы были. Вспомню некоторые из них. К его близкому другу, поэту А. П., пришла девушка. Самого А. П. не было, его ждали с минуты на минуту, а пока мы, несколько человек, вполне безобидно коротали время. Один из малознакомых нам гостей вдруг начал говорить двусмысленности, а затем сделал нечто вроде попытки облапить девушку. Николай молча встал и двинул парня так, что тот рухнул на кровать, сломав пополам гитару.

Другой случай. Мой друг А. Ч. привел своего товарища специально «на Рубцова». Тогда хождения «на Рубцова» стали какой-то модой, поветрием, и Рубцов это тонко почувствовал. Именно в этот период он часто и, казалось, без всякого повода категорически отказывался читать свои стихи. Так было и на этот раз. Но товарищу, видимо, было жалко уходить, не послушав Рубцова, и он настойчиво просил его почитать. Рубцов неожиданно для всех закатил ему пощечину. Все были шокированы, потому что ни малейшего основания для этого не видели. Позже я спросил у Рубцова, зачем он это сделал.

— А пусть не ходят смотреть на меня, как в зверинец,— ответил он.

В компаниях он мог быть самым разным. То центром всеобщего внимания, то глубоким и тонким собеседником, то безудержным весельчаком, то молчаливым наблюдателем, то совершенно незаметным «неучастником».

Он был всяким, но никогда не был ни вздорным, ни злым.

Однажды, получив в Литфонде пособие, пошли мы с ним по Хорошевке к Ленинградскому проспекту. На другой стороне проспекта увидели необычайное строение: некая смесь готики и чего-то такого, чему и названия нет, но явно русское. Заинтересовались, перешли улицу. Во дворе на веревках сушилось белье, через полуоткрытые двери дома можно было видеть мешки с цементом или известкой. У белья оказалась женщина. Спросили про дом.

— Так это же дом Соколова,— охотно ответила она.

— Какого Соколова?

— Первого хозяина «Яра». Знаете песню «Соколовский хор у Яра был когда-то знаменит...»

— А кто строил и почему так странно?

— Соколов пригласил архитектора-немца. Тот построил дом на свой немецкий лад, но Соколову дом не понравился, и он по собственному проекту перестроил его. Теперь здесь склад строительных материалов.

— А где сам яр?

Женщина показала на асфальтированный переулок:

— Вот здесь и был яр, его засыпали и провели дорогу.

— Жаль, если его снесут,— сказал, когда мы отошли, Рубцов.— Страница истории...

По дороге я вспомнил, что завтра день рождения девушки, которую я любил. Она училась в другом городе, и мы были в давней ссоре. Рубцов заинтересовался, выслушал весь мой рассказ и потащил меня на почту.

— Давай телеграмму.

— Но это совершенно бесполезно. Мы не виделись два года, не переписывались. Просто глупо...

— Давай, давай.

Сам взял бланк, сунул мне ручку. Я послал телеграмму...

О поэзии и поэтах, как ни странно, говорить он не любил. К поэзии своих друзей — Анатолия Передреева, Станислава Куняева, Владимира Соколова, Глеба Горбовского — был снисходительным, ценя больше дружбу самих людей, чем их творчество. А вот другим не прощал ни малейшей слабости.

Философствовать, в отличие от всех нас, он любил, но если уж «заводился», то спорил страстно, готовый дойти хоть до кулачной драки. На жизнь стремился смотреть просто — «Звезды на небе — ночь! Солнце на небе — день!»,— но сам мучился и страдал от сложностей жизни.

Преподавателю по стилистике он показал стихотворение «Осенняя песня» («Потонула во тьме отдаленная пристань. По канаве помчался — эх — осенний поток...»). Стилист стихотворение похвалил, но решительно возразил против «эх». Рубцов стал с ним спорить, но переубедить не смог.

— Как он не понимает, как не понимает, что в этом «эх» — все: и движение, и настроение. К черту стилистику, если она мешает мне выразить то, что я хочу,— сказал он сердито.

Из невообразимого хаоса бумаг на своем столе Рубцов каким-то образом выуживал необходимые ему стихи, складывал в тоненькие стопочки и разносил по редакциям журналов. Возвратясь, смеялся:

— Загадка. Берут, но всегда самые слабые. Ну почему не взять вот эти или эти — в них все-таки что-то есть.

Однажды, но это было уже не на первом курсе, он собрал книгу стихов и отнес в издательство.

— Понимаешь,— рассказывал он мне, опять же смеясь,— редактор читает мои стихи семье, друзьям, знакомым, переписывает их для себя, а издавать не хочет.

Увы, такое время было... Но я не помню, чтобы кто-нибудь смеялся так хорошо, так увлеченно, как Рубцов. Каким-то мелким, заливистым смехом. В глазах его часто мелькала хитринка — быстрая, почти неуловимая.

...Все разъехались на каникулы, и только мы с Рубцовым оставались в общежитии. Мне ехать было некуда, а его что-то задерживало. Но вот собрался и он в свою Николу. Я зашел к нему в комнату. На полу лежал раскрытый чемодан. Сам он сидел на корточках и запускал желтого цыпленка, который как-то боком прыгал на металлических лапках и старательно клевал пол. Рубцов заливисто смеялся, хлопал руками по полу, как бы отгоняя цыпленка, а меня даже не заметил. Я постоял, потом, увидев в чемодане поверх белья странную книжицу, взял ее в руки и тихо вышел. Книжица оказалась отпечатанной на машинке и называлась «Волны и скалы». Тридцать восемь стихотворений. Я прочитал ее всю и, каюсь, мне

захотелось ее присвоить. Я присоединил книжицу к папке с его стихами и двум тетрадям, которые уже хранились у меня. Но потом мне стало совестно (все-таки книжка вроде — не рукопись, да и как бы я стал смотреть ему в глаза), и я снова пошел к нему. К моему удивлению, он все еще запускал цыпленка, забыв обо всем на свете. Я окликнул его.

— Вот посмотри. Хорош, правда? Дочке везу,— и он опять пустил цыпленка прыгать по полу.

Я попросил у него книжку.

— Извини, не могу. Это единственный экземпляр. Всего их было шесть.

И он рассказал мне историю появления этой книжки.

Мы стали прощаться, и он попросил меня обменяться шарфами. Я принес ему шарф в черно-белую клетку, получив взамен его темно-бордовый.

# ВАЛЕНТИН СОЛОУХИН



## ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ РУБЦОВЕ

На втором курсе института меня избрали председателем студкома. Под мою ответственность попадали громоздкий магнитофон, несколько катушек пленки и неисправная пишущая машинка «Москва». В беседе со мной ректор Литературного института И. Н. Серегин обратил внимание на промахи и недоработки бывшего председателя студкома, тактично намекнул на заинтересованное распределение студкомовских 500 рублей, которые выделял институту на помощь нуждающимся студентам Литфонд.

Первые мои действия были направлены на то, чтобы отремонтировать пишущую машинку. Добыв отвертку, я принялся за ремонт. Неисправность удалось устранить, и мы принялись за оформление студкомовской газеты, попутно готовясь к первому распределению литфондовского пособия.

Кто-то из старшекурсников подвел ко мне щуплого, темноглазого паренька: «Это Николай Рубцов. Надо поддержать, на одну стипендию живет...» Стипендия у нас в то время была 22 рубля.

— Пишите заявление...

— А как? — дернул он плечами и смущенно улыбнулся.

— На студком: прошу...

— В прозе или стихах? — перебил он меня.

— Валяй гекзаметром,— принял я шутку.

Вечером в общежитие он принес мне заявление на целую страницу, написанное действительно гекзаметром.

У меня в комнате как раз находился П. Мелехин, который положил на стол заявление в одну строчку: «Прошу оказать материальную помощь в сумме 25 рублей». Покосившись на заявление Рубцова, он сказал:

— За 30 строк и 20 рублей — бездарь!..

Коля тут же взял лист чистой бумаги и написал: «Нуждаюсь в 35 рублях». Положил на стол и, забрав первое заявление, ушел.

— С нашего курса,— сказал Мелехин.

После этого случая я запомнил Николая. Как-то Ольга Фокина рассказывала об интересном семинаре, на котором проходило обсуждение стихов Рубцова, и даже советовала мне сходить послушать, когда в очередной раз будут обсуждать ее земляка.

С пятого этажа меня перевели в угловую — 64-ю комнату на третий этаж. Вечером ко мне зашел Рубцов за чайником:

— Или на кухне забыл, или умыкнул кто,— сказал он о своем чайнике.

— В случае забудешь вернуть, в каком «районе» тебя выслеживать?

— Рядом, комната 63... Но у меня есть стаканы, чайная ложка. Понадобится — выручу. Пусть чайник пока будет на двоих.

— Пусть будет, но ты все-таки не забывай, что я хозяин.

— Владелец,— уточнил он.

Творческий семинар у меня был во второй половине дня, Рубцов уехал в институт с утра. Вспомнив об этом, я пожалел, что вечером не взял чайник. На клочке бумаги написал записочку и решил оставить ее в замочной скважине. Но стоило мне прикоснуться к двери, как она распахнулась. На столе стоял мой чайник.

Вечером зашел Николай.

— Чайник пропал...— но заметив рядом со стулом чайник, облегченно вздохнул.— Фух ты, а я подумал — увели.

— Чего комнату не закрываешь?

— Закрывать нечего,— усмехнулся Николай,— да и от кого...

Вначале я думал, он шутит, но со временем убедился, что не было у Рубцова привычки закрывать комнату на ключ. Во время заезда заочников многие этим пользовались. Николай заявляется с лекций, а в комнате дым стол-

бом — идет поэтический диспут. Был такой случай, когда непрошеные гости выставили его за дверь. Коля пришел ко мне за помощью. Компания подобралась из дюжих парней, и нам стоило приложить немало усилий, прежде чем мы восстановили «статус» законного владельца.

Признав хозяина, заочники собрались уходить, и вдруг Рубцов предложил всем остаться. Чтение стихов продолжалось. Николай выслушал присутствующих и в наступившей тишине прочел свои. За короткое время среди незнакомых людей он был уже свой в «доску». Вначале в случайных компаниях Рубцов больше читал стихи из флотского цикла, правда, после первого случая я еще раза два присутствовал за время сессии заочников, когда он читал.

После отъезда заочников в общежитии наступила относительная тишина. Николай чаще заходил за чайником, случалось, мы с ним чаевничали, он вприщур посматривал на пишущую машинку и однажды спросил:

— А бумага у тебя есть?

— Немного есть.

— Мне нужна пачка.

— Если нужна, добуду.

Вечером я передал Николаю бумагу.

— Ну, а машинку дашь? — спросил он.

— Никак рецензировать пристроился?

— Ну, этим я заниматься не собираюсь. Хочу отпечатать свою книжку стихов.

К тому времени я уже знал товарищей, которые вели разговоры о рукописных сборниках, об изданных книжках, на самом деле не существующих.

— Так уж и книжку?

Рубцов не обратил внимания на мою реплику.

— Подготовлю в Архангельское издательство, летом еще одну отдам в столичное, договорился.

— Машинку не дам,— сказал я твердо.

Николай вначале растерянно посмотрел на меня, он не ожидал отказа, но через мгновение глаза его заблестели.

— Машинка студкомовская, а ты даже ключа от комнаты не имеешь. Уведут машинку, как чайник...

— Да есть ключ...— заторопился Николай и метнулся в свою комнату. Я слышал, как хлопали створчатые дверцы шкафа, скрипели выдвигаемые ящики письменного

стола, шелестела бумага. Наконец Коля появился с каким-то ржавым ключом:

— Вот, нашел!

— Теперь бери агрегат...

Я отдал ему машинку. Через несколько минут он уже стучал, работал всю ночь. Печатал он медленно, с большими паузами, как потом он сам сказал, почти каждое стихотворение правил «на ходу». Только утром на какое-то время стук затих, а как только проснулось общежитие, машинка застучала снова.

В тот день на лекциях Рубцова не было, не было его и на следующий. Я как раз получил небольшой гонорар из орловской молодежной газеты. Вернувшись из магазина, услышал знакомый стук и заглянул в комнату Николая.

Вместо Рубцова за машинкой при свете настольной лампы сидел какой-то крупный рыжеволосый человек.

— А где Коля?

Незнакомец повернул на мой голос лицо Рубцова и я узнал Николая. Он положил подушки на стул и восседал на них, подобрав под себя ноги.

— Кончай мучить машинку.

— Осталось два стихотворения... Это добиваю, и еще два...

— Ставлю чайник, приходи, угощаю кипяточком...

— Времени сколько?.. Магазины, наверно, закрылись... у тебя хоть хлеб есть?..

— Есть, заходи.

Меняя позу, он встал на колени, и тут я еще раз обратил внимание на его рыже-желтую голову.

— Чего это у тебя с головой?

— А-а.— Он усмехнулся.— Знаешь, добыл флакон «снадобья» для отращивания волос... Экспериментирую...— В голосе ирония с оттенком надежды на «вдруг».

С машинкой он принес отпечатанную рукопись и попросил меня посмотреть. В то время я рецензировал в отделе поэзии в журнале «Молодая гвардия». Отобрав 12 стихотворений я попросил разрешения показать их в журнале. Рубцов согласился. Хочу заметить, что в прочитанной рукописи были почти все стихи, вошедшие в московский сборник «Звезда полей».

В. Цыбин, заведующий отделом, находился в отъезде, подборку на первых порах одобрил один из членов редколлегии и пригласил автора для знакомства. Я передал

это Рубцову. Николай ходил знакомиться без меня. Вернулся огорченный. Позже в одном из номеров журнала в разделе «Товарищ» были напечатаны два стихотворения Рубцова.

В день выплаты гонорара в широко распахнутые двери явился Николай:

— Пошли обедать, пошли в ресторан? Я получил приличную сумму...

Он стоял в распахнутом поношенном пальто, стоптанных туфлях.

— Хочешь сделать мне приятное? — перебил я его.— Купи хотя бы обувку...

— Да-а,— сощурился он,— уже падают люстры!

За покупками он ездил в «Детский мир». На полученный молодогвардейский гонорар приобрел себе валенки (размер обуви у Николая был небольшой), куклу и очень красивый флакон душистого «снадобья» для восстановления волос.

— Дорого? — спросил я, взяв в руки флакон.

— Дешевле шапки. Отрастет шевелюра — поймешь выгоду.

Общежитие бурлило, на каждом курсе свои лидеры, для утверждения достаточно было нескольких приличных стихотворений, иногда щедрого угощения. Возгласы «талантливо!», «гениально» сыпались как из рога изобилия. Рубцов осматривался, вслушивался, посмеивался. Мерзликин, Лысцов, Передреев, Примеров — эти стояли не на пустом месте. О каждом из них у Николая свое мнение, к их успехам появлялась ревность. А тут еще мода на песни. Наладив магнитофон, я записал Новеллу Матвееву.

Рубцов не мог не слышать, когда шла запись, он как раз был в комнате. При встрече спросил:

— На высших литературных курсах бардша появилась. Поет, ты не слышал?

— У меня запись есть, хочешь послушать?

— Послушаю... а меня запишешь? Есть две песни — «В горнице» и «Сумасшедшие листья».

— Хоть сейчас.

— Гитары нет, достану — приду.

Поговорили и забыли. Появилась подборка стихов Рубцова в «Юности», затем в «Октябре». Он рассказывал, как его встретил Дмитрий Стариков, с восторгом отзы-

вался о критике Кожинове, читал экспромты, которые он выдавал в литературных кругах.

«Рубцов входит в тираж... Мадам, уже падают люстры!» — его выражения. Все реже и реже я видел Николая одного.

— Рубцов, в таком тираже тебя надолго не хватит.

— Ты лучше скажи, когда приходить с гитарой? Есть новые песни.

Два раза он приходил с гитарой, печальный и расстроенный. И вдруг оживал, рассказывал о знакомой студентке медицинского института. Однажды на «чайник» он пришел с девушкой. Читал новые стихи. В этот вечер я поверил в его счастливую судьбу.

# МИХАИЛ ШАПОВАЛОВ



## ...И СТАЛО МНЕ ЖАЛЬ ОТЧЕГО-ТО, ЧТО САМ Я ЛЮБЛЮ И ЛЮБИМ...

Познакомился я с Рубцовым в 1962 году. Мы участники одного поэтического семинара в Литературном институте. В первый учебный сентябрь нас послали на работу в колхоз, расположенный под Загорском. Деревня, где нас разместили по избам, уже растеряла большую часть жителей: не только молодые, но и все, кто мог рассчитывать на сносный заработок, подались в столицу и пригороды. Помню, мы были поражены, когда случайно выяснилось, что электричество в деревню провели не так давно: в пятидесятые. «И это в двухстах километрах от Москвы!» — как бы подвел черту кто-то. На что Рубцов сказал со значением:

— Эх, не видели вы наших вологодских деревень!..

Мы промолчали. Чего не видели, того не видели.

В местном клубе мы дали литературный вечер. Клуб оказался обыкновенной избой, где стояли в несколько рядов скамейки. У задней стены — чуть приподнятый над полом помост: сцена. Собирались старики с детворой, молодежи было мало. Читали стихи. Принимали каждого радушно, однако самый большой успех выпал на долю Рубцова. Стоя на краю сцены, он читал громко, уверенно и, отвергая жестом руки заслуженные аплодисменты, переходил от хохм о флотской жизни к любовной лирике, к стихам о Вологодчине.

Слушая его, я лихорадочно думал: с чем же выступлю?

Когда Рубцов кончил читать и объявили мою фамилию, я сказал:

— Я не буду читать вам своих стихов, лучше прочту вам стихи Есенина.

По реакции слушателей видно было: я не ошибся...

Вечер кончился поздно. Нас искренне благодарили.

Рубцов подошел ко мне радостный и хлопнул по плечу:

— Молодец!

Я ответил, что молодец Есенин, а не я. Но Рубцов всерьез возразил:

— Брось! Ты надумал прочесть его, а не себя. Потому и молодец...

Стояли у сельсовета. Синий день Подмосковья — солнечный, тихий. Неподалеку паслась лошадь. Карачаевец Ахмат Кубанов подошел к ней, потрепал гриву и что-то сказал на ухо. Рубцов засмеялся:

— Ахмат! Она по-вашему не понимает.

— Нет, понимает,— отозвался тот.

— Докажи!..

Ахмат вновь приласкал лошадь и, когда она подняла голову, ловко вскочил ей на спину. Лошадь затрусила по улице. Ахмат сидел ровно, понукая ногами в бока. Проехав метров сто, он развернулся и под наш радостный галдеж спешился у крыльца сельсовета. Рубцов в восторге кинулся обнимать товарища... Когда я читаю стихотворение «Эх, коня да удаль азиата», невольно прокручиваю в памяти эту сцену.

Небольшого роста, подвижный, Рубцов уже тогда не производил впечатления человека молодого и был готов, по собственному признанию:

*О печали пройденных дорог*
*Шелестеть остатками волос.*

Он многое успел повидать и испытать, за его плечами был значительный жизненный опыт. Но печатался редко. И случайные публикации его не удовлетворяли.

Стихи Рубцова поначалу на семинаре и в среде стихотворцев успеха не снискали. С благословения руководителя семинара Н. Н. они подвергались нападкам за «пессимизм», за «односторонность» изображаемого мира и тому подобное. Только со временем, когда стало известно, что в «Советском писателе» готовится к изданию книга Рубцова, Н. Н. изменил к нему свое отношение.

Щуря и без того маленькие, глубоко запавшие глаза, взмахивая рукой, Рубцов читал пронзительным голосом:

*Трущобный двор. Фигура на углу.*
*Мне кажется, что это Достоевский...*

Облик поэта — потертый пиджак, неизменный шарф на шее — приобретал неожиданную значимость. Рубцов знал себе цену, он был вполне сформировавшейся поэтической личностью, и нападки, конечно, задевали его.

Признание Рубцова началось в среде прозаиков. Они держались от поэтов обособленно, солидно. И вот допустили к себе поэта Николая Рубцова. Этому способствовала гармонь, на которой тот играл. Перебирая лады, он наклонялся к мехам, точно слушая самозарождение каждого звука, каждого вздоха. Рубцов играл и пел:

*Ах, что я делаю, зачем я мучаю*
*Больной и маленький*
*свой организм!*
*Ах, по какому же*
*такому случаю —*
*Ведь люди борются*
*за коммунизм...*

Припев подхватывали дружно, хором, так что стекла дрожали от голосов:

*Ах, замети меня, метель-метелица!*
*Ах, замети меня, ах, замети...*

Эта песня сменялась другой, тревожной, сумеречной по настроению:

*Потонула во тьме отдаленная*
*пристань.*
*По каналам промчался (эх!)*
*осенний поток.*
*По дороге неслись*
*сумасшедшие листья*
*Да порой раздавался (эх!)*
*милицейский свисток.*

Есть в песнях Рубцова обнаженная искренность, душевный надрыв, роднящий их с романсом. Что ни говори, они находили у слушателей мгновенный отклик. За них Рубцова полюбили многие.

Два раза только видел я Рубцова с книгой в руках. Потому и помню: книгами этими были Библия и Пушкин. Рубцов никогда не стремился блистать эрудицией. Все же по семинарским занятиям, по разговорам с ним я почувствовал: он любит русскую классическую поэзию, а в XX веке ему особенно близки Блок и Есенин.

Рубцов знал жизнь вологодской деревни. Знал и с юности мечтал вырваться из знакомого круга: дом, улица, околица, поле, лес... Вырвался. Сезонами плавал в море, ловил рыбу, лихо по-матросски мотал заработанные деньги, так что и земля «качала» его основательно. Потом Рубцов оставил флот, жил в Ленинграде, работал на заводе. С годами «им овладело беспокойство — охота к перемене мест». Он стал по натуре своей «перекати-поле». Мог выйти из комнаты, покинув дружеское застолье, никому ни слова не сказав, уехать к трем вокзалам и, на ночь глядя, отправиться в деревню, в Вологду, в Питер. Проходит время. Замечают отсутствие Рубцова. Где же Коля?.. Никто не ведает.

В деревне он отдыхал от города и городских приятелей, в городе наверстывал упущенное в те дни, когда ходил с берестяным кузовком по болоту, собирая клюкву.

*Меня все терзают грани*
*Меж городом и селом...*

Любая жизнь содержит в себе некую тайну. Пути человеческие неисповедимы.

*Когда толпа потянется за гробом,*
*Ведь кто-то скажет:*
*«Он сгорел... в труде».*

## «Из записок об Анатолии Передрееве»

*Рассказ А. Передреева:*

Помнишь, кругом талдычили: Рубцов, Рубцов... Всерьез я его не принимал. Знакомы поначалу мы не были, а то, что из него мне читали доброхоты,— не показалось... Иду как-то по коридору, слышу: гармошка играет... К гармошке добавился голос. Я пошел на него... Рубцов был у себя в комнате один, сидел на стуле, играл на гармошке и пел свою песню. Увидел меня, замолчал. Говорю

ему: «Продолжай». Он мотнул головой, развернул меха и с того места, где остановился допел... И тогда мне ясно стало: Рубцов — поэт. Истинный... А гармошка у него знаешь, чья была? Правильно, Васи Белова...»

# ВАЛЕРИЙ ЧИЧИНОВ



## АЛТАЙСКАЯ СТРАНИЦА

Хорошо помнится мне тот прохладный солнечный день 1965 года в Москве и его стихи — Николая Рубцова. Исполнял он их сам под гитару в ответ на наши настойчивые просьбы. Одно запомнилось особенно — оно давало нам, горцам, драгоценное чувство русского Севера, связанное почти с физическим ощущением чистоты.

*В горнице моей светло.*
*Это от ночной звезды.*
*Матушка возьмет ведро,*
*Молча принесет воды...*

Пел он тогда — редкий случай — много и охотно. Шли часы первого дня знакомства, креп разговор о поэзии и жизни, и мы, глядя на Николая, дивились. Поражали стихи, полные взрывчатой тишины, и судьба его. Моряк, оставивший морскую стихию ради другой, не менее увлекательной и опасной — стихии поэзии.

Кто-то сказал тогда, что Рубцов идилличен, полон покоя. Николаю это не понравилось. Нахмурив брови, он яростно вступил в спор.

— Что вы за поэты такие? О чем вы пишете и как? Клянетесь в любви, а сами равнодушны. Да-да, равнодушны. Оторвались от деревни и не пришли к городу. А у меня есть тема своя, данная от рождения, понятно! Я пишу о ней, как Лермонтов о родине. И не лепите ко мне идиллии. Это совсем не то, неужели не понимаете?..

На прощанье Николай Михайлович снял со стены своей комнаты портрет Э. Хемингуэя и подарил мне его со щедрым

пожеланием «испытать все радости, которые испытал Хемингуэй». Даже в пожелании поэт остается поэтом.

Свою Вологодчину Николай Рубцов любил больше всего на свете, но поэзия не давала ему сидеть дома. Он был легок на подъем, много путешествовал, но «самую смертную связь» чувствовал всегда со скромными звездами родного Севера, с его июльскими деньками, которые «идут в нетленной синенькой рубашке». Я знал об этом, и тем неожиданнее был сюрприз. В 1966 году, открыв дверь на звонок, я увидел Николая Михайловича...

Потом были поездки по области. Особенно понравился Николаю Рубцову Шебелинский район, село Эликманар, где он жил несколько дней, беседуя с протекающей в этих местах бурной рекой Катунью. Я думал, что он просто отдыхает, просто созерцает красоту, а он, оказалось, работал, и тут оставаясь самим собой. Это я понял позднее, читая стихотворение «Шумит Катунь» в сборнике «Зеленые цветы».

Изредка мы обменивались после этой встречи письмами, которые были продолжением московского знакомства и разговором о полюбившемся ему Горном Алтае. Ни строчки уже не прибавить к написанному им дома и в пути. Не возьмет он уже билет на «поезд голубой» и не приедет к Г. Володину в Красногорск, ко мне или к Б. Укачину в Горно-Алтайск. Не будет уже тех задушевных бесед, но навсегда есть как данная реальность его стихи, заставляющие нас верить вечному:

*Утром солнышко взойдет —*
*Кто может средство отыскать,*
*Чтоб задержать его восход?*
*Остановить его закат?..*

# АЛЕКСАНДР СИЗОВ



## «ПО ЛЕСАМ, В ОКРЕСТНОСТЯХ ВЕТЛУГИ»

### Встречи с Н. Рубцовым

Ветлужский пароходик именно в годину жестокого святого и доставил меня в город Варнавин. Бабушка, старая, сморщенная, проводила меня к церкви Варнавы, к этому темному деревянному конусу с крестом.

...Страшный обрыв возле церкви. Ветлуга сцепилась с другою рекою и расходится в дымчатую синеву лесов и болот. Обрыв в двух шагах. Два-три аршина. Две-три весны — и церковь Варнавы упадет в Ветлугу.

— Ничего,— говорит старушка,— Варнава остановит, он славный...»

Так писал в начале века, скитаясь по здешним лесам, Михаил Пришвин. Очерк назывался «Година Варнавы».

Увы, давно уже нет деревянной церкви над «страшным обрывом» — рухнула, разрушилась. Сегодня на угоре выкошена молодая трава, полно народа. Торгуют со многих лотков и машин, в легких кофточках и рубашках кучки гуляющих всюду, обносят по кругу стакан, закусывают, пляшут под гармонь. Гуляют и стар и млад — нынче День молодежи совпал с коренным для варнавцев праздником — годиной святого Варнавы. Никому, конечно, дела нет до забытого угодника, но такой уж обычай — в последнее воскресенье июня гульба, престол.

Тогда, в 1970 году, еще съехалось на варнавскую годину множество гостей. Я пригласил Николая Рубцова,

товарища по Литинституту, приехать в Варнавин именно на этот праздник.

И вот — какая же радость! — иду по улице Продотрядников, вдруг из боковой двери почты, как птенец из гнезда, вываливается вроде бы чем-то напуганный Николай Рубцов. Взъерошен и небрит, одет не по погоде в рыжую замшевую куртку, изрядно, до глянцевого блеска затертую. В руках чемоданчик, какими пользовались тогда демобилизованные солдаты или пэтэушники.

— Это ты?! — искренне удивился он.— Вот хорошо. А то как бы я тебя тут нашел, в такой толпе?

— А что ты на почте делал?

— Да вот,— сконфуженно потрогал щетину на щеках, точно прикрывал ее,— в поезде побриться не успел, с автобуса сошел — а тут такая гулянка. Вот и пошел на почту, розетка там наверняка есть. А почта и закрыта.

— Ничего. Походишь и небритым. Все равно тебя здесь никто не знает.

— Да нет, Саша! — цокнул языком и качнул головой. Поглядел на помятые в дороге брюки и вроде бы еще больше устыдился своего вида.

— Надо бы где-то привести себя в порядок.

Проходили мимо веселые, нарядно одетые люди, оглядывались на него, а он, неприкаянно парясь в своей засаленной куртке, нервно и беспокойно ощущал эти взгляды. Видно, очень устал. Большой лысый череп, перевитый вздувшимися жилами, покрылся испариной. Остро, напряженно глядят темные глаза. Добрые и бесконечно ласковые в светлые минуты, они всегда мне напоминали, когда он злился, рассерженных шмелей, готовых не на шутку укусить, ужалить. Сильные, говорящие глаза!..

— Ничего, потерпи... Сейчас придем домой, сядем за стол.

«Омик» легко несет нас по светлой, точно рассыпающейся монетками серебра глади Ветлуги вверх, в леса. Там, в лесной деревеньке Ляленке у моего хорошего знакомого, инвалида войны Сергея Петровича Вылекжанина, воевавшего, кстати, в одной роте с поэтом Николаем Грибачевым, куплена маленькая избушка и поставлены на огороде ульи. Туда мы и едем.

Сосновые счалы вдоль берега, шлепанье вальков. Десяток домиков, затерявшихся за старыми березами,— пристань Нижник. Тут нам и сходить.

Карасьим пером поглаживал присмиревшую воду закат. Солнце скрывалось за лесами.

Шофер леспромхоза, отчаянный рыбак Леонид Кирбитов, позевывая, постелил нам на повети, на душистом сенце.

— А... это...— равнодушно отмахнулся он и опять — как скулы не выворотит — зевнул.

«Это» — золотистые гирлянды выпотрошенных лещей, подвешенных на стропила вместе с рощицами веников.

— Ешьте, берите... не жаль такого добра...— мимоходом предложил он.

Коля, заложив руки за голову, посматривал на дефицит.

— Вот бы таких лещиков к нам на Добролюбова. К останкинскому пивку.

— Я тоже как раз об этом подумал.

Утром чешуйчатое колено Ветлуги скрыли меланхолические ветви плакучих берез, и колеи старой лесовозной дороги повели нас прочь от реки, в глубокие леса к Бархатихе. В низинах пыльная колея переходила в лежневку, на выщербленных бревнах которой грелись шустрые ящерки. В низинах тошно пахло таволгой, сырой ольхой. На дне лесных овражков — ключи. Тут было сумрачно и глухо. В просторных же, поросших ландышем и толокнянкой борах, напротив, много света. Только вершины сосен глухо и неуспокоенно шумят, кажется, там, наверху, гуляет и тешится океанский шторм, а мы здесь, внизу, на дне океана.

*Подует ветер!*
*Сосен темный ряд*
*Вдруг зашумит,*
*Застонет, занеможет,*
*И этот шум*
*Волнует и тревожит,*
*И не понять,*
*О чем они шумят.*

Не знаю, приходили ли тогда на ум эти строки поэту, идущему сейчас рядом теплой колеей. Проносились в сторону недальних липовых урем пчелы либо осы, и он провожал их пулевые посвисты тревожным взглядом. Срывал твердые оранжевые, похожие на апельсинчики, ягоды ландыша и собирал их в горсть. Поднимал палец и останавливался — чу!.. Где-то в глубине леса тосковала желна.

Кажется, его глубоко волновал этот вдовий клик лесной жалобницы.

Казалось еще, что темные оливы его глаз, всегда напряженные, отмякают при боровом свете. И сам он становится мягче, деликатнее. Деликатность все-таки была основным свойством его натуры. Если порой не в жизни, то в творчестве — несомненно. Тогда мы шли и шли по лесу, болтали о всяких пустяках, ничего серьезного. Но я уверен: если человек болтает о пустяках, о всякой «милой чепухе», значит, ему легко. Может быть, тогда, в борах, отпускало и Колю?

Вот лес раздался — пошла лесная кулига, поляна то есть, на краю которой, у мощной стены бора, серело несколько заколоченных изб. Ляленка.

Подсвеченный солнцем бор горел церковным золотом. В одной избе еще жила неприметная старушка, и мы, пока не была готова избушка Сергея Петровича, поселились у нее.

Высился над деревней угрюмый, поросший лесом бугор.

— Лялина гора! — показывала темным перстом старушка.— Клады Лялины там по сею пору в землянке лежат.

— Какие клады, бабушка?

— Погоди, расскажу.

И услышали мы красивую лесную сказку о Ляле-разбойнике и его кладах, о лесной девке и прекрасной княгине Лапшангской, о молодом атамане Бархотке.

Коля загорелся сразу. Он даже не стал старушку дослушивать.

— Я обещаю тебе, Саша, напишу об этом. Только по-своему.

— Ты посмотри, тут и местность как обозначена: речка Ляленка, деревня Бархатиха. А самая распространенная фамилия — Шалухины.

— Это уже не так важно...

Что же было важно?..

*Мне о том рассказывали сосны*
*По лесам, в окрестностях Ветлуги,*
*Где гулял когда-то Ляля грозный,*
*Сея страх по всей лесной округе.*

Это из его «Лесной сказки», которую довелось прочитать — увы! — уже после гибели поэта. «Рассказывали сосны...» Хорошо!

Ляленька, Ляленька!

Вернуть бы те несколько дней, проведенных с большим поэтом. Я часто думаю теперь, что, возможно, и говорили бы мы о другом, и отношения бы наши складывались иначе. А как — иначе?.. Нет, нельзя дважды войти в одну воду. И, наверное, хорошо, что нельзя.

Помогли старушке обкосить межи на огороде, смахнули низинку с плотной мясистой травой. С Сергеем Петровичем навели порядок в его избушке. А остальное время бесцельно слонялись по деревне. Наверное, я мешал Коле. Уже позднее понял, ему хотелось бродить одному. А я хотел быть с ним...

Ходили по грибы. В конце июня что за грибы — коегде по мочажинам водянистые подберезовики да подсохшие на солнце, обваленные песком маслята на сосновых гривках. Заходили в лес, Коля характерно прищуривался и, как колхозный бригадир, выбрасывал вперед указательный палец.

— Ты иди в ту сторону, а я пойду в эту.

Но сколько бы я ни кружил по лесу, неизменно выходил на его рыжую, видневшуюся издалека курточку. Меня тянуло к ней, как к магниту. Мы сталкивались лоб в лоб. Его высокий лоб мгновенно покрывался морщинками. Он пристально смотрел на меня, часто и раздраженно смаргивая,— тоже характерно,— точно в глаз попало.

— Чего тебе возле меня надо?.. Я же сказал тебе — иди в ту сторону! — резко и даже зло выговаривал он. И снова по-бригадирски направлял меня куда-нибудь подальше от себя. А мне-то, восторженному наиву, сосункулитинститутовцу, только что слезшему со школьной скамейки, так хотелось бродить по лесу с ним, делиться мыслями, говорить о серьезном.

Однажды дело дошло до такого «серьезного» разговора. Расспорились о поэзии. Я говорил, что и в литературе существует прогресс. В развитии формы: рифм, метафор, интонаций и т. д. Дескать, в пушкинские времена уже не писали так архаично и «неуклюже», как, скажем, Сумароков или Херасков. И во времена Блока или Пастернака напиши «под Пушкина» — тоже будешь архаичен. Вот когда глаза Рубцова засверкали антрацитовым огнем, вот когда он по-настоящему вспылил:

— «До Пушкина, до Пушкина»! — передразнил меня.— А Державин?

— А что — Державин?

— Лучше и не раздражай! Ты послушай, как писал: «Где стол был яств, там гроб стоит». Сильно?..

— Да ведь не пишем же мы теперь гекзаметром!.. Махал рукой, подчеркивая бесполезность спора.

— Все равно лучше Гомера никто не писал. Когда-нибудь ты его поймешь.

Понял, вся его поэзия убедила: духовность стиха — первейшее дело, форма может оставаться и консервативной.

Пошли в деревню Бархатиху за продуктами. Боком к опрятной деревушке прилепился леспромхозовский поселок. Крытые дранкой и толем бараки и засыпушки были строены не в порядок, а как попало. Разнокалиберные заборы, на песчаных улочках лужи и помойки. Коля все поеживался, точно ему мокрые опилки за ворот замшевой курточки высыпали, капризно морщил лоб, беспокойно озирался. Видно, неуют поселка томил его. А может быть, что-то напоминал, ведь на вологодском Севере много таких мест.

И вдруг он остановился, как вкопанный. Уставился на окна, где в ржавых консервных банках из-под зеленого горошка цвели герани. Яркие, алые, пышные! Вот это чудо! Невольно залюбовался и я. Слышу четкое, хлесткое, как удар бича:

*Люблю цветы герань!*
*Все остальные дрянь!*

Задорно сощурился, глядя на меня.

— Хорошо, смачно,— пошутил я,— но другие-то цветы при чем?

— Да нет,— Рубцов улыбнулся,— цветы-то, ты знаешь, я все люблю. Почти все. А тут — герань. Сразу детство вспомнилось. У нас в Никольском было много-много герани на окнах. В том числе и в детдоме. В горшках, в таких же банках. Приклеили этому цветку ярлык — «мещанский». В смысле плохой, значит. А ведь мещане — это простые, в большинстве порядочные люди, жители тихих улочек, слободок. Представляешь, слободка утопает в герани. Тихая мирная слободка. Да это же поэзия! Целый океан поэзии.

В то лето он часто вспоминал свою поездку на Алтай, на Бию и Катунь. Много рассказывал о чудесном Телецком озере. А однажды за разговором выпалил:

*Мое слово верное,*
*Мои карты — козыри.*
*Моя смерть, наверное,*
*На Телецком озере.*

Вот каким образом выразил свое восхищение озером!

Рыбачили на Ветлуге. Полдневная жара, рыбешка попряталась, клевать явно не собиралась. Оставили удочки, поднялись на яр. Море покосных лугов. Сконфуженно высится над другими травами молодой стебелек конского щавеля, надменный ирис, горят из травы кровяные капельки смолки, туда-сюда болтаются, как неприкаянные, бледные обесцвеченные чашечки колокольчиков.

И зной звенит во все свои звонки...

Легли на животы, в душистое это разнотравье, разболтались о том, о сем.

— Давай-ка стихи сочинять,— вдруг предложил Николай,— ну не серьезно, а так, понарошке. Иной раз как бы понарошке-то и лучше получается. Чаще всего.

— И с чего начнем?..

— Как с чего? С этого и начнем. Мы лежим у речки? У речки. Значит так: я лежу возле тихой речки... и смотрю, как журчит вода... где-то рядом кричат овечки...

— И гудят вверху провода.

— Эта строчка не вписывается... Не тот ряд.

— А где ты увидел овечек? В лугах перед сенокосом?

— А это не важно.

Кажется, больше мы ничего не сочинили, но вот начальные строки его стихов:

*Высокий дуб. Глубокая вода.*
*Спокойные кругом ложатся тени.*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Песчаный путь в еловый темный лес.*
*В зеленый пруд*
*Упавшие деревья.*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Живу вблизи пустого храма,*
*На крутизне береговой...*

И так далее. Давайте-ка снова перелистаем какой-нибудь из рубцовских сборничков. Большинство стихов начинается с простой и ясной констатации обстановки, места.

На Ляленке к Рубцову подошла одна бойкая старуха. Тут, неподалеку, пасла колхозных телят со своим стариком. Я точно помню — была у нее на щеке бородавка, поросшая светлыми волосками. Уже не первый раз подкатывалась к нему старушонка, просила, чтобы Рубцов написал ей какое-нибудь стихотворение.

— Зачем вам? — подозрительно присматривался к старухе Николай.

— А я внучкам почитаю.

— Потом напишу,— резко бросал Николай и сразу же отходил — старуха ему явно не нравилась.

— Почему ты не хочешь ей написать что-нибудь?

— Она потом пойдет с этими стихами и будет всем показывать. А то еще к председателю пойдет, будет требовать чего-нибудь.

— Да вряд ли...

— Ты еще не знаешь этих старух. Они ведь не все добрые,— мрачно бросил он и ушел от разговора.

Где, какие старухи его обидели?.. Откуда родились такие строки:

*О Русь! Кого я здесь обидел?*
*Не надо слушать злых старух...*

Вечером ходил по деревне и наборматывал. Он не записывал сразу стихи, сначала их наговаривал, складывая «на память».

*Одна в деревне этой чистой*
*Старушка грустная жива.*
*И на лице ее землистом*
*Растет какая-то трава.*

Старушка наша была бойкой, а не грустной. Поэтому заменил на более нейтральный эпитет — древняя. В чистой деревне не может быть злых старух. А вот во мглистой... Впрочем, четверостишие рождалось из образности последних строк. Он ухватил образ: землистое лицо — трава, раз десять вслух при мне повторял эти строки. Шлифовал, прислушивался, как звучат, а потом уж и начал присочинять две первые. Само же стихотворение «Уже деревня вся в тени...», возможно, и не на Ляленке родилось. Это не обязательно.

*В горнице мое-е-ей светло-о-о...*
*Это от ночно-ой звезды-ы-ы...*

Приятный женский голос с прибалтийским акцентом, красиво переливаясь, выводит, вытягивает, как проволоку, песню на стихи Н. Рубцова «В горнице». Он ее пел не так. Просто и проникновенно, с четким завершением строчки, как бы прихлопыванием ее. Как бы припечатывал строку. Так же четко, как в стихах про ту же герань или Телецкое озеро. Не было ничего похожего на заунывные переливы певицы. Была светлая вечерняя печаль, усталость, надежда — вот это было в простых, но полных бесконечной поэзии строках.

— Однажды я напел «Горницу» одному профессиональному композитору. И ты знаешь, что он сказал? Вполне профессионально, говорит. Вот так.

Возродить бы тот рубцовский мотив, он ведь у многих на памяти, а возможно, где-нибудь в Вологде или Москве есть и запись его.

Главный герой фильма «Змеелов», задумавший бороться с кланом торгашей, поет «Журавлей» Рубцова. Удачно — в лад и тон стиху — подобрана музыка, хорошее исполнение. Песня, что называется, играет на фильм. И все же — то, да не то. Рубцов-то ведь пел своих «Журавлей» совсем по-другому. Если бы, если бы найти записи рубцовского пения!

В деревне Ляпуново, где мы жили у моей матери, увидел гармонь, хромку с разорванным ремнем. Сразу, как ребенок, потянулся к ней. Наладил ремень, связав его обрывком бельевой веревки, развернул меха. С нарочитой хрипотцой, с «подтрясом», играя ухаря, запел:

*Финочкой забрякали,*
*Отец и мать заплакали.*
*Не тужи, отец и мать,*
*Сырой земли не миновать.*

— У нас на Сухоне поют такие отчаянные частушки. Они так и называются — «хулиганские частушки». Я их много знаю, хочешь еще спою...

Но запел не частушку, а свою «Осеннюю песню». Запомнились строчки, которые не вошли в сборник:

*Я в ту ночь полюбил*
*Сумасшедшие листья,*
*Все запретные мысли,*
*Весь гонимый народ.*

Судьба гнала его самого, как сухой листок, и он, жалея всех гонимых судьбой, видел себя в них.

Недолго уже оставалось петь — с таким надрывом, точно бередя струпья все не заживающей раны.

— Ты знаешь,— высказался он как-то,— мне одна заочница наша, поэтесса, ласковая такая девушка, сказала — знаешь, что? «Возле тебя, говорит, всегда такое беспокойство охватывает. Прямо места не нахожу себе». Правда это?

Не помню, что я ему тогда ответил. Наверное, пожал плечами, хмыкнул. Согласиться бы с той поэтессой...

— Ты ведь, Саша, тут в общежитии тихо, амебно живешь, никуда не ходишь. А я ведь бурно прожил. Да, бурно. У меня ведь покоя не было, это не по мне.

Постоянная внутренняя тревога, ожидание «уже нелучших перемен» и вырывались наружу, и заражали (или заряжали) окружающих. Другое дело, что окружающие не замечали этого или не хотели замечать, а то и слишком были заняты собой.

— Знаешь,— рассказывал он,— однажды мне было очень тяжело, ну, понимаешь, очень... Кругом прижало. В институте, с жильем. Сам не знаю, как пришел к Яшину. Он почувствовал мое состояние и позвал гулять. И представляешь, долго мы гуляли с ним по темным улицам, очень долго. Он тогда ничего мне не сказал, не пытался утешить. Просто мы ходили, молчали и — все. И так легко после этого стало. Вот мудрый человек.

Думаю о житейском неуюте его и опять вижу Рубцова на ветлужском приплеске, на косе ослепительно чистого, точно провеянного, песка. Худое, непривычно белое тело, неестественно вспученный (печень?) живот. Длинные до колен черные трусы.

— Не загорал несколько лет, как-то не доводилось,— конфузился он,— теперь никак не осмелею. Как девушка.

Забрел по колено в воду, постоял, почерпал воду ладошкой и сразу же вышел. Лег животом на песок.

— Вот погреюсь — и хватит. Не люблю я эти пляжи. Ты можешь себе представить деревенского жителя, крестьянина — лежащим на пляже? Загорающим? Я вот никак не представлю.

Полежал немного, досадливо отмахиваясь от надоедных слепней. Стал одеваться.

— Не люблю я ни весну, ни тем более лето, когда все цветет и пахнет. Не по мне. Вот осень я люблю. Слякоть, дожди — это по мне, тут я в своей тарелке,— так он высказывался не один раз.

И как же щемяще — «много серой воды, много серого неба и немного пологой нелюдимой земли» — это сиротское состояние природы отражено в его стихах!

И снова Ляленка. В тот день на казенном, заляпанном грязью «уазике» приехали сюда два солидных мужика в плащах с капюшонами. Они держали на Ляленке большую пасеку. Мужчины привезли с собой спирт.

Рубцов в это время, задумчивый, обособленный, гулял по окрестностям. Его рыжеватая курточка мелькала то здесь, то там среди деревьев. Он гулял с палочкой, постукивал ею по стволам деревьев, посвистывал. Наверное, сочинял «наборматывал» стихи. Подходил к дому просветленный, облегченный. И вдруг точно туча нашла — увидел в заулке «уазик», увидел приезжих. Глаза напряженно, остро заблестели, он с беспокойством смотрел на меня. Что-то разладилось в нем.

Приезжие, уже прослышавшие о поэте, поспешили с ним познакомиться. И, едва познакомившись, наперебой стали прославлять Ляленку, красоты здешних мест. Рубцов морщился.

Нас пригласили за стол, на котором стояли спирт, свежий мед, сковорода с жареными карасями.

— Трапеза как у бояр! — сделал комплимент Рубцов.

Попробовал пошутить — что-то не получилось. И спирт выпил с неохотой, даже пытался отклонить стопку. Видно было, что затеянное не ко времени застолье раздражает его, что-то разлаживает в нем.

Вторая стопка, третья. Беседа со щедрыми пчеловодами не налаживалась. Как будто щелкнул какой-то тумблер — одна колкость сотрапезникам, другая. Назревала ссора.

Наконец Рубцова уложили спать. Постелили ему на полу, на домотканом тюфяке, набитом сухим сеном. Сено всю ночь тревожно шуршало — поэт не спал, ворочался и стонал. Во тьме вспыхивала спичка и долго маячил огонек сигареты.

Утром, отказавшись от опохмелки, мы ушли из Ляленки. Всю дорогу до Нижника, до Ветлуги, Рубцов хмуро молчал. Только когда уже уселись на ветлужском угор-

чике под старыми березками и речной ветерок обласкал нас, в сердцах выговорил:

— Всю плешь мне переели твои пчеловоды! Рубли лопатой гребут с этих пасек, а все туда же — «природа, природа, ах, взгляните туда, какая красотища, взгляните сюда». Тошнит. Выпить бы, так и сельмага-то здесь, наверное, нет. Или, как всегда, ржавый замок на дверях.

И вот бойко бежит наш «Омик» мимо цветущих берегов; опять буторится вода за кормой, и нас обдает роскошными брызгами. Рубцов, сощурясь, смотрит на воду, лучезарно улыбается. Наш день наступил, солнышко взошло.

Бежит, прорастая барашками, шустрая волна вдоль борта, не желает отстать от пароходика. Бежит по речному плесу облачная тень. Вот накрыла наш пароходик, и свинцово потемнела вокруг вода, испещренная мелкими черточками волн. Сумрачно присмирели луга, точно насторожились раскидистые дубы над береговым срезом, вдоль которого мы стремительно несемся. Только на далеком горизонте, на дальнем гористом берегу светятся свежими тесовыми крышами деревеньки, золотятся под солнцем хлебные поля. Там светит солнце, а здесь — тень.

Вижу его выходящим на осенний морозец из литинститутовского общежития. Потертое пальтецо, беретик. Под мышкой трехрублевая папка с «молнией». Зовет меня «в город, по делам». Я знаю, что в папке стихи, надо разнести их по журналам, поэт после «Звезды полей» нарасхват...

В троллейбусе третьего маршрута долго шарит по карманам. Протягивает мне рубль.

— Возьми талоны, мелочи нет.

— Так доедем.

— Нет,— хмурится Николай,— я уже вышел из этого возраста, чтобы без билета ездить. Иди и бери.

Отбирает у меня пачку талонов, щелкает компостером. На Вадковском, кажется, переулке неожиданно говорит:

— Давай выйдем, попьем пивка. Волосы все-таки трещат после вчерашнего, хотя и нет их, волос-то... Ты случайно не знаешь этих ребят с заочного?..

— Каких?

— Ну, с которыми пил.

— В глаза не видел.

На пиво израсходовали всю оставшуюся от рубля мелочь, Коля наотрез отказался садиться снова в троллейбус, чтобы проехать несколько остановок. Так и шли до метро «Новослободская», до издательства «Молодая гвардия» на Сущевской пешком. Попутно Рубцов обучал:

— Ты еще не бывал в журналах? Не бывал. Поэтому я буду говорить, а ты молчи. Лучше всего посиди где-нибудь в уголке.

В коридоре редакции журнала «Молодая гвардия» я и угнездился в уголке, на дерматиновой скамейке возле цветочных горшков, но и отсюда, из-за цветов, видел, как вокруг Рубцова закрутились люди. Из одних дверей вышел стремительный, строго одетый — черный костюм, белая рубашка, галстук — коротыш. Он отозвал Рубцова к окну и что-то попытался вручить ему. Николай отказался. Я искренне переживал, возьмет или не возьмет?..

Отказался. Минутой позднее я узнал — от двадцатипятирублевика.

— Чего же ты отказался? — попенял я.— Человек, может быть, от чистого сердца предлагал. А у нас даже на метро нет.

— От чистого?.. Ты еще ничего не знаешь и поэтому помолчи. Не знаешь ты людей, особенно этих, столичных. Здесь за «так» ничего не делается. А вдруг — мало ли чего — гонорар не получим, а деньги изведем! Давай-ка лучше с тобой пешочком по Каляевской.

В Б. Гнездиковском переулке, на одном из верхних этажей издательства «Советский писатель» у окошечка кассы — очередь за гонораром. Стоят солидные люди с седыми и даже зеленоватыми (старая седина) шевелюрами. У всех дорогие портфели либо кожаные папки в руках. Модные, разных расцветок — как в тропическом лесу — куртки и плащи со многими пуговицами, молниями-замками, кармашками, нашитыми на рукава. Упитанная публика, каждый в полтора-два раза мощнее Николая. Он постарался незаметно приткнуться к концу очереди, однако седовласые джентльмены, кажется, затылками видели. По очереди загудел шепоток, на Рубцова стали оглядываться.

...Коля позвал меня и старательно, как первоклассник, морща лоб, отсчитал и передал мне трояки, которые необходимо разнести в общежитии.

— Только не подведи меня, слышишь? А это тебе. Хватит до стипендии? — протягивает десятку.

— Спасибо. А ты сам-то куда?

— А я тут...

— Меня не берешь?..

— Ты извини, нет. Вообще, ни к чему тебе привыкать...

Две или три личности, сомнительно выбритые, уже крутились возле него.

— Это поэты, Саша,— пояснил Рубцов.

Мы расстались на углу возле гастронома «Армения». Поэты, обгоняя один другого, заглядывая в лицо Рубцову, потрусили вниз по Тверскому бульвару. «Цэдээл, цэдээл»,— слышал я их бойкое цоканье. Хапнули первое встречное такси. Коля уселся впереди. Вперив в пространство прищуренный взгляд, пролетел мимо. Дешевенький шарфик ухарски обматывал шею, и длинным концом был закинут за плечо. Машина с визгом развернулась на улице Горького и ринулась вниз по Тверскому.

...Опять этот пришвинский «страшный обрыв», где «Ветлуга сцепилась с другой рекой». «Другой реки» здесь нет, к Ветлуге выходит старица, древнее речное русло. Эта старица сплошь заросла травами: кувшинкою, рдестами, стрелолистом, здесь жуткое царство пудовых обомшелых щук, увешанных блеснами, как драгоценностями, карасей размером с валенок. А на «страшном обрыве», который ветлугаи зовут все-таки поласковее — «угором», вековые березы. Сплошное море листвы, которая горячечно вскипает под ветром. Листва настолько густа и обильна, что сквозь нее с мая не видно грачиных гнезд. Эти гнезда, размером с тележное колесо, обозначатся только осенью.

Мы сошли с пароходика. Рубцов уже не сердился, не морщил в напряжении лоб. Заинтересовался приездом Пришвина в эти места.

— А церковь? Как она? Сломали?

— Ее и ломать-то не надо было. Видел снимок дореволюционный? Уже тогда — вся в подпорках, накренилась над обрывом.

— Значит, не остановил Варнава?

— Отказался святой. Да вон, видишь двухэтажную хоромину, это ДК, клуб. Там есть библиотека. Заглянем?.. Можно будет почитать самого Пришвина.

— В библиотеку? Ты что? В таком виде?

— А что? Вид нормальный.

— Да нет! — опять, как и в день приезда, конфузливое потрагивание щетины на щеках.

— Да там знакомые девушки. Они знают и любят твои стихи. И я им о тебе рассказывал. Вот будут рады!

— Да что ты, как банный лист, прости господи! Лучше бы показал, где здесь чайная. А то библиотека. Не пойду я в таком виде, да еще с запахом. И тебе не советую. Надо все-таки уважать. Сейчас, Саша, мы с тобой в чайную пойдем...

Свет и тень, свет и тень... Вот и набежала тень на это повествование. «И я присел, и грянули стаканы...» Слышали ли мы, его друзья, жуткий душевный скрежет, когда он поднимал эти стаканы? Сказала ли единая душа: «Стой, Коля, не пей», выплеснула ли стакан с зельем? Нет, никто этого не делал. Как дитяти возле новой игрушки, суетились-вертелись возле него, из кожи лезли вон, чтобы похлеще угостить...

«И думал я, какой же ты поэт, когда среди бессмысленного пира все больше глохнет гаснущая лира...» Эти, видимо, много мучившие его строки он относил не только к случайным сотрапезникам, но, в первую очередь, к самому себе. Пир был, вот именно, бессмысленным, скупо отпущенное время проваливалось, как песок в часах, а «алкогольное безумие» только набирало обороты... В чайной — в розлив и на вынос — рекой лились водка, вермут и портвейн, пиво. Осоловелые механизаторы в грязных сапогах слонялись от стола к столу, как тени. Скопище техники — тракторы, машины возле чайной, как кони у коновязи.

Пива нам показалось мало, а тут еще встретился знакомый сотрудник из районной газеты, который тотчас приобрел «бомбу» портвейна. Она, эта «бомба», и была выпита тотчас на зеленой лужайке под акациями. Мигнуть не успели, как мой знакомый, точно за стиральную доску встал, начал мытарить Колю, а заодно и меня, своими стихами. Стихи грамотные, как раз для районки, для четвертой ее полосы, про природу да рыбалку, но не больше. Рубцов морщился, как от головной боли, автор же этого не замечал. Автор потел, голос его дорастал до металлического звона, но не отступался. Наконец, выдохся, и Коля, улучив момент, предложил сходить за второй «бомбой».

— Я сам пойду! — оборвал он наши порывы.— А вы тут посидите, еще почитайте... Хорошие стихи,— ровным,

как стол, голосом похвалил он и моментом скрылся за акациями.

Озадаченный, мой знакомый пересел с травы на скамейку. Мне он стихи читать не стал.

— Ты знаешь,— осторожно начал я,— Коля не любит, когда много стихов подряд читают.

— Да пошли вы с вашим Колей,— взорвался тот, доставая курево,— носитесь с ним, как с писаной торбой. А чем его стихи от других, от моих, например, отличаются?.. Ничем. Те же березы, те же все цветы.

Спорить я не стал.

Ждем-пождем — нет гонца.

— Как бы не поколотили его. Нездешнего,— высказался я,— подожди здесь, а я пойду подстрахую.

В тесной и темной забегаловке (чайная уже закрылась) мухе негде сесть. Половина зала заставлена пивными бочками, на них сидят, пьют, терзают сушеную рыбу и плавленые сырки мои земляки-варнавинцы. К прилавку не протолкнуться. Дела у Коли шли хорошо. Скоро он начал передавать мне через головы одну за другой «бомбы» с чернильно-густой жидкостью. Протискались к выходу.

— Фу! — выдохнул он.— Даже плешь вспотела. А куда ты дел своего приятеля?

— А он там нас ждет, в садике. Я за тебя побоялся.

— Побоялся! Не из таких клоак выбирались. А вот человека-то ты зря одного оставил.

Нашего поэта на скамейке не было. Я пробежал садиком — нигде нет.

— Погоди, в пивнушку схожу, может быть, там.

— В пивнушку! — взорвался Николай.— Да ты понимаешь, что он вообще ушел! Ты понимаешь, что ты обидел человека?.. Мы обидели!..

Уже стемнело. Открытая «бомба» стояла на скамейке. Рубцов сидел перед ней, поблескивающей под луной, нога на ногу, держал в руке снятый с сучка акации стакан, наполненный «чернилами», и буравил меня злыми темными глазами. Часто моргал, как будто сам не мог выдержать демонического напряжения своего взгляда, и напропалую, как теща, распекал меня:

— Ты зачем обидел человека?.. И вообще, зачем ты пьешь? Такой молодой и уже в стакан смотришь! Нет, я тебе не налью. Сам выпью, а тебе не налью. Ты же ничего еще не сделал, чтобы пить...

Опять частое моргание, некоторая остановка на обдумывание. Опять не разглядывает меня — сверлит темными буравчиками.

— Да. Я сделал дело. А ты — нет. Я ведь только слово могу сказать, и тебя нигде не напечатают... Ну ладно, вот тебе, выпей. И больше не ожидай. Все.

Но было еще не все. Шли от Варнавина домой, в Ляпуново.

— Ничего ты не напишешь, ничего.

— А вдруг... чем черт не шутит,— подначивал я.

— Ты брось эти шутки. Тут не шутят. С русской литературой не шутят. А вот будешь пить и ничего не напишешь...

Он останавливался и прикладывался «из горла» к бомбе, уже, кажется, второй. Уже, кажется, его пошатывало, но говорил он четко и зло.

Росное поле перед деревней серебрилось под луной. Огромная и багровая, висела она низко над елками оврага. Звучно опадали росы. Точно выдирая ржавые гвозди из простенка, старался коростель.

— Ты иди домой, а я тут посижу,— неожиданно мирно попросил он и пошагал со своей бутылкой подальше от дороги, в молодую рожь. Уселся. Смятенно кричали, заходились в криках ночные птахи. Из оврага наносило горьковатым туманцем — где-то жгли костер... Я ушел спать на сеновал и долго не мог уснуть. Слышал возвращение Рубцова, его долгий, до трех часов ночи, громкий разговор с матерью.

Утром я вышел помогать ей окучивать картошку. Влажная, поднятая мотыгой земля, приятно холодила босые ноги. Рубцов, облокотившись на изгородь, хмуро наблюдал за мной. Одет, несмотря на разгорающийся зной, все в ту же замшевую курточку. Отстраненно смотрит в сторону, на лбу собираются морщинки. Опять ежится, точно за воротник попали опилки, точно не летний зной, а осенняя неволя-непогодь на дворе. «Пускай меня проносит по всей земле надежда и метель, какую кто-то больше не выносит...»

На другой день автобус увозил его из Варнавина. Тихий, лысиной похожий на младенца и старика одновременно, он как-то испуганно смотрел на меня...

Последняя его осень, промозглая, сырая. Последняя встреча с ним в Москве. Он загулял в общежитии. То в

одном, то в другом углу семиэтажного желтого дома на улице Добролюбова пошумливают. Значит, там Рубцов. Наехали денежные заочники, поят, потчуют. Эти заочники бегали по коридорам с бутылками, всех спрашивали:

— Где Рубцов?.. Хочу выпить в Рубцовым.

«От врагов отобьешься, так друзья споят»,— горько написал по этому поводу наш горьковский поэт А. Люкин, нелепо погибший. В один из вечеров Рубцов пришел ко мне в комнату усталый, осунувшийся.

— Можно, я у тебя отдохну?

— Вот койка, соседа все равно нет.

Он разделся, разулся и с ногами, по-восточному, сел на койку. «Как на нары»,— мелькнуло у меня.

— У тебя тут тихо, спокойно. А я ведь бурно прожил,— повторил он мне то, что однажды говорил.— Я спою, хорошо?..

— Пой, пой.

«Журавлей» он уже исполнял при мне. Пел, аккомпанируя и на гармошке, и на гитаре. А тут был один голос. Один живой голос, охрипший и усталый, какой-то простуженный насквозь. О чем он тосковал? О том, что не удалось достичь тех журавлиных высот, улететь с гордыми птицами?.. «Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...»

— Ты завтра проводишь меня?

— Конечно.

И вечером другого дня мы уже мыкались по перронным закоулкам Ярославского вокзала, выискивая, где «побезопаснее» распить бутылку портвейна. Вторую Николай сунул в карман пальто: «Это мне на дорогу». Выпив, пошли по перрону. Неожиданно Рубцов попросил:

— Прочти какое-нибудь стихотворение. Я ведь ни строчки твоей не знаю.

Я растерялся. К тому времени я учился на третьем курсе, а, стало быть, уже невысокого мнения о своем творчестве. В каких-то корчах рождались тогда стихи, не было в них ни лада, ни склада, ни ясности. Подражания, в том числе и ему, Рубцову. Нет, пока я не готов читать свои стихи.

— И все-таки почитай,— настоял Рубцов.

Что же ему почитать? Наверное, вот эти, о смерти, больше соответствуют, как мне казалось, рубцовскому духу:

*Ты превратилась в трепет ив,*
*В следы после дождя.*
*Они остались, проступив*
*Сквозь травы и года.*
*И я ищу твои следы,*
*Не находя ни дня,*
*Костлявой веткой у воды*
*Ты смотришь на меня.*

— Стихи, Саша, слабые,— последовал монотонный ответ.

— Надо работать? — поиронизировал я.

— Работать над ними не надо. Ты их просто оставь. Слабые, но поэзия в них есть. Да, поэзия есть. Ты пришли мне другие стихи. Я их отберу и отнесу в какой-нибудь журнал, пока есть такая возможность. Пришли в Вологду на мой адрес, на улицу Яшина, хорошо?..

— Ладно.

Погуляли-погуляли по перрону.

— А что, та девушка действительно у тебя умерла?

— Да нет, это я так, нафантазировал.

— А вот это уже плохо. Вот поэтому и стихи получились слабые. Не надо фантазировать. А стихи все-таки мне пришли.

Подали к перрону состав, объявили посадку.

— Передай привет матери. Скажи ей, что мне все понравилось и пусть не обижается. Ладно?

— Коля, мне бы нужно с тобой посоветоваться. Об одном важном деле.

— Жениться, чувствую, надумал... Тут я тебе плохой советчик. Но все равно приезжай в Вологду. Я ведь там, не думай, не так богемно живу, как здесь. Там ведь у меня ковры... А про Лялю я написал. Как и обещал тебе.

Проводница, немилосердно окая, начала выпроваживать меня из вагона. Коля проводил до тамбура. Мы не поцеловались, не обнялись.

Это было в ноябре, возможно, в начале декабря 1970 года.

И вот 19 января 1971 года. Крещенские морозы.

И пророчески-горькие, резанувшие по сердцам многих его друзей и почитателей строки:

*Я умру в крещенские морозы,*
*Когда стонут и трещат березы...*

В точку попал, в самое яблочко.

Морозная Вологда, усердный скрип валенок, оканье горожан. Каким-то домашне-деревенским показался тихий русский городок, столбами поставивший дымы из печных труб. Дымы были окрашены в розовый цвет.

Поэт Борис Примеров повез с вокзала нас с Борисом Шишаевым, рязанским поэтом, к Виктору Астафьеву. Виктор Петрович подливал нам, озябшим, густой, как деготь, чай и рассказывал о Рубцове.

Чай мы пили из берестяных, плетеных, как лапотки, подстаканников.

Астафьев повел нас по городу. В голове что-то гудело, страгивалось, все невесомо плыло перед глазами — то ли от бессонной ночи в поезде, то ли от ужаса совершившегося. Битый-перебитый жизнью, ломанный сиротством, холодом-голодом, калеченный войной, обрысканный всяческими неурядицами, да осиливший все, хороший русский писатель старался отвлечь нас от свинцовых мыслей.

— Вон на той улице шли съемки фильма «Дядюшкин сон». А тот поплавок на реке видите?.. Это про него Коля писал, там «блондинка Катя» работает...

Начал перепархивать снежок. Значит, мороз сдает. Снежинки, как бабочки, садились на рукава. И в это время мы вышли на площадь. В поблекшем, цвета снятого молока, небе сиял купол собора.

— Храм Софии.

Так вот он, этот храм!

Снежинки вели хороводы над его куполом, уже обметали купол возле креста пухлым сугробиком, летели все гуще, все кучнее. Такой праздничный снегопад. Такое было ощущение, будто по всей России снег идет.

*Снег летит на храм Софии,*
*На детей, а их не счесть.*
*Снег летит по всей России,*
*Словно радостная весть.*

Легче на душе становилось от снегопада. Точно сам Коля верховодил снежными хороводами откуда-то из своей вечности. И думалось, думалось, сколько еще будет идти над Россией таких праздничных снегов, и грустилось, и радовалось — одновременно.

# АНАТОЛИЙ ЧЕЧЕТИН



## ВСТРЕЧИ

Этюды о Николае Рубцове

### «И ХРАМ СТАРИНЫ...»

Мы поехали к Эдику после семинара, на котором обсуждали пьесу кого-то из сокурсников. Были возбуждены, по пути в общежитие продолжали говорить — не столько о самой пьесе, сколько о позиции автора, его понимании драматургии как условно-театрального, строго регламентированного внутренним редактором феномена. Удивлялись — начинающий драматург, а уже точно знает, как «надо» и как «не надо» сегодня писать, казалось, он заранее учитывал возражения всех инстанций, через которые будет проходить пьеса, и тому подобное.

Пришли к Эдику в комнату, предварительно заглянув в гастроном, что через улицу от «зеленого дома», как называли мы свое общежитие. Оно не было окрашено в зеленый цвет, зеленым был дом рядом с остановкой троллейбуса, и так называлась сначала остановка, но когда дом перекрасили в другой цвет и остановку переименовали, студенты нашей поры закрепили полюбившееся название за общежитием.

Вскоре появился приятель Эдика, а за ним и Коля. Познакомились. Беседа продолжалась уже вечером, хотя Коля почти все время молчал; сидя в кресле, он то иронично улыбался, то неожиданно негромко начинал хохотать, то отрешенно задумывался о чем-то своем, казалось, совсем отключившись от общего разговора.

Вечер был зимний, сумеречный, тусклый. И все мы были одеты как-то затрапезно, безлико-серо, и на фоне общежитских серых кроватных одеял и художественного беспорядка в комнате Эдика обращали на себя внимание и выделялись лишь наши лица.

Коля был маленький весь, но не производил впечатления карликовости, карманности, не казался щуплым, ледащим. Спортивно-пружинистая жилистость в фигуре угадывалась, но уже отошла, смягчилась — от спонтанно-студенческого образа жизни.

Сначала я не обратил на Колю особого внимания. По-северному окающий лысеющий молодой мужичок с темными сверлящими глазами — только и всего, но отдельные реплики в разговоре все-таки заставили сразу принимать его всерьез.

Поговорили о том, о сем. Эдик и его приятель стали просить Колю почитать стихи. Он сначала не соглашался, мельком взглянул в мою сторону. Я молчал: не очень хотелось слушать поэтическое завывание (в ту пору многие поэты читали свои стихи именно так), душа желала продолжения живого общения, говорения, единения, а тут зачем-то стихи.

И все-таки поэт негромко, как показалось сначала, чуть припевая и сильно на «о», начал читать о том, как он будет скакать по холмам задремавшей отчизны, «неведомый сын удивительных вольных племен!..», и слух сразу же уловил слово, зацепился, и захотелось внимать дальше, включаться в то, о чем говорил Коля, свободно отрывая руку от стола, словно указывая на то, что ясно перед собой видел.

А когда он произнес «Россия!..» — и сделал напряженную паузу, я стал ждать другого слова, как неизбежного продолжения музыки, например, в любой драматического характера вещи Баха или Чайковского. И это продолжение, известный переход, перелом в стихотворении пришли, а вскоре наступило крещение, которое Коля не выпевал, не выкрикивал. Он произносил каждое слово, будто внедряя в тебя, в твое сознание и в душу вместе с точной ассоциативностью образа нечто очень важное и весомое, отчего твое представление о механике явления становилось вдруг более ясным, объемным.

*И храм старины, удивительный, белоколонный,*
*Пропал, как виденье, меж этих померкших полей,—*

*Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,*
*Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..*

И закончилось это удивительное вознесение духа буквально патетически, хотя Коля говорил негромко, не кричал:

*Боюсь, что над нами не будет возвышенной силы,*
*Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,*
*Что, все понимая, без грусти пойду до могилы...*
*Отчизна и воля — останься, мое божество!..*

А потом Коля прочел «Филю» — ребята хохотали, поздравляли.

Читал еще что-то, но я уже не воспринимал: был просто поражен только что услышанным. А немного позже, осознавая случившееся, понял сразу и навсегда, что встретил сегодня не просто молодого двадцатичетырехлетнего студента Литературного института Колю Рубцова.

## В ОСТАНКИНЕ

До моего знакомства с Колей и после того Эдик всегда вспоминал время учебы в институте, Глеба Горбовского, Павла Мелехина, Александра Черевченко как бурную, яркую поэтическую пору. Это было всего год назад. Он имел автографы их стихов, часто и хорошо читал их вслух, искренне восхищаясь и нас настраивая на такую же волну, правда, при Коле заметно уменьшал свой восторг.

И по нашему курсу, и по другим я уже знал, что поэты редко дружат между собой: с прозаиком, драматургом, даже с критиком — сколько угодно, а поэт с поэтом — почти никогда. И Эдик был деликатен, не пытался «сводить» поэтов даже заочно.

Как-то теплым утром раннего лета мы с Эдиком и Колей решили пойти в Останкино покататься на лодке. К нашей компании присоединились еще ребята.

Взяли две лодки. Катались по сравнительно небольшому прудику, веселясь и радуясь солнцу, теплу, молодой нежной зелени вокруг. Сняли рубашки, брызгались водой, догоняли друг друга, брали на абордаж лодку с тремя девушками, работницами молокозавода: опять хохмили, смеялись — отдыхали как-то сообща, живо и непринужденно. Правда, прозаик пытался проявить свою

ученость, цитируя то Гегеля, то Канта, в разговоре о женщинах сказавшего будто бы о том, что она, как таковая, ни черта не стоит, а чего-нибудь стоит только как продолжение мужчины в низменной сфере наслаждений. Все промолчали. А говоря о душе он, специально улучив момент, обратился сразу ко всем с риторическим вопросом:

— Кто может сказать, какая она у человека — душа?

— Психея,— тут же ответил Коля и все засмеялись.

Признаться, я никак не думал, что такой хорошей получится прогулка. Я наблюдал за Колей, как он подставляет лицо лучам солнца; как любуется гармонией дворца и леса, как он чуть деликатнее других по отношению к девушкам, хотя грубости и хамства никто из наших, разумеется, не допускал.

Коля был в белой рубашке с приподнятым воротником, какой-то по-домашнему умытый и обласканный добрым-добрым утренним весенним теплом. И о том, что эта прогулка наша — редкостный подарок судьбы, такого может не случиться больше никогда, подумалось мне в ту пору. Уверен, что и другие ребята, каждый по-своему и в определенный момент встречи, не могли не почувствовать, что в лодке среди нас есть тот, душе которого тяжелее всех нести бремя судьбы, но зато ему уготована необычайнейшая, редко на долю смертного выпадающая долгая-долгая жизнь. Не зря он так часто в стихах говорил: «душа хранит», «я чист душою», «когда душей моей...», «не стало кедринской души», «душа моя чиста»...

*И всей душой, которую не жаль*
*Всю потопить в таинственном и милом...*

Когда гуляли по аллеям парка, я подумал, что до чтения стихов не дойдет. Но похожий на Лермонтова поэт все-таки не сдержался и начал читать свои стихи, в которых, разумеется, была мысль и о том, что он вовсе не Лермонтов, а другой... Коля слушал, потом отошел от скамейки и куда-то нырнул в кусты. Вернулся с гитарой, сказав, что у пацанов одолжил. Шляпа сбилась немного на затылок, сам он был возбужден, в глазах светились лукавинки. Когда поэт перестал читать, Коля запел, умело аккомпанируя себе на гитаре:

*Ах, что я делаю,*
*За что я мучаю*
*Больной и маленький*
*Свой организм...*

Рефрен известной в то время в общежитии песенки мы несколько раз повторили все вместе...

Так начались мои нечастые, но запомнившиеся встречи с Николаем Рубцовым.

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ ХАРАКТЕР

Именно применительно к Коле можно сказать, что он пришел в институт с уже сложившимся, сформировавшимся литературным характером. Это поняли тогда не многие, и первым среди них был руководитель семинара, в котором Коля числился, Николай Николаевич Сидоренко.

О взаимоотношениях со своим учителем Коля никогда не говорил, но мы знали, что от него не требовали обязательного посещения семинара, что Сидоренко не ломал его стихов и в редких случаях, когда Коля к нему обращался, помогал материально. Зная наверное, будучи глубоко убежденным в том, что Коля — Поэт России, я все равно внутренне удивлялся таким его взаимоотношениям с преподавателем.

Он, конечно, срывался, по-своему вскипал, когда при нем говорили явную чушь или слышал наивные и пустые разговоры о поэзии, об искусстве, но это было уже позже, ближе к окончанию учебы в институте и после; в первые годы нашего знакомства обходился шутливо-ироничным замечанием или молча уходил в себя.

Коля не был литератором-книгочеем, его невозможно было увидеть с книжкой-бестселлером в руках, услышать обсуждающим очередную «проблему», поднятую «Литературной газетой», разглагольствующим о Шеллинге и Юме. Он, как и жизнь, литературу брал сердцем, душой, находил то, что ему нужно было в данный конкретный момент. Находил каким-то прирожденным избирательным чувством. И Тютчева, и многих других авторов, о которых мы в ту пору не вспоминали да и не ведали, Рубцов открыл для себя не в последние годы жизни, как это предположил один из исследователей его творчества. Задолго до того, еще на первом курсе института, он говорил мне о Тютчеве как о самом почитаемом и дорогом поэте.

И сейчас, вспоминая и перечитывая стихи Рубцова, многие из которых создавались тут же, в дни наших встреч, в полной мере осознаешь, как ему должно было

быть скучно среди нас, еще в литературе «не живших», которых он в «Памяти Анциферова» мягко назвал «болтунами и чудилами», как ему должно было быть порой тошно и душно.

Закономерно, что именно в то время, еще почти юным, он написал (не опубликованную еще) «Богему», в которой говорил и о «какой-то общей нервной системе», о том, что он «опутан ею всерьез», и о многом другом, о чем мы, как правило, думаем, если успеваем, совсем в другом возрасте. И вовсе не детдом и не трудная юность, как считают многие, причина его ранней зрелости: так ощущать и одновременно многозначно иронизировать мог только человек, обладавший способностями провидения.

*Опять стекло оконное в дожде,*
*Опять удушьем тянет и ознобом...*
*Когда толпа потянется за гробом,*
*Ведь кто-то скажет: «Он сгорел... в труде!»*

Однажды утром я зашел к нему в комнату, когда он еще лежал в постели, время от времени тяжело вздыхая.

— Что, тебе плохо? — спросил я.

— Да, нехорошо.

Я открыл форточку.

— Нет, не поможет... Душно мне... В атмосфере в этой душно! — сказал он, будто простонал, одновременно словно пытаясь вместе с рубашкой разорвать себе грудь.

Я искренне считал тогда, что так строго он судит чужие стихи только из-за того, что однажды постановил себе быть предельно честным, бескомпромиссным в литературе, и это было для меня примером и уроком на всю дальнейшую жизнь. А теперь ясно другое — он судил коллег на уровне своего мастерства, своего таланта, а это было слишком высоко и непонятно для многих окружающих его людей. Но справедливости ради надо обязательно сказать, что Коля часто сдерживал свои резкие категоричные суждения, с трудом заставлял себя больше молчать, чем говорить.

И ведь только теперь, читая и перечитывая вновь его стихи, понимаешь, до каких глубин духовного прозрения поднимался он уже тогда, когда вместе с нами или один бродил «вдоль улиц шумных», с какого неба озарения он снисходил к нам в прозу жизни, в суету так называемых «проблем». Только теперь и понятно, почему он сказал мне однажды: «Толя, я не политик».

## ДОРОГА ЖИЗНИ

Коля был очень музыкален. Это знали все, кто с ним хоть раз встречался в компании с «хорошими людьми». В таких случаях, как правило, появлялась гармошка, а позднее гитара, он сам себе аккомпанировал и задушевно, не столько для нас, но как бы слушая себя, а точнее, «печальные звуки» в самом себе, воспроизводил их голосом в вольных, ясно и чисто поданных музыкальных импровизациях на свои стихи. Затем эти элегические ноты сменялись шутливо-ироничными песенками типа «Стукнул по карману — не звенит» или «Ах, что я делаю...»

Была молодость, и компания, всегда слушавшая и песни его, и стихи чрезвычайно внимательно, снова гудела, жила своей странной, внешне, казалось, неуправляемой жизнью. Мы собирались, конечно, не ради «аква витэ», это было ясно для нас самих уже тогда. Что-то влекло нас друг к другу неудержимо, какой-то праздник души, близкий к восторгу, ощущался, чувствовался в атмосфере этих общений, этих поэтически ярких встреч. А пока собирались и ехали в «зеленый дом» или из «зеленого дома» куда-нибудь в центр, Коля часто говорил:

— Скорей бы закончились все дела — и в Николу. Как там хорошо сейчас!..

— Как дочь? — спрашивал я.

— Растет. Нормально,— не сразу и неохотно отвечал он. От ответов на другие житейские вопросы сразу же уходил. Это гораздо позже он стал делиться со мной и тем, что касалось сердечных и бытовых дел.

Я много раз видел, как Коля слушал по радио классическую музыку. Деликатно, не отрываясь от собеседника, он погружался в тот мир, куда уводили его нежные и печальные звуки скрипок, гений композитора витал над ним в то мгновение, напряженная драматичность музыки словно бегающими вспышками разрядов отражалась в активно живущих, светящихся искорками темных его глазах.

Однажды зашли мы с ним к его приятелю. Хозяин был меломан, и диски у него имелись на все вкусы. Что-то все время вертелось на проигрывателе, негромко, фоном звучала какая-то музыка, мы беседовали, сидя на тахте. Потом я спросил у собирателя пластинок, есть ли у него Моцарт?

— Все есть,— ответил он.— А что поставить?

— Пламенную.

— Пожалуйста, и соль минор можем.

Он сделал звук погромче, и в красноватой от цвета торшера и тахты комнате вздохнул оркестр, побежала ясная извивающаяся лента широко известной основной темы симфонии.

Колю Рубцова никогда я до тех пор не видел таким внутренне просветленным и парящим. Он, до этого мрачноватый и немного ироничный, усталый, сел поудобнее на тахте, как-то подобрался, ушел весь в себя и зажил отдельной от нас жизнью. Ответ этого проникновенного общения со звуками виден был во всем его существе, живо отражался на тонком его бледноватом лице.

Я сам с давних пор слушал и слушаю всегда эту динамично бегущую вдаль музыку весьма неравнодушно. Но по тому, как слушал ее в тот момент Коля, понял, что истинный смысл великого творения открывается ему сейчас впервые. Мы прослушали симфонию всю, от начала до конца. Время от времени я смотрел на Колю, наблюдал за ним. Он не слушал музыку в обычном понимании этого слова. Было такое впечатление, что он не со стороны воспринимает звуки, а они в нем, внутри его самого, ваяют нечто красивое и гармонически стройное.

Музыка кончилась, он некоторое время еще молчал, а потом, словно выдохнув, сказал: «Это дорога жизни... Спасибо вам, друзья!»

## АНЦИФЕРОВ

Мою фразу о том, что поэты друг с другом, как правило, не дружили, не надо понимать буквально. Так случалось в литинститутской среде в основном на школярском уровне и с теми, кто с детства рифмовал, но рано или поздно от поэзии и литературы отходил. Что же касается Коли, то в разные годы учебы были, разумеется, у него друзья и среди поэтов. Это его земляк В. Коротаев, однокашник А. Передреев, всячески поддерживавшие его А. Яшин, Е. Исаев и многие другие.

Но крепче всех, какими-то особыми нитями души, он был связан с тезкой — поэтом Николаем Анциферовым. Лысенький, полноватый, невысокого роста, с нездоровым румянцем на пухлых щеках, Коля Анциферов уже окончил институт, имел довольно широкую известность

и внешне, в наших глазах, походил на мэтра. Он был одним из немногих людей, встречаясь с которыми, Коля, в каком бы состоянии духа ни был, сразу же шел навстречу, сияя лицом, открыто радуясь, внутренне оживляясь. Светловолосый и голубоглазый Анциферов — уже литератор с именем — тоже всегда открыто шел навстречу тезке-поэту. Я это видел не один раз.

А нагляднее всего праздник общения двух родственных душ и поэтов проявился на дне рождения кого-то из приятелей Эдика. Это было в общежитии. Компания собралась в основном литературная, но довольно разношерстная. Кто-то пригласил родственников, кто-то пришел с девушкой; одна из них слабым прокуренным голосом читала с надрывом, как полагается поэтессе, свои вирши. Много было веселья, тостов, экспромтов, импровизаций, веселого студенческого галдежа.

Анциферов был старше всех в этой компании и поначалу несколько смущался. Казалось, он не знает, куда деть свои руки и лицо, а если о нем не говорили, отвлекались на другого, внимательно слушал говорящего, подолгу смотрел в его сторону, будто стараясь определить, увидеть то, что скрыто за внешней оболочкой, и во что бы то ни стало прозреть, расшифровать, как сегодня говорят, «вычислить» самую сущность человека.

Во время застолья оба Коли сидели рядом, на одной кровати, живо участвуя в застолье, а затем увлеклись беседой и общались уже только друг с другом, прерываемые взрывом веселья, песнями или торжественными тостами.

Я был близко от них и слышал почти весь разговор. Сейчас совершенно не важно, о чем конкретно говорилось, но главное — я понял это тогда,— они оказались близки друг другу душой, понимали один другого с полуслова, жили где-то в одной сфере, были в чем-то самом главном равны, как говорили у нас охотники — одного калибра.

Я родился и вырос в таежном рабочем поселке, и у нас своеобразный хутор из деревянных рубленых домов, чуть отстоящий от бараков, почему-то назывался Нахаловкой. Люди, жившие там, соответственно прозывались нахаловцами.

И вот, когда после неудачного выступления девы с коричневыми губами, поэтов стали просить почитать стихи,— Анциферов посмотрел на Колю. Тот согласно кивнул.

Тогда Анциферов сказал, что прочтет «Нахаловку». Я так и обмер: в прозе сам делал зарисовки именно по Нахаловке. Он приехал с юга России, я — из Сибири, и одно и то же слово, одно и то же понятие!.. Но еще больше поразило само чтение. Ведь те же мысли, те же чувства в военную и послевоенную пору пацаном пережил и я. Анциферов, рассказывая в хороших стихах о своем босоногом детстве, впервые поведал тогда о многих и многих из тех, кто не воевал (эта пора пришлась нам на детство), но не доживет потом, несмотря на хорошую тепершнюю жизнь, и до пятидесяти лет. Он читал негромко, хорошо видя рассказываемое, помогая своему видению рукой, точно распределяя паузами и голосом ударно-смысловые группы слов.

Рубцов очень горячо и искренне аплодировал, радуясь за друга-поэта, тепло пожал ему руку, что-то сказал хорошее, весь светился от восторга, словно это и его праздник.

А буквально месяц спустя после этой вечеринки я узнал в институте, что Коля Анциферов умер.

Ему было только тридцать.

Рубцов пережил эту утрату тяжело. Через какое-то время, провожая меня возле общежития на троллейбус, он прочел стихотворение «Памяти Анциферова».

*Его поглотила земля.*
*Как смертного, грустно и просто.*
*Свела его, отдых суля,*
*В немую обитель погоста.*
*На что ему отдых такой?*
*На что ему эта обитель,*
*Кладбищенский этот покой —*
*Минувшего страж и хранитель?*
*— Вы, юноши, нравитесь мне! —*
*Говаривал он мимоходом,*
*Когда на житейской волне*
*Носился с хорошим народом.*
*Среди болтунов и чудил*
*Шумел, над вином наклоняясь,*
*И тихо потом уходил,*
*Как будто за все извиняясь...*

Я не мог без волнения слушать эти строки. Был темный — иначе и не скажешь,— слякотный зимний вечер с пронизывающим ветром. Коля стоял окоченевший, в одном костюмишке, в намокшей сдвинувшейся шапке, с папи-

росой в руке, и читал стихи в сущности про самого себя. А когда он сказал:

*И нынче, являясь в бреду,*
*Зовет он тоскливо, как вьюга!*
*И я, содрогаясь, иду*
*На голос поэта и друга,—*

мне впервые стало не по себе...

## ОСЕННИЕ ЭТЮДЫ

Сколько ни слушал его чтение, всегда это были уже рожденные, готовые, что называется, «доведенные» стихи. Незавершенных, сырых строф или заготовок он, как правило, не читал никогда. Правда, однажды, осенним золотым днем, когда шли с ним по Страстному бульвару, он, будто вбирая в себя непередаваемую словами красоту полыхающих вокруг «кровью осенней желтизны» деревьев, проговорил вдруг громко не то заготовку, не то экспромт: «И день за днем, что листья в дивной книге, спокойствием и красотой души полны!..»

Коля не нуждался в текстах, ни разу не читал стихи по бумажке: своих стихов забыть просто не смог бы никогда. И, очевидно, поэтому казалось порой, что он читает их как чужие, внешне несколько индифферентно к положительной реакции слушателей. Но это, разумеется, только казалось. Читал он стихи так, как больше никто их прочесть не сможет.

Многие молодые литераторы любят рассказывать об ощущениях, испытываемых во время вдохновения и писания, поделиться собственным опытом, тут же услышать одобрение слушателей. Каким это ненужным и суетным кажется много лет спустя тем, кто по-настоящему изведал писательский труд! Коля, будучи моложе многих из нас, был старше, зрелее и в этом отношении. Хотелось иногда представить, когда и как он пишет стихи, было сильное искушение заглянуть в его лабораторию, но Коля, почуяв это, тут же уходил от разговора. Кто не жил с ним в одной комнате, уверен, никогда не видел Колю с карандашом в руке или что-нибудь записывающим. Ясно было, что он очень оберегает от посторонних глаз святая святых своей души.

И тем не менее мне повезло быть первым слушателем.

Однажды он, как-то волнуясь и даже краснея — а перед этим был необычно рассеян, сбивчив,— сказал:

— Написал белые стихи. Впервые попробовал...

— Да?..— искренне удивился я. Для Коли это было необычно. Просить читать, конечно, не стал. Мы с ним мчались в такси по ярко освещенной шумной московской улице. Была поздняя осень, по крыше нервно ударяли крупные капли дождя, в машине было тепло, уютно, а улица называлась Лесной. И вот Коля, помолчав некоторое время, вдруг спрашивает:

— Можно, я тебе прочту?

— Нужно даже,— обрадовался я.

— «Осенние этюды»,— сказал он и начал читать.

*Огонь в печи не спит, перекликаясь*
*С глухим дождем, струящимся по крыше...*
*А возле ветхой сказочной часовни*
*Стоит береза старая, как Русь...*

Он еще больше приблизился ко мне, чтобы хорошо было слышно, и продолжал. Запомнились сразу и поразили строки:

*Зовешь, зовешь... Никто не отзовется...*
*И вдруг уснет могучее сознанье,*
*И вдруг уснут мучительные страсти,*
*Исчезнет даже память о тебе...*

*«С чего бы это птицы взбеленились? —*
*Подумал я, все больше беспокоясь,—*
*С чего бы змеи начали шипеть?*

*И понял я, что это не случайно,*
*Что весь на свете ужас и отрава*
*Тебя тотчас открыто окружают,*
*Когда увидят вдруг, что ты один...*

А когда он вдохновенно, слегка разрумянившись и мягко окая, дочитывал последние строки о звезде «труда, поэзии, покоя», я буквально любовался им.

Закончив чтение, Коля откинулся на сиденье. Я тоже расслабился, уже зная, что сказать, и, немного выдержав паузу, буквально выдохнул: «Это сильнее, чем «Жизнь» Бодлера!..»

Коля еще больше раскраснелся, впервые видел его таким — глаза бархатисто блестели, лицо выражало удовлетворенность, теплое блаженство, огромную радость.

## ПЕРВАЯ КНИГА

Недалеко от моего дома, в Черемушках, в книжном магазине появилась книга Рубцова «Звезда полей». Обрадовался несказанно, взял несколько экземпляров. На другой день встретил возле института Колю, горячо поздравил. Узнав, где куплена книжка, он решил ехать вместе со мной, чтобы купить себе: в других магазинах она уже прошла, достать было невозможно. С нами поехал один из его литературных приятелей. Попросили все, что было в магазине, то есть оставшиеся двенадцать экземпляров, и решили зайти ко мне отметить это чрезвычайно знаменательное событие.

В 1965 году в Северо-Западном книжном издательстве, в Архангельске, была издана тоненькая книжечка Рубцова. Называлась она «Лирика» и, конечно, широкому кругу читателей не могла быть известной. В центральном издательстве, да еще в таком солидном, как «Советский писатель», Коля печатался впервые, и это было действительно важным событием.

Эпопею издания сборника стихов Рубцова я знал хорошо. Заходили с ним в издательство, когда еще только созревал договор, и на других этапах. Уже тогда я понимал, какое важнейшее дело совершает Егор Исаев, отстаивая, проводя и «пробивая» почти в целости-сохранности эту подлинно поэтическую книжечку стихов, явившуюся к нам словно из другой галактики: так сильно мы отвыкли к тому времени от слова совершенно искреннего и живого, от слова первозданного, рожденного, как говорил Горький о Есенине, будто неким «органом, созданным специально для поэзии».

Кто издавался, тот знает, как много хлопот и забот на пути печатания любого труда. И именно на одном из таких «зигзагов» Коля пришел ко мне с просьбой найти ему машинистку для срочной перепечатки рукописи.

— Через два дня нужно сдать в издательство, иначе «выпадает» из плана,— пояснил он.

Я понес рукопись нашей студентке-заочнице, неподалеку работавшей в машбюро. Она согласилась напечатать быстро, зная полную неплатежеспособность поэта и глубоко чтя и любя его стихи. Она буквально с благоговением перебирала каждую страничку, написанную его рукой.

Утром в назначенный день Коля пришел ко мне на работу за рукописью. На лице его были печаль и озабо-

ченность. Я указал глазами на аккуратно разложенные три экземпляра текста, лежащие на столе. Он тут же весь просиял, обрадовался. Застеснялся насчет оплаты, но я сказал, что Зоя все равно денег не возьмет. Он пообещал потом отблагодарить ее и начал заворачивать в афишу два экземпляра машинописной рукописи будущей книжки «Звезда полей».

Пока я разговаривал по телефону, Коля управился с упаковкой; вижу, заталкивает что-то в урну.

— Ты что делаешь?

— Да вот, рукопись...— сказал он, показывая написанный его рукой весь текст книжки.

— Зачем туда? — изумился я.

— А куда... мне? — растерянно и слегка виновато возразил Коля. Я просто опешил.

— Пусть у меня полежит.

— Да?

— Конечно. Понадобится, в любое время возьмешь.

— Хорошо,— охотно согласился он, а я совершенно и не подумал тогда о бесценности дара, который он мне вручает. Коля тут же взял лист бумаги и написал автограф. Затем, перекладывая что-то в карманах, он по листочкам разложил и в определенном порядке собрал паспорт. Сердце у меня сжалось от тоски...

И вот, когда пришли с экземплярами уже вышедшей книги ко мне домой и пока собирали на стол, он без просьбы и напоминания не забыл надписать Зое и мне, сердечнейшие и памятные, на всю жизнь, автографы.

Началось обычное экспромтное застолье. До этого Коля всерьез и по-взрослому, не спеша поговорил с моим сыном, пообщался с моими близкими.

Мало было нас за столом, но все мы искренне и тепло поздравляли Колю и всех нас, россиян, с появлением в печати стихов Рубцова. Благодарили и того, кто реально способствовал этому чуду.

Когда наговорились и устали друг друга слушать, включили радиолу. Через какое-то время Коля вдруг спросил:

— У тебя есть «Дорога жизни»?

— Моцарт? Пламенная симфония?

— Да.

— Есть.

— Поставь, пожалуйста.

— С удовольствием.

Я действительно ставил эту пластинку с удовольствием. И потому, что помнил, как слушал Моцарта Коля на улице Герцена, и потому, что любил ее, и потому, что мало кто из моих знакомых желал в такие моменты встреч слушать классическую музыку, а если я и предлагал и упрашивал, жена меня нередко упрекала за «насилие», чинимое над гостями. Но тут вдруг сам...

И вот, будто по мановению волшебной палочки, в квартире мощно зазвучал оркестр. Я слушал и время от времени наблюдал, как снова он весь ушел туда, куда позвала — увела его поистине божественная музыка. Приятель Коли пытался что-то говорить, но он резким жестом прервал его и до самого конца дослушал творение Моцарта.

## ВОЗРАСТ ХРИСТА

Ко мне он был чуток до нежности. Даже в периоды самой крутой неприязни к кому-либо, а в последние годы жизни это случалось все чаще и чаще, он быстро отходил, переключаясь на обычный свой тон, как только я с ним заговаривал. И, видимо, поэтому искренне тревожная интонация была в его голосе, когда он спросил: «Что с тобой, Толя?»

Коля шел из Литературного института и первым увидел меня. Остановились, закурили. Я в нескольких словах объяснил причину своего состояния, и тут Коля сказал, что у него сегодня день рождения. Исполнилось тридцать три года — возраст Христа. И еще он добавил, что сегодня церковный праздник, зимний Никола, а он родился именно в этот день, поэтому родители и нарекли Николаем.

Немного удивившись про себя тому, что он в такой день совершенно один и как-то потерян, «словно неживой», я предложил ему пообедать вместе, и мы тут же пошли в сторону Никитских ворот. Вошли в столовую, что между магазином «Ткани» и закусочной (теперь снесенной), сели у буфета за левый крайний столик, и наш «праздник невзначай» начался.

Коля накапал в стакан валокардина и разбавил компотом. Я был поражен:

— Я думал, у тебя сердце здоровое.

— Тоже так считал, а выходит, наоборот...

О многом мы говорили с ним в этот именинный вечер, но самое печальное было то, что больше всего мы почти открыто говорили о смерти, о возможной, неизбежной и даже скорой Колиной смерти.

Чувствуя свой долг перед ним и какую-то очень маленькую надежду на неожиданную перемену в его судьбе, я сознательно вышел на прямой и жесткий разговор, спросив, зачем он губит, как сам же говорит, «больной и маленький свой организм», почему не желает ничего делать для того, чтобы жить?!

— Ах, Толик, если бы дураки могли поумнеть!..— ответил он шуткой. А потом, помолчав, добро улыбнулся и сказал: — Хорошо, что мы встретились сегодня. Когда долго один, начинаю раскаляться...

— Отчего?

— Кто знает... От мыслей или от душевного ненастья...

Вскоре я снова задал ему тот же вопрос, только другими словами. Он откинулся на спинку стула и, немного прищурившись, почти весело прочитал:

*Нет, меня не порадует — что ты! —*
*Одинокая странствий звезда.*
*Пролетели мои самолеты,*
*Просвистели мои поезда.*

*Прогудели мои пароходы,*
*Проскрипели телеги мои,—*
*Я пришел к тебе в дни непогоды,*
*Так изволь хоть водой напои!..*

После этих слов он засмеялся. Ошеломленный смыслом стихотворения, прочитанного именно сейчас, в данную минуту, я молчал. Коля, почувствовал это, тоже помрачнел и, тяжело задумавшись, через большую паузу, как-то неуверенно и в то же время твердо сказал:

— Я еще буду жить... Я прозу стану писать. Вот посмотришь...

## ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Ему оставалось жить чуть меньше года, когда мы встретились в последний раз. Именно в это время была написана — высказана, пропета — самая грустная и трагическая из всех его элегий:

*Отложу свою скудную пищу,*
*И отправлюсь на вечный покой.*
*Пусть меня еще любят и ищут*
*Над моей одинокой рекой.*

*Пусть еще всевозможное благо*
*Обещают на той стороне.*
*Не купить мне избу над оврагом*
*И цветы не выращивать мне...*

Тогда мы долго шли по улице Жданова, по Цветному и Страстному бульварам. Это было синим апрельским днем. И недавно выпавший снег во двориках был синий, и мокрый асфальт вдали отдавал синевой, и в умытых окнах домов отражалась синева разверзшихся небес: солнечно было вокруг, ясно и еще по-весеннему свежо.

Коля щурился от солнца, любовался остатками стен Рождественского монастыря и богатырского вида собором, но во всем облике его была какая-то гибельная усталость. Я это почувствовал сразу же, как только встретились. Поразил болезненный желтовато-бледный цвет лица, натянутость тонкой сухой кожи на нем, темные, еще не потухшие, но бесконечно уставшие смотреть глаза...

Очень больно было, когда поэт Виталий Касьянов ненастным зимним утром позвонил и сказал, что сегодня рано утром Коли Рубцова не стало. После паузы он добавил, что сообщил об этом Виктор Астафьев.

Случилось непоправимое. Но оно не было неожиданностью. И обстоятельства гибели я предвидел именно таковыми, с возможными вариациями, конечно. И сам Коля тоже будто предвидел эти обстоятельства, подробно и до жути живо представив их в стихах о смерти «кристально чистого душой» Дмитрия Кедрина:

*Был целый мир*
*зловещ и ветрен,*
*Когда один в осенней мгле*
*В свое жилище Дмитрий Кедрин*
*Спешил, вздыхая о тепле...*

*...О, как жестоко в этот вечер*
*Сверкнули тайные ножи!*
*И после этой страшной встречи*
*Не стало кедринской души...*

Вот только не приходило в голову, что последний толчок из жизни сделает женщина, да тогда это было как-то

все равно, а может быть, даже и более закономерно. И при всем при этом, повторяю, предощущение его близкой физической гибели не было трагичным. Перевешивало чувство радости — он есть, он жил и живет среди нас.

Итак, в последнюю нашу встречу мы шли по московским улицам. Вечером я повез его к одному из своих заводских друзей. Несколько раз просили Колю прочесть что-либо — не стал. Впервые за все наши многолетние встречи Коля не читал стихов.

У друга была большая квартира, и когда Коле предложили на ночь комнату, он не отказался. Признаться, к вечеру я специально подтягивал его туда, понимая, что Коле на ночь некуда будет причалить.

Вскоре я ушел. А он остался — в моей памяти навсегда — сидящим в кресле, в расстегнутой серой рубашке, несуетливый и скромный, печальный, но светлый и ясный душою гость.

# ВАДИМ КОЖИНОВ



## В КРУГУ МОСКОВСКИХ ПОЭТОВ

В моей памяти Николай Рубцов неразрывно связан со своего рода поэтическим кружком, в который он вошел в 1962 году, вскоре после приезда в Москву, в Литературный институт. К кружку этому так или иначе принадлежали Станислав Куняев, Анатолий Передреев, Владимир Соколов и ряд более молодых поэтов — Эдуард Балашов, Борис Примеров, Александр Черевченко, Игорь Шкляревский и другие.

Нельзя не подчеркнуть, что речь идет именно о кружке, а не о том, что называют литературной школой, течением и т. п. Правда, позднее, к концу шестидесятых годов, на основе именно этого кружка действительно сложилось уже собственно литературное явление, которое получило в критике название или, вернее, прозвание — «тихая лирика». Более того, течение это, вместе с глубоко родственной ему и тесно связанной с ним школой прозаиков, прозванных тогдашней критикой «деревенщиками», определило целый этап в развитии отечественной литературы.

Но все это выявилось лишь несколькими годами позднее. В те же годы, когда Николай Рубцов непосредственно жил в Москве, близкие ему поэты, в сущности, не играли сколько-нибудь значительной роли в литературной жизни как таковой. Их вдохновляла и объединяла твердая вера в истинность избранного ими творческого пути, и они в той или иной мере удовлетворялись признанием «внутри» своего кружка.

Я вовсе не хочу сказать, что эти поэты — и в их числе Николай Рубцов — были вообще равнодушны к широ-

кому успеху, известности, славе. Почти все они были молоды — молоды в прямом смысле слова (это нужно оговорить, ибо ныне сплошь и рядом называют молодыми стихотворцев, чей возраст недалек от сорокалетия) — и не могли не пленяться ореолом славы. Но они сумели утвердить в себе убеждение, что в судьбе поэта есть ценности, которые выше и важнее славы.

Владимир Соколов писал тогда в стихотворении, обращенном к Анатолию Передрееву, о том, что ему «пришкольной не надобно славы», что он хочет просто жить, «зная дело, сжимая перо», а Передреев отвечал ему:

*Да шумят тебе листья и травы,*
*Да хранит тебя Пушкин и Блок,*
*И не надо другой тебе славы,*
*Ты и с этой не столь одинок.*

Этот стихотворный диалог несколькими годами позднее получил широкую известность и даже стал предметом острых дискуссий...

Не исключено, что читатель может усомниться — надо ли говорить о судьбе других поэтов в воспоминаниях о Николае Рубцове? Но я убежден, что это необходимо. Большой поэт обычно окончательно формируется в определенной творческой среде, окружении, школе. К тому же все, что говорится здесь о других поэтах, имеет самое прямое отношение к судьбе Николая Рубцова.

К моменту приезда в Москву он уже вкусил толику если и не славы, то во всяком случае шумного успеха. Об этом свидетельствуют литераторы, знавшие поэта по его «питерским» годам (1959 — начало 1962), в частности, Борис Тайгин, который вспоминает о выступлении Николая Рубцова в зале Ленинградского Дома писателей в январе 1962 года.

Но поэты, в круг которых Николай Рубцов вошел в Москве, ставили перед собой совсем иные цели. Они отнюдь не жаждали, чтобы их стихи вызывали ту реакцию, которая выражается в вопле «Во дает!» Им это было не только чуждо, но и отвратительно.

Помню, как еще в самом начале 1961 года один из поэтов этого круга выступал перед студентами вместе с одним из будущих главных героев «эстрады» (в то время его «карьера» только начиналась), который обрушил на слушателей набор эффективных метафор и словечек, усиливая их воздействие истерической интонацией и полу-

блатным выговором. Из зала в ответ неслось именно нечто вроде «Во дает!», а на лице одного из будущих друзей Николая Рубцова невольно нарастало выраженье глубокого отвращения.

Но дело было, конечно, вовсе не в самом отталкивании от «эстрады»; оно определялось основательной позитивной программой.

Поэтический кружок, в который в 1962 году вошел Николай Рубцов, имел, несомненно, первостепенное значение в его творческой судьбе. Речь идет, разумеется, отнюдь не о том, что именно это «сделало» Рубцова поэтом. Поэзия рождается из всей целостности жизни ее творца; поэтическую энергию невозможно у кого-либо занять и превратить в свою — она может быть только изначально и органически своею.

Но поэтический кружок, о котором идет речь, дал возможность Николаю Рубцову быстро и решительно выбрать свой истинный путь в поэзии и прочно утвердиться на этом пути.

За первый же год жизни Николая Рубцова в Москве в его творчестве совершился вполне очевидный перелом. Его прежние стихи были основаны на двух сложно переплетающихся эстетических стихиях — своеобразной иронии и заостренном драматизме, чаще даже мелодраматизме. Я отнюдь не хочу сказать, что ранняя поэзия Рубцова лишена значительности. Но он стал подлинно народным поэтом лишь тогда, когда ирония и мелодраматизм отошли на второй план, а вперед выдвинулось нечто иное, гораздо более серьезное, уравновешенное и ответственное.

Конечно же, все это жило в самом Рубцове, но именно в кругу поэтов, о которых идет речь, он смог осознать эту нравственно-эстетическую стихию как главную и наиболее ценную в себе и превратить ее в основу своего творчества.

Ясно помню, как с самого начала из стихов Николая Рубцова, написанных до приезда в Москву, его собратья по кружку решительно выделяли те — кстати сказать, очень немногочисленные — стихотворения, которые, как стало ясно позднее, предвещали дальнейшее зрелое творчество поэта. Это были прежде всего «Добрый Филя» (ирония в этих стихах не поглощает целого; ныне, на фоне зрелого творчества Рубцова, она даже не очень и заметна), «Осенняя песня» («Потонула во тьме...») с ее гораздо более глубоким, чем во многих других ранних стихах, драматизмом и «Видения на холме» («Взбегу на холм

и упаду в траву...»),— между прочим, значительно переработанные уже в Москве (первая редакция этого стихотворения представлена в рукописном сборнике Николая Рубцова «Волны и скалы», хранящемся у Бориса Тайгина).

Поистине восторженно были встречены в кружке такие новые стихи Рубцова, как «В горнице», «Прощальная песня» («Я уеду из этой деревни...»), «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...»).

Эти стихотворения звучали почти на каждой встрече Николая Рубцова с друзьями — первые два он покоряюще напевал под гармонь или под гитару, третье с замечательной выразительностью декламировал (хотя это слово отдает ложной многозначительностью, трудно сказать по-другому — «читал» или «произносил» здесь не подойдет), подкрепляя мелодику голоса напряженным движением рук.

Но в глазах друзей Николай Рубцов был не только создателем прекрасных стихотворений. Довольно скоро он стал для них как бы живым воплощением первородной стихии поэзии. Станислав Куняев точно выразил это в следующих строфах, написанных в 1964 году (когда Николай Рубцов уехал летом на Вологодчину) и опубликованных в его книге «Метель заходит в город» (1966):

*Если жизнь начать сначала —*
*В тот же день уеду я*
*С Ярославского вокзала*
*В вологодские края.*
*Перееду через реку,*
*Через тысячу ручьев*
*Прямо в гости к человеку*
*По фамилии Рубцов...*
*Я скажу: мол, нет покою —*
*Разве что с тобой одним,*
*И скажу: давай с тобою*
*Помолчим, поговорим...*

Важно при этом иметь в виду, что для поэтического кружка, о котором идет речь, отнюдь не была характерна та атмосфера взаимных восхвалений, какая нередко царит в подобных кружках. Хорошо помню, например, как резко говорил Анатолий Передреев об одном несколько затянутом стихотворении Николая Рубцова, обвиняя автора чуть ли не в графоманском многословии. И, надо думать, именно потому Николай Рубцов в дальнейшем не писал таких стихотворений.

Очень трудно или, пожалуй, даже невозможно наглядно показать творческую жизнь поэтического кружка, ибо она слагается из мелких и незначительных по видимости подробностей. Но тот или иной диалог, отдельное слово, даже просто молчание были подчас необычайно весомыми.

Главное заключалось в единой творческой позиции участников кружка — твердой, бескомпромиссной и в то же время лишенной какого-либо догматизма и сектантства. Ими всецело владела идея русской Поэзии, притом вовсе не в эстетически замкнутом, книжном смысле, но поэзии, воплощающей жизнь человека и народа во всей ее глубинной сути.

Творения Пушкина и Тютчева, Лермонтова и Некрасова, Фета и Полонского, Блока и Есенина были для Николая Рубцова и его собратьев не «литературными фактами», но именно глубочайшими воплощениями духовной жизни русского народа и русского человека,— а значит, прообразами их собственной духовной жизни. Они никак не отделяли поэзию от жизни в ее сущностной основе — и потому были свободны от какой-либо литературщины.

С другой стороны, именно это глубокое проникновение в классическую поэзию и подлинное овладение ею, о-свое-ние ее (то есть превращение ее в действительно свое достояние) и делало Николая Рубцова и его собратьев настоящими людьми культуры, а не поверхностными ее потребителями, способными лишь щеголять «информированностью».

Все, кто знал Николая Рубцова, помнят, что он постоянно пел на свои собственные бесхитростные мелодии стихи Тютчева, Лермонтова, Блока — нередко, между прочим, «Брат, столько лет сопутствовавший мне...» Тютчева). Это пение, я полагаю, было для него способом полного, предельно родственного освоения классической поэзии, дело которой он стремился и действительно смог продолжить.

Николай, пожалуй, раскрывался наиболее полно и сильно именно в исполнении стихов — безразлично, своих или не своих, но все-таки ставших своими — на какой-либо напев или без напева, в удивительном по живости и тонкости манеры чтения. Конечно, я говорю не вообще о любом случае, когда Николаю Рубцову приходилось читать стихи, но о тех моментах, когда он хотел и мог раскрыться до конца.

Тогда он вкладывал в стихи буквально всего себя, так что подчас становилось страшно за него — казалось, что он может умереть на пределе этого исполнения (так ведь бывало, например, с большими певцами) или, по крайней мере, навсегда надорвать что-то главное в себе.

Нельзя не оценить ту самоотверженность, с которой Николай Рубцов — вместе со своими собратьями — отказался от уже дававшегося ему в руки литературного успеха. Его ранние иронически-драматические стихи, на которых лежала более или менее явная печать «эстрадной поэзии», вполне могли рассчитывать на широкое признание.

Так, журнал «Юность» напечатал довольно большую подборку ранних, написанных еще в Ленинграде стихов Рубцова: «Я весь в мазуте, весь в тавоте...», «Я забыл, как лошадь запрягают...», «Загородил мою дорогу» и другие. Московские же стихи поэта были редакцией отвергнуты, и Николай остался совершенно неудовлетворенным этой публикацией в популярнейшем журнале...

Да, те собственно «рубцовские» стихи, которые поэт стал создавать в Москве, не сразу смогли пробиться в печать. Для той поры они были слишком «традиционны», слишком далеки от «современности» и по смыслу и по стилю. В той же «Юности» зрелые стихи Рубцова были впервые опубликованы лишь в 1968 году, когда поэт был уже автором двух книг.

Ныне, повторю еще раз, нелегко представить себе литературную «ситуацию», в которой сложилось зрелое творчество Николая Рубцова. «Эстрадная поэзия» как бы заглушала все. Многие молодые стихотворцы, подключаясь к ней, сразу приобретали шумную известность. Можно бы назвать десятка два имен, прямо-таки гремевших в первой половине шестидесятых годов. Ныне большинство из них уже мало кто помнит.

Но собратья Николая Рубцова твердо, не без своего рода отваги шли «против течения». Когда в 1961 году вышла книга Владимира Соколова «На солнечной стороне», содержавшая такие поздние ставшие хрестоматийными стихи, как «Спасибо, музыка, за то...», «Паровик. Гудок его глухой...», «Муравей», «Все как в добром старинном романе...» и другие, она была встречена упреками в «отрыве от современности», «мелкотемье», даже «душевной опустошенности» и т. п. Несколько последующих лет стихи Владимира Соколова почти совсем не публиковались. Но поэт остался верен себе.

Нельзя не сказать здесь и о литературной судьбе Станислава Куняева. В самом начале своего пути он был увлечен атмосферой «эстрадной поэзии». Характернейший пример — его ранние стихи, опубликованные в «Дне поэзии» 1960 года:

*Добро должно быть с кулаками,**
*добро суровым быть должно,*
*чтобы летела шерсть клоками*
*от тех, кто лезет на добро...*

Эти эффектные стихи сразу же получили большую известность, и их автор начал входить в ударную «обойму» имен. Но вскоре Станислав Куняев в самом деле как бы «начал жизнь сначала» и даже написал своего рода автокритику:

*Постой. Неужто? Правда ли должно?*
*Возмездье, справедливость — это верно,*
*пожалуйста, но только не добро,*
*которое бесцельно и безмерно...*
*Неграмотные формулы свои***
*я помню. И тем горше сожаленье,*
*что не одни лишь термины ввели,*
*меня тогда в такое заблужденье.*

Таким образом, поэт сам отказался от стихотворения, принесшего ему шумный успех, и стал писать совсем другие стихи, которые в то время не могли снискать литературного признания.

Все эти факты, надо думать, хорошо раскрывают облик того поэтического кружка, в котором сформировалось зрелое творчество Николая Рубцова. И он очень высоко ценил своих собратьев по кружку и более всего дорожил их мнениями и оценками. Именно так он избрал свой истинный путь в поэзии и — что также было исключительно важно — постоянно получал от друзей подтверждения своей правоты.

---

* Между прочим, эту «формулу» предложил или, вернее, «подарил» в беседе с несколькими молодыми поэтами Михаил Светлов. Почти все эти поэты написали стихи со строкой «Добро должно быть с кулаками» (см., например, стихи Евг. Евтушенко в «Дне поэзии» 1962 года), но стихотворение Станислава Куняева было наиболее ярким.

** Примечательно, что поэт никак не снимает с себя ответственность, хотя «формула», по сути дела, не была «своей».

Но, конечно. Николай Рубцов не мог не стремиться к обнародованию своих зрелых стихов — уже хотя бы потому, что они получили столь безусловное признание в кругу его друзей. А добиться этого, как явствует из сказанного, было не так уж просто.

Я начал с того, что поэтический кружок, о котором идет речь, в первые годы своего существования представлял собой именно кружок, а не литературное явление в полном смысле этого слова. Он не имел авторитета в каком-либо журнале, альманахе, издательстве, у него не было даже хотя бы «своего» литературного критика...

Автор этих воспоминаний с самого начала был тесно связан с поэтами, составившими кружок. Но в те годы я занимался почти исключительно теоретическими проблемами литературы и не играл, в сущности, никакой роли в самой современной литературной жизни. Я был целиком поглощен работой над коллективным трехтомным трудом «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении», вышедшим за 1962—1965 годы, и моей книгой «Происхождение романа» (1963), а также нелегким делом издания ценнейших трудов М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (1963) и «Творчество Франсуа Рабле» и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965). Современная поэзия была для меня еще только чисто душевной, а не профессиональной заботой. Лишь во второй половине шестидесятых годов я стал всерьез писать о литературной современности.

Между тем к осени 1963 года сложилась довольно драматическая ситуация. Поэты кружка уже могли «предъявить миру» целый ряд превосходных — ныне, кстати сказать, всем известных — стихотворений, однако даже лучшие их стихи жили, по сути дела, только «внутри» кружка. Я был убежден не только в том, что стихи эти представляют собой наиболее значительные явления современной молодой поэзии, но что выразившимся в них творческим устремлением, безусловно, принадлежит будущее. И при всей своей погруженности в литературу прошлых эпох я так или иначе сознавал, что без внятного для всех современного продолжения подлинного творчества в какой-то мере теряет смысл и великая поэтическая культура прошлого...

Сейчас уже, вероятно, покажется несколько странным рассказ о том, как Николай Рубцов «вошел в литературу».

На одной из встреч зашел разговор о затруднениях с печатанием стихов — прежде всего о вполне готовой к изданию, но, как говорится, лежащей без движения первой книге Анатолия Передреева. Чуть ли не впервые услышал я тогда из уст друзей горькие слова о трудности пути в литературе и стал искать какой-либо выход.

Переработав в памяти людей, которые могли бы помочь делу, я остановился на имени Дмитрия Старикова, за десяток лет до того закончившего вместе со мной Московский университет, а в описываемое время бывшего одним из наиболее активных и влиятельных критиков. К тому же и жил он по соседству — и я немедленно отправился к нему, вооруженный стихами и гитарой.

По-студенчески резко я сказал ему, что вот, мол, он столь активно пишет о современной литературе и прежде всего о поэзии, но даже не имеет представления о творчестве наиболее значительных и наиболее обещающих молодых поэтов. Затем, не дожидаясь возражений, я стал читать Дмитрию и его жене, также литератору, неведомые им стихи, а кое-что и напел под гитару. И этого оказалось достаточно. Помню даже женские слезы восторга... Дмитрий Стариков горячо заинтересовался творчеством Анатолия Передреева и его друзей.

Мне уже пришлось в двух словах упомянуть о роли Дмитрия Старикова в литературной судьбе Николая Рубцова на страницах моей книжки о творчестве поэта, вышедшей в 1976 году. Но эти воспоминания я пишу, увы, всего через несколько дней после того, как провожал Дмитрия Старикова (1931—1979) в последний путь. И теперь просто нельзя не сказать о том, сколь много сделал этот критик для Николая Рубцова и поэтов его круга.

В декабрьском номере «Молодой гвардии» за 1963 год Дмитрий Стариков писал об Анатолии Передрееве, но слова его в той или иной мере характеризовали и других поэтов кружка: «Он нетороплив и прост той подлинной простотой жизни, какая в тысячи раз сложней изощреннейших школярских вывертов с претензией на эпатаж и архисовременность. Проблемы, которые его волнуют и заставляют задумываться, не «сочиненные» и не призанятые на стороне,— их рождает сама жизнь...»

Вскоре после нашего разговора Дмитрий Стариков был назначен заместителем главного редактора журнала «Октябрь». И за недолгие годы его работы на этом посту

журнал щедро публиковал лучшие стихи Николая Рубцова, Владимира Соколова, Станислава Куняева и других.

Именно здесь были обнародованы в 1964—1965 годах такие ключевые стихотворения Николая Рубцова, как «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Тихая моя родина...», «Звезда полей», «Русский огонек», «Взбегу на холм и упаду в траву...», «Памяти матери», «Мне лошадь встретилась в кустах...», «Добрый Филя» и другие. На основе публикаций в «Октябре» Николай Рубцов смог издать в Архангельске свою первую книжечку «Лирика», и вообще именно эти публикации по-настоящему ввели его в литературу.*

Важно отметить, что отношение Дмитрия Старикова к творчеству Николая Рубцова и его друзей разделяли в редакции «Октября» далеко не все. И, в частности, именно поэтому Дмитрий Стариков всего через несколько лет вынужден был уйти из журнала. Но к тому времени цель была уже достигнута. И негоже было бы забыть о большой заслуге этого критика перед отечественной поэзией.

Кто знает, как сложилась бы судьба Николая Рубцова, если бы его лучшие стихи не были так сравнительно быстро введены в литературу. Напомню, что в том самом 1964 году Николай Рубцов был исключен из Литературного института и должен был покинуть Москву и поселиться в своем затерянном среди лесов и болот Никольском. Конечно, невозможно представить себе, чтобы он отказался от поэзии. И все же — создал ли бы он все то, что мы теперь все знаем?..

Но Николай Рубцов уезжал из Москвы, уже обретая и истинный творческий путь и прочный путь к литературному признанию.

В самом конце 1964 года Николай Рубцов приехал в Москву хлопотать о восстановлении его в Литературном институте (15 января 1965 года он был восстановлен, но увы, только на заочном отделении). Однако все эти неурядицы были уже чем-то не таким уж существенным — они походили на то, что произошло у нас со встречей 1965 года.

---

* Кстати сказать, несколько ранее именно на страницах «Октября» вошел в литературу Василий Шукшин.

Было решено встречать этот год в доме моих родителей, где Николай Рубцов еще не бывал. И случилось так, что я запоздал и Николай явился раньше меня. Был он одет — как бы это сказать — по-дорожному, что ли, и на моего отца, который встречал гостей, произвел какое-то очень неблагоприятное впечатление. Отец мой вообще был человеком совершенно иного, чем мои друзья, склада...

Я приехал чуть ли не без четверти двенадцать и застал Николая на улице у подъезда. Помню, меня страшно возмутило нарушение обычая, который я всегда считал священным: за новогодний стол необходимо посадить всякого, любого гостя. Я вбежал в квартиру, чтобы поздравить с Новым годом мать, и вернулся на улицу.

Что было делать? У нас имелось с собой вино и какая-то снедь; но все же встреча Нового года на улице представлялась крайне неуютной. Оставалось минут десять до полуночи. Широкая Новослободская была совсем пуста — ни людей, ни машин.

И вдруг мы увидели одинокую машину, идущую в сторону Савеловского вокзала, за которым не так уж далеко находится общежитие Литературного института. Мы бросились наперерез ей. Полный непобедимого молодого обаяния, Анатолий Передреев сумел уговорить водителя, и тот на предельной скорости домчал нас до «общаги». Мы сели за стол в момент, когда радио уже включило Красную площадь. Почти не помню подробностей этой новогодней ночи, разве только всегда восторженную улыбку замечательного абхазского поэта Мушни Ласуриа, улыбку, с которой он угощал нас знаменитой мамалыгой. Но эта ночь была — тут память нисколько мне не изменяет — одной из самых радостных новогодних ночей для всех нас. Нами владело какое-то ощущение неизбежного нашего торжества — невзирая на самые неблагоприятные и горестные обстоятельства. Под утро мы с Анатолием Передреевым даже спустились к общежитскому автомату и позвонили моему отцу, чтобы как-то «отомстить» ему этим нашим торжеством. У него уже было совсем иное настроение, он извинялся, упрашивал, чтобы все мы немедленно приехали к нему и т. д.

— Ты даже представить себе не можешь, кого ты не пустил на свой порог,— отвечал я.— Все равно что Есенина не пустил...

И это тогда, 1 января 1965 года, уже было полной правдой.

# СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ



## РУССКИЙ ОГОНЕК

Хлопотная работа — заведовать отделом поэзии в печатном органе: больно много людей пишут стихи, и каждый из них уверен, что именно его творения совершенны и неповторимы. На рукописи при определенных навыках отвечать просто. Но когда к тебе приходит живой человек и требует немедленной и, конечно же, благожелательной оценки своих виршей — что делать? Ежели не мобилизуешь всех знаний для убедительного ответа с привлечением цитат из Пушкина или Блока, из Есенина или Твардовского, то уходит разгневанный автор, прижимая к сердцу заветную тетрадочку, любовно переплетенную, куда каллиграфическим почерком вписаны вдохновения души, и в пылающих глазах его явственно читаешь: «А ты сам кто такой?!»

Если это человек с профессией, как только что ушедший от меня доктор технических наук, приносивший поэму где действуют Троцкий и Христос, Гражданин с Марса и князь Кропоткин, то, в общем,— ничего страшного. Человек при деле. Не пропадет... Но если пришел бедолага в пальтишке с обтрепанными рукавами, открыл старенький фибровый чемоданчик, вытащил груду измятых, несвежих рукописей и, обратив к тебе землистый лик, последней крохотной надеждой смотрит на тебя, потому что во всех журналах столицы отклонены труды его несладкой жизни, то мутно становится на душе и не хочется ссылаться в разговоре ни на статью Маяковского «Как делать стихи», ни на книжку Исаковского «О поэтическом мастерстве».

Вот приблизительно о чем думал я в один из жарких летних дней 1962 года, сидя за своим столом в редакции журнала «Знамя».

С Тверского бульвара в низкое окно врывались людские голоса, лязганье троллейбусных дуг, шум проносящихся к Никитским воротам машин.

В литинституте шли приемные экзамены, и все абитуриенты по пути в Дом Герцена заглядывали ко мне с надеждой на чудо. Человек по десять в день. Так что настроение у меня было скверное.

Критики Лев Аннинский и Самуил Дмитриев, сидевшие со мной в одной комнате, каждый раз, когда открывалась дверь, злорадно улыбались: «К тебе!»

Действительно — ко мне. К ним почти не ходили. Настроение было скверным еще и потому, что передо мной лежала жалоба — коллективное письмо читателей, на которое мне предстояло дать дипломатичный ответ.

В последнем номере журнала мы опубликовали несколько стихотворений И. Сельвинского под общим заголовком «Гимн женщине», и вскоре в редакцию стали поступать гневные письма. Стихи Сельвинского были не по душе мне самому, но письма читателей не нравились еще больше.

«Мы просто читатели. Прочитали в 6-м номере журнала «Знамя» стихи Сельвинского и удивились. Как они попали на страницы советского журнала? Неужели пришла пора, когда дана «зеленая улица» на страницах органа СП СССР занимающимся словоблудием и оскорбляющим достоинство советского человека?

*Когда пред высокой стоишь красотой,*
*Ощущаешь себя ничтожеством.*

Это почему же советский человек, покоряющий космос, создающий своими руками прекрасные произведения искусства и полезные человеку вещи, должен чувствовать себя ничтожеством?»

Я перечитываю письмо, горюя о своей судьбе, но не могу ничего «дипломатического» придумать в ответ этим яростным читателям.

Заскрипела дверь. В комнату осторожно вошел молодой человек с худым, костистым лицом, на котором выделялись большой лоб с залысинами и глубоко запавшие глаза. На нем была грязноватая белая рубашка; выглаженные брюки пузырились на коленях. Обут он был

в дешевые сандалии. С первого взгляда видно было, что жизнь помотала его изрядно и что, конечно же, он держит в руках смятый рулончик стихов.

— Здравствуйте,— сказал он робко.— Я стихи хочу вам показать.

Молодой человек протянул мне странички, где на слепой машинке были напечатаны одно за другим вплотную — опытные авторы так не печатают — его вирши. Я начал читать:

*Я запомнил, как диво,*
*Тот лесной хуторок,*
*Задремавший счастливо*
*Меж звериных дорог...*
*Там в избе деревянной,*
*Без претензий и льгот,*
*Так, без газа и ванной,*
*Добрый Филя живет.*

Я сразу же забыл и о Сельвинском, и о письме пенсионеров, и о городском шуме, влетающем в окно с пыльного Тверского бульвара. Словно бы струя свежего воздуха и живой воды ворвалась в душный редакционный кабинет; зашелестели номера журналов с несуществующими стихами, слетели со стола в проволочную корзину злобные письма и заготовленные на полгода вперед вороха поэтических подборок, взвихрились на затылках остатки волос у Льва Аннинского и Самуила Дмитриева.

*Мир такой справедливый,*
*Даже нечего крыть...*
*— Филя! Что молчаливый?*
*А о чем говорить?*

Я оторвал от рукописи лицо, и наши взгляды встретились. Его глубоко запавшие махонькие глазки смотрели на меня пытливо и настороженно.

— Как Вас звать?

— Николай Михайлович Рубцов.

К концу рабочего дня в «Знамя» заглянул мой друг Анатолий Передреев. Я показал ему стихи. Он прочитал. Удивился.

— Смотри-ка! А я слышу — Рубцов, Рубцов, песни поет в общаге под гармошку. Ну, думаю, какой-нибудь юродивый...

С того же дня и началось наше товарищество с Рубцовым вплоть до несчастного часа, когда январской ночью 1971 года меня разбудил звонок из Вологды.

— Стасик — ты? Это Василий Белов.— Он с трудом выговаривал слова.— Коли Рубцова... больше нет... Напиши срочно некролог в «Литературку»...

«18.XI.1964 г. Дорогой Стасик! Добрый день или вечер!»

Первые же слова этого письма, полученного мной почти пятнадцать лет тому назад из деревушки Николы Тотемского района, воскрешают в памяти облик Рубцова, его осторожные повадки, его недоверчивость к жизни и одновременно детскую незащищенность перед ней.

Я представляю, как он написал «Добрый день» и вдруг подумал: а почему день? Ведь письмо может прийти в любое время суток! И довольно, по-детски хохотнув от неожиданной мысли, дописал «или вечер». Вообще в его понимании литературы было нечто непосредственное, иногда помогающее ему неожиданно по-новому взглянуть на какие-то репутации, стихи и даже строчки. Помню, как он вдруг услышал в словах широко известной песни некоторую комическую несуразность и с увлечением повторял: «Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда!»

Очень забавляло его то, что «среди упорной борьбы и труда» (сама неграмотность этой фразы — «среди труда», «среди борьбы» — казалась ему почти трогательной) можно «петь и смеяться, как дети».

«18.XI.64. Добрый день или вечер! Я опять пропадаю в своем унылом далеке, в селении Никольском, где я пропадал целое лето. Это, как я тебе уже говорил, один из самых захолустных уголков Вологодской стороны,— в прелестях этого уголка я уже разочаровался, т. к. нахожу здесь не уединение и покой, а одиночество и такое ощущение, будто мне все время кто-то мешает и я кому-то мешаю, будто я перед кем-то виноват и передо мной тоже. Все это я легко мог бы объяснить с психологической стороны не хуже Толстого (А что! В отдельных случаях этого дела многие, наверно, могут достигнуть Льва Толстого: и мелкие речки имеют глубокие места. Хотя в объеме достигнуть его, Толстого, глубины — почти немыслимое дело), повторяю, мог бы и объяснил бы, если бы я не знал, кому пишу это письмо...»

Какое знакомое, чисто русское понимание жизни диктует Рубцову эти размышления! Вроде бы «чувствую смертную связь», но чувство, достигнув своей вершины, неизбежно подходит к грани, за которой начинается недовольство собой и миром. С этим законом души человеческой связаны и все кровоточащие есенинские противоречия: «Как бы я и хотел разлюбить, все равно не могу научиться». Стоит только вдуматься в эти слова: «хотел разлюбить»...

Судьба не была ласкова к Николаю Рубцову. Она наложила на его характер печать замкнутости, угрюмства и недоверчивости, но его природная открытость все время боролась в нем с этими свойствами.

Тот, кто встречался с ним, не забудет, как Рубцов пел свои песни. Пел их для себя в минуты свободы, тоски и полной раскрепощенности. Но чтобы раскрепоститься, Рубцов должен был обязательно выпить, как он говорил, «вина». Вот тогда-то он брал в руки обшарпанную гармошку или гитару, склонял голову с прядью редких волос, зачесанных на лоб, и, рванув меха, начинал не петь, а плакать, равномерно раскачиваясь:

*П-о-о-тону-ула во мгле*
*Отдале-о-о-нная при-и-истань...*

Вся жизнь с ранним сиротством, с деревенским детдомом, со скитаниями по России-матушке, с вечной бездомностью, с тоской по близкой и не встретившейся на житейских дорогах душе,— изливалась под скрипучие звуки разбитой гармошки.

*На меня надвигалась*
*Темнота закоулков,*
*И архангельский дождик*
*На меня моросил...*

Но инстинктом истинного поэта Николай Рубцов знал, что в поэзию нельзя безнаказанно впускать все темное, озлобленное, измордованное и желчное, что порой овладевает человеком. Он знал главную истину — душа поэта на то и дана ему, чтобы высветлять и очищать жизнь, обнаруживая в ней духовный смысл и принимая на себя несовершенство мира. Потому-то, когда этот песенный плач достигал предела, Рубцов устало смягчал голос, грустно и спокойно заканчивая:

*На тревожной земле*
*В этом городе мглистом*
*Я по-прежнему добрый,*
*Неплохой человек.*

Это было не исполнение, а самозабвение.

«18.XI.1964. ...Мое здесь прозябание скрашивают кое-какие случайные радости, на которые я не только способен, но еще и люблю их, и иногда чувство самой случайной радости вырастает до чувства самой полной успокоенности. Ну, например, в полутемной комнате топлю в холодный вечер маленькую печку, сижу возле нее — и очень доволен этим, и все забываю».

Вспоминаются его стихи:

*...Со мною книги и гармонь*
*И друг поэзии нетленной —*
*В печи березовый огонь!*

Но все равно каким-то крещенским холодом веет от этой идиллии!

«18.XI.64. ...Я проклинаю молча, чтоб не слышали здешние люди и ничего обо мне своими мозгами не думали. Откуда им знать, что после нескольких (любых удачных и неудачных) написанных мной стихов мне необходима разрядка — выпить и побалагурить?».

Дошел я до этого места в письме и вспомнил еще одно стихотворение Рубцова — он тоже пел его под гармошку. Рубцов мало рассказывал о своей прошлой жизни даже близким ему в Москве людям, и то, что у него в деревне остались жена и дочка, я впервые узнал из песни: «Я уеду из этой деревни...»

В первоначальном варианте стихотворение содержало на одну строфу больше. Впоследствии поэт эту строфу выбросил, считая, по справедливости, ее лишней, но она кое-что объясняет в его тогдашнем состоянии:

*Ты не знаешь, что ночью по тропам*
*За спиною, куда ни пойду,*
*Чей-то злой настигающий топот*
*Все мне слышится, словно в бреду...*

Топот его «черного человека» слышался?

Ко времени, когда мы сблизились с ним, нервы поэта (а ему еще не было и тридцати) были уже весьма изношены. Угрюмое и молчаливое состояние, из которого он

выходил лишь при встрече с понимающими его людьми, часто прерывалось вспышками внезапного гнева. Тогда маленький и тщедушный Коля мог схватить стул и замахнуться на какого-нибудь обидчика.

Вот и в письме, которое я цитирую, речь идет об одном из таких скандалов.

«...Вспоминаю иногда последний вечер в ЦДЛ. Ты, Стасик, вел себя прекрасно. Я не очень. Но иначе повести себя не мог и переживал, конечно, это. Ты знаешь, что я всячески старался избежать шума, как страшно неудобно мне перед некоторыми хорошими людьми за мои прежние скандальные истории...» (Чаще всего из «этих историй» Рубцова вызволял Александр Яшин — Ст. К.).

Скандал разразился из-за того, что один хлыщеватый разодетый молодой поэт, и поныне успешно сочиняющий всякую дребедень для Мосэстрады, и его куда-то пропавшая с горизонта, но тогда годами протиравшая джинсы в московских ресторанах, спутница сделали несколько насмешливых замечаний по поводу Рубцова и его стихов — столики наши были рядом.

«18.XI.64. ...Хорошо, я думаю, что я «завелся» тогда не до конца, а сдержался, надеясь на молниеносный нокаут Игоря (Шкляревского — Ст. К.), на который, говорят, он способен. Пусть не было нокаута, но если бы я тогда ввязался сам, все — я уверен — закончилось бы милицией и шумом... Между прочим, Стасик, я написал тебе письмо еще к празднику, но оно осталось неотправленным — и слава богу! В нем нет ни слова в связи с этой глупой историей, а мне хотелось бы кое-что узнать у тебя: что было потом в институте? Я тут же тогда уехал и не знаю, исключили меня опять из института или, может быть, нет...»

Вот так и жил он в свой «московский период», то уезжал на Вологодчину, в Николу, то возвращался, гонимый тоской и безденежьем из милого захолустья в сверкающий столичный город, который никогда не верил, да и до сих пор «не верит слезам».

Цену себе как поэту он знал, и во всем его облике и поведении нет-нет да проскальзывало то смиренье, что «паче гордыни». Любил поэзию Владимира Соколова, правда, в минуты раздражения называл его дачным поэтом, ценил стихи Анатолия Передреева, Глеба Горбовского.

Еще в студенческие времена, забредя в букинисти-

ческий магазин на улице Горького (сейчас на этом месте высится новое здание гостиницы «Националь»), я купил изящное издание стихотворений Тютчева конца прошлого века в парчовом с золотым шитьем переплете.

Тютчев, а не Есенин, как казалось тогда многим, был любимым поэтом Рубцова. Знал он его стихи наизусть и часто читал вслух. А стихотворенье «Брат, столько лет сопутствовавший мне...» даже пел на свой протяжный мотив.

Как-то Рубцов уезжал из моего дома в ночь, и мне захотелось принести ему какую-нибудь маленькую радость. Я подарил ему эту книжку, будучи уверен, что Рубцов с его безбытностью в скором времени обязательно потеряет ее. Но друзья из Вологды рассказывали, что книга всегда была с ним в последние годы, а после смерти ее нашли в его скудной библиотечке. Видимо, он дорожил ею.

В деревенской жизни среди необходимой и ежедневной работы зависимость жизни от труда всегда была нагляднее, чем в городе, и мир простых, но сильных ощущений, неизбежного терпенья, частых лишений, единства с рекой и пашней — он и есть мерило общественной основы в поэзии Рубцова.

Власть этого мира над душой поэта была сильна. Все, что так привлекло нас к его поэзии, возникало в ней, когда он склонялся перед ним, с любовью ощущая в этом смиренье «свою неволю и свободу». И даже тогда, когда ему хотелось взбунтоваться против своего же смирения, он снова натыкался на роковое и любимое слово «связь»:

*Не порвать мне мучительной связи*
*С долгой осенью нашей земли,*
*С деревцом у сырой коновязи,*
*С журавлями в холодной дали...*

Жажда странствий в юности владела его душой, и он отдал этой страсти щедрую дань, как и многие сверстники. Его стихи о море образуют мажорную ноту, в которой, однако, уже можно услышать неясное желанье возвращенья:

*Я, юный сын морских факторий,*
*Хочу, чтоб вечно шторм звучал,*
*Чтоб для отважных — вечно море,*
*А для уставших — свой причал...*

С годами гул морей и звуки шторма, и лихое веселье легкого на подъем человека окончательно уступили место речам, полным лирической правды:

*Острова свои обогреваем*
*И живем без лишнего добра,*
*Но всегда с огнем и урожаем,*
*С колыбельным пеньем до утра...*

Я не стану утверждать, что жизнь современной русской деревни только такова и никакая больше, но несомненно, что в ней есть духовный материал, который сильнее других сторон привлекал к себе Рубцова. Лирический поэт вправе видеть жизнь такой, какой он хочет видеть ее. Состояние его души сливается с родной природой, с преданиями родины, с атмосферой ее бытия, и это слияние образует удивительный мир, в меру условный (но в меру и существующий). Это мир размеренной и необходимой работы, мир тихих лесных дорог северной Руси, долгих осенних дождей, от которых разливается река.

*...Спасали скот, спасали каждый дом*
*И глухо говорили: — Слава богу!*
*Слабеет дождь... вот-вот... еще немного...*
*И все пойдет обычным чередом.*

А ведь именно присутствием своего мира отличается истинный поэт от версификатора, пишущего стихи от случая к поводу.

Лирический поэт пишет стихотворение, когда какое-то впечатление от жизни нарушило его нетворческий покой, пишет для того, чтоб усилием сердца при помощи творчества вернуть утраченное равновесие. Если бы можно было зафиксировать этот процесс, то сейсмограф выписал бы кривую, подобную той, которая образуется при подземных толчках: возбуждение, усилие сердца, исход, покой...

*Рукой раздвинув*
*темные кусты,*
*Я не нашел и запаха малины,*
*Но я нашел могильные кресты,*
*Когда ушел в малинник за овины...*

*Пускай меня за тысячу земель*
*Уносит жизнь! Пускай меня проносит*
*По всей земле надежда и метель,*
*Какую кто-то больше не выносит!*
*Когда ж почую близость похорон,*
*Приду сюда, где белые ромашки,*
*Где каждый смертный*
*свято погребен*
*В такой же белой горестной рубашке...*

Это уже песня...

Русская традиция в поэзии Рубцова существует еще и в том, что его стихи естественно, незаметно вдруг переходят в песню, вернее, не в песню, а в песенную стихию.

*Не грусти, на знобящем причале*
*Парохода весною не жди.*
*Лучше выпьем давай на прощанье*
*За недолгую нежность в груди.*

Трудно сказать, какое место занимает Николай Рубцов в современной поэзии. Я знаю лишь то, что он поэт истинный, с редким лирическим даром, умеющий простыми и точными словами говорить о живых связях души и родины.

Существует ли у читающей публики потребность задуматься об этом? Иными словами, будут ли читать люди в недалеком хотя бы будущем его книги? Будут ли петь его стихи на какие-нибудь самые простые мотивы? Будут ли спрашивать лет через десять-двенадцать, кто такой Николай Рубцов? Ответить на это труднее, нежели записать свои размышления о поэте.

Эти вопросы я задавал себе много лет назад в рецензии на книгу Рубцова «Звезда полей» («Литературная газета», 22 ноября 1967 г.). Время дало на них ответы. К примеру, издания Н. Рубцова «Избранное» и «Подорожники» вышли стотысячными тиражами и разошлись моментально. На многие стихи поэта сочинена музыка самыми разными композиторами. Наиболее удачного, на мой взгляд, воплощения лирики Рубцова в музыке достиг композитор А. С. Лобзов, чьи романсы на стихи поэта звучат по радио и в разных аудиториях. Так что поэтический мир Рубцова с течением времени занимает все большее место в нашей духовной жизни.

Образ матери — один из самых святых в русской классике и занимает в ней (вспомним Некрасова, Есенина, Блока) особое, ни с чем не сравнимое место. Но почему мать, а не отец, не дети, не сестра, не жена? Ведь все названное столь же необходимо для бытия? Столь же, да не совсем...

Мать — это словно вся прошлая жизнь, постепенно отдаляющаяся от человека, туманная память, золотая дымка... Это кровная связь, источенная временем до состояния духовной, связь, ничего не требующая, лишенная житейской эгоистической энергии, возникающей в отношениях жены и мужа, отца и сына.

Один из моих знакомых, старый помор, тяжело заболев в городе, решил уехать в родную деревню. Умирать. На вокзале, прощаясь с друзьями, он сказал старую поморскую поговорку, которой, наверное, сотни лет:

— Отцов, как псов, а мать одна...

Не потому ли так бескорыстно звучат слова Рубцова о матери:

*В горнице моей светло,*
*Это от ночной звезды.*
*Матушка возьмет ведро,*
*Молча принесет воды...*

У иных поэтов и любовь к родине относится к числу таких же духовно высветленных чувств, потому что необъятность понятия родины, его нереальность житейская, ведущая к несвязанности, к свободной жизни ума и сердца, наполняют существо поэта любовью и благодарностью особого свойства. «Родина — древнее, бесконечное древнее существо, большое... И самому ему не счесть никогда своих сил, своих мышц, своих возможностей, так они рассеяны по матушке-земле» (А. Блок).

Такая, ни к чему житейскому не обязывающая любовь своеобразна еще и тем, что не имеет грубой материальной практической связи с судьбой поэта в личном смысле слова, и стихи, продиктованные этим чувством, лишены малейшего эгоистического оттенка...

Но мое лирическое отступление имеет отношение, так сказать, к идеальному развитию поэтической натуры, чего в жизни в чистом виде почти не бывает. На деле — многое волновало душу поэта Рубцова и заставляло его определять в себе стороны своего дарования, близкие по свойствам к гражданской стихии.

Время вторгалось в его мир и приказывало ему, как и всем нам, делать выбор:

*Ах, город село таранит!*
*Ах, что-то пойдет на слом!*
*Меня же терзают грани*
*Меж городом и селом...*

Это уже крик, заставляющий с сомнением отнестись к утверждениям критиков о том, что Рубцов — «тихий лирик».

*Плыть! Плыть! Плыть!*
*Мимо церковных рам,*
*Мимо могильных плит,*
*Мимо семейных драм.*

Я не слышу в этой поэзии ничего тихого. В ней есть широкое движение и вопрос, благословение и протест, мятежный крик и саркастическая улыбка, а главное, что в ней совершенно нет ощущения житейского благополучия, и ветер — любимая земная стихия Рубцова — со свистом гуляет по ее страницам...

*Спасибо, ветер! Твой слышу стон.*
*Как облегчает, как мучит он!*
*Спасибо, ветер! Я слышу, слышу!*
*Я сам покинул родную крышу!..*

Какая же здесь тихая лирика? Для меня она громче и драматичнее всех эстрадных голосов, потому что они звучат только тогда, когда их обладатели стоят на подмостках, а лирика Рубцова звенит в русской поэзии, несмотря на безвременную смерть поэта, и долго еще будет слышен ее надтреснутый звон для тех, кто слышит.

В то время, когда одни критики упрощают от «большой любви» все, что существует в русской классической традиции, а другие успешно борются с этими упрощениями, поэзия, подобно сказочному колобку, ухитряется и «от бабушки уйти», и «от дедушки уйти» — чтобы жить по своим законам.

Я не найду термина для гражданственности поэзии Рубцова, но определю ее многословно, как чувство общности с миром, с древними нравственными началами, с существующей испокон веков основой, которую должна ощущать любая человеческая общность. В этом узле тесно увязаны добро и справедливость, человечность

и милосердие. Они венчают подобную систему представлений о жизни. «Гражданственность» же — термин более молодой, возникший в русском языке со времен французской революции,— конечно, не в силах объять эту расплывчатую, не поддающуюся точным определениям стихию. Но они, конечно, состоят друг с другом в исторической связи (что и позволяет мне говорить о своеобразии гражданственности Рубцова). Только одна стихия старше, шире, расплывчатей; другая — моложе, определеннее. Но, повторяю еще раз,— они не противоречат, а дополняют друг друга, и вторая не может существовать без первой.

Вадим Кожинов в своей книге «Николай Рубцов» (кстати, это первая и замечательная книга о поэте) приводит слова из предисловия к рукописи, которую поэт — как свое избранное — составил в 1962 году. «Четкость общественной позиции поэта считаю не обязательным, но важным и благотворным качеством. Этим качеством не обладает в полной мере, по-моему, ни один из современных молодых поэтов. Это есть характерный знак времени. Пока что чувствую этот знак на себе».

Недаром Рубцов, поэт очень чуткий к слову, в одном из стихотворений, где речь идет о похоронах, пишет о покойнике так:

*Он в ласках мира, в бурях века*
*Достойно дожил до седин,*
*И вот... хоронят человека...*
*— Снимите шапку, гражданин!*

Для Рубцова нельзя было написать «И вот хоронят человека — снимите шапку, человек!» или «И вот хоронят гражданина — снимите шапку, гражданин!», потому что усопший перешел из гражданского, мирского лона — в лоно земное, общечеловеческое, а провожающий его сам еще весь в «бурях века», его уместнее назвать «гражданином», он еще дышит гражданским воздухом, и ему рано подводить жизненные итоги.

Немало несовершенного можно найти в книгах Рубцова. Иногда он бывал наивен, иногда высокопарен, порой банален. Но чего невозможно найти в его поэзии — так это недуга, может быть, самого разрушительного для искусства: вируса неправды. О непережитом он не писал. Вспоминаю, что в наших разговорах и спорах, оценивая чьи-либо стихи, он часто говорил:

— Стихи не лирические!

Это было самым суровым приговором. «Не лирическое» для него означало — не живое, безличное, не свое, лживое, не поэтичное... Нюх на «лирическое» и «не лирическое» у Рубцова был абсолютный. Да и, в конечном счете, смысл его появления в русской поэзии сводится, наверное, к напоминанию о том, что «лиризм» как понятие, противоположное театральности, не покинул ее и никогда не покинет.

Один из критиков заметил как-то в разговоре со мной: «Ну, что это! «Меня все терзают грани меж городом и селом!» — давно об этом сказал Есенин, и незачем повторяться...» Да, Есенин сказал об этом первый. Сказал гениально. Но ведь стирание граней — дело не простое. Декретом о земле или фактом коллективизации одним махом грани не сотрешь. Все решает течение жизни, появление новых поколений. А жизнь рождает новых поэтов.

История повторяет в течение десятилетий один и тот же вопрос, сначала — экономической или политической гранью, потом — нравственной, потом — эстетической. Если бы Есенин все мог сказать — какая бы тогда нужда была в Исаковском или Твардовском? Какая нужда тогда была бы в появлении Николая Рубцова, истинно народного лирика, с такой концентрацией лиризма, от которой за последние полтора-два десятилетия наша поэзия уже успела как-то отвыкнуть?

*Душа матроса в городе родном*
*Сперва блуждает будто бы в тумане:*
*Куда пойти в бушлате выходном*
*Со всей тоской, с получкою в кармане.*

Одиночество юноши в мире послевоенного растерзанного быта, одиночество человека, которого ветер времени оторвал от родимой почвы,— все это влекло Рубцова к невеселым прозрениям.

*Я умру в крещенские морозы,*
*В страшный час, когда трещат березы,*

предсказывал он себе свою судьбу. Он был упорен, этот физически слабый и сильный духом человек, потому что всю жизнь с крестьянской дотошностью искал «зацепку за жизнь». Этой зацепкой и стало его постоянное ощущение в душе добра и все нарастающее к концу жизни чувство родины.

*В этой деревне огни не погашены,*
*Ты мне тоску не пророчь,—*

спорил поэт со своим «черным человеком».

Якорями спасения на пути Рубцова были то «скромный русский огонек», то «звезда полей», то «державный Московский Кремль», с «его таинственными звонами», то «великие тени из царства русской поэзии».

Думая об искреннем и тревожном пути поэта, я вспоминаю блоковское: «Простим угрюмство. Разве это сокрытый двигатель его?» Недаром в одном из лучших стихотворений Николай Рубцов, словно бы завещая «грядущему юноше» свое бескорыстие, пишет:

*Но люблю тебя в дни непогоды*
*И желаю тебе навсегда,*
*Чтоб гудели твои пароходы,*
*Чтоб свистели твои поезда.*

Хочу еще раз обратить внимание на то, что одним из любимейших слов Рубцова было слово «связь». Вырос он не под грохот строительных площадок, не под лозунгами индустрии, а на сухонских берегах и в северных лесах, в мире, где человек с первых дней своих запоминает зависимость снега и урожая, земли и песни, матери и сына — «самая жгучая, самая смертная связь».

Его патриотическое чувство сказывалось и выливалось не в злободневных и быстрых откликах на вопросы времени, а в поисках живой человеческой связи с природой, с историей, в нащупывании необходимых устоев любви и добра в их широком, издревле национальном смысле слова.

Недаром в одном из самых программных, если можно сказать так о его жизни, стихотворений — «Русский огонек», вспоминая о таком незабываемом историческом событии, как прошедшая война, поэт разговаривает с русской женщиной-матерью, у которой в душе испепелено чуть ли не все, кроме самого главного — материнского начала, без коего немыслима никакая связь жизни, и опирается именно на него:

*Огнем, враждой земля полным-полна,*
*И близких всех душа не позабудет...*
*— Скажи, родимый, будет ли война?*
*И я сказал:*
*— Наверное, не будет.*

А русский огонек, едва брезживший в зимнем поле, становится для него символом надежды и добра, маяком спасения и связи между людьми Земли, и поэт приносит ему благодарность:

*За то, что с доброй верою дружа,*
*Среди тревог великих и разбоя*
*Горишь, горишь, как добрая душа,*
*Горишь во мгле,— и нет тебе покоя...*

Со дня нашего знакомства на Тверском бульваре Рубцов стал для меня одним из необходимых поэтов. Ощущение того, что где-то живет и пишет Николай Рубцов, поддерживало меня — да и не только меня — в нерадостных порою раздумьях о судьбах нашей поэзии. Не раз он приглашал меня в свою деревню Николу, но, как всегда, не нашлось времени, и, вместо того, чтобы приехать к нему в 1964 году, я написал стихи, вошедшие в книгу «Метель заходит в город»:

*Если жизнь начать сначала,*
*В тот же день уеду я*
*С Ярославского вокзала*
*В вологодские края.*

*Перееду через реку,*
*Через тысячу ручьев*
*Прямо в гости к человеку*
*По фамилии Рубцов.*

*Если он еще не помер,*
*Он меня переживет.*
*Если он ума не пропил —*
*Значит, вовсе не пропьет.*

*Я скажу, мол, нет покою*
*Разве что с тобой одним.*
*Я скажу, давай с тобою*
*Помолчим-поговорим...*

*С тихим светом на лице*
*Он меня просветит взглядом.*
*Сядем рядом на крыльце,*
*Полюбуемся закатом.*

Мы как-то понимали друг друга без лишних слов или с полуслова; несмотря на его тяжелый характер —

ни разу не поссорились, и нам всегда было приятно встречаться друг с другом после долгих расставаний.

Когда Рубцов получил в деревне мой сборник с этим стихотворением, посвященным ему, он ответил мне следующим письмом:

«Добрый день, Стасик! Письмо твое получил, повеселился над твоими веселыми стихами и вот написал на них ответ. Желаю тебе здоровья и всех радостей. С приветом, Коля».

Дальше шло его шутливое посланье: «Ответ Куняеву (некоторые соображения на тему «Если жизнь начать сначала»).

*Если жизнь начать сначала,*
*Все равно напьюсь бухой*
*И отправлюсь от причала*
*Вологодчины лихой.*
*Знайте наших разгильдяев!*
*Ваших, так сказать, коллег!*
*— Где,— спрошу я,— человек*
*По фамилии Куняев?*
*И тотчас ответят хором:*
*— Он в Москве! Туда катись!*
*И внушат, пугая взором:*
*— Там нельзя греметь запором*
*И шуметь по коридорам:*
*Он описывает жизнь!*
*И еще меня с укором*
*Оглядят: — Опасный вид!*
*Мол, начнет греметь запором,*
*Да шуметь по коридорам,*
*То-то будет срам и стыд!..*
*Гнев во мне заговорит!*
*И, нагнувшись над забором,*
*Сам покрою их позором,*
*Перед тем спросив с задором:*
*— Кто тут матом не покрыт?*
*Кроя наших краснобаев,*
*Всю их веру и родню,*
*— Нужен мне,— скажу,— Куняев,*
*Вас не нужно — не ценю!*
*Он меня приветит взглядом*
*И с вопросом на лице*
*В цэдэловском дворце*
*Помолчим... с буфетом рядом!*

«18.XI.64. ...Стасик, а что у тебя нового?

Между прочим, это такой вопрос, от которого я нередко теряюсь и не знаю, что сказать. Знаю, что не только я один. Но каждый раз, если речь заходит о настоящих людях, мне любопытно узнать, как они там где-то поживают, всегда хочется пожелать им всего хорошего,— вот поэтому и вопрос о них, или им, или ему (сейчас тебе) — что нового?

Тебя, наверное, уже утомило это болтливое письмо? Еще одно последнее сказанье... Хотелось бы мне узнать, решена ли судьба (пусть частично) тех моих стихов. Мне надо знать об этом, потому что пока не знаю и не могу распоряжаться ими, стихами, как хочу. Да и кое-какие из них я, кажется, немного улучшил, а некоторые вообще зачеркнул (в голове своей), а это тоже имеет значение, если стихи все-таки пройдут... Вот у меня пока все.

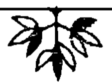
Передай, пожалуйста, привет и самые добрые пожелания Гале, Гале Корниловой, Толе, Игорю, а также, если встретишь их, Володе Соколову, Вадиму Кожинову.

До свиданья! С приветом и любовью *Н. Рубцов.*

Слякоть, осенний ледоход, снег, дождь. Надеюсь, что напишешь мне».

Вот и я написал. Не ему, а о нем.

# БОРИС ЧУЛКОВ



## ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Воскрешая в памяти начало моего знакомства с Николаем Рубцовым, я неизбежно вспоминаю конец ноября или самое начало декабря 1964 года, когда, не имея возможности продолжать учебу в литинституте да и жить у себя в селе Никольском, поэт был вынужден приехать в Вологду и перезимовать здесь. Так как у нашего семейства была тогда свободная комната, поэт Александр Романов попросил меня приютить Рубцова. В ту пору у него не было еще издано ни одной книги — были лишь публикации в газетах и журналах.

Рубцов очень много читал — особенно в первое время, к его услугам были все мои книги. Надо ли говорить, что — сам поэт до мозга костей — читал он почти исключительно одних поэтов. Из прозаиков неизменно выделял и поминал лишь только Гоголя, столько же прозаика, сколько и своеобразнейшего поэта в прозе.

А в бескрайнем море русской поэзии что же в первую очередь привлекало Рубцова? Конечно же, без памяти был он влюблен и в Пушкина, и в Лермонтова, и в Блока, и в Есенина, учился у них (достаточно здесь назвать рубцовское стихотворение «Кружусь ли я в Москве бурливой...» — вариацию на тему пушкинского «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»), но сердцу не прикажешь — и вот Рубцова больше манят к себе Тютчев, Фет, Полонский, Майков, Апухтин...

И особенно, конечно же, много мы говорили о Тютчеве. Как восторгался Рубцов знаменитым триединством

Тютчева: «блистает, блещет и блестит»! Многие стихи поэта озарены тютчевским светом, но не меньше, чем светом,— и сумерками, и осенью Тютчева (наугад раскрыв книгу, я отмечу как очень «тютчевское» стихотворение Рубцова «Прощальный костер»), но, разумеется, все это не перестает быть истинно «рубцовским». Словом, влияние Тютчева — самое плодотворное влияние на Рубцова. Тютчеву же посвящено и одно из стихотворений поэта — «Приезд Тютчева».

Книга Тютчева (стихи и статьи в дореволюционном издании) и была едва ли не единственной личной книгой Рубцова. Сейчас уже ходят легенды, что он, ложась спать, клал ее под подушку. Я могу лишь сказать, что, во всяком случае, остальными книгами, которые ему попадались, Николай не дорожил и, бывало, оставлял где угодно. Книге же Тютчева такая судьба не угрожала.

Любил Рубцов стихи и гениального французского поэта Франсуа Вийона, и задушевнейших поэтов Франции XIX века — Верлена и Бодлера.

Сам он рассказывал, что преподавательница французского устраивала у них нечто вроде конкурса на перевод «Осенней песни» Верлена, которая в подстрочном изложении выглядит примерно так:

*Долгие рыдания скрипок осени ранят*
*мне сердце однозвучной тоской.*
*Совсем задыхаясь и побледнев, когда*
*бьют часы, я вспоминаю о былых годах*
*и я плачу.*
*И я выхожу на злой ветер, что несет*
*меня и туда и сюда, подобно листку,*
*который мертв.*

По словам Рубцова, он тогда отказался от перевода. Я сказал ему, что, занимаясь французским немного для себя, по странному стечению обстоятельств перевел именно эту вещь (переводили ее многие русские поэты-символисты, но все переводы — неточные). Разыскав, прочел Николаю перевод.

В ответ Рубцов прочел свои стихи, сказав, что в них лишь вкраплен мотив Верлена (впервые они появились в книге «Сосен шум»). Сейчас я, правда, склонен думать, что и «Осенняя песня» Чайковского, которую Николай

очень любил, тоже в какой-то мере повлияла на настрой этих стихов, кончавшихся такими строчками:

*Куда от бури, от непогоды*
*Себя я спрячу?*
*Я вспоминаю былые годы,*
*И я плачу...*

Вот, оказывается, откуда у Рубцова (при всей его любви к русской поэзии и ко всему русскому вообще) был интерес к Вийону, русское издание которого (1963) он всякий раз, бывая у меня, буквально не выпускал из рук и всегда говорил, что рано или поздно не у меня, так где-нибудь еще стащит или раздобудет его.

Сказалось здесь, думается, и то, что Николай Михайлович, видимо, чувствовал сходство своей судьбы с судьбой этих французских поэтов (так же, как и с судьбой Есенина). И не случайно в «Вечерних стихах» Рубцова есть такие строки:

*И как живые в наших разговорах*
*Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон!*

## РУБЦОВ И КОВРЫ

Николай Рубцов рассказывал мне однажды (разговор был много-много лет тому назад), что его как-то пригласил к себе в гости некий московский поэт, работавший в одном из издательств. Совсем еще не старый поэт.

Что-то они там говорили, было какое-то вино, какая-то замысловатая еда, приготовленная супругой или домработницей, но главное — что, видимо, хотел подчеркнуть хозяин, чем похвастаться,— это, конечно же, его шикарная квартира, мебель и все такое.

— Ковры, ковры,— говорил Рубцов,— вот что мне больше всего запомнилось. Кругом ковры — на полах, на стенах, только что на потолках нет. У меня и вино не пошло из-за этого. Пропала охота.

(Поразили, убили Николая ковры, а мне тут же вспомнилась одна ситуация из фантастики Рея Бредбери: все четыре стены гостиной — телевизоры, и хозяйка дома ждет не дождется, когда начнется программа на весь вечер, в которой будет выступать Белый Клоун,

и без умолку только об этом и тараторит битый час по видеофону своей подруге.)

Бедный Коля! Ни кола ни двора, ни вещей, ни рубах у него всю жизнь не было! И быть, понятно, не могло.

А ковры, конечно же, процветают и никогда не кончат своего распрекрасного существования...

# ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВ



## НАД ЗОЛОТОМ ОСЕННИМ...

В один из осенних, холодных, предзимних дней, когда на лужах уже искрился ледок, а в оголенных вершинах деревьев широко просматривалось высокое светлое небо, я спешил старинными переулками родной Вологды на квартиру поэта Бориса Чулкова. В ту пору я частенько навещал его, советовался с ним, как с человеком, прекрасно знающим русскую и советскую поэзию. Он по сути и был тогда моим первым наставником. Поэт жил на улице Гоголя в старинном деревянном доме, на втором этаже. Сейчас этого дома нет — на его месте строится современное здание.

В тот день Борис Александрович был не один, у него сидел гость, и они оживленно беседовали. Чулков отрекомендовал меня. Незнакомец встал, пожал мне руку и назвался: — Николай... После непродолжительной паузы добавил: — Рубцов.

В том, что передо мной поэт, сомнений никаких у меня не было. Весь его облик говорил сам за себя. Небольшой, подвижный, он был в простеньком клетчатом пиджачке с обмотанным вокруг шеи длинным шарфом. Но что более всего поразило меня — пронзительно черные грустные глаза, смотревшие с прищуром, в упор. Говорил он тогда мало, больше курил, но иногда внезапно оживлялся, и его жгучие глаза излучали нескрываемую доброту. И я впоследствии, при более близком знакомстве с ним, не раз замечал переменчивость характера, смену настроений. Но, пожалуй, больше всего проглядывалась

в нем постоянная тяга к прекрасному, тонкое проницательное чутье к происходящему в мире. И, видимо, не случайно он так жадно тянулся всегда к людям, сопереживал вместе с ними их радости и печали.

В момент нашего знакомства в Вологде проходил семинар начинающих авторов. Еще до начала семинара в небольшой комнате вологодского «Союза писателей», который возглавлял тогда С. В. Викулов, мы, начинающие, сидели и слушали стихи, которые читал Николай Рубцов. Читал он своеобразно, сидя на стуле, помахивая правой рукой и одновременно пристукивая ногой в такт каждому звуку:

*Здесь каждый славен — мертвый и живой:*
*И оттого, в любви своей не каясь,*
*Душа, как лист, звенит, перекликаясь*
*Со всей звенящей солнечной листвой...*

. И это резкое, и в то же время напевное его чтение завораживало, будоражило душу, заставляло вслушиваться.

После этого семинара вышел его первый поэтический сборник «Лирика» в Северо-Западном книжном издательстве. А некоторое время спустя, поэт окончательно определяется на место жительства в Вологде. В то время я работал в газете «Маяк» Вологодского района, и Николай часто заходил к нам в редакцию, приносил свои стихи. Как-то он пришел возбужденный, радостный и сообщил:

— Получаю квартиру, может, поможешь мне въехать?

— Какой разговор,— говорю,— конечно, помогу!

Каково же было мое удивление, когда мы пришли в пустую длинную комнату, в которой кроме старенького чемодана ничего не было.— И это все? — спросил я.

— Все,— ответил Николай.

В тот вечер мы вымыли окно, пол и отпраздновали Колино новоселье. Купили курицу, попросили у соседей кастрюлю и сварили в ней куриный бульон. Николай был жизнерадостен, много шутил, стал показывать мне свои фотографии. Особенно запомнилась одна из них, с которой глядел на меня молодой черноглазый моряк с пышной шевелюрой.

— Были и мы когда-то рысаками,— не то полушутя, не то полусерьезно сказал Николай, но в голосе его прозвучала неподдельная грусть. Позднее, когда Рубцов

переехал на новую квартиру, на улицу Яшина, он часто приглашал меня к себе. Поэт постепенно обживался, становился озабоченным. К нему пришла известность. Вышла книга «Звезда полей» — впечатляющая, цельная. Многим стало ясно, что это по-настоящему большой поэт. Вслед за этой книгой выходят книги «Душа хранит» и «Сосен шум».

Николай Рубцов много и упорно работает. И именно в эти годы своей жизни он, как никогда, особенно остро ощущает напряжение, с которым он живет. С какой неистребимой любовью всматривается он жадно в жизнь, как он понимает ее, тянется к ней! И в то же время чувствует себя одиноким. Мне приходилось бывать с ним среди друзей, но я постоянно видел его каким-то сосредоточенным, как бы вглядывающимся в себя, прислушивающимся к себе, даже тогда, когда казался веселым. Огромная внутренняя работа постоянно происходила в нем. Бывали моменты, когда он был особенно откровенен. В эти минуты ему хотелось высказаться, поделиться пережитым. Помню, как-то пришли к нему. Меня поразил вид его квартиры. На столе, на полу, по всей комнате были разбросаны рукописи. Я подавленно молчал. Не обращая на этот хаос никакого внимания, он резко произнес:

— Все, брат! Кажется, я исписался.

А потом вдруг грустно сказал:

— Я, наверное, скоро умру.

Я тогда рассердился на него, стал его бранить, сказал, что он городит какую-то чушь. Но много позже понял, что поэт поразительно тонко понимал свое настроение. И, как истинно русский человек, с нежной и ранимой душой, творчески зрелый, он предъявил к себе самые жесткие требования. Он был большим художником слова и не мог поступать иначе.

Вот почему во многих его последних стихах слышится столько тревожной грусти, в том числе и в стихотворении «Прощальное»:

*«Родимая! Что еще будет*
*Со мною! Родная заря*
*Уж завтра меня не разбудит,*
*Играя в окне и горя».*

Николай Рубцов читал мне это стихотворение у себя дома, как говорится, с глазу на глаз:

*«На темном разъезде разлуки*
*И в темном прощальном авто*
*Я слышу печальные звуки,*
*Которых не слышит никто».*

После заключительных строчек меня прошибли слезы. Я вдруг всем своим нутром почувствовал глубину этой грусти.

В другой раз, когда я пришел к Николаю вечером, он сидел на полу, тут же рядом стоял проигрыватель, звучали песни Высоцкого. Одну из них он проигрывал снова и снова, внимательно вслушиваясь в одни и те же слова, а потом спросил:

— Ты бы так смог?

И как бы сам себе ответил: — Я бы, наверное, нет...

Последний раз я виделся с поэтом накануне дня его рождения. Мы просидели с ним до полуночи. Он читал свои стихи и тогда еще не опубликованную поэму «Разбойник Ляля», делился своими планами на будущее. А потом уговаривал меня остаться ночевать и сердился, что я не остаюсь. Я уехал тогда в командировку по заданию редакции. А когда вернулся, узнал страшную весть. Прекрасного, настоящего русского поэта уже не было в жизни. Жгучей болью отозвалась в сердце эта утрата. Я написал тогда такие строчки:

*Какая свирепая вьюга,*
*Какая зловещая ночь.*
*Нет больше Поэта и Друга,*
*И горю ничем не помочь.*
*Ничем не восполнить утраты,*
*Постигшей тебя и меня,*
*Но разве он в том виноватый,*
*Что было в нем столько огня,*
*Что в жизни, нередко жестокой,*
*А то непонятно чужой,*
*Порою такой одинокой*
*Других согревал он душой.*
*И нежные песни сыновьи*
*О Родине пел дорогой*
*Со всею своею любовью,*
*Со всею своею тоской!*

...Но жизнь наша продолжается. И живой образ Николая Рубцова, его стихи остаются с нами, в наших

сердцах, открывают нам новые и новые высоты поэзии. С каждым днем его неугасимая звезда становится все ярче и ярче. И пусть вечно «она горит над золотом осенним, она горит над зимним серебром...»

# СЕРГЕЙ ЧУХИН



## ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ

Обстоятельства моего знакомства с Рубцовым скорее могли послужить поводом для взаимной неприязни, чем для дружбы. Но — слава богу — время рассудило иначе...

Зимой 1964 года мне было девятнадцать лет. Я учился на филологическом факультете Вологодского пединститута, сочинял стихи, печатал их в вологодской районной газете и, естественно, благоговел перед маститыми литераторами.

На факультете существовал литературный кружок, которым руководил В. К. Пудожгорский, критик и литературовед, большой знаток творчества Пришвина. Нашим признанным лидером была Наташа Маслова. Разносторонне одаренный человек, она писала молодые, цветастые стихи и подхлестывала в нас чувство хорошего соревнования.

Но в общем-то мы варились в собственном соку. И поэтому, когда Вологодская писательская организация пригласила нас на областной семинар начинающих авторов, все были несказанно рады.

Семинаром руководили наши старшие товарищи — тогдашний секретарь отделения С. Викулов, поэты А. Романов и В. Коротаев. Все они в разные годы прошли через литературное объединение пединститута, что нас откровенно воодушевляло.

И вот на этот семинар был приглашен никому из нас тогда не известный поэт Николай Рубцов. Он пришел в отделение Союза за несколько минут до начала обсуждения рукописей: невысокого роста и неопределенного

возраста лысеющий человек в валенках, взгляд настороженный, даже угрюмый; сел позади всех.

В обсуждении наших стихов он участия не принимал, но по колючим репликам чувствовалось, что они ему не по вкусу. В перерывах он уединялся покурить где-нибудь в конце коридора или беседовал с Борисом Чулковым, с которым успел, видимо, познакомиться короче.

Наконец дошла очередь обсуждать рукопись Рубцова. Он вышел к столу, коротко рассказал о себе и прочел несколько стихотворений. Среди них помню ставшие ныне хрестоматийными «Видение на холме» и «Родная деревня». Читал негромко, но энергично, изредка жестикулируя правой рукой, а левую сунув за борт пиджака.

Старшим товарищам стихи, видимо, понравились, они почувствовали, что на семинар пришел поэт со своим мироощущением, своей темой. Но, к сожалению, не обошлось и без дежурных учительных фраз: поближе к современности, к злобе дня...

С каждым подобным замечанием Рубцов все более мрачнел, реплики его становились вызывающими. А тут я еще подлил масла в огонь. Как же? Для меня чуть ли не единственным мерилом современной поэзии был тогда Р. Рождественский, а тут — на тебе! — деревня Никола, начальная школа... Да и безоглядная, горячая молодость внутренне протестовала против сдержанной (рассудочной) формы. И сдержанность эта, и несколько отчужденный (заносчивый) вид автора — все настраивало против него. Сказано это было прямо и пылко, Рубцов вскипел и во время обеденного перерыва, прихватив с собою поэта О. Кванина, ушел с семинара.

Вскоре вышла его первая книжка «Лирика». И пусть предвзято я относился к имени автора, но, прочитав наедине те же «Видения на холме», «Родную деревню», усомнился в своих поэтических пристрастиях. Рубцов жил тогда в Вологде. Своего угла он не имел и квартировал у Б. Чулкова. На мое «здравствуйте!» он отвечал молчаливым кивком. Забегая вперед, скажу: Рубцов никогда не напоминал мне об этом семинаре, а мои позднейшие объяснения прерывал нетерпеливым: «Знаю...»

В следующем, 1965 году я был принят на вновь открывшееся очное отделение Литературного института, где Николай Рубцов учился заочно. В студенческой среде слово поэта ставилось высоко, признание его было почти безоговорочным. О его эксцентричных поступках

и фразах ходили легенды, которые от курса к курсу обрастали преувеличениями. Говорили, например, что он снял с лестничных площадок общежития портреты классиков и перенес к себе в комнату, а возмущенному коменданту сказал:

— Можно, наконец, побыть в компании порядочных людей!

Сам Рубцов о подобных деяниях никогда не повествовал, но и никогда не опровергал, если слышал о них со стороны.

Правда, что литературной табели о рангах для него не существовало; правда, что о большинстве современных поэтов он отзывался прохладно; но правда и то, что причиной тому был не только строгий вкус, а и задетое самолюбие, когда имя его постоянно припрягалось к раз и навсегда заведенному «ряду».

На очное отделение вологжан поступило трое — Нина Груздева, Николай Кучмида и я. В первую же свою сессию Николай Рубцов зашел ко мне в комнату, зашел не один, в компании старшекурсников. Я пригласил земляков, появилась гитара, читались стихи. Николай Михайлович молча сидел за столом, посматривал на всех исподлобья, потом старшекурсники ушли.

Рубцову надо было ехать ночевать к кому-то из московских знакомых, я предложил ему остаться у себя, а утром, уходя на лекцию, положил на стол ключ. Ключ оставался у него полтора месяца.

За эти полтора месяца я заметил, что Рубцов не любит разговоров на литературные темы. Всего охотнее он сходился с людьми, если не далекими от литературы, то уж по крайней мере не поэтами.

Он весьма охотно выслушивал на наших вечеринках рифмованные потоки, где ему приходилось отыскивать удачные строки, строфы, чтобы похвалить не кривя душой. У каждого из нас был свой синодик любимых поэтов. Все, не входящие в него, отвергались с юношеским максимализмом. Рубцов, по натуре человек тоже «или-или», был, как я уже говорил, осторожен в оценках современников.

Он прекрасно знал русскую классическую литературу. К любимым стихам Тютчева, Фета, Блока он подобрал мелодии и, будучи в хорошем настроении, нередко наигрывал их на гитаре. Иногда по нашей просьбе исполнял и свои стихи.

Однажды я сказал Николаю Михайловичу, что мы с Ниной Груздевой собираемся поехать к Александру Яковлевичу Яшину, познакомиться, почитать стихи и — больше того! — попросить рекомендации в какой-нибудь литературно-художественный журнал. Самонадеянности у нас еще хватало.

— Ну что ж... поезжайте...

— А что? — встревожился я.

— Нет... Съездите!

Рубцов был дружен с А. Я. Яшиным, но поскольку о своих литературных знакомствах никогда не распространялся, то я этого не знал.

Александр Яковлевич принял нас дома на Лаврушинском. Послушал стихи, похвалил Нину Груздеву. Чувствуя, что мои опусы успеха не имеют, я все же промямлил что-то о рекомендации.

— Да на что вам моя рекомендация? Делу ли послужит? Ведь меня после «Вологодской свадьбы» ленивый разве не ругает...

Мы принялись горячо уверять Александра Яковлевича, что очерк молодежью Вологды принят хорошо, что конъюнктурные соображения критики похоронит время... Наша убежденность, видимо, тронула его.

— Что ж, приносите новые стихи, тогда поговорим о рекомендации...

Меня ответ прямо удручил, так хотелось напечататься поскорее в Москве. Рассказал обо всем Рубцову. Тот взял мою рукопись и начал разбирать построчно.

— «Мальчишки небольшого очень роста»... Раз мальчишки, то ясно, не с коломенскую версту, «небольшого очень...» — глупо. Вот у тебя: топорики, ведерочки, маслице, Карюшко, сестренушка, матушка, Аленушка... Может, у Фокиной это хорошо, а у тебя плохо. Одежка с чужого плеча, да еще с женского. Кроме шуток: поверь, напишешь хорошие стихи, свои, никакой рекомендации тебе не потребуется.

На следующий год пошел в «Сельскую молодежь», рискнул. Приняли без рекомендации.

Во время летних каникул встретились с Николаем Рубцовым в Вологде.

— Хочу поехать в Тотьму, к дочке, но, сам понимаешь...

Да, я знал о хроническом безденежье, которое бук-

вально преследовало Рубцова, приковывало его к городу, к случайным гонорарам и случайным компаниям.

— Поедем со мной в Новленское,— предложил я,— шестьдесят километров отсюда. Там у меня тетя и бабушка. Изба большая — зимняя и летняя. Они — в летней, а мы в зимней будем. Лес, речка, озеро — все рядом!

— Неудобно... Ты там свой, а я что?

Уговорил-таки. Купили любимый бабушкин индийский чай, помидоров, огурцов на рынке (стоял конец июля) и поехали.

Бабушка была уже стара, не выходила из дому, но сохранила ясный ум и хорошую память. Для нее, любительницы почаевничать, порасспрашивать, посплетничать, наш приезд был сущий клад. Тетя с утра до ночи пропадала на работе и наказывала одно: не курить на сене.

Я целые дни пропадал на реке. Николай Михайлович рыбаком оказался аховым: азарта много, а терпенья мало.

Сказать по правде, и клев был неважным. Посидев час-полтора на реке, он уходил домой и слушал бесконечные бабушкины рассказы о былом, о ее молодости, прежнем хозяйстве, она его расспрашивала — откуда родом, где семья, сколько лет дочке, где сам служит...

Если на рыбалке Рубцову не везло, то грибник он был прирожденный, удачливый на зависть. Мне и потом приходилось слышать от журналиста Б. А. Шабалина, что какой бы многочисленной группой ни приходилось выезжать им с Рубцовым в лес, Николай Михайлович всегда набирал больше всех и, главное, не каких-то сыроежек и кубарей, а рыжиков, груздей, белых.

И куда в такие часы исчезали его всегдашняя настороженность, готовность ответить резкостью даже на безобидную шутку! По дороге к лесу экспромты, частушки сыпались под ноги. Жаль, что ничего не записывалось. Молодость щедра и полагает жить долго. Припоминается лишь такое:

*Забыл приказы ректора,*
*На все поставил крест.*
*Глаза, как два прожектора,*
*Обшаривают лес.*

Или предполагаемое Рубцовым начало стихотворения:

*После озера, леса и луга*
*Столько будет рассказов для друга,*

*Столько будет солений, варений,*
*Столько будет стихотворений!*

Мы вошли во вкус деревенской жизни и от бабушки поехали в Погорелово, к моим родителям. Походы в лес и на реку продолжались, но все чаще Рубцов оставался дома писать. Впрочем, писать — не то слово. Ему не требовались ручка и бумага. Он укладывался поверх одеяла, закинув ноги на спинку кровати и так лежал, бывало, по нескольку часов. Иногда он окликал меня и читал вслух особенно удачные, по его мнению, строки, причем требовал оценить: «Ну как?»

Я обычно отвечал уклончиво, мол, строка сама по себе звучит, но как она ляжет в контекст... Он недовольно отмахивался: — А! — и вновь затихал на кровати.

В селе нашем до сих пор сохранились остатки барского парка. Я показывал Николаю Михайловичу заросший бузиною фундамент особняка (сейчас и того нет), огромный, с тремя островами, пруд, вырытый крепостными в форме двуглавого орла, аллею столетних лип и сосен. Все эти впечатления послужили канвой для чудесного стихотворения «В старом парке». В то же время были написаны «Зеленые цветы», «Купавы» и ряд других шедевров рубцовской лирики.

Кончался август, мне пора было ехать в институт. Рубцов начал снова собираться в Николу. В последующие годы он еще несколько раз побывал в Новленском и Погорелове, причем в Новленское ездил уже один, без меня.

В январе 1967 года я решил временно перейти на заочное отделение института, приехал в Вологду и был принят на работу в газету «Вологодский комсомолец». Встречи с Николаем Рубцовым стали почти ежедневными. Надо сказать, что редакция молодежной газеты сделала немало доброго для поэта. Она первой начала давать большие подборки стихов Н. Рубцова, платила ему максимальный гонорар, нашла возможность выделить ему полставки литконсультанта.

Зайти в один из немногих кабинетов, которыми располагала редакция, сыграть в шахматы, просто перекинуться шуткой с веселым народом стало для него привычкой. Н. Рубцов не ошибся в своих друзьях. Неслучайно большая часть его литературного наследия увидела свет на страницах «Вологодского комсомольца».

Летом того же 1967 года по инициативе Вологодского обкома партии и писательской организации была устроена агитационная поездка писателей по Волго-Балту. В ней приняли участие А. Яшин, В. Белов, А. Романов, В. Коротаев, Д. Голубков, Н. Рубцов, Н. Кутов, Л. Беляев, Б. Чулков и ряд других прозаиков и поэтов. Александр Яковлевич Яшин уже недомогал, хотя и старался не показывать виду. Однако не просто было обмануть такого проницательного человека, как Рубцов. В этой поездке он был ненавязчиво предупредителен, даже нежен в обращении с Яшиным, что в общем-то с Рубцовым случалось редко.

И вот уже под Вытегрой, видя, что Яшин чрезмерно утомлен поездкой, и, видимо, втайне переживая за него, он отозвал меня и сделал форменный выговор, будто я никчемными разговорами отнимаю у Яшина время. Я был изумлен, так как разговоры мои ограничивались общей беседой за обеденным столом, но Рубцову и это казалось слишком.

Спорить я не стал, хотя обиделся: зачем на мне срывать свою досаду? Я даже постеснялся попросить Яшина надписать книгу на память, что, к счастью, он сделал сам.

Потом уже, в Вологде, Николай Михайлович объяснил мне причины своей вспышки:

— Не видно разве, что человеку тяжело? — и мы помирились.

Александр Яковлевич после поездки слег в больницу в Вологде. А через год мы хоронили А. Я. Яшина на его родине, на Бобришном угоре.

Во время поездки по Волго-Балту мне приглянулось село Липин Бор: песок, сосны, озеро... Захотелось здесь пожить и поработать подольше. Решено — сделано: осенью я уже устроился там корреспондентом-организатором местного радиовещания. Поселился прямо в редакции. Вечером доставал из тумбочки постель и, предварительно предупредив телефонисток, чтоб поутру разбудили долгим звонком, укладывался спать.

Красота тех мест очаровала меня, и я засыпал вологодских друзей письмами с просьбой прилететь, посмотреть, погостить. Написал такое письмо и Николаю Рубцову.

Однажды, уже зимой, мне по долгу службы пришлось сидеть на каком-то районном совещании. И тут по рядам

передали записку: «Сережа! Я прилетел. Можешь выйти? Н. Рубцов».

Он сидел на деревянных ступенях Дома культуры в демисезонном, не по погоде, пальто. Мы обнялись.

— Извини, я без предупреждения. Приехал в аэропорт, билеты есть...

— Какой разговор!

С помощью редактора газеты В. Д. Елесина, давно знакомого с Рубцовым, удалось устроить Николая Михайловича в гостиницу. Ночевал он там только первую ночь — холодно да и шумно, а на следующую пришлось к дивану приставлять редакционные стулья.

Вечерами в редакции В. Д. Елесин и секретарь В. Фофанов подолгу задерживались, подписывая номер в печать. Подкидывали в печь поленья, играли в шахматы. Игроком Рубцов был серьезным, но азартным в проигрыше и выигрыше.

В Липин Бор Николай Михайлович привез рукопись будущей книги «Душа хранит». Когда подготовка ее была закончена и рукопись перепечатана, Рубцов стал собираться в Вологду. Мы проводили его на аэродром.

В 1968 году Северо-Западное книжное издательство наметило выпустить книгу-кассету молодых поэтов Севера. Причем каждый автор волен был выбрать себе общественного редактора. Нина Груздева обратилась с этой просьбой к Ольге Фокиной, я — к Николаю Рубцову.

В назначенный день я принес рукопись к нему домой. Он не заставлял меня править построчно. Понравившиеся стихи откладывал в одну сторону, не понравившиеся — в другую. Для издательства отобралось около четырехсот строк.

— А над остальными можешь работать...

После окончания Литературного института я стал работать в Грязовце. В октябре 1970 года пригласил Николая Рубцова на небольшой семейный юбилей. Он обещал быть, но не приехал. Тогда я отправился в Вологду. Прихожу на улицу Яшина, где жил тогда Рубцов, поднимаюсь на пятый этаж, звоню условным звонком.

Рубцов болел. На столе рядом с диваном были рассыпаны разнокалиберные таблетки.

— Знаешь, сердце прихватывает...

С моим приходом он смахнул в стол какие-то рукописи, принес с кухни вареную картошку в мундире, селедку, початую бутылку вина.

— Хлеб есть, но черствый: я уже два дня из дому не выходил.

Так и просидели мы до вечера.

— Слушай, ночуй у меня, как-то не хочется оставаться одному.

Мы поставили раскладушку и улеглись, не выключая света. Рубцов не спал до полуночи. Не спал и я. Эх, сгрести бы со стола приторный валидол да уехать вместе с Рубцовым в деревню...

Утром он разбудил меня на поезд. Пора было ехать на работу. На прощанье подарил только что вышедшую свою книгу «Сосен шум». Пообещал как-нибудь приехать: «Вот поправлюсь и тогда...»

Но приехать к Рубцову пришлось мне. И случилось это 19 января 1971 года.

# ВАСИЛИЙ ОБОТУРОВ



## СТИХИ И ДНИ

Поэты приходят к нам часто неожиданно, как открытие. Таким радостным открытием стала для меня крохотная книжечка Николая Рубцова «Лирика» (Северо-Западное книжное издательство, 1965), а чуть раньше — две большие подборки его стихов в журнале «Октябрь». Стихи заворожили и потрясли, хотя не буду уверять, будто тогда же узрел в них великого поэта.

Познакомившись с Николаем Рубцовым в конце 1966 года, с начала следующего я встречался с ним постоянно, иногда изо дня в день, в редакции газеты «Вологодский комсомолец», которую тогда редактировал.

К тому времени в Вологде имя Рубцова было известно еще не многим. Житейские волны долго носили его чуть ли не по всей стране — от Архангельска и Кировска до Ташкента, от Риги и Ленинграда до Алтая, и на родине узнали своего поэта довольно поздно. Летом 1962 года, после долгих лет разлуки, он появился вновь в селе Никольском Тотемского района, где когда-то воспитывался в детском доме. И с тех пор бывал там постоянно. Он любил этот тихий сельский край, хотя знал здесь не только радостные дни.

Зимой 1964 года в Вологде проводился очередной семинар молодых литераторов. Руководили им ответственный секретарь писательской организации С. Викулов, А. Романов, совсем молодой еще В. Коротаев, недавно вернувшийся из армии. Участниками семинара среди многих других были Олег Кванин, Нина Груздева,

Наташа Маслова, Сергей Чухин, Николай Рубцов. Угрюмый и несколько настороженный, он сидел позади всех в сторонке. В перерывах или курил в одиночестве, или беседовал с Борисом Чулковым.

Для обсуждения Н. Рубцов прочитал стихотворения «Видения на холме» и «Родная деревня». Стихи были приняты хорошо. Однако к «злобе дня» и «современности» его тоже призывали. Замечания поэт воспринял с некоторым раздражением — ведь он знал и шумный успех в Ленинграде, и более полное признание в кругу московских друзей-поэтов. В Вологде о творческих исканиях молодого поэта не знали, да и что бы это меняло?..

* * *

К концу 1964 года, когда Николай Рубцов подготовил для издательства свою первую книгу, за плечами его было целое десятилетие работы над стихами, публикации в альманахе «Полярное сияние» (1959) литобъединения Северного флота, в коллективных сборниках «На страже Родины любимой» (1958) и «Первая плавка» (Л., 1961), во флотских и ленинградских газетах.

Кое-какой опыт стихотворца у Николая Рубцова был со школьных лет, но говорить об устойчивых навыках поэтической работы, в ту пору, когда он пришел служить на флот, не приходится. Стихи молодого поэта не отличаются своеобразием. Отражается в них повседневность матросской службы с выходами в дозор, учебными атаками, мечтами об отпуске и встрече с близкими («Матросская слава», «Пой, товарищ!», «Морская служба», «В дозоре», «Возвращение», «Учебная атака», «Отпускное»). Но уже по ним видно, что Н. Рубцов умеет улавливать интересные детали, свежие образы, динамически передавать развитие событий, подбирая необходимо точный интонационный ключ.

Вот, скажем, концовка стихотворения «В дозоре», которая впечатляет наглядностью морского простора и ощущением физической мощи стихии:

*Одни лишь волны*
*буйно*
*под ветрами*
*Со всех сторон —*
*куда ни погляди —*

*Ходили,*
*словно мускулы,*
*буграми*
*По океанской*
*выпуклой груди...*

Порою молодой поэт схематичен, не всегда справляется с композицией, грешит дидактикой. Однако он чувствует слово, умеет строить фразу, добиться точности строки, учится находить соответствие картины и настроения.

Интересно, что уже тогда Николай Рубцов увереннее был в пейзаже, нежели в стихах на гражданские темы. Взгляд его обретал остроту, поэтическая речь — гибкость и раскованность.

*Вьюги в скалах отзвучали.*
*Воздух светом затопив,*
*Солнце брызнуло лучами*
*На ликующий залив.*
*Ветра теплое дыханье,*
*Звоны легкие волны...*
(«Май пришел»)

Душевное состояние поэта находит отклик в картине, открывающейся ему, и его улыбчивая радость сквозит в шутливом признании: «Так и хочется заданье получить от старшины!» Уже пробивается юмор, столь характерный для зрелых стихов Николая Рубцова.

В поисках своего пути в поэзии пишет Н. Рубцов и стихи откровенно субъективистские, в которых всецело подчиняется своим настроениям, чаще всего невеселым, отчаянным, злым. Цикл таких стихов создан им в отпускную пору осенью 1957 года в Приютине под Ленинградом. Обращался он к ним и вернувшись со службы на флоте. В импровизированном сборнике «Волны и скалы» некоторые из них объединены в цикл «Ах, что я делаю?» Молодой поэт выплескивает свою душу в строки, желая, кажется, добиться только одного — полного совпадения переживания и слова. И во многом достигает цели.

Стихотворения «Утро утраты», «Не пришла», «Ненастье», в которых Н. Рубцов уже овладевает стихией настроений, свидетельствуют о напряженной духовной жизни поэта. Цикл «Звукозаписные миниатюры» открывает его творческую лабораторию — поиск в образе единства звука и слова. Очень характерны для этого

поиска стихотворения «Левитан» и «Старый конь», которые поэт опубликовал позже, избавив их от излишней «звукописности». Привлекает необычной «геометрической» образностью «Утро перед экзаменом». Каждое из подобных стихотворений индивидуально. Молодой поэт понимает, что ходить в поэзии проторенными путями — занятие малопочетное, и не стремится тут же использовать удачный прием. Он ищет снова и снова, пробует необычные сочетания, отбрасывает одно и варьирует так или иначе другое. И постепенно очерчивается круг интересов поэта, выявляются излюбленные приемы в их внутренней, содержательной осмысленности. Начинает складываться собственный поэтический мир Николая Рубцова в его органичной многомерности и полнозвучии.

Обращаясь теперь к флотским впечатлениям (главным образом рыбацким), Н. Рубцов становится гораздо разнообразнее, чем раньше, в выборе тем, в изображении картин и настроений. Он умеет изобразить труд, передать настроение работающего рыбака, с усиленным вниманием присматривается к сценам берегового быта. «В океане», «Шторм», «Хороший улов», «Старпомы ждут своих матросов» — эти стихотворения хорошо известны читателям.

Пытается Н. Рубцов также набросать сельскую сценку и дать ее понимание («Репортаж»), пишет о деревенском мужичке зарисовку в стихах («Лесной хуторок»), обращается к полузабытым деревенским впечатлениям («Эхо прошлого», «На гуляние», «Я забыл, как лошадь запрягают...» и др.). Кажется, будто он вполне усвоил тот сторонний взгляд на деревню, который характерен был в те годы для «среднего» горожанина: взгляд, в сущности, насмешливо-снисходительный, лишенный реального понимания явлений. Но это были только первые подходы к теме, которая станет потом главной темой его творчества. Интересно проследить этот путь по стихотворению «Долина детства», которым он открыл одноименный цикл в рукописном сборнике «Волны и скалы». Первый его вариант — «Желание» — появился не позднее июля 1960 года в коллективном сборнике «Первая плавка», второй — «Долина детства» из сборника «Волны и скалы» помечен 9 июля 1962 года, а третий — «Ось» опубликован в книжке «Лирика» (1965).

Сопоставления вполне отражают поиск поэтом своего пути в поэзии и в жизни. Постепенно тема скитаний

отходит на второй план, как лишь один из моментов жизни, которая проверяется в целом отношением к отчим краям. Поэт ищет родину в стихах и находит ее в своей жизни — вот чем важны эти варианты. Они вполне определенно отражают формирование системы нравственных ценностей у молодого поэта, направление его внутренней душевной работы.

Тема Родины и раньше звучала в искренних и цельных стихотворениях Рубцова «деревенские ночи» (1953), «Первый снег» (1955), «Березы» (1957). Но к началу шестидесятых годов поэт подходит к ней с новыми представлениями, обогатившись знанием и пониманием истории. И это понимание вполне проявляется уже в стихотворении «Видения в долине» (1960). Да, это ныне хрестоматийное стихотворение «Видения на холме», лишь избавленное поэтом от красивости и многословия в стремлении высветить сквозную мысль о Родине, ее тревожных судьбах.

Уже к лету 1962 года, когда составлялся машинописный сборник «Волны и скалы», Николай Рубцов вполне отдавал себе отчет в том, что́ стоят и значат те или иные его стихотворения, умел их четко разграничить. «Кое-что в сборнике (например, некоторые стихи из цикла «Ах, что я делаю?»),— отмечал он в предисловии — слишком субъективно. Это кое-что интересно только для меня, как память о том, что у меня в жизни было. Это стихи момента...» Как видим, оценка очень верная и определенная, что очень характерно для поэта.

От деревенского детства Николай Рубцов ушел к широким океанским просторам, в тесноту городов с пестротой их быта, чтобы снова вернуться к русской деревне и оттуда увидеть, с учетом всего своего опыта, весь мир и человека в нем. В беспокойной жизни своей поэт обрел не только живую чуткую душу, но и чувство истории и чувство пути. Без этих качеств истинного поэта не бывает. Но обрел он их не сразу, в настойчивом поиске своей индивидуальности, в упорном отстаивании своей самобытности.

* * *

Всего того, что было за плечами Николая Рубцова к середине шестидесятых годов, повторяю, не знали и его

ближайшие друзья: он не любил рассказывать о себе, не хвастал своими публикациями. И все-таки в Вологде поэт нашел взаимопонимание и признание.

Радушие и уют, которым делились с Николаем Рубцовым многие, помогали ему не только пережить бездомность, но и продуктивно работать все эти годы. У него появились в Вологде друзья, своим человеком он чувствовал себя и в редакции молодежной газеты.

В редакции Рубцов появлялся то в сером костюме, темной рубашке со светло-серым галстуком сплошными крохотными ромбиками, то, несколько позже, в новом коричневом костюме в тонкую серую полоску и белой рубашке с зеленым галстуком. Ботинки и пальто поношенные, но аккуратно вычищенные, и пресловутый длинный шарфик не висел, как попало, а снимался вместе с пальто, когда он усаживался с ребятами играть в шахматы...

Обращала на себя внимание смугловатая бледность его узкого лица с большим лбом, а карие при добром расположении глаза в гневе темнели. Говорили о его вспыльчивости и нетерпимости — и говорили во многом напрасно. Мне довелось не раз видеть его возмущенным, и не помню, чтобы он был не прав.

Хамского пренебрежения Николай действительно не терпел. Чем он вызывал раздражение людей определенного сорта, трудно сказать, то ли какой-то особой внутренней сосредоточенностью, то ли цепкостью быстрого взгляда, который был «не как у всех»... А между тем выглядел он скорее незаметно, чем вызывающе.

Навязчивости в Рубцове не было никакой, пьяным за три почти года мне не довелось его видеть ни разу, и потому многое в россказнях о нем представляется досужим вымыслом. Да, чуть выпивши он появлялся не раз. Однажды вошел ко мне, с порога, глядя прямо в глаза, расстегнул пальто.

— Давай выпьем немножко...— сказал и выжидающе смотрит, улыбаясь.

— Служба ведь, Николай,— я развел руками.

— Так у меня шампанское...— а глаза светятся мягко и застенчиво.

И это было обычным для него — не показаться назойливым. Когда же он был почему-либо не в духе, мог вообще на весь белый свет пенять и на каждого.

Печатали его в эти годы у нас в газете много, любовно

оформляли подборки рисунками Генриетты Бурмагиной. Она теперь заслуженный художник РСФСР, позже вместе с мужем Николаем Бурмагиным удачно оформила «Избранную лирику» (1974, 1977) Н. Рубцова.

Приносил Николай стихи, протягивал:

— Посмотри.

И выжидательно глядит, выясняя впечатление, угадывая, понято ли.

Ни разу не случалось, чтобы он упрашивал печатать то или иное стихотворение, настаивал. Свои оценки он высказывал прямо и откровенно, если не сказать, резко и зачастую не считал нужным их как-то аргументировать. И сам соответственно прямоту принимал спокойно. Но фальши терпеть не мог, ложь угадывал сразу, как и неискренность — и сразу утрачивал интерес к собеседнику, равнодушно и откровенно замолкал, отходил в сторону, не умея и не желая вести игру в «приличия». Может быть, поэтому он и не вписывался ни в какую «систему», всегда оставался самим собой.

* * *

Осенью 1967 года вышла «Звезда полей» Николая Рубцова. Выслушал он немало похвал, но оставался к ним равнодушен. Высказывались о книге или нет — он знал, что ее читали, чувствовал истинное отношение к его стихам по интонации, по тому, как к нему обращались... Видимо, перегорел человек ожиданием: ведь столько вошло в эту книгу из давних-давних стихотворений, цену которым он представлял уже тогда и от которых теперь далеко-далеко ушел...

Прием в Союз писателей Николай Рубцов тоже прошел как должное, без особых восторгов. И к литинституту уже охладел в то время, заканчивая его только по необходимости. Он знал, что его дипломная работа — «Звезда полей» выполнена вовсе не на студенческом уровне.

В писательской организации отношение к Рубцову было не только благожелательное, но и уважительное. Нельзя сказать, что здесь его поэзия сразу была оценена по достоинству, но внутренняя «расстановка сил» своего рода установилась спокойно, как бы сама собой. С ответственным секретарем Александром Романовым сложились

у Николая Рубцова добрые дружеские отношения. И в работе писательской организации он принимал постоянное участие; бывал на собраниях и на встречах с читателями, рецензировал рукописи, давал консультации.

Кстати, консультации давал он и в молодежной газете, а с сентября 1969 года недолго даже работал в ее штате, отвечая на письма начинающих стихотворцев. Сохранилось довольно много рецензий Н. Рубцова на рукописи, присланные в писательскую организацию, несколько статей и обзоров, опубликованных в газете. Эти материалы, по сути своей рядовые, рабочие, ни на что особо не претендующие, как и выступления Рубцова на собраниях, дают некоторую возможность представить его суждения о литературе, о поэзии. Возможность тем более ценную, что рассуждать о поэзии он не любил.

В своих немногословных, да, надо сказать, и нечастых выступлениях на собраниях Вологодской писательской организации Николай Рубцов неизменно отстаивал искренность и самостоятельность в поэзии. Так, хотя у Нелли Старичковой «слабый голосок в поэзии», но стихи ее «не подражательны, самостоятельны», говорил он в апреле 1969 года. Тогда же Рубцов отмечал слепое следование литературным образцам, заметное в стихах Германа Александрова. А выступая 8 сентября 1969 года на обсуждении журнала «Север», Н. Рубцов обратил внимание на то, что «слишком однообразен» поэтический тон журнала», «отдается предпочтение безликим стихам», отстаивал право поэта на элегию, которая плохо принимается в редакциях, и высказывал пожелание: «больше доверия к хорошим стихам».

Чтобы избежать необходимости подробно говорить о рецензиях Николая Рубцова на рукописи, приведу выдержку из одной — мысли ее потом не однажды повторяются, они были, видимо, особенно дороги поэту.

«Когда я говорю Вам, что тема вашего стихотворения старая и общая, это еще не значит, что я вообще против старых тем. Тема любви, смерти, радости, страдания — тоже тема старая и очень старая, но я абсолютно за них и более всего за них!

Потому я полностью за них, что это темы не просто старые (вернее, давние), а это темы вечные, неумирающие. Все темы души — это вечные темы, и они никогда не стареют, они вечно свежи и общеинтересны.

В Вашем же стихотворении, как я уже говорил, нет

оригинального настроения, т. е. нет темы души. Вы, очевидно, думаете, что достаточно взять какую-либо тему современного прогресса, особенно популярную, и уже получится поэтическое стихотворение. Но это далеко не так. Хорошо, когда поэт способен откликаться на повседневные значительные события жизни, общества. Но надо сначала своими стихами убедить людей в том, что Вы поэт, чтобы к Вашим словам относились с вниманием и интересом, а потом уже откликаться на эти значительные события.

Так что главное для Вас, я думаю, попробовать сначала свои силы в умении выражать свои душевные переживания, настроения, размышления, пусть скромные, но подлинные. Поэзия идет от сердца, от души, только от них, а не от ума (умных людей ужасно много, а вот поэтов очень мало!). Душа, сердце — вот что должно выбирать темы для стихов, а не голова...»

Здесь Рубцов стремится говорить на языке, понятном неопытному стихотворцу, однако и его собственные представления открываются достаточно определенно.

Конечно, уровень начинающих авторов, стихи которых по просьбе Вологодской писательской организации рецензировал Николай Рубцов, не давал возможности вести разговор по большому счету. Но он и тут внимателен и серьезен, доброжелателен и взыскателен, идет ли речь о прозе Н. Разживиной, М. Гурьева, А. Згеева или о стихах А. Расхожева, Г. Кухтина, В. Цимлякова и многих других.

В любом случае Н. Рубцов ищет доброе, обнадеживающее начало в рукописях людей, не обладающих литературным опытом. Он снова и снова повторяет в своих рецензиях мысль о необходимости настойчивой работы над словом, над образом, над собой.

С большой определенностью представления Николая Рубцова о поэзии проявились в двух его небольших заметках: «Настроив душу на добро» — о первой книжке Сергея Чухина и «Подснежники Ольги Фокиной».

Десять стихотворений С. Чухина в его сборничке «Горница» из поэтической кассеты «Сполохи» (1968) дали Н. Рубцову возможность показать и основные особенности почерка молодого поэта, и ограниченность его творчества. И все это — на одной буквально страничке!

Он отмечает у Чухина, с одной стороны, «лиризм с веселым северным говором и темпераментом, с тягой

к ясному поэтическому выражению и образу», а с другой — стихи, «написанные в интонации раздумья, хорошим, но уже лишенным диалектного говора языком». В них-то и почувствовал Рубцов перспективы будущего развития С. Чухина.

Не ошибся Николай Рубцов в оценке первого робкого шага молодого поэта, которого предупреждал, что у него «узок еще круг поэтических тем, еще не отличаются они, эти темы, глубиной и силой... и арсенал изобразительных средств пока еще недостаточно богат и разнообразен». Сейчас Сергей Чухин опубликовал уже шестой сборник стихов, стал членом Союза писателей.

В основных чертах сложившаяся к 1966 году поэтическая манера Ольги Фокиной дала Николаю Рубцову возможность для более широких обобщений. Он высказывает свое определение, кто есть поэты: это — «носители и выразители поэзии, существующей в самой жизни — в чувствах, мыслях, настроениях людей, в картинах природы и быта». Формулирует Н. Рубцов и те критерии, которые определяют ценность поэзии. «Органичность выражения, сложность и глубина содержания, совершенство и простота формы,— пишет Рубцов,— вот те подснежники, которые ищут все поэты, в том числе и Ольга Фокина...»

Природа русского севера, «мокрого угла», по словам Н. Рубцова, своими многочисленными приметами отразилась в стихах Ольги Фокиной. Можно усмотреть эти приметы как внешнюю экзотику, иллюстративность, но в стихи Фокиной они вошли «органично», стали «фактом поэзии» по той причине, поясняет Рубцов, что «все это не придумано и является не мелкой подробностью, а крупным фактом ее биографии, ее личной жизни, судьбы».

И еще одну важную особенность поэзии Ольги Фокиной отметил Николай Рубцов — «слияние двух традиций — фольклорной и классической». Такое слияние он считал особенно примечательным, поскольку оно, по его словам, «обновляет, если можно так выразиться, походку слова».

И, наконец, главное в поэзии Ольги Фокиной видится Рубцову в том, что «она пишет о самом простом и дорогом для всех — о матери, о любви, о природе, пишет о своей судьбе, а также о судьбе земляков. Все это по-человечески очень понятно и привлекательно и поэтому находит отклик».

Суждения Николая Рубцова выражены настолько ясно и определенно, что не нуждаются в особых комментариях. Он утверждает изначальность связи поэта с жизнью народа и на этой основе — самовыражение как способ раскрытия духовного мира человека в поэзии.

Спустя пятнадцать лет статья «Подснежники» Ольги Фокиной» стала предисловием к ее книге «Буду стеблем» (М., Мол. гвардия, 1979), настолько точно во всех измерениях определил Николай Рубцов особенности ее творчества.

Общие суждения поэта можно применить и к анализу его собственного поэтического мира — и это не только правомерно, но и необходимо. Ведь, в конце концов, Н. Рубцов формулирует здесь законы творчества, которые считает обязательными и для себя.

Сам Николай Рубцов в последние годы много работал, выпустил книги стихов «Душа хранит» и «Сосен шум», подготовил избранное — сборник «Зеленые цветы», который вышел уже посмертно...

* * *

Осенью 1968 года Николай Рубцов получил комнату в квартире-общежитии на Красноармейской набережной, на излюбленном им берегу Вологды. Жилье радовало поэта только поначалу: это все-таки было общежитие, и надо было приспосабливаться к соседям, а приспосабливаться Рубцов уже не хотел. Жизнь его и работа шли нервно, и к тому времени, когда следующим летом Рубцов переселился в однокомнатную квартиру на улице Александра Яшина, всего в двух кварталах от реки, он был немало измотан. Успокоение наконец пришло, но теперь уже и одиночество было поэту в тягость.

Зашел я с ним как-то раз в квартиру, подивился пустоте, неуюту, которые, видимо, за долгие годы бездомности стали привычными (хотя, бывая у друзей, Николай остро подмечал уют, устроенность и быстрее в этих случаях привыкал к новой обстановке). У стены напротив окна стоял диван, к нему был придвинут стол, в пустом углу у окна лежала куча журналов, малость обгоревших.

— Засиделся вчера долго и заснул незаметно, абажур зашаял, от него и журналы,— равнодушно пояснил Николай, заметив мой взгляд.

...Человек принят в Союз писателей, книжки у него выходят, есть наконец у него собственное жилье, а настоящего удовлетворения жизнью нет как нет. Он рано созрел как поэт и сознавал себя по праву поэтом истинным, а признание и нормальные условия жизни заставили себя ждать так долго...

Он, однако, не жаловался и будто сам стыдился своей необеспеченности и неустроенности, тайно мечтая об уюте и душевном участии и не надеясь, видимо, обрести их.

Внешне он стал гораздо спокойнее. Все реже встречал непонимание своих стихов, тем более — открытое непризнание, а чаще замечал заискивающую комплиментарность. Но что это ему! Настороженность уступила место видимому равнодушию. Он просто не обращал внимания на то, что ему было неинтересно, но среди близких по духу людей был человеком открытым, хотя и не из разговорчивых. Встречая старых друзей, умел быстро находить с ними прежний доверительный тон.

И все-таки ясно, что душевного равновесия в последние годы Николай Рубцов не находил. Он явно ощущал какой-то перевал в своем творчестве, иногда пугался этого. Наверное, потому, что очертания будущих путей для него самого еще не прояснились. Но нет сомнения, что поиск подсказал бы ему новые возможности. Например, попытку работать в необычном для Рубцова ключе я вижу в написанной им осенью 1968 года лесной сказке «Разбойник Ляля», которая резко отличается от всего им созданного и которую он очень ценил. Короче, ситуация безысходной не была — жизнь открыла бы перспективы развития так или иначе.

В крещенскую ночь 1971 года злая безрассудная воля оборвала дни Николая Рубцова, поэта, который писал:

*Все умрем.*
*Но есть резон*
*В том, что ты рожден поэтом,*
*А другой — жнецом рожден...*
*Все уйдем.*
*Но суть не в этом...*

Не в этом, верно. Но если бы «суть» нас еще и согревать могла...

# АЛЕКСАНДР РАЧКОВ



## СВИДАНИЯ С РУБЦОВЫМ

Рубцов в мою жизнь вошел задолго до той первой встречи. А открыл его для меня Василий Елесин, с которым мы учились в Ленинградском университете на заочном отделении.

Время летней сессии совпадало с чарующим периодом белых ночей. Обычно сдержанный, малоразговорчивый, склонный к тихой задумчивости, Василий поразил меня своей оживленностью.

— Ты знаешь, а в Тотьме объявился поэт, которого у нас никто не знает...

— Кто?

— Николай Рубцов!

— Не слыхал такого,— признался я.

— О чем я и говорю. А талантище большой. Я уверен: скоро о нем заговорят. Это видно по первым его стихам. Послушай...

*В горнице моей светло.*
*Это от ночной звезды.*
*Матушка возьмет ведро,*
*Молча принесет воды...*

Ты чувствуешь, как родственно отзывается в душе настроение поэта, хотя он ставит в ряд и рифмует самые обыкновенные слова?

— Да-а...— Слова действительно были самые «домашние», и потому трогательные. «В горнице»... «Матушка»...

В молочной дымке ночного рассвета даже вздыбленные спины мостов на мгновение показались колодезными

журавлями. Так хорошо запахло Русью. А Василий читал дальше:

*Красные цветы мои*
*В садике завяли все,*
*Лодка на речной мели*
*Скоро догниет совсем.*

*Дремлет на стене моей*
*Ивы кружевная тень,*
*Завтра у меня под ней*
*Будет хлопотливый день!*

*Буду поливать цветы,*
*Думать о своей судьбе,*
*Буду до ночной звезды*
*Лодку мастерить себе...*

Это первое стихотворение Николая Рубцова, которое услышал я на берегах Невы. Оно так запало в душу, что и последующее знакомство с творчеством поэта не затмило начального впечатления.

Встреча произошла неожиданно, хотя я все время ждал ее. Комнатка Вологодской писательской организации находилась тогда в одном коридоре с редакцией газеты «Вологодский комсомолец». И обыкновенная дверь со скромной табличкой, в тесном соседстве со строгой вахтенной службой, манила и влекла: там, за дверью, часто было говорко и хохотно.

В тот день 1966 года за дверью было тихо, но я отворил ее. И сразу же на диване увидел знакомую фигуру человека, хотя никогда с ним не встречался. Он сидел, нога на ногу, сцепив на колене руки, чуть подавшись к столу, за которым находился Александр Романов, ответственный секретарь писательской организации. Они беседовали. Я хотел было закрыть дверь, чтобы не мешать, но Романов требовательно замахал рукой:

— Саша! Заходи-заходи!

Я не противился: ведь на диване сидел Николай Рубцов. Сколько раз Василий Елесин описывал его внешность так, что, увидев, нельзя было ошибиться. Душа трепетала от встречи, от лукавого чувства: я знаю его, а он меня — нет!

Всего два шага — и мы сошлись в рукопожатии. Я отметил, что он одного со мной роста, но уже в плечах, что рука у него цепкая, но жесткая. Голова, с высоким лысым лбом, казалась выточенной вместе с длинной

ровной шеей, которую свободно облегал ворот белой рубашки.

— Николай Рубцов,— представился он коротко, словно не договаривая что-то, и уставился пристрельным взглядом темно-карих глаз, в глубине которых, как далекие бакены, вздрагивали огоньки.

— Знаю... Слышал... Читал...— рублю, как на уроке у строгого учителя.— Большое спасибо за настоящие стихи.

Перехватываю взгляд, брошенный на Романова: «Мол, видишь, как?» Представляюсь, а Романов добавляет:

— ...Журналист, гармонист и тоже бывший моряк. Одним словом, флотский парень...

— Помню... Вася Елесин говорил мне о... тебе...

Мы сели рядом, но разговориться не успели: вошли Василий Белов и Александр Сушинов, шумные и агрессивные. Поздоровались поспешно, потеснили нас на диване, отделились друг от друга клетчатой доской и сгорбились над истертыми шахматными фигурами.

Так состоялась моя личная встреча с Николаем Михайловичем Рубцовым.

## ПОДАРОК

Чаще всего встречи с Николаем Рубцовым были случайными, но каждая из них была для меня своеобразным подарком. От сознания, что неподалеку от меня существует этот человек, легче жилось, дышалось и думалось. Но, как жилось и думалось поэту, я не знал. Лишь смутно предполагал по стихам да по мимолетным наблюдениям: окно в мир своих переживаний он держал пока для меня закрытым. Всякий раз Николай был разный, неповторимый не только в поведении, но и в мыслях. Лишь непреходящей тоской и беспокойством жили его глаза. Но на новоселье Гурия Прусакова, ответственного секретаря городской газеты «Сокольская правда», я увидел Рубцова в другом свете.

Мы с журналистом Александром Анфимовым на редакционной машине поехали в Вологду за подарком новоселу. Уже смеркалось. Город весь украшен флагами, разноцветными полотнищами, на зданиях парадной площади — портреты руководителей партии и правитель-

ства в обрамлении электрических лампочек, уже зажженных в бледном сумраке. Кой-где начали вспыхивать и неоновые огни магазинных вывесок и реклам. Сновали по улицам возбужденные люди: всего два дня оставалось до 7 ноября 1966 года. Среди этой наэлектризованной публики я вдруг увидел и узнал ссутулившуюся фигуру Николая Рубцова. Он был в берете, в демисезонном пальто с поднятым воротником, который защищал от знобящего ветра шею, небрежно замотанную шарфом. Руки, засунутые в карманы, угловато топорщились локтями и служили своеобразной защитой от чрезмерно невнимательных встречных и обгонявших. Ветер в этом узком пешеходном проулке шумел, как на морском причале, и потому Николай не услышал моего зова и встрепенулся, когда я взял его за локоть.

— Сашка! Ты откуда взялся?

Вопрос был задан так, как будто я до этого времени находился, по крайней мере, на Земле Франца-Иосифа. В глазах — лихорадочный блеск и ожидание.

— Да вот... приехали с Анфимовым выбирать подарок Прусакову.

— А что у него?

— Новоселье! — ответил я и взглянул на Анфимова, ибо у меня блеснула мысль: а не пригласить ли нам и Рубцова на это торжество? Гурия Ивановича Прусакова Николай знал: не раз приносил ему стихи. А однажды, получив аванс, но не успев на другой день зайти в редакцию, как обещал, он выслал стихи по почте из вологодского аэропорта, подчеркнув двумя линиями оговоренную перед авансом дату, восхитив Прусакова точностью исполнения своего слова. Поэтому я был уверен, что Гурий Иванович будет рад. Да и мне хотелось побыть рядом с Рубцовым. В друзьях мы, конечно, еще не были, но знакомство уже имели не шапочное: сиживали у меня дома, решая мировые проблемы и взахлеб играя на гармонике, и первая книжица поэта уже лежала на моем столе с его автографом. Я считал, что имею право «вмешаться в личную жизнь Рубцова». На мой взгляд Анфимов ответил согласием, и решение было принято, но для порядка я спросил:

— Ты куда правишься?

— Иду-плыву навстречу людям. Хочу заразиться их здоровьем и жизнерадостностью,— без улыбки ответил Николай и пытливо сощурился на нас.

Я дружеским жестом взял Рубцова за плечи, заглянул в его глаза и предложил:

— Слушай, айда с нами... на новоселье?!

— А это удобно? — быстро спросил Николай, словно ждал такого предложения, и от явного волнения стал старательно смыкать на груди лацканы пальто. Заметив мой взгляд на своих руках, с едва скользнувшей по губам улыбкой спокойно произнес, как бы между прочим: «Перчатки в кармане». Я почувствовал жаркий прострел на кончиках своих ушей. А потому начал заминать неловкость бурным многословием:

— Какое может быть неудобство! Ты что, Николай! Ты же не в качестве свадебного генерала там будешь, а желанным гостем. Так что, поехали?..

— Гурий Иванович хоть и газетный, но все равно начальник. А я не умею с этим братом ладить... Пытаюсь иногда, но не получается.

— Николай, это ты брось. Какой же Гурий начальник! Он журналист. Притом без ума от тебя. А ко всему этому — ты идешь туда со мной,— самонадеянно заявил я, но, снова почувствовав неловкость, добавил:

— Там гармошка моя будет!..

— Хорошо, ребята. Спасибо. Я еду с вами, только мне бы побриться надо, а то видите,— и Николай скользнул рукой по подбородку справа налево.

Парикмахерская располагалась совсем рядом от места нашей встречи, и мы зашли в тесный от посетителей зал, где на нас дохнуло теплом, светом зеркал и зноем дурманящих запахов парфюмерии.

Когда вопрос зашел о подарке, Рубцов, не раздумывая, предложил купить гитару и тут же присоединил свою пятерку, быть может, последнюю. Мы с Анфимовым переглянулись. Помолчали, но сказать все-таки пришлось:

— Не надо Прусакову гитару.

— Почему не надо? Дареному коню в зубы не смотрят,— заключил Рубцов.

— Мудрость эта верна,— согласился я,— но Гурий Иванович пришел с войны с перебитой рукой. Какой же из него гитарист?

— Ранена у него правая рука? — не унимался Николай.

— Правая,— ответил я, не понимая пока смысла вопроса.

— Вот. Главная рука у гитариста — левая. Если пишет правой рукой, то и струны поперебирает.

— Но человек может этим подарком оскорбиться? — терял я терпение.

— Ладно... А сын у Гурия Ивановича есть? — с надеждой спросил Рубцов, уже готовый отказаться от своей затеи.

— Есть, но еще маленький.

— Так что вы мне голову-то морочите? Покупаем гитару и дело с концом. А маленький сын будет большим. Неужели это не ясно?..

И вот мы едем в Сокол. Николай Рубцов расположился на первом сидении, настраивая струны гитары «на сердечный лад». Свет фар резал уже плотную темень, и наш водитель Василий Тихомиров, внимательно следивший за дорогой, успевал бросать косые взгляды на Рубцова. Повидавший писательской братии, с которой умел держаться с дерзкой независимостью, он терпеливо молчал, даже когда гриф гитары мешал при переключении скоростей: Василий был гармонист, и потому как музыкант понимал нетерпение другого музыканта испробовать инструмент.

...Торжествующий взгляд Рубцова был красноречивее всех слов, когда Гурий Иванович Прусаков с радостью принял подарок.

## НОВОСЕЛЬЕ

Рубцов сидел за столом, обласканный вниманием общества. Слева сидела поклонница его таланта Тамара Киселева, справа — журналист Валентин Аносов, бывший моряк-североморец, с которым Николай и соседствовал весь праздник, влюбленный в его мужицкую силу и в доверчивую, как у ребенка, душу. Первые тосты и поздравления сделали гостей общительнее, говорливее. Меня разнежило присутствие Рубцова и не тянуло даже к гармошке, которая стояла под столом у моих ног.

И вот только что купленная гитара уже уютно разместилась на коленях поэта. Настроенные струны чутко отозвались на прикосновение трепетных пальцев. Нет, Рубцов не играл на гитаре в общепринятом понимании, не аккомпанировал даже — он пел свои стихи с гитарой

дуэтом. Струны звенели, ревели, дребезжали, вздрагивали и затихали в унисон движениям и голосу певца.

Душа и пальцы работали в удивительном согласии... Это чувствовал (я видел) и сам поэт. Он сидел улыбающийся, довольный собой, и от похвал даже не смущался. А когда хозяин торжества еще раз попросил спеть «В горнице», Рубцов стремительно встал и через стол протянул руку Прусакову:

— Гурий Иванович, спасибо! Ты меня понимаешь.

Близость этой песни была понятна. Прусаков тоже рано осиротел и воспитывался без матери, ощутив весь холод бесприютного детства.

...И Рубцов пел, что требовала душа. «В минуты музыки», «Звезда полей», «Над вечным покоем», «Морошка», «Осенняя песня». Иногда казалось, что он никого вокруг себя не замечает, настолько отрешенный вдруг становился взгляд, устремленный в ему одному видимую даль. Но вот песня закончена, и ощущение причастности к окружающему в данный момент миру появляется на лице поэта: на благодарность слушателей он отвечает светлой улыбкой и смущением. А я, счастливый и одновременно несчастный в этот миг ревнивец, ждал своего часа: гитара — не мой инструмент. Но и гармонь в руках Рубцова пела по-особому, когда он сам был настроен «на душевный лад». А это был его вечер, его настрой. И в темной рубашке он выглядел светло и нежно, порозовевший от застолья и внимания. И казался таким молодым и счастливым, что, глядя на него, и мне захотелось превзойти самого себя.

— Николай! А ну-ко ту...

— Да я...

— Ничего, подпляшусь...

В этот миг, кроме нас, никого нет: он играет — я пляшу. Глаза в глаза. Потом Николай, как по команде, поворачивает голову влево (так некоторым гармонистам легче играть), и я увидел на шее вздувшуюся от напряжения вену. По душе, как кнутом, стегнуло: человек из всех сил выкладывается, а я дурацкой ревностью мучаюсь. Подобрал дробь под не совсем четкий перебор и спел частушку. Чувствую, музыка легла ровно, и меня, как на плавной качели, без рывков и ускорений повела рубцовская мелодия дальше — от частушки к частушке. А когда сел, отдышался, подошел Николай и спросил:

— Ты можешь повторить песню, где «ночки темные, осенние спокою не дают?»

На слове «спокою» он сделал ударение. Я тут же спел:

*Ночки темные, осенние —*
*Частые дожди льют,*
*А глазки серые, веселые*
*Спокою не дают.*

— Ну, спасибо. А я думал, что ослышался. Вот ведь как: неправильно, а красиво. Я не понял тогда вариации: «спокою» — «покоя» — и я в запальчивости ответил:

— Из песни слова не выкинешь. Не я же частушку выдумал.

И Рубцов захохотал, приклоняясь к коленям и прихлопывая по ним ладошками. Хохотал он красиво, ровно. Больше я такого смеха не слышал.

Так я всерьез рассердиться и не смог. Николай подсел к Тамаре Киселевой, спел ей эту частушку, акцентируя опять внимание на слове «спокою» и неожиданно предложил:

— А вы, девушка, не желаете выйти за меня замуж?

Получив в ответ смущенное молчание, он со вздохом «ах» махнул рукой и сказал:

— Саша, я плясать хочу.

Никогда мне Рубцову играть плясовую не приходилось, но чувство подсказывало, что частые переборы тут не подойдут. Я заиграл «Барыню». И под плавный выход вывел Николая на середину пола. И не ошибся. Он больше дирижировал руками, вскидывая их вверх, чем перебирал ногами. А при каждом присоединении всхохатывал, словно окунался в холодную воду. Потом он остановился против меня, и, покачиваясь из стороны в сторону, спел частушку, услышанную от меня:

*Ветры сильные, холодные*
*На Севере у нас,*
*Не могу забыть Катюху*
*И ее веселых глаз...*

Ночевать ко мне Рубцов не пошел, сославшись на длинную дорогу (а идти надо было пешком), и остался у Прусакова. Утром я поспешил к Гурию Ивановичу. На диване с младенческим видом сидел Валентин Аносов, а рядом Николай с такой тоской в глазах, что вмиг реветь захотелось. Кроме них, в квартире никого не было.

— Что-нибудь случилось? — поинтересовался я.

— Вчера меня убить хотели,— словно из какой-то драмы, почти пропел Рубцов.

— Кто?

— Сам хозяин.

— Как это так?

— Из двухствольного ружья... в упор...

— Погоди, погоди, Николай, говори толком. Я ничего не соображаю...

Хлопнула дверь, и в комнату шумно вошел Гурий Иванович. Увидел меня, воскликнул:

— Ну, мать честная, так я же на тебя не рассчитывал!

— Ты лучше скажи, что здесь произошло?

— Вот люди! И пошутить нельзя. Уже рассказали,— весело хохотнул Прусаков и поставил на стол бутылку красного вина.

— Ну, на посмотри! — шагнул он в спальню, принес ружье и, переломив его, показал на зияющие отверстия пустых стволов:

— Не заряжено же оно. Да и какой охотник держит в избе заряженное ружье! Припугнул для порядка. Мы спать все легли, а они сидят и сидят, пьют, бубнят. Говорил словом добрым — не понимают. Вот и схватил ружье. Аносов хоть бы бровью повел, а Рубцов побледнел. Мне говорит, Гурий Иванович, еще рано умирать. Честное слово, чудаки...

## СЕНТЯБРЬСКИЙ ВЕЧЕР

Он так же памятен, как и все встречи с Николаем Михайловичем Рубцовым. Для вологжан это был своеобразный праздник: в городском Доме культуры проходил литературный вечер. В зале — полным-полнешенько. На сцене — стол под зеленым сукном. Теснясь друг к другу, сидят Василий Белов, Виктор Коротаев, Николай Рубцов, Сергей Чухин, а чуть поодаль Александр Яшин и Александр Романов, ведущий эту встречу.

Вот из-за стола вышел Виктор Коротаев, которому было предоставлено право выступить первому. Он прочитал несколько стихов из цикла «Липовица». Василий Белов прочитал отрывок из новой повести «Плотницкие рассказы», Сергей Чухин — стихи «Шуршат сухие ив-

няки» и «Горлинка», Александр Романов — «Серьезный разговор». А Александр Яшин прочитал стихи из будущей книги «День творения».

Все было как обычно, когда встречаются писатели с читателями. Самой яркой и впечатляющей фигурой, безусловно, был Александр Яшин. Никто не знал и не мог даже предполагать, что это последнее выступление поэта на своей родине. Быть может, только он сам, терзаемый болезнью, тревожно вслушивался в себя и невольно подводил итог своей суровой жизни. Потому так чутко и внимательно он вглядывался в младших братьев по перу, и всего пристальнее следил за Рубцовым.

Правда, в зале имя Николая Рубцова заметного оживления не произвело, хотя Александр Романов объявил его с особенным ударением. Для того времени это не удивительно. Поэт не так уж часто печатался в местной периодике, а первая настоящая книга его стихов «Звезда полей» только что вышла.

Да и сама внешность поэта, если и привлекала внимательный взгляд, то только неброской скромностью одежды и напряженно-нервным аскетическим лицом с высоко оголенным лбом.

В тот вечер Николай Рубцов был в коричневом в темную полоску костюме, с аккуратно отточенными (по-флотски) стрелками на брюках, голубой рубашке без галстука и простых черных ботинках с блеском на носках.

Заметно было его волнение. И не потому, что перед ним переполненный зал (хотя это тоже влияло), а чувствовал на себе он пристальный взгляд Александра Яшина, к которому питал особое отношение. Рубцов прочитал свое любимое «В минуты музыки». Вдохновенно, отбивая правой рукой в воздухе такт и чуть склонив голову набок, словно вслушивался в музыку своего стиха.

К сожалению, слушатели не сумели в полную меру оценить тогда светлое и проникновенное чтение поэта, как и само произведение. Николай почувствовал вежливые аплодисменты, обязательные в таких случаях, огорчился, но скорее на себя, чем на публику. В конце вечера лицо его просветлело. Не любитель давать автографы, в ту встречу Рубцов охотно подписывал «Звезду полей». Его радовала не столько церемония подписания, сколько сами люди, в руках которых он видел свою книжку.

И вдруг к нему подошла девушка с первой его книжечкой «Лирика». Пальцы Николая нервно вздрогнули. Он внимательно посмотрел на девушку, а та смутилась и скороговоркой ответила: «А мне «Звезды полей» не досталось. Все разобрали уже. И вот только теперь эта...»

Рубцов вдруг улыбнулся широкой радостной улыбкой и весело ответил:

— Эко диво. На небе звезд на всех нас хватит... только вот тут я одно словечко исправлю.

Он привычно распахнул книжечку, как бы невзначай прикрыл левой рукой свой портрет со следами усердной ретуши, и в стихотворении «Родная деревня» зачеркнул слово «прохожий», а над ним аккуратно написал «проезжий».

— Вы не против моей вольности? — спросил Николай девушку.

— Ой, что вы, пожалуйста. Большое спасибо...

После встречи в городском Доме культуры состоялся ужин в малом зале ресторана «Вологда». Застолье распределилось так, что Николай Рубцов оказался рядом с Александром Яшиным. В этой компании очутился и наш земляк, известный скульптор, академик Сергей Михайлович Орлов, автор памятника Юрию Долгорукому в Москве.

Орлов давно не был в Вологде. И вот приехал навестить родину, показать ее взрослому сыну, родившемуся уже в Москве. Естественно, что предметом разговора была малая родина: произносились тосты. И вдруг Александр Яшин повернулся к Николаю Рубцову и так проникновенно попросил:

— Коля, твой тост. Давай экспромтом что-нибудь! А?

Николай взглянул на Яшина, заметно вспыхнул лицом и тихо ответил:

— Хорошо, Александр Яковлевич... Попробую...

Волнение с лица постепенно спадало, и оно становилось уверенно-спокойным и даже властным, плотно сжатые губы, жестко очерченные скулы, прищуренные глаза — все выражало упорную мысль. Взгляды были устремлены на Рубцова. И он это не столько видел, сколько чувствовал. И вот словно прояснение озарило его лицо. Оно стало спокойным и сдержанно-ликующим. Пальцы, до этого нервно перебиравшие ножку бокала, замерли, цепко

облегли нагретое стекло, и рука вынесла бокал на середину стола, вздрагивая под такт чтения:

*За Вологду, землю родную,*
*Я снова стакан подниму!*
*И снова тебя поцелую,*
*И снова отправлюсь во тьму,*
*И вновь будет дождичек литься...*
*Пусть все это длится и длится!*

Александр Яшин склонился к Рубцову и приложился к его щеке.

С каждым тостом разговор становился оживленнее и откровеннее. Не сошлись во мнениях о современном искусстве скульптор Орлов и писатель Белов. Разногласие в любви к малой родине возникло у Яшина с Орловым. Александр Яковлевич вспылил, махнул рукой и, чтобы прекратить спор, в котором была большая дистанция непонимания друг друга, вместе со стулом отодвинулся от Сергея Михайловича Орлова. Сын того, оскорблённый за отца, иронически спросил:

— Вы, может быть, еще дальше двинетесь, Александр Яковлевич?

Яшин быстро повернул голову к Рубцову, чуть помедлил, потом оглядел все застолье, сверкнул глазами, и под усами у него растеклась улыбка:

— С удовольствием бы, но дальше — некуда. Там Рубцов.

## ГАРМОНИЯ

Встретились через месяц. Когда оказались одни, Николай, словно вчера расстались, грустно сказал:

— Жаль Александра Яковлевича... Большой человек... Осиротинит ведь нас...

Я молчал. Ждал, что будет говорить Рубцов о Яшине дальше. Не забыл же он слов, сказанных Александром Яковлевичем о нем, тем более, что и ушли они в тот вечер вместе. А Яшин действительно выглядел плохо. И не надо было быть врачом, чтобы почувствовать истинное состояние его здоровья. Рубцов, естественно, принимал это очень близко к сердцу, если сразу же заговорил о чужой болезни, как о своей.

Но больше он ничего не говорил. Шли мы по улице прогулочным шагом. И вдруг, пожалуй, впервые пронзила мысль: «Но может же и с Рубцовым случиться беда!..»

— Ты о чем сейчас думаешь?

Я даже вздрогнул от неожиданности, но как можно спокойнее сказал: «О тебе».

— Молодец!

— А если бы не о тебе, то...

— Да не об этом я. Молодец, что не солгал. А ведь мог бы? — Рубцов даже приостановился.

— Не мог бы.

— Почему?

— Не знаю.

— А почему ты с Беловым уехал в Ленинград?

— Тоже не знаю. Поехал — и все,— сказал я, видимо, с раздраженьем, что не ускользнуло от Рубцова, и потому он успокаивающе взял меня повыше локтя:

— Не сердись. Поехал бы и я с Василием Ивановичем хоть на край света... Только у тебя вот неприятности по службе получились...

Я сграбастал Рубцова в объятия. Настолько было мне дорого его понимание и участие, что я прямо-таки ошалел. А прохожие с опаской обходили нас и тревожно оглядывались. Освободившись от моих «телячьих» нежностей, Николай решительно сказал:

— Поехали!

— Куда?

— Если ты, конечно, не возражаешь,— к тебе. «Мы будем петь и смеяться, как дети...»

Я не раз слышал от Рубцова эти строки. Обычно он иронизировал: «Смеяться... среди упорной борьбы»... Господи, какая бессмыслица!

— Но из песни слова не выкинешь?

— Надо выкинуть, если оно плохое.

— Эту песню поет народ...

— Не народ, а хор мальчиков Всесоюзного радио.

— Но все-таки поет и не спотыкается об эти строчки, как ты.

— Мало ли что можно петь под дирижерскую палочку...

— Выходит, что музыка и слово — враги?

— Нет. Они всегда союзники. Поэтическое слово и есть музыка. Так что из плохой песни время может выкидывать слова, а в хорошей оставлять до конца челове-

ческих дней. Вот «Помню я еще молодушкой была...» Песня-роман, песня-былина. Нас всех не будет и других еще после нас, а песня будет звучать первозданной красотой. Гармония души!..

Три дня пробыл Николай Рубцов у меня. Много (единодушно и разно) говорили мы о бренной жизни. Высоко и свято звучали в наших устах имена одних, с проклятиями — других. О поэзии не спорили. О ней говорил только Рубцов. Я слушал да изредка порывался читать его стихи. Николай неизменно говорил:

— Не смей при мне читать мои стихи. Я лучше сам их тебе прочитаю.

И читал, вглядываясь в мои глаза, ловя в них скуку или непонимание. И если улавливал малейшую рассеянность, сразу прекращал чтение и становился вызывающе резким, если не сказать, грубым. Неосторожность такую я проявил. К концу первой ночи еле заметно зевнул. Все: голос сорвался, глаза сузились, и я оказался на презрительном прицеле:

— Иди спать... а я поиграю на гармошке...

Общение с гармонью у Рубцова было особенное, свое. Когда он брал ее в руки, то словно совершал какое-то таинство. И ставил на колени не резко, как это иногда делают пьяные гармонисты, а мягко, как живое существо. И не рвал меха, а разводил их умиротворенно, благостно отдаваясь звукам и постепенно отдаляясь от окружающего мира, сливаясь с музыкой не только душой, но, казалось, и всем телом. Поза его была порой невероятной. Накинув ногу на ногу, он умудрялся их так сплести, что диво-дивное. Гармонь в таком случае поднималась на колене высоко, и Николай без труда склонял голову на нее подбородком или приникал щекой, как мать к ребенку. Уединение с гармонью могло длиться долго. В эти мгновения он исповедывался, думал, пел и плакал — все вместе.

В этот раз Рубцов поставил гармонь на колени резко. Но пальцы на пуговки положил мягко, хотя руки нервно вздрагивали. И гармонь заплакала:

*...Пускай меня за тысячу земель*
*Уносит жизнь! Пускай меня проносит*
*По всей земле надежда и метель,*
*Какую кто-то больше не выносит!*
*Когда ж почую близость похорон,*

*Приду сюда, где белые ромашки,*
*Где каждый смертный свято погребен*
*В такой же белой горестной рубашке...*

Он пел — я слушал. Но меня в этот миг, казалось, для него не существовало. Музыка начала плотно затихать. И вот совсем исчезла, но не для Рубцова. Я в этом убедился, когда нарушил «мертвую зону» преждевременным вторжением.

— Тсс-с! — предупреждающе вскинул Николай указательный палец да так и застыл с поднятой рукой.

О, этот взгляд человека, постигшего мир неслышимых звуков!

Когда Рубцов «вошел в себя» (а может, вышел из себя — кто это знает), я посетовал, что грустноватого много у него. Он посмотрел на меня не совсем «земным» взглядом и тихо, будто самому себе, проговорил:

— О чем писать, на то не наша воля...

Это, оказывается, была первая строчка будущего стихотворения.

## МАМА

— Саша, пойдем к твоей маме...

Я взглянул на Рубцова, а он отвернулся к окну, у которого мы стояли.

— Хорошо... Ты одевайся, а я буду высматривать автобус...

— Зачем нам автобус! А ноги, ноги для чего? Они ведь тоже думают в походе,— балагурил Николай, скрывая свое смущение.

Я согласился. Три остановки, которые в основном пролегают полем, мы прошли без особых происшествий, если не считать маленького эпизода, когда Рубцов сел на край мостков, что служат людям пешеходной дорогой, и стал поглаживать ладошкой траву, пробивающуюся между досок и довольно еще зеленую.

— Вот какая ты умница. Тебя давят и топчут, а ты все поднимаешься и поднимаешься,— приговаривал Николай и ласкал, как кошку, увядающие и запыленные стебли, упрямо продирающиеся из-под дощатого настила...

Я слабо улавливал, что этой аллегорией он намекает на себя, ибо считал Рубцова преуспевающим поэтом со счастливой судьбой, особенно после выхода москов-

ской книжки «Звезда полей». А что он ругал художника, который нарисовал на суперобложке женщину с вывихнутыми ключицами и рассыпал буквы среди медузных изображений, то я относил к капризам поэта. Понимание пришло позднее.

Мама жила в щитовидном деревянном доме и имела под окнами «приусадебный» участок, на котором, кроме овощей, разводила и цветы. Они и привлекли внимание Рубцова. Среди астр, настурций, ирисов были и георгины, к которым он приник, как к старым знакомым. Мама увидела нас в окно и вышла на крыльцо. Поздоровалась с пришельцем, который разговаривал с цветами, и глазами спросила у меня:

«Кто это?»

Я склонился к ее уху и таинственно прошептал:

— Необыкновенный человек. А кто такой — скажет сам. Одним словом, кудесник.

Мама давно привыкла к моим, как она говорит, «вывертам» и отнеслась к сообщению обычно, только уверенно сказала:

— Но он у нас, вижу, не бывал.

Я подтвердил это и стал наблюдать за маминым взглядом, любопытным и цепким, который, как мне казалось в детстве, охватывал все вокруг: скрыться от него было всегда сложно. И вижу: по губам у мамы скользнула странная улыбка.

— Мама, ты что так смотришь?

— Неживучой этот мужик...

— Ты что говоришь, мама! Это же Николай Рубцов! Поэт! — сдерживая крик, шептал я.

— А для меня хоть сам писатель! Я тут при чем: приметы говорят...

Для мамы самым уважаемым человеком из тех, кто пишет, был Константин Иванович Коничев. Во-первых, потому, что вместе на вечорках бывали, а во-вторых, что из батраков в большие люди выбился, живет в самом Ленинграде да и пишет о знакомых, бывает, местах.

— Выходит, что все, кто любит цветы, неживучие? Глупые у тебя приметы, мама.

— Приметы не мои, сынок. И не в любви к цветам вовсе дело. Я тоже люблю цветы...

— Но ты и про моего сына сказала, что он неживучий. А прошло уже с тех пор одиннадцать лет: жив, здоров и не болеет...

— Можно мне помешать вашему таинственному разговору?

— Конечно, можно, — с поспешностью ответил я Николаю, чтобы скорее заглушить в душе тревожное чувство.

— Разрешите представиться, Галина Ивановна: Николай Рубцов, товарищ вашего сына. У вас хорошо — много цветов. А цветы я люблю.

На уставшем лице Рубцова проглянул румянец, а доверительная улыбка скрасила глубокую печаль в его глазах, и выглядел он настолько жизнеутверждающе и молодо, что пророчество мне вдруг показалось неумной шуткой. Разве мог я представить, что через три года с небольшим не будет Рубцова, а еще через шесть лет и моего сына.

— ...Прошу заходить в избу, а то зябко на улице-то.

— Спасибо, Галина Ивановна. С удовольствием зайду. А Саша похож на вас. Примета говорит, что если сын в мать, то счастливый? Как вы думаете?

— Я за него не могу сказать.

— А я могу: счастливый, потому что есть вы!

Маленькую комнатушку Рубцов охватил взглядом сразу, но приковал его передний угол, где горела лампадка, множась в окладах старинных икон. Смотрел молча, долго. Потом перешел к обзору фотографий, висевших в рамках по всем стенам. Я был экскурсоводом по семейному фотомузею. Мама готовила на кухне, позвякивая посудой и вслушиваясь в наш тихий разговор...

— Чай я вам, гости дорогие, приготовила. Прошу к столу.

А когда мы сели, добавила:

— Другого у меня ничего нет. Спиртного в доме не содержу. Уж не обессудьте. Питоков у нас нет тоже.

— Саша разве к вам не ходит? — не без подвоха спросил Николай.

— Особо вниманием не балует, но и обижаться грех: проведывает, бывает — и один, и с друзьями-товарищами...

Чай пили чинно, из блюдечек, с конфетами-подушечками, которые доморощенные остряки именуют «дунькиной радостью», и вели неторопливую беседу. Поговорка «Чай без вина, пей без меня» постепенно забылась, и я видел, что Рубцову нравилась такая трапеза. И пока Николаю удавалось уводить разговор в сторону от себя, все шло спокойно. Но вот посыпались вопросы самые простые и обыкновенные в такой обстановке: о родите-

лях, о жене, о детях. Но они все больше и больше тяготили его. Я попробовал было повернуть беседу в первоначальное русло, но получилось и еще хуже...

* * *

Обратно ехали на автобусе. Рубцов был мрачный. Долго молчал и вдруг выпалил:

— Матери все эгоисты...

— Николай!

— Ах, не веришь? Ну я тебе сейчас докажу.

Он прошел на первое сиденье к молодой женщине с ребенком на руках. Та беспокойно покосилась на него.

— Очень прошу, но только ответьте на один-единственный вопрос...

Женщина молчала. Она затаилась, не верила спокойному голосу странного пассажира и ждала подвоха.

— Спасибо. Я понял ваше молчание, как знак согласия. Скажите: что бы вы выбрали — жизнь сына и смерть за это полчеловечества, или жизнь полчеловечества, но смерть сына?

— Мой сын дороже для меня всего вашего человечества вместе с вами. Сидите и не приставайте с глупыми вопросами...

— Большое спасибо, милая мамаша,— любезно раскланялся Рубцов и подошел ко мне:

— Слышал?

— Николай, это же несерьезно, в конце концов!..

— Да уж серьезнее, я уверяю, и быть не может...

Нашу перепалку прекратила кольцевая остановка автобуса, где мы вышли. К дому направлялись молча. Но около магазина Николай не выдержал:

— Подожди!

Я остановился:

— А может, не надо?

— Ты что? — глаза стали, как темные щели,— ко мне в душеспасители нанялся?

...Когда смыкали рюмки — терзали друг друга взглядом. Наконец, Николай уронил голову на кулаки. Я думал, что он заснул. Но вот плечи его поднялись и тяжелый, с захлебом (как у ребенка после долгого плача) вдох прокатился по всему телу.

— Э-эх, ребята-а!..

— Николай, ты о чем?

— Все о том же... о том...— катал он голову на кулаках.— Белову, Романову и Коротаеву что: у них есть матери... Да и всем вам легко живется...

Рубцов медленно поднял голову. Он плакал. Я смотрел на красное пятно на лбу и боялся заглянуть прямо в глаза. А Николай выразил на лице подобие улыбки:

— Извини, Саша... Возьму-ко я лучше гармошку...

## В КРУГУ ВНИМАНИЯ

В комнату вошел Владимир Володин, известный в Соколе мастер по пишущим машинкам. Рубцов переключился на нового человека с жадностью, даже забыв представиться, сразу же спросил, не пишет ли Володин стихов, кого знает из поэтов и кто ему больше нравится.

— Николай Рубцов мне больше всего нравится,— как солдат, весело отчеканил Володин, не моргнув глазом.

Рубцов даже чуть качнулся назад от неожиданности и пристально оглядел загадочного посетителя:

— Откуда ты меня знаешь? — жестко спросил Николай.

— Тебя, извини, дружок, я не знаю,— без всякого смущения ответил Володин.

— Но ты же сказал об этом только что?

— Я сказал, что всех лучше люблю стихи Рубцова. И больше пока ничего не говорил. Так что ты меня извини...

— Так Рубцов — это я!

Володин взглянул на меня:

— Это правда?

Я согласно кивнул.

— Во встреча! Во жизнь! — Владимир лез к Рубцову обниматься, а тот отстранял его рукой:

— Погоди, погоди! Ты где меня читал?

— Как где? В «Сокольской правде»! Да вот недавно что-то было...

— «Что-то» меня не интересует. А что именно ты читал? — наседал Рубцов.

— Разное читал,— отбояривался Володин.— Да все разве упомнишь... Во! Вспомнил! «Русский огонек». Там мне полюбились еще слова: «За все добро расплатимся добром. За всю любовь расплатимся любовью».

— Молодец! И правда читал! Ну, что ж, давай за все добро...

В глазах у Рубцова светилась торжественная улыбка, будто и не бывало в них недавних скорбных слез.

Газета «Сокольская правда», пожалуй, щедрее других районных изданий привечала стихи Николая Рубцова. И особенно в период 1965—1967 годов. Впервые здесь были опубликованы стихотворения «Русский огонек», «Старик», «Детство», «Взглянул на кустик», «Гуляевская горка», «Мы будем свободны, как птицы» и другие. Газета знакомила поэта с читателями широко, помещая рецензии на его стихи не только местных журналистов, но перепечатывала выдержки из центральных газет, в которых выступали со статьями более маститые критики. Например, под рубрикой «У нас в гостях», рассказывая о творческом пути поэта, «Сокольская правда» от 17 октября 1967 года отсылает читателя к статье в «Правде», опубликованной 19 августа 1967 года, перепечатывая абзац: «...Наиболее приметное и самобытное явление — книга Николая Рубцова «Звезда полей», лучшие страницы которой захватывают чистым и проникновенным лиризмом и чем-то отвечающим есенинскому, но совершенно самостоятельным по своему характеру».

А еще ранее (26 мая 1967 года) в «Сокольской правде» появилось стихотворение молодого поэта Леонида Мелкова «Снова на родине», посвященное Николаю Рубцову. Я по этому случаю довольно неосторожно пошутил:

— Если тебе при жизни начинают писать такие посвящения, то что будет потом?

Николай очень спокойно ответил:

— Каждый на этом пути выбирает свою долю...

Для сокольчан Рубцов был всегда желанный гость. Журналисты «Сокольской правды» принимали его с восторгом. Находился он все время в кругу внимания. Лишь чопорный страж редакционного бюджета Полуэкт Иванович Яркушин проявлял внимание по-своему, заставляя писать заявление на каждый трешник будущего гонорара.

Чуток Рубцов был на улавливание таланта. Прочитал в «Сокольской правде» рассказ Вениамина Шарыпова «Последняя роса» и радостно встрепенулся:

— Смотри ты, талантливый парень! А я и не думал. Встречались, разговаривали, а вот читать его ничего не приходилось.

— Так это первая публикация,— успокоил я Рубцова.

— Это тем более интересно. Мне нравится. Хороший писатель.

— Разве по первому рассказу можно уже называть писателем?

— Шарыпова можно...

(Рассказ «Последняя роса» вошел в первую книжку В. Шарыпова под названием «Медовый запах»).

К слозам Рубцова я всегда прислушивался внимательно. Да иначе и быть не могло: он не говорил необдуманно, когда речь шла о серьезном. Требователен и аккуратен он был и в дарственных надписях на своих книжках. Не знаю, как с другими,— сужу по себе. Автограф на сборнике «Звезда полей» подтверждение тому. Первый автограф Николай написал на титульной странице во время вечернего застолья. Книжка осталась на столе до утра. Я так и не увидел той подписи, так как утром Рубцов встал и сразу — за книжку. Прошелестел вырванный лист и превратился в серый комочек в нервной руке поэта. Это произошло на моих глазах.

— Извини, Саша, но я перепишу. Вчера, сам понимаешь, не та рука была...

Вот окончательный вариант автографа:

«Талантливому и дорогому Саше Рачкову, очень по-дружески, по-моряцки от автора.

6/X—67 г. Н. Рубцов<br>г. Сокол»

# НИКОЛАЙ СИЛКИН



## ВСТРЕЧА

Мне памятен один разговор с Николаем Рубцовым. Было это в вологодском кафе «Колос», теперь именуемом «Нептуном». Туда в феврале 1969 года (не помню точно числа) мы с друзьями зашли пообедать.

Народу в кафе было немного. За нашим столом шла непринужденная беседа — беседа хорошо знавших друг друга, но давно не встречавшихся людей. В среднем ряду за последним столом, у стены, одиноко приютился Рубцов. Некоторые посетители, поглядывая на него, перешептывались между собой, но в этом не чувствовалось простого любопытства, а нечто изучающе-привлекательное. Я обратил внимание своих собеседников на Рубцова.

Стихи его были уже известны по первой книге и по подборкам газет. И уже тогда не только над Севером, над Русью, а над всей нашей большой страной загорелась «Звезда полей» Николая Рубцова, призывающая к бережному хранению святых и возвышенных русских традиций, пронизанная светлой элегичностью и исконно русской, древней народной символикой.

В лицо мои друзья до этого не видели поэта. И, надо прямо сказать, личность Николая Рубцова волнующего впечатления не произвела на них...

...В воображении большинства людей при слове «поэт» возникает особый романтический ореол. В мировой литературе такой ореол неотделим от имени Данте, Петрарки, Шекспира, Байрона... У нас, у русских, с детства это связано с чарующим звучанием имен Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина... И жизненность такого восприятия

поэта кроется в изумительном сочетании яркой, необыкновенной личности вдохновенного творца с волшебством его поэзии, не менее яркой и притягательной: она-то, собственно, и излучает божественный свет и озаряет сиянием лик певца...

Внешне Рубцов таких ассоциаций не вызывал, по крайней мере, в тот момент. Повседневный, чуть помятый черный костюм, серая рубашка с распахнутым воротом, небритое этим днем исхудавшее лицо, редкие жидкие волосы с изрядной, не по годам, залысиной ото лба, небольшие грустные глаза — ничего не выдавало в нем служителя Музы.

Мы, «литераторы и историки» (это было во время совещания завроно и директоров школ области), в общем разговоре вспоминали своих сокурсников по институту. В малолюдном и тихом зале кафе Рубцов не мог не слышать нашей беседы: немного погодя, он подошел к нашему столику, тихо и будто виновато сказал: «Можно, ребята, я с вами посижу... за компанию».

Он не представился. И хотя я встречался с Рубцовым раньше, поэт не признал во мне ни знакомого, ни просто когда-то виданного им человека.

— По разговору слышу — литераторы... Дай, думаю, подсяду, авось не прогонят,— улыбаясь, проговорил он.

Первые его стихи, которые я прочитал с запозданием, поразили меня глубиной мысли, откровением, чистотой и ясностью слова, русской скромностью. Я, знавший до этого времени всех известных на Вологодчине поэтов, приехав с Урала, где тогда работал, встретил новое, незнакомое мне имя, так выделявшееся самобытностью таланта, и недоумевал по тому поводу,— откуда взялся Рубцов.

Впервые я увидел Николая Рубцова в 1967 году в редакции «Вологодского комсомольца». В руках у меня была только что вышедшая в свет книга стихов Н. Рубцова. Как раз в это время в кабинет стремительно вошел невысокий худощавый человек, бодро приветствуя присутствующих.

— Вот это и есть Николай Рубцов,— сказали мне. А это,— представили меня,— один из поклонников твоей, Коля, поэзии. Приобрел только что твою «Звезду полей»... Автограф желателен...

Рубцов посмотрел на меня и, взяв поданную мною книжку, будто чтобы скорее отделаться, поспешно сделал шаблонную, в таких случаях запись:

«Николаю Силкину.

На память о первой встрече. 10/7—67 г. Н. Рубцов.»

Я внимательно наблюдал за ним. Одет он был в новый коричневый костюм с еле заметной серой полоской. Белизна рубашки при зеленом галстуке четко оттеняла его смуглое, тщательно выбритое лицо. И выглядел он красивым. Был возбужден и энергичен. Нервничая, он настойчиво добивался по телефону связи с каким-то московским издательством.

Когда ему показали маленький поврежденный бюст Есенина — подарок от редакции, ранее преподнесенный поэту,— и изложили причину увечия статуэтки (бюст стоял на краю стола, но кто-то нечаянно задел его, и при падении на пол у статуэтки был поврежден нос), Рубцов грустно посмотрел на изувеченный подарок, сокрушенно вздохнул, но потом только сказал: «Ладно... что теперь поделаешь!..»

Позднее мне приходилось еще не раз встречаться с ним, и однажды летом даже в том месте, о котором он писал в «Вечерних стихах»:

*В том ресторане мглисто и уютно,*
*Он на волнах качается чуть-чуть...*

...Мои сотрапезники, отобедав, покинули кафе. А в левом ряду, напротив нашего стола, сели два нарочито неряшливо одетых и суетливых парня. По поведению парней было заметно, что личность Рубцова их особенно интересует. Но меня удивило другое: как только мы, продолжая разговор, остались за столом один на один, Рубцов вдруг приступил к своеобразному экзамену-анкетированию.

— Вот вы литератор,— лукаво заглядывая мне в глаза, тихо говорил он,— а перечислите по порядку, кого из русских вы относите к истинным поэтам... к настоящим... Назовите, а я посмотрю, какой вы литератор...

Я называл имена тех, кто мне нравился, кого я сам высоко ценю.

— Так... так... так,— повторял Рубцов при звуке очередного имени, кивал в лад этому головой, будто его целью было самолично и навечно утвердить этим киванием место каждого гения.

При имени Некрасова он плавным жестом отстранения, выводя его из моего регистра, выразил свое отношение, словесно разъяснив смысл движения руки: «Он — хороший... но не то... не то...» Когда же в последователь-

ном перечне я произнес фамилию Маяковского, Рубцов категорически и резко произнес: «Нет! нет!»

В это время парни, сидевшие за столом напротив, поднялись и подошли к нам.

— Вы помните нас? — обратились они к Рубцову.— Мы вам давали стихи... чтобы вы их посмотрели...

Рубцов нервно вздрогнул и, не скрывая гнева, оборвал:

— Вы же видите, мы заняты серьезным разговором!.. После... потом поговорим...

Парни, почти нисколько не смутившись, но, все-таки извиняясь, возвратились на свои места. А Рубцов, словно стряхнув с плеч ненужную и давившую его тяжесть, обращаясь ко мне, произнес укоризненно, тоном строгого экзаменатора: «Не всех называете!..»

В моем перечне поэтов уже после выведения из него Рубцовым двух фамилий остались: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, А. Григорьев, Блок, Есенин.

— Разве что я позабыл Анну Ахматову... Только ее еще можно из всех женщин-поэтесс поставить с ними рядом,— заключил я. Рубцов при этом, пристально вглядываясь в меня, незаметно переходя на «ты», произнес с едкой иронией: «Гляди-ка, прямо Луначарский... И все так, как надо. Все по-моему...» И задумался на мгновение, но вдруг его что-то осенило:

— Ну, а еще кого отнесешь к ним? — спросил он так, будто заранее уже подловил меня, обнаружил-таки ахиллесову пяту во мне как в литераторе. Я с уверенностью сказал, что больше таких нет, не знаю.

— А Дмитрий Кедрин!? — восхищенно произнес он, не скрывая своего победного торжества надо мною, и при этом в его живых карих глазах запрыгали бесенята.

— Ой, я просто-напросто запамятовал, забыл назвать его! — словно извиняясь перед Рубцовым за свою оплошность, искренне говорил я, ибо Кедрина тоже знал и почитал как большого поэта. Мне думается, Рубцов поверил в искренность моего оправдания, так как в его тихом голосе и во взгляде я не уловил и тени сомнения.

— Вот теперь все на месте... так,— в раздумье сказал он.— А без Дмитрия Кедрина чего-то не хватало бы в нашей поэзии...

...По выходе из кафе, у раздевалки, к нам снова подошли суетливые парни.

— Ну, что вам от меня надо!.. Не читал я ваших стихов... Некогда было... не читал!.. — стараясь скорее от-

делаться от назойливых парней, быстро и резко проговорил Рубцов. А когда мы окончательно от них освободились, он, нервный, не скрывая раздражения, пояснил: «Они мне надоели... Все время пристают... По пятам ходят,— при этом, беспокойно озираясь, посмотрел вокруг, словно и сейчас видел их здесь, за своей спиной.— В стихах ни черта не смыслят...»

В этот день мы разговаривали о многом. Но о поэзии и литературе вообще, к сожалению, не было сказано больше ни слова.

...Да, живой Рубцов, особенно у людей, не знавших его близко, внешне не вызывал ассоциаций, связанных с сияющим ореолом поэта. Но теперь, с каждым днем погружаясь глубже в простой и таинственный, короткий и бунтующий, обширный и бездонный мир его милосердной и знобящей поэтической стихии, отражающей борьбу света и тени, борьбу в его напряженной и мятущейся сиротливой душе, все больше убеждаешься в причастности Николая Рубцова к тем, бессмертный ряд которых на сегодняшний день в русской литературе замыкает он: к тем поэтам, чьи имена запечатлены в сердце каждого русского человека.

# НИНЕЛЬ СТАРИЧКОВА



## ВСПОМИНАЯ ПОЭТА

Говорят, что любые потрясения, даже самые ужасные, со временем теряют свою остроту. Может быть. Но я со всей откровенностью могу сказать, что с той минуты, 19 января 1971 года, когда весть об убийстве поэта Николая Рубцова разнеслась по городу, в сердце моем не утихает боль. И чем дальше в прошлое отступает черный день, тем сильнее чувство невосполнимости и чувство вины: не уберегли.

Мое состояние, наверное, поймут те, кто знал Рубцова при жизни, и даже те, кто совсем недавно открыл для себя светлый мир рубцовской лирики.

И совсем не случайна людская тяга к познанию личности поэта. Так возникают легенды, всевозможные домыслы. Плетутся даже грязные небылицы людьми, которые были якобы друзьями Рубцова. Кто теперь докажет, что это неправда? Но это дело совести и чести говорящих и пишущих. Всякое искажение фактов биографии дает неправильное представление о становлении Рубцова как гениальной личности, как истинно русского человека.

Может, это прозвучит странно, но клянусь светлым именем поэта, друзей у него было немного. Вот как он говорил мне сам глубокой осенью 1969 года перед отъездом в Тотьму:

— Я всех называю — друг, друг... А друг у меня только один — Василий Иванович Белов.

И еще говорил поэт о том, что встречаться и разговаривать можно со многими людьми, но понять друг

друга могут только те, кто находится на одинаковой душевной волне. Видимо, это роднило его с Беловым.

Признаюсь, мне трудно писать эти строки, потому что нахлынувшие воспоминания во сто крат усиливают все пережитое, и невольно добавляют соль в саднящую рану.

Передо мной в памяти постоянно выплывает горящий, воспаленный и умоляющий взгляд Рубцова, тихо, со вздохом сказанное:

— Напиши обо мне, да, да, Неля, серьезно, напиши, напиши...

Это было сказано еще в 1968 году, когда дали ему комнату на Армейской набережной (подселение к семье партийного работника). Понимаю, что писать о Рубцове — ответственное и сложное дело. Время жизни поэта в Вологде совпадает с расцветом его таланта. Случайно ли это? И почему именно в Вологде, которую он любил и где ему хорошо работалось, настиг его трагический конец? Много вопросов, на которые еще никто до сих пор не ответил. Но ответы найти можно. Если внимательно день за днем проследить жизнь Рубцова в городе, то многое откроется, как говорят, даже невооруженному глазу.

Мне выпало большое счастье быть рядом с Николаем Рубцовым почти весь период его постоянной жизни в Вологде — с марта 1967 года и до конца его жизни. Только в 1970 году наши встречи были редкими.

Очень много незабываемых минут общения с поэтом. Внимать его откровениям о прошлом и настоящем России, о странностях житейских обстоятельств, особенностях детства, быть в какой-то мере причастной к его творческой лаборатории — это было для меня и радостью, и гордостью. Ведь не секрет, что Рубцов был не только очень скромным, но и скрытным человеком. И естественно, что не для всех были открыты тайники его души.

Откуда в таком хрупком, казалось бы, человеке, мощная притягательная сила? Это для многих оставалось и остается загадкой.

Вот пример из моего первого знакомства с Рубцовым, то есть с его стихами. А было это примерно в 1963—64 годах, когда в газете «Вологодский комсомолец» публиковались подборки его стихов. На меня лично стихи подействовали, как взрыв. Я читала и перечитывала:

*В этой деревне огни не погашены,*
*Ты мне тоску не пророчь...*

Но больше всего поразило стихотворение «В горнице», ставшее теперь хрестоматийным. Помню, я ходила по комнате возбужденная, со слезами на глазах, и все повторяла: «Вот это поэзия! Вот это поэзия!» Мне казалось кощунством публиковаться рядом с Рубцовым. (В то время появились в «ВК» мои первые стишата). Уже тогда я поняла: Рубцов — это явление в поэтическом мире. Обо всем этом я рассказала при личном знакомстве в 1965 году Николаю Рубцову, когда он присутствовал у нас в Вологде на литературном семинаре. Он слушал меня внимательно, слегка наклонив голову набок, как бы прислушиваясь и к себе. С тех пор невидимая ниточка связала нас, завязывая все более сложные узелки. У меня и сейчас хранятся дома первые подборки стихов Рубцова из «ВК» с прекрасными пейзажами, рисунками Г. Бурмагиной. Но существует и какая-то разрушительная сила, уничтожающая документальные материалы и вещи, связанные с именем Рубцова. Так пошел на слом дом по улице Ворошилова, где жила семья Рубцовых. Нет уже характерного для Вологды двухэтажного дома по улице Гоголя (на его месте здание суда), где у поэта Б. Чулкова некоторое время жил и часто бывал Николай Рубцов. Разрушен памятник деревянного зодчества — Вологодская земская станция (1857 год) на улице Разина, где у журналиста Н. Александрова очень часто бывал поэт и называл это место уголком деревни в городе.

В краеведческом музее на открытии юбилейной выставки, посвященной Николаю Рубцову, старшая сестра поэта Г. Шведова из Череповца рассказывала мне, что к ней на квартиру приходила женщина, представилась писательницей Валей и взяла весь фотоархив, который был дан сестре поэтом на сохранение. Кто это был? Известно ли это хранителям творческого наследия Рубцова?

Непонятен и такой факт. Женщина, у которой квартировала семья Рубцовых, на улице Ворошилова, после сноса дома длительное время жила на улице Ветошкина.

— Вполне вероятно, что у нее остались личные вещи семьи Рубцовых, фотографии,— говорила З. Шадрунова, проживавшая раньше в соседстве с Рубцовыми.— Но, видимо, никого это не интересовало.

Что я могла ответить З. Шадруновой? Мне самой многое непонятно. От кого расползаются по городу (а может, и дальше) слухи, что Рубцов сам себя привел к трагическому концу? Предсказал: — «Я умру в крещенские

морозы»,— так и сделал. Не так ли? Знаю, например, что поэт всегда плохо чувствовал себя зимой.

— Не люблю зиму,— говорил он.— Зимой холодно и неуютно.

Можно понять, какие мысли одолевали Рубцова, если вспомнить его бредущим по глубокому снегу в серых поношенных валенках, в демисезонном пальто с чужого плеча. Приподнятый воротник не спасает от ветра, черная потертая папаха на голове не закрывает покрасневшие от мороза уши. Руки без перчаток глубоко засунуты в карманы. Иногда он согревает их дыханием. Идет туда, где нет крыши над головой. Идет в бесконечность... Но, несмотря на жизненные невзгоды, поэт не собирался умирать. У него были большие творческие планы.

— В моих стихах,— признавался он,— две стихии. Стихия моря и стихия поля. О поле я много написал, а о море мало. К нему еще вернусь.

Рубцов любил свою Родину, хорошо знал, но продолжал изучать русскую историю. Был у него замысел написать поэму об Александре Невском. Определением «светозарный» наделил он своего будущего героя.

Вот так в расцвете сил и таланта ушел из жизни прекрасный русский поэт. Но «ушел» не то слово. Он был убит женщиной. Почему-то до сих пор имя убийцы стараются произносить шепотом. «Как можно! Она хотела стать подругой жизни поэта, юридически оформить с ним брак. А все это не вяжется с убийством». Но убийство было. И от этого никуда не денешься.

Воронежская поэтесса Л. Дербина была больше года близко знакома с поэтом. И кому, как не женщине, было дано увидеть и душевный надлом, и сердечные приступы, и далеко не лучшее «приятельское» окружение поэта. Не ради смеха рождались у него экспромты:

*Я — богатырь, я — витязь,*
*Но встал не с той ноги.*
*Явитесь мне, явитесь,*
*Друзья, а не враги.*
*Я нездоров, я болен,*
*Горят мои мозги.*
*Я другом недоволен,*
*Явитесь мне, враги.*

И враги, чувствуя незащищенность поэта, не замедлили явиться. Будучи уже в заключении, Дербина в порыве

откровенности рассказала посетившей ее женщине (пока фамилию не называю), что ее научили, как поступить с Рубцовым, когда он бывает возбужденным. «Сделай так, сразу успокоится». И она последовала совету.

В настоящее время убийца живет и здравствует. Говорят, что даже пытается писать. Возможно, хочет себя реабилитировать. Возможно, и покровители у нее есть. Но какой бы личиной она ни прикрывалась, это ее руками задушен соловей русской поэзии Николай Рубцов. Такому злодейству нет и не будет оправдания никогда.

# БОРИС ШИШАЕВ



## АЛТАЙСКОЕ ЛЕТО НИКОЛАЯ РУБЦОВА

### 1

В мае 1966 года Николай Рубцов жил в общежитии Литературного института им. А. М. Горького. Тянуло его тогда к нам, первокурсникам,— видно, потому, что выглядели мы на общем фоне кипучего литературного «муравейника» свежими еще, искренними неподдельно.

Как раз в это время приехала ко мне сестра Валя, привезла с родины чемодан картошки, яиц. Ужаснувшись нашему непрочному быту, она бросилась по магазинам, накупила посуды, продуктов и быстро организовала надежное питание по-домашнему. Счастливые наступили деньки.

Каждый раз, прежде чем сесть за роскошную по нашим тогдашним понятиям трапезу, разыскивали в «сотах» общежития Рубцова. Нравилось Николаю бывать в комнате, где мы жили с Василием Нечунаевым, поэтом из Барнаула. Комната была угловая, с двумя окнами, а потому — светлая, солнечная. С приездом Вали стало в ней еще уютнее, да к тому же еда домашняя появилась. Как положено — и утром, и в обед, и вечером. Насытимся «до упора», что в другие времена редко удавалось, и сидим, бывало,— говорим о том, о сем неторопливо, семейно как-то. Рубцов с сестрой моей беседует о сельской жизни, расспрашивает ее о Рязанщине. Вале он очень понравился. «Чувствуешь себя с ним,— говорила она мне,— как с братом. Только не как с тобой, а как со старшим. Добрая у него душа, ласковая какая-то...»

Сидели вот так однажды, и вдруг Николай сказал: «Уехать бы куда-нибудь... Туда, где не был никогда. Надоело все...» Слова эти выражали усталость. Все умолкли. Потом зашумели, стали предлагать — каждый свою родину.

## 2

— А езжай-ка ты, Коля,— сказал я,— в мой Сынтул. Это недалеко совсем. Дом там у нас большой, никого не стеснишь. Отдохнешь по-настоящему. Природа отличная — лес рядом...

— А озеро какое! — подхватила Валя.— Купаться будете, рыбу ловить. Лодка на выбор — любой даст. Восемь часов на автобусе — и вы в Сынтуле. Я уж тут загостилась, пора домой, вот и поедем вместе.

— А кто у вас еще там живет? — спросил Николай.

— Мать, сынишка, муж мой... Да не бойтесь вы, ради бога, никого не стесните,— настаивала Валя.

— Нет,— сказал Рубцов.— Если мать, то я не поеду, она жалеть меня будет.

Сказано это было таким тоном, что настаивать мы больше не решились.

— Тогда езжай ко мне на Алтай,— предложил Василий Нечунаев. В Барнауле у моей сестры Моти остановишься. Она добрая. Там комнатка после меня пустует. А ребята — писатели наши — на Телецкое озеро тебя отправят. Красота там неописуемая. Давай, соглашайся, чего раздумывать-то!

Николай задумался на минуту и вдруг согласился:

— Еду. Только вот с собой ничего нет, даже белья лишней смены. А командировку я где-нибудь возьму.

— Белье и все прочее — не проблема. Неси свои рубашки, все свое неси — Валя выстирает, отутюжит. А смену белья найдем.

— Несите, несите, я в момент,— засуетилась Валя.

Все необходимое быстро отыскалось. Пока Валя стирала, Николай все ходил по комнате и, озорно улыбаясь, читал экспромт:

*Наше дело верное,*
*Наши карты — козыри,*
*Наша смерть, наверное,*
*На Телецком озере.*

Так мы проводили его на Алтай. Оттуда он прислал нам с Василием Нечунаевым письмо.

Не так давно — в № 12 «Нашего современника» за 1981 год — оно было опубликовано в числе других писем Николая Рубцова.

Шестнадцать с лишним лет прошло со времени тех решительных беспечальных проводов и двенадцать — с того тяжелого январского дня, когда пришлось навсегда проститься с Николаем Рубцовым среди пустынного холодного поля, которому надлежало стать новым вологодским кладбищем. Но все звучит и звучит в памяти добрый пророческий голос Рубцова, глядят и глядят в самое сердце его спокойные внимательные глаза. И все кажется, что в долгу мы перед ним, хлебнувшим горя и одиночества во много раз больше каждого из нас и ушедшим так рано...

## 2

На одной из улиц в привокзальном районе Барнаула Василий Нечунаев попросил водителя остановить машину. Вышли.

— Вот...— как бы охватывая все вокруг широким жестом, заговорил Василий.— Теперь здесь новые кварталы. А раньше — от села не отличишь: частные дома, огороды, баньки... Улица эта нынче — Молодежная, а тогда была — Радищева. А вот тут, где сейчас детский сад, стоял под номером 161 деревянный домик моей сестры Матрены Марковны. Сюда и приехал Коля Рубцов в то лето...

И вот мы уже в окраинном микрорайоне — в квартире Матрены Марковны Ершовой. С теплотой и болью, как об утраченном родном человеке, вспоминает о Рубцове эта седая усталая женщина.

...Войдя в дом, он задержался у порога в нерешительности, потом поздоровался и заговорил негромко:

— Наверное, вы и есть Матрена Марковна... А меня зовут Николай Рубцов. Я из Москвы, от брата вашего Васи. Он сказал, что вы разрешите мне остановиться у вас на некоторое время. И письмо вот просил передать...

Матрена Марковна засуетилась, предлагая стул, стала расспрашивать о брате — как он там, и сразу же смущенно прервала себя: господи, ведь человеку надо умыться, поесть с дороги...

Поначалу она растерялась — из самой Москвы приехал, известный, наверное, какой-нибудь, а в доме и обстановка так себе, и еда совсем простецкая, и едят-то с ребятами из общей миски... Но потом присмотрелась — обыкновенный вроде человек. Пиджак поношенный, и туфли, похоже, давно носит, стоптались уже, пора бы и новые. Лысина надо лбом — хлебнул, видать, в жизни,— а глаза добрые, разговор свойский и в то же время культурный. И стесняется.

Слово за слово — и незаметно улетучилась напряженность. Расспрашивает этот Николай просто как-то, ненавязчиво, и отвечаешь ему, рассказываешь с удовольствием, словно душу облегчаешь. Вроде бы уж и знаешь его давным-давно. Спросила, не пьет ли Василий в Москве вино — сказал, что не пьет, а сам глаза отворачивает. Сразу видно — не умеет кривить душой-то.

И ребята моментально к нему приладились — и Рая, и Вовка. Раньше, бывало, придет кто-нибудь чужой — так они дичатся, стараются на глаза не показываться. А Николай заговорил, расспросил их о том, о сем, пошутил раз-другой, а уж болтают с ним вовсю, смеются, как со своим.

Сели за стол — Матрена Марковна поставила перед Николаем отдельную тарелку, но он запротестовал: «Что вы! Что вы! Я с вами из общей буду. Ведь так вкуснее! С детства люблю из общей».

Определили его в той самой комнатке, где до поступления в Литинститут жил Василий. Стены ее сплошь были испещрены нечунаевскими стихами и рисунками. Ни одного из этих четверостиший Матрена Марковна раньше прочитать не могла — слишком уж мудреный был у брата почерк. А тут, перед самым сном, слышит — смеется Николай в комнатушке. Заглянула — а он читает строки на стене. Расшифровал и ей несколько озорных надписей, посмеялись вместе, вспомнили опять о Василии.

И подумала она тогда, что Николай ничуть не похож на других друзей Василия — поэтов, которые нередко наведывались к брату в гости. Да и вообще на поэта не похож. Добрый, вежливый и внимательный — совсем простой человек.

Переночевав у Ершовых, Рубцов сказал Матрене Марковне, что ему надо встретиться с барнаульскими писателями, а потом он, возможно, поедет в горный Алтай.

Ушел, и несколько недель его не было. Появился неожиданно — загорелый и посвежевший, в хорошем настроении. Рассказал, что гостил у поэта Геннадия Володина в предгорном райцентре Красногорское.

Оживленно и радостно сделалось в доме, когда Рубцов снова поселился в нечунаевской комнатушке. На огороде к тому времени начали созревать огурцы и помидоры — хорошее подспорье для стола.

— Вот что, Матрена Марковна,— сказал однажды Николай,— пойду-ка я нарву помидоров и сочиню салат поленинградски. Вы такого никогда не ели.

И сделал, да так получилось вкусно, что уничтожен был салат мгновенно, а Рая с Вовкой даже еще захотели. Ели опять же из общей миски, и очень нравилась Николаю такая простота. Помогал он Матрене Марковне и в других делах по дому, и всегда удивлялась она его сноровке, обнаруживающей большой жизненный опыт.

Вечерами вели неторопливые разговоры — вспоминали каждый о своей нелегкой жизни. Матрена Марковна рассказывала, как потеряла во время войны любимого человека, а потом неудачно вышла замуж, намучилась вволю и в конце концов осталась одна с двоими детьми. Открывала наболевшее, и легче становилось на сердце, потому что светилось в мудрых рубцовских глазах родственное понимание и сочувствие.

И Николай, который обычно не любил откровенничать и почти никогда не рассказывал о себе друзьям, на этот раз охотно делился воспоминаниями о своей сиротской жизни с простой, испытавшей немало лишений женщиной. Посчитал ее, видимо, человеком, достойным такого откровения.

Судя по эпизодам, особенно запомнившимся Матрене Марковне из рассказов Рубцова, нелегкие детские годы оставили в его памяти четкий и суровый отпечаток.

Мытарства начались сразу же после того, как лишился отца и матери. Хозяйничала война, и конца ей еще не было видно — на это горькое время и пришлось раннее сиротство Рубцова. Холод и постоянное желание хоть немного поесть — вот что больше всего запомнилось Николаю из той поры. Питался лишь тем, что давали добрые люди. Покормят или сунут горбушку хлеба — хорошо, а — нет, так приходилось голодать — нередко по двое суток, потому что сам он просить стеснялся.

Николай вспоминал, как эту стеснительность подметила

одна пожилая женщина, частенько подкармливавшая его, бесприютного мальчонку. Она жила в одиночестве и часто ездила в город торговать — то огурцами, то картошкой, то грибами. Дом оставлять было не на кого, и убедившись, что мальчишка не только не возьмет чужого, но и спросить-то совестится, женщина стала доверять ему присматривать за хозяйством. Перед тем, как уехать на несколько дней, объясняла, где хранится еда. Но оставшись «за хозяина», маленький Рубцов все равно не мог пересилить стеснительность — старался не прикасаться к припасам, а если и брал, то лишь самую малость, и потому сидел полуголодный. Возвратившись и увидев, что все осталось нетронутым, женщина спрашивала с удивлением, почему ничего не ел, а он смущался и краснел, не зная, что ответить.

Кстати сказать, эта совестливость была у Рубцова, по-видимому врожденной, и сохранилась на всю жизнь. Кто знал его близко, тот наверняка помнит, что и входил он в комнату, и вел себя, и даже ел как-то по-особому стеснительно, словно боялся обременить хозяина, оставить его в накладе.

Рассказывал Николай Матрене Марковне и о периоде, когда довелось ему ухаживать за больным одиноким стариком. Старик этот не мог двигаться и, лежа, объяснял, что и как нужно делать по дому. Коля исправно выполнял все его указания, готовил еду и лекарства и тем самым зарабатывал себе право на житье и пропитание в стариковском доме.

Был в его сиротских скитаниях и такой эпизод. Играл как-то Коля на краю села с другими мальчишками и увидел, как незнакомый мужчина взнуздал пасущуюся неподалеку лошадь и увел ее. Когда начали искать эту лошадь, и в селе поднялся переполох, Коля подошел к владельцу коняги и рассказал о виденном. Снарядили погоню, и Колю взяли с собой. В нескольких километрах от села конокрада нагнали, а Коля засвидетельствовал, что человек и есть «тот самый». Конокраду ничего не оставалось делать более, как показать в лесу место, где он привязал на время животину.

Потом хозяин взял Колю с собой в райцентр на суд, который должен был наказать конокрада. В пути лошадь неожиданно понеслá, и мальчишка, упав, сильно повредил себе ногу. Тогда хозяин приютил Колю у себя на целый месяц — лечил и хорошо кормил.

С особым вниманием вспоминал Рубцов о том, как попал в детдом. Был он к тому времени настолько изголодавшимся и отощавшим, что врач приказал целую неделю кормить его отдельно от других ребят — жидкой пищей и помаленьку, с тем, чтобы постепенно приучить организм к нормальному питанию.

Хорошо запомнилась Николаю та огромная детская радость, какую испытал он, сняв с себя грязные дырявые обноски и облачившись в настоящую новую и крепкую одежду и обувь.

Вообще же о детдоме Рубцов рассказывал Матрене Марковне с неизменной теплотой в голосе, словно о родном доме, а о воспитателях и учителях вспоминал как об истинно близких людях. Он говорил, что обязан детскому дому многим, если не всем, и неизвестно, куда привела бы его судьба, не окажись он там, под внимательным и добрым присмотром.

Да, видимо, накрепко врезались в душу Рубцова все тяготы его бесприютного детства, если вспоминал он о них так подетально...

Живя у Ершовых, Николай очень привязался к детям Матрены Марковны, а они — к нему. С младшим, Вовкой, они все чаще уединялись в конатушке и подолгу вели там сугубо свои — «мужские» разговоры. У Вовки была страсть — делать из проволоки клетки для птиц, и Николай всячески помогал ему — когда советом, а когда и делом.

Однажды произошел такой случай. Заявился неожиданно сосед, мужчина многословный и крикливый, и с порога — громко и грубо — начал обвинять Вовку в том, что тот украл у его сына птичью клетку. Матрена Марковна растерялась перед таким напором, а Вовка, как всегда это бывает с детьми, когда их обижают незаслуженно, отвернулся и горько заплакал.

Николай был в это время в комнатушке и все слышал. В самый критический момент он вышел стремительно, взял со стола хлебную корку и резко протянул ее соседу-горлопану:

— Нате-ка вот, возьмите!

— Что это, зачем?..— удивленно уставился тот на Рубцова.

— А затем, что вы, наверно, выпили, а закусить забыли. Иначе не врывались бы в чужой дом и не орали так нахально.

— Да я... Да ты мне...— задохнулся от возмущения сосед.— Да кто ты такой есть?

Рубцов быстро вернулся в комнату, вынес оттуда командировочное удостоверение столичного журнала и сунул его под нос правдоискателю:

— Вот кто я такой. Устраивает вас?

Изучив удостоверение, громовержец опешил и намного понизил тон:

— Я, конечно, того... Но ведь некому больше. Безотцовщина же. Кто еще-то возьмет?

Тут рассвирепел уже Рубцов.

— Вон оно как! Значит, если у парня нет отца, то и грехи все на него? Ничего подобного! Такие почестней ваших бывают! Я, коли на то пошло, вообще вырос без отца и матери, а так по-свински, как вы, никогда себя не вел! Идите-ка сюда! — потянул он мужчину за рукав.— Идите, идите, не бойтесь! — и показал несколько клеток, сработанных Вовкой.— Скажете, наверно, что он их все украл? Так вот знайте — Вовка сам их делает. И поймите — не нужна ему клетка вашего сына!

Сосед смекнул, что опростоволосился и, пробурчав несколько невразумительных фраз, позорно убрался восвояси. Матрена Марковна даже прослезилась благодарно — так подействовала на нее решительная рубцовская защита. А сосед, видимо, обдумав все как следует, на другой день приходил извиняться.

С Раей, которой шел тогда шестнадцатый год, Николай любил вечерами бродить по улицам, ничем не отличающимся от сельских. Стемнеет, бывало, станет попрохладнее — и Николай предлагает: «Пойдем, Рая, погуляем?» «Пойдем, дядь Коль!» — охотно соглашается Рая. И идут они медленно по улицам, разговаривая о всяком-разном. Листва в садах шелестит, собаки перелаиваются, плач детский из дома слышен — настоящее село. Ребята — Раины сверстники — сначала вроде бы не придавали значения этим прогулкам, а потом уязвило — ходит Рая с этим приезжим, а на них никакого внимания не обращает. Стали таскаться следом с угрожающим видом, и однажды Рая сказала Рубцову, что его собираются побить. Он долго смеялся и тем же вечером завел с ребятами мирный и шутливый разговор. Сначала шло напряженно, и Рая очень боялась, но постепенно ребята поняли, что человек этот вовсе им не соперник, нашли с ним общий язык и даже подружились.

Нередко по ночам в «келье» у Рубцова горел свет. Матрена Марковна, постучавшись, заглядывала — не надо ли чего? — Рубцов сидел и писал. Не желая мешать, она спешила оставить его в покое, но Николай говорил: «Посидите, если не спится. Вы мне нисколько не мешаете». Матрена Марковна соглашалась и молча сидела рядом. Потом Николай отрывался ненадолго, чтобы отдохнуть, и опять отводили душу в беседах.

Много воды утекло с той поры, дети Матрены Марковны давно стали взрослыми людьми, имеют свои семьи, но Рубцова, каждое его слово помнят хорошо, вспоминают о нем как об очень близком человеке.

## 3

Николая Рубцова и его творчество знали в среде алтайских писателей еще до приезда поэта, хотя и печатался он в то время не слишком часто.

Знали потому, что некоторые из барнаульцев встречались с ним раньше. Поэт Леонид Мерзликин, например, учился в Литературном институте в одно время с Николаем и дружил с ним, а поэты Николай Черкасов и Геннадий Панов видели Рубцова и слышали о нем, когда приезжали в Москву и останавливались в литинститутском общежитии. Наведываясь из столицы на родину, рассказывал о Рубцове собратьям по перу и Василий Нечунаев.

Поэтому принят был Николай в Барнауле как свой, со всей дружеской теплотой. Переночевав у Ершовых, он разыскал поэта Станислава Вторушина, адрес которого дал ему в Москве Василий Нечунаев, и вместе поехали в микрорайон Ближние Черемушки к Леониду Мерзликину. Радостной была эта встреча. Сидели всю ночь — вспоминали литинститутское прошлое, читали друг другу стихи, делились творческими планами.

За разговором Николай признался, что очень устал, нервы шалят, и сказал, что хотел бы отдохнуть где-нибудь на природе, посмотреть горный Алтай. Долго перебирали в памяти разные места — решали, где ему будет лучше — и, наконец, остановились на Красногорском — райцентре, расположенном в предгорьях. Туда вскоре и проводили Рубцова.

В Красногорском Николая встретил — и тоже очень радушно — поэт Геннадий Володин, у которого Рубцов

и обосновался на довольно длительный срок. Тут, как уже говорилось выше, ему действительно удалось неплохо отдохнуть и многое увидеть. Вместе с Геннадием Володиным и его друзьями Рубцов часто ловил рыбу, купался и загорал, а потом путешествовал по горному Алтаю. Побывал на реках Катуни и Бие, которые, сливаясь, образуют Обь, ездил в Горно-Алтайск.

Выпивать в этот период ему не хотелось — он писал. По свидетельству Геннадия Володина, стихотворение «Посвящение другу» было написано Рубцовым в Красногорском.

Однако понемногу гористая местность начала надоедать ему, равнинному человеку, и Николай засобирался обратно в Барнаул.

Когда вернулся в краевой центр, продолжились его встречи с писателями. Вскоре, «свалив» в Литинституте сессию, приехал Василий Нечунаев, и они везде стали бывать вместе. Импровизированные поэтические вечера с участием Рубцова «вспыхивали» то в квартире Леонида Мерзликина, то у поэта Владимира Сергеева, который жил в том же подъезде, что и Мерзликин, то приглашали к себе в гости Станислав Вторушин или собственный корреспондент «Известий» по Алтайскому краю Зоя Александрова. Дополняли этот круг поэты Николай Черкасов, Геннадий Панов, Владимир Казаков и Валерий Крючков. Желая познакомиться с Рубцовым и послушать его стихи, приходили журналисты и просто любители поэзии.

Где бы ни появлялся Рубцов, всюду бывал он окружен трогательным вниманием и настоящей дружеской заботой. Стихи его, чуждые формализму, трогали сердца своей волнующей простотой, удивляли глубинной прозрачностью мысли. Некоторых молодых поэтов, склонных к излишним поэтическим выкрутасам, рубцовская лира заставила призадуматься над собственным творчеством, заняться переоценкой мнимых ценностей.

Рубцов же, в свою очередь, был приятно удивлен тем, что в Барнауле знают и читают наизусть многие его стихи, а некоторые из них — те, что сам любил петь (например, «В горнице», «Элегию», «Стукнул по карману — не звенит...») — поют под гитару и притом мелодии, придуманные им, ничуть не перевирают.

Барнаульские собратья по перу помогли Рубцову завязать отношения с местной печатью, и вскоре стихи его

появились на страницах краевой газеты «Алтайская правда».

Василий Нечунаев вспоминает ту пору как самую тяжелую в своей творческой жизни — мучительно искал тогда себя и свое в поэзии. Сидели как-то с Рубцовым в барнаульском ресторане за бутылкой легкого вина, и Василий, поведав ему обо всех этих муках, сказал с горечью: «Если не выгорит ничего, то обязательно найду в себе мужество бросить писать вообще». Николай встрепенулся и сжал его руку: «Эх, Вася, как хорошо было бы, если бы все так рассуждали! Но только я думаю, что насчет своего бессилия ты сильно преувеличиваешь. Мне почему-то кажется — ты будешь хороший детский поэт». Так оно впоследствии и вышло.

Частые литературные застолья начали, по-видимому, утомлять Рубцова, и его опять потянуло на природу. Василий Нечунаев предложил поехать в гости к своему отцу, в родное село Кислуху, и Николай с радостью согласился.

Ехать туда надо было по Оби на теплоходе, и до пристани решили пройтись пешком. Путь пролегал через район старого базара. Рубцов шел и восхищался — очень понравилась ему эта древняя часть Барнаула, откуда начинался весь город и где жил и работал в свое время изобретатель первого в мире парового двигателя И. И. Ползунов. Проявлялась, вероятно, постоянная тяга Николая к старине, к истории народа. Василий Нечунаев заметил, что Рубцов вообще не мог проходить равнодушно мимо того, что напоминало о далеком прошлом России или хотя бы о временах его детства и юности. Не любил он однообразия современных «коробок». Потому, видно, и прижился так легко в деревянном домике Матрены Марковны Ершовой.

Когда ехали по Оби на теплоходе, Николай внимательно присматривался к проплывающей мимо местности, стараясь найти хоть отдаленное сходство со своей Вологодчиной. Кислуха ему понравилась. Он любил старые села, а она была именно такой. Чутко прислушивался к говору нечунаевских земляков и однажды сказал, что сибирская речь все-таки беднее вологодской. «У нас,— доказывал,— что ни фраза — то байка, бухтина, подковырнут, посмеются обязательно, а тут как-то сурово и сдержанно все...»

Много бродили по окрестностям, ходили в лес за грибами. Природа здесь, по мнению Рубцова, тоже проигры-

вала по сравнению с вологодской. «Наша как-то мягче и пышней»,— говорил Николай, и теплые нотки звучали в его голосе.

Занимались и рыбной ловлей. Ловили ночью под крутым береговым яром. Снасть называлась наметкой и представляла собой длинный шест, на конце которого замысловато крепилась обширная сетка. Это орудие лова вовсе не считалось в те времена браконьерским. Василий забрасывал наметку в воду и, осторожно переступая по песчаному берегу, вел ее некоторое время, а потом вытаскивал. Николай шел рядом, выбирал из сетки добычу и удивлялся простому способу лова, который был ему раньше не знаком, радовался обилию рыбы. Без конца попадались лещи, щуки, чебаки и окуни. «Тут я молчу,— разводил он руками,— насчет рыбы у нас на Вологодчине победнее намного».

Когда возвращались с рыбалки, Василий заметил, что Рубцов довольно сильно прихрамывает, и спросил:

— Что у тебя с ногой?

— Да так...— отмахнулся Николай.— Нарыв какой-то. Чепуха, пройдет.

Придя домой, посмотрели, и Нечунаев ужаснулся: нарыв был большой и опасный, нога покраснела и распухла.

— Как же это ты ходил-то? И молчал все время...

— Да невелика беда,— успокаивал Рубцов.— Заживет до свадьбы.

Наверное, привычка не придавать всевозможным невзгодам большого значения так укоренилась в нем с раннего детства, что этот страшный нарыв казался ему сущим пустяком и не мешал радоваться жизни. Ногу лечили несколько дней, прикладывая подорожник.

Однажды сидели у ворот нечунаевского дома, и Рубцов, увидев тележное колесо, по самую ступицу застрявшее в прибрежной грязи протекающей напротив речки Кислушки, спросил, почему оно оказалось там. Василий объяснил, что старые колеса употребляются у них как подставки для плотиков, с которых берут воду и полощут белье. Спадает вода — и плотик легко можно переставить на другое место — поглубже.

«Здорово придумано»,— одобрил Рубцов. Тут же, на берегу, лежала перевернутая кверху днищем лодка, поодаль возились малыши. «Настоящий российский пейзаж...» — со вздохом добавил Николай.

Василий Нечунаев узнал потом эту картину, когда прочитал стихотворение Рубцова «В сибирской деревне».

*...Случайный гость,*
*Я здесь ищу жилище*
*И вот пою*
*Про уголок Руси,*
*Где желтый куст*
*И лодка кверху днищем,*
*И колесо,*
*Забытое в грязи...*

4

Благотворным было для Николая Рубцова то далекое лето. На Алтае ему хорошо писалось. Под впечатлением увиденного и пережитого там он создал стихотворения «Весна на берегу Бии», «В сибирской деревне», «Шумит Катунь», «Сибирь, как будто не Сибирь!..», а, возможно, и другие произведения (скорее всего так оно и было), не затрагивающие прямо алтайскую тему.

Встречая Рубцова в Москве после его возвращения из Барнаула, я видел, что он хорошо отдохнул и душой и телом, ибо выглядел посвежевшим и уравновешенным, был добрым и полным новых надежд...

На Алтае свято хранят память о нем. Каждая новая публикация произведений Рубцова, каждое свежее слово об этом удивительном поэте, появляющееся в печати или звучащее по радио и телевидению, встречаются здесь с особой радостью и неизменно вызывают светлые воспоминания.

По инициативе Василия Нечунаева в Алтайском книжном издательстве вышел небольшой сборничек стихов Рубцова для детей «Первый снег», а в 1978 году, подкрепляя это доброе начинание, издательство выпустило в свет его «Зеленые цветы».

# МАРИЯ КОРЯКИНА



## ДУША ХРАНИТ

«Получили книгу Николая Рубцова. Спасибо, спасибо! Какие хорошие, какие удивительные стихи! Всю прочитали вслух. Сразу! Большое удовольствие! Замечательные стихи!

Захотелось больше узнать о нем. И как это так получилось? Погиб талант...

Взяла литературную энциклопедию, чтобы посмотреть, прочитать о нем. Подала сыну. Посмотрел и сказал: «О нем нет ничего. Не включен»*.

Это строки из письма Матрены Ивановны — матери поэта Евгения Фейерабенда из Свердловска. Я послала им сборник стихов Николая Рубцова «Зеленые цветы», вышедший, когда поэта уже не было в живых.

Прочитав письмо Матрены Ивановны, я — в который уже раз, только со все возрастающей, терзающей сердце горечью — подумала, что тоже так мало о нем знаю, хотя не один год жила с ним в одном городе, больше того — по соседству, встречались часто на улице, в магазине, в Союзе писателей, у друзей и знакомых, и еще — он очень часто бывал у нас. И при этом невольно вспоминаю письмо одной матери, несколько лет тому назад напечатанное в «Комсомольской правде». Ее спросили: что она могла бы рассказать о своем сыне, погибшем на фронте в Великую Отечественную войну, чем он выде-

* Статья о творчестве Н. Рубцова включена в 9-й, дополнительный том КЛЭ. (Прим. сост.)

лялся дома, в школе, в жизни? И она горько, искренне призналась, что был он в семье не один, учился средне, бывало, шалил, не слушался, болел — не без этого. Тогда и заметила, что вырос, когда на войну добровольцем пошел. Если бы знала, что так все выйдет, если б предполагать могла, что убьют на войне, каждое бы слово, им сказанное, запомнила, каждый шаг. Если б только знала...

Вот так и я — тоже бы запомнила каждое слово, им сказанное. Тем более что собеседник он был удивительный, обладал великолепной памятью, знал много, рассказывал интересно и сам умел слушать, радостно удивляться и глубоко печалиться, а стихи мог читать сколько угодно.

Со стихами Николая Рубцова я познакомилась немного раньше, чем состоялось наше личное знакомство. Как-то, будучи в гостях у одного писателя, услышала строки из сборника «Звезда полей». До той поры я читала лишь несколько стихотворений поэта, кажется, в журнале «Юность». В тот вечер рубцовская поэзия звучала как гимн любви к Родине, к близким и дорогим сердцу людям, любви горестной и светлой, пронзительно нежной. Не меня одну — всех поражали глубина и мудрость, печаль светлая и песенная. И как поэт талантливо и естественно пользуется словом!

А личное знакомство произошло в феврале 1969 года, когда семья наша приехала в Вологду. Поезд прибывал вечером. Народу на перроне оказалось много, и не сразу к вагону пробились нас встречающие. Пока здоровались, знакомились, обнимались в толчее, разбирали вещи, Коля стоял чуть отстраненно, а когда я подала ему руку, обрадовавшись догадке, что это и есть Николай Рубцов — я видела его портрет,— он, чуть улыбаясь, уставился на меня своим острым в прищуре взглядом, вроде даже колючим, и сказал серьезно, чуть с вызовом:

— Рубцов!.. Вы обратили внимание: встречать вас явилась вся писательская Вологодская организация! Вот и я пришел тоже... чтобы в полном составе...

Тогда мне это показалось желанием выглядеть оригинальным и не очень понравилось, и недоумение посетило: Рубцов, написавший «Звезду полей», и этот — один и тот же человек! Это, может быть, еще и потому, что я по стихам вообразила его себе вовсе не таким. На Коле темное ношеное пальто, шапка пирогом, шарф, пестренький, довольно легкий для зимы, небрежно высовывался одним концом поверх пальто, на ногах — разношенные

валенки, а на руках — деревенские варежки-самовязки из овечьей шерсти, новые, видать, даже не запушились еще, не обмялись. Руки отчего-то все время он держал напряженно, прижав большие, острозавершенные пальцы варежек к ладоням. И мне опять показалось: он нарочно руки так держит, напоказ, как бы «работает» под деревенского мужичка. Отчасти это так и было. Я после не раз буду убеждаться, что ему иногда нравилось «выглядеть» неряшливо: пальто — будто с чужого плеча, широкое, с длинными рукавами, помятое, шапка — тоже, валенки — стоптаны... Объяснял он это тем, будто проверяет, как же друзья и вообще люди к нему относятся, что думают о нем и что в нем ценят больше: его внешний вид или душу и талант.

А в тот раз, присмотревшись повнимательней, решила, что варежки ему просто велики. И тут не удержалась, уж пристальней посмотрела ему в лицо и опять встретилась с его прищуренным взглядом, не только колючим, пронзительным, но и настороженным, неспокойным, что ли, необыкновенным, одним словом. Почти точное определение его взгляду — «тяжелый» — я уже после смерти поэта прочту в стихотворении Станислава Куняева, посвященном Николаю Рубцову. Прочитаю и удивлюсь, как тонко, как точно, как проникновенно сказал о нем С. Куняев: «Кровный сын жестокой русской музы!» Прекрасно сказано! И взгляд его, «ни разу не терявший беспокойства»,— все точно.

На другой день нашего приезда в Вологду к нам зашли друзья-писатели и мы пошли к собору Софии, на берег реки Вологды. Смотрели на древнее рукотворное чудо — на храм удивительный, тихо переговаривались.

На реке народу видимо-невидимо — люди праздновали масленую неделю: взрослые и ребятишки катались на санках, на фанерках с не очень крутых берегов; другие скользили на лыжах, третьи играли в снежки. Шум, хохот... А чуть в стороне от Софии, в загородке, как хоккейная коробка, в углу которой дымила тоненькая труба, перед темной, парящей прорубью присели на корточки или припали на колени, подсунув под них сухие половички или рукавицы, женщины — полоскали белье.

— Мы в детстве тоже...— вдруг заговорил подошедший Николай, заметив, с каким радостным изумлением наблюдаем мы за весельем яркого многолюдья. Но отчего-то не про детство, не про зимние проказы стал он рас-

сказывать, а про то, как он любит летом провожать пароходы.— Сяду на зеленый в одуванчиках берег, закурю, задумаюсь и жду гудка пароходного, не сравнимого ни с каким другим, смотрю, смотрю... А пароход белый-белый! А берега зеленые-зеленые!.. И сделается охота побежать по траве босиком... как в детстве, сшибая ярко-желтые, а то уж воздушно-светлые головки — чтобы подольше не терять из виду пароход...

Вечером того дня все собрались отметить наш приезд. На столе — вино, закуски, шаньги! Не ватрушки, а именно шаньги, с картошкой, с творогом, со сметаной — на любой вкус! Каждая с тарелку величиной. Наверное, только в Вологде выпекают такие пышные да аппетитные и продают их всюду, на каждом углу. И едят их все походя.

Скоро заговорили все разом, смеялись, читали стихи. Николай Михайлович почти весь вечер играл на гармошке. Пил он мало, то ли не в настроении был, то ли не хотел производить плохое впечатление — не знаю. А пел много — и так пел! Пел свои стихи, подладив под них музыку,— сочетание необычное, великолепное, великолепное еще, быть может, потому, что, как пел сам он свои стихи-песни, так никто не сможет.

Я и потом, уже после его смерти, буду часто слышать его песни в семейном кругу, в кругу друзей, даже сама буду подпевать, и все будет вроде бы так и уже не так.

А Николай, устроив гармошку на узеньких коленях, чудно переплетя ноги — он их действительно как-то почудному переплетал, как бы обвивая одной ногой другую! — прошелся по клавишам, посмотрел в пространство, мимо или сквозь сидящих за столом и, отвернувшись вполоборота, запел:

*Меж болотных стволов красовался восток огнеликий...*

Слова-то какие! Шесть слов — а перед глазами целая картина — видение природы!

*Вот наступит октябрь — и покажутся вдруг журавли!*
*И разбудят меня, позовут журавлиные крики*
*Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...*

Рубцов откинул голову, веки почти смежены, лишь бритвенно сверкают глубоко в прищуре глаза его, мглисто-темные, остро-лучистые, брови горестно сдвинуты, на шее напряглась и пульсирует, бьется крутая бугристая жилка,

и голос уже вроде на пределе, в нем тоска и боль, тревога и сожаление, ожидание и отрешенность...

*Широко по Руси предназначенный срок увяданья*
*Возвещают они, как сказание древних страниц.*
*Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье*
*И высокий полет этих гордых прославленных птиц...*

Смолк, расслабил руки, склонил голову.

Притихло застолье. Некоторые запокашливали, за сигаретами потянулись...

— Коля! Это же прекрасно! — произнес Саша Романов.— Эти журавли...— Сдвинув брови, он попытался мысленно сравнить их с чем-то таким же, им под стать, и чувства свои выразить хотел, но не смог в момент этот и воскликнул: — Что ты с нами делаешь, Коля!

Опять все заговорили, зашумели, задвигали стульями...

И так будет всякий раз, когда Николай запоет свои песни: не будет вокруг равнодушных, не будет спокойных, каждый по-разному, каждый по-своему, но каждый будет переживать смятение и радость, тоску и восторг, боль и наслаждение — чувства удивительные, необъяснимые, непременно возвышенные.

Время идет. Я уже знаю о незадавшейся личной судьбе Николая Михайловича, о том, что у него есть жена и дочка — живут в Тотемском районе, в Николе. По рассказам уже представляю их себе. Но он никогда не рассказывал о том, как переживает разлуку, даже не разлуку, а разрыв с родным человеком, со своей женой, то ли так и не ставшей ему близкой, то ли отчуждившейся в силу каких-то иных обстоятельств. Не доведется мне услышать от него такое, хотя мы будем часто и подолгу вести с ним всякие разговоры у нас дома, когда Николай зайдет «попроведать», как он говорил. Дочку он вспоминал часто, говорил, какая она смешная, что зуб вот передний выпал, что любит ее и жалеет, тоскует и мечтает, что вот поедет туда и целыми днями будет с нею. Или с нетерпением ждет, когда привезут ее в Вологду.

В другой раз Рубцов поет уже не про журавлей, а о земном, о человечески сокровенном:

*Я уеду из этой деревни...*
*Будет льдом покрываться река,*
*Будут ночью поскрипывать двери,*
*Будет грязь на дворе глубока...*

И сразу неуют, непогода, холодок вселяются в нутро — так зримо, так явственно предстает картина надвигающейся осени и в природе, и в душе, и предчувствие: вот-вот разразится беда, горе, трагедия между людьми, любящими и страдающими. И поет он сейчас совсем не так, как пел про журавлей. Горестно поводит головой из стороны в сторону, не поднимая глаз, будто не решается, не хочет спугнуть видение-воспоминание, будто вслушивается в прошедшее-минувшее, думает, печалится...

Рубцов — поэт, и по его стихам можно если не проследить, то почувствовать состояние души его, а почувствовав, невозможно не сопереживать.

Позже я узнаю и о том, как тетя Шура — добрая и ласковая няня в детском доме, где воспитывался мальчик Рубцов,— чаще, чем других ребятишек, незаметно оделяла его вниманием: то сушку даст, то слово ласково скажет. И маленький Коля тянулся к ней, как к родной. Подойдет, бывало, к ней и скажет: «У меня рубашка запачкалась». И она даст ему другую, чистую, и неряхой не обзовет, не поругает. «Тетя Шура, у меня пуговка оторвалась»,— снова обратится к ней мальчик. И она пришьет ему пуговку, может, мимоходом и носишко утрет, по головке ли погладит, шнурок ли на ботинке завяжет...

Чуткая и нежная душа, он боготворит тетю Шуру и вместе с нею боготворит беспредельно, всем своим существом, окружающую его природу родного края. В то время он пока не умел выразить свои чувства высокими словами. Но когда на выпускных экзаменах за седьмой класс в школе будет дана тема сочинения «Мой родной край», Николай светло и удивительно поэтично расскажет «о родном уголке», так по-своему назвав сочинение.

Это сочинение, написанное ровным красивым почерком в обыкновенной ученической тетради в линейку со светло-зелеными корочками, лежит сейчас передо мной, и я думаю о том Рубцове, который, как и его сверстники, был обыкновенным парнишкой, мечтателем и заводилой, драчуном и преданным в дружбе и в то же время уже необыкновенным — уже в ту пору он был «сочинителем», иначе разве смог бы он сочинить встречу с медведем и вообще столь блистательно написать сочинение.

Пройдут годы. У Николая Рубцова уже появится своя семья — жена и дочка. Казалось бы, все хорошо, все нормально, все как у людей, но чем дальше, тем все чаще он будет ловить на себе осуждающий взгляд женщины —

матери жены, будет выслушивать от нее упреки за то, что он-де посиживает на шее у жены да у тещи, пописывает стишки, в лес похаживает... А люди все работают, семьи кормят, одевают. И ей от людей совестно, что достался такой зятек, у которого ни в себе, ни на себе...

И все-таки Николай Михайлович вместо того, чтобы сесть за руль комбайна и «зашибать» большие деньги, как ему настоятельно советовали, по-прежнему ходил в лес, потому что не представлял жизни без природы, без шума сосен, без кукушки и коростеля, без клюквы и морошки. Но часто ходил уже не просто так, не радости и удовольствия ради, а собирал, точнее, заготовлял грибы и ягоды, сдавал их, и вырученные деньги отдавал семье. И по-прежнему писал стихи, потому что они для него были самым главным, самым тем, ради чего он жил, о чем мечтал, в чем видел и находил истинное наслаждение и удовлетворение.

В одном из писем к Боккаччо Петрарка писал так: «Перестать писать — это значило бы отказаться от жизни...» Так, наверное, было и для Николая Рубцова.

В творчестве, как и в жизни, Николай Рубцов, как мне случалось наблюдать, мог быть верным, нежным, добрым и ожесточенным, мрачным и веселым, прямым и грубым, слабым и беззащитным — ничто человеческое не было и ему чуждо, и в стихах его отражалось все: его ум, вкус, осторожность, доверительность, проникновенность, нервность, мудрость, предчувствие — вся его сущность. И, думается, оттого он был такой сложный и противоречивый, что не давал ему спокойно жить его большой талант.

Помню, у нас на новоселье Николай был в ударе, весь вечер играл на гармошке и очень много читал стихов, особенно Тютчева. И еще несколько раз в тот вечер играл любимый им «Вальс цветов». Я уж позже услышу о том, что этот вальс связан с его первой любовью, нежной, трепетной, робкой, светлой, о которой он даже не напишет стихов — будто бы боязно ему было прикоснуться, боязно опечалить или осквернить воспоминание о том «чудном мгновенье».

На другой день, под вечер, он снова пришел к нам, со смущенной улыбкой сказал: «Вчера мне вовсе не хотелось уходить, да отдыхать вам надо было... Вот и пришел опять...» Вскоре он повел разговор о Гоголе, да так интересно, с юмором, с удивленной радостью, наизусть цити-

руя отрывки и реплики из «Мертвых душ». Мы смеялись до слез. Николаю это очень нравилось. Прощаясь, пообещал в следующий раз развеселить нас рассказами из литинститутской жизни.

И этот случай, и вообще то, что он часто, чаще, чем другие, заходил к нам, разговаривал, читал стихи, с улыбкой говорил, как у нас хорошо, уютно... Мне казалось, он понимал, чувствовал, как непривычно, одиноко, тоскливо нам пока на новом месте, и старался как бы скрасить нашу жизнь, отвлекал. Когда разговор шел о безграничности поэзии, Рубцов утверждал, что у каждого, даже самого посредственного поэта обязательно есть стихи, много или мало, пусть хоть одно,— мудрые, пророческие, всегда остающиеся современными и что все поэты, знают они это или не знают, хотят того или не хотят,— пророки. И тут же как пример приводил своего любимого Тютчева, что писал он сто лет назад — и уже о нас, о жизни, о человеке, о судьбе его, писал так, что читаешь сейчас — и душа заходится от восторга, глубины и высочайшего мастерства, и еще...

— В общем, все, как у всех, как у нас. Как во все времена,— заключил он однажды и раскрыл книгу стихов Тютчева:

*Есть и в моем страдальческом застое*
*Часы и дни ужаснее других...*
*Их тяжкий гнет, их бремя роковое*
*Не выскажет, не выдержит мой стих...*

Рубцов читал стихи медленно, членораздельно, как бы подчеркивал весь глубокий смысл, вложенный поэтом в каждое слово. Вот он расхаживает по кухне и то вытягивает руку, то поднимает ее, согнутую в локте, поводит ею то резко, то плавно... Внезапно остановился и, задумавшись, заговорил после некоторого молчания уже тише о том, что «о любви и о том, как умели люди любить... и умеют,— поправился он,— писать трудно, а чтобы лучше,— наверное, и невозможно...»

Не помню, на второй или третий день после майских праздников перед обедом приходит к нам Николай Михайлович, постриженный, в голубой шелковой рубашке, смущенно-улыбчивый, руки спрятаны за спину, а сам все улыбается, и загадочно и радостно. За ним вошла женщина, светловолосая, скромно одетая, чуть смущенная, но полная достоинства. Мы как раз пили чай и при-

гласили их. Войдя в кухню, Николай торжественно поставил на стол деревянную маленькую кадушечку, разрисованную яркими цветами,— такие часто продают на базаре. В ней — крашеные разноцветные яички. Заметив наше удивление, тут же выпалил радостно: «Сегодня же пасха! А вы и не знали? Я же говорил, что они не знают,— сказал он, обратившись к своей спутнице.— Христос воскресе! — весело воскликнул он.— А можно похристосоваться-то?»

Всем сделалось весело. Сели за стол. Разделили на части одно расписное яйцо, остальные оставили в кадушечке — очень уж красиво. Николай сообщил, что яички эти привезла Гета, и указал на женщину. Я поблагодарила, поинтересовалась, откуда и когда она приехала. Мне тоже захотелось сделать ей приятное, и я спросила, есть ли у нее дети, чтоб послать им гостинцы. Она потупилась, как-то странно улыбнулась, на Колю взглянула и, тряхнув головой, ответила, что есть — девочка.

Коля перестал есть и, подумав, сказал серьезно:

— У этой женщины живет моя дочь... Лена...

Я поняла, что опрометчиво поступила.

Когда выходили из-за стола, Рубцов задержался на кухне, чтобы докурить сигарету. Я спросила: «Чего ж ты не познакомил с женой-то? Же-е-енщина! У нее живет моя дочь...— передразнила я его.— А она, кстати, очень приятная, славная, и ты напрасно...» — «Ой, да что вы! Вы же все понимаете...»

После пели песни. Николай заливается. Мы подтягиваем. А Гета, чуть откинувшись на спинку дивана, полуприкрыла глаза и все смотрит, смотрит на него. Что свершалось в ее сердце, о чем думала, что переживала она? Мне казалось, она вот-вот заплачет и все будет именно так, как он когда-то написал в одном из своих стихотворений: «Слезами она заливалась, а он соловьем заливался...», или поднимется и уйдет — навсегда. И хотелось сказать, чтоб перестал он терзать ее такими песнями, чтоб пел о другом или разговаривал бы... Но тут нам позвонили — пригласили в гости. Гета сказала, что ей нужно идти на вокзал, нужно ехать, потому что там еще за реку надо попадать, а дорога вот-вот откажет...

Дойдя до автобусной остановки, мы попрощались с Гетой и начали было уговаривать Николая, чтобы он приходил, когда ее проводит. А он подал женщине руку, сказал: «До свидания, Гета!» — и направился впереди

нас. «Ну ты даешь! — изумились мы.— Почему не проводил-то?» «Так даже лучше!» — громко отозвался он, оглянулся, поднял руку, мол, будь здорова! И пошел.

Пока шли, Николай с удивленной радостью, как об открытии, рассказывал, как совсем случайно он недавно оказался у одних знакомых и увидел у них прибитую сверху к форточке прозрачную пленку, разрезанную на узенькие ленточки. «И эти ленточки все время трепещут, пошевеливаются... и как бы ветер слышится! И я спросил: «Вы тоже ветер делаете?» Они так удивились! Ну вот как вы сегодня... что пасха... И тогда я им рассказал, что у себя тоже делаю ветер — ставлю в форточку пустую бутылку и слушаю. В самом деле, как настоящий ветер, тихонько завывает — посвистывает...»

Николай Рубцов не был легким и удобным в общении человеком, сознавал это и казнился потом. Вот, например, что он писал в записке к Н. С.: «Н.! Я понимаю, что мало извиниться перед тобой (мне все рассказала Анастасия Александровна). Это говорил не я. Это говорило мое абсолютное безумие. Поэтому не придавай а б с о л ю т н о никакого значения дурости. По-прежнему Н.»

Спустя несколько дней Николай зашел к нам пьяный, мрачный, раздраженный. Покачиваясь на стуле, что-то говорил о смысле жизни поэта, начал было развивать какую-то умную мысль, но тут снова заговорило его «абсолютное» безумие. Я смотрела на него, совсем другого Колю, неухоженного, нетерпимого и уж вроде начинала сомневаться, один ли и тот же человек Николай Рубцов, написавший много прекрасных стихов, и этот, изможденный выпивкой, косноязычный, растрачивающий себя и свой талант так безрассудно.

А время идет, жизнь идет, и Николай снова у нас, застенчиво-тихий, бледный. Сидим, пьем чай с рябиновым вареньем, разговариваем. Не заметили, как по радио зазвучала музыка, заслушались, замолчали. Исполнялась вторая симфония Калинникова. Когда музыка кончилась, Николай, как бы очнувшись, грустно так улыбнулся и сказал:

— Как интересно! Вернее, как хорошо: можно пить чай... с прекрасным вареньем и... слушать музыку! Вы ведь тоже заслушались? Иногда я что-то подобное, очень похожее слышу в лесу или на реке. А вот послушать бы в Большом театре!

Рубцов не был у нас более недели. Вернувшись из Москвы, явился чистый, бодрый, с неизменным томиком стихов Тютчева. Еще не отойдя от порога, сказал:

— А я был в Москве!

— Ну и как? Что там нового? Как съездил?

— Вы знаете, я ведь в Москве не люблю бывать,— признался он и, с прищуром посмотрев в окно, добавил: — Напьешься там, устанешь, разругаешься...— Заметил, что я улыбаюсь.— А чего вы смеетесь? Как ни бейся, а к вечеру напейся, как говорится.

— Ну, мало ли что говорится! Лучше расскажи, что нового у тебя. Давно не был. Сейчас мы с тобой пообедаем, поговорим. Как у тебя с книгой?

— Все нормально. Все хорошо. И вообще все хорошо! И в Москву в этот раз съездил хорошо. Был в институте, в издательстве, даже на встрече с какими-то иностранными журналистами. Сам не заметил, как все получилось! А вообще-то интересно, вернее, забавно... Называли новые имена в литературе, в поэзии, и меня упомянули! — хохотнул он, помолчал, закурил.— Еще был в ЦДЛ. Не успел зайти в зал, как тут же привязался ко мне один: «Ты — Рубцов! Я тебя знаю! Я тоже поэт! А ты меня знаешь?» А я же трезвый был, голова светлая, на душе хорошо... И не хотелось, чтоб кто-нибудь испортил мне мое прекрасное настроение, и я ответил ему: «Не знаю! И знать не хочу!» — И ушел. И даже сам себе понравился.

Мне ясно представилось, как все это происходило. Пока пили чай, Рубцов рассказывал, кого из знакомых встретил, о чем говорили, что, мол, кого ни послушаешь, все грозятся в Вологду нагрянуть, посмотреть, что это за город такой, шибко литературный...

— Да ну их! — отмахнулся Николай и взял в руки Тютчева. Полистал и начал читать «На кончину брата».

Он часто читает это стихотворение и, кажется мне, всякий раз читает по-разному, по-особому. Вот и сейчас, заложив пальцем нужную страницу в книге, прикрыл глаза:

*Дни сочтены, утрат не перечесть,*
*Живая жизнь давно уж позади;*
*Передового нет, и я, как есть,*
*На роковой стою очереди...*

В этот раз после ухода Николая Михайловича как-то неспокойно, тревожно, даже боязливо сделалось на душе.

С Николаем Рубцовым мы часто, иногда не по одному разу на день, встречались на улице. Он жил в доме, где было почтовое отделение, и я часто туда заходила; покупали хлеб и продукты в одном магазине, в кулинарии покупали горячие вологодские шаньги; пока у нас не было телефона на квартире, звонили с одного автомата. И, пожалуй, до последней осени такие даже мимолетные, неожиданные встречи были всегда веселыми, радостными, и я не могла допустить мысли, что наступит время, когда я буду избегать их, потому что будет невыносимо видеть бредущего Колю, мрачного, озлобленного. И всякий раз после таких встреч долго не будут покидать меня думы, тягостные и тревожные, и стихи его будут приходить на память под стать переживаниям и тревогам.

Иногда думалось, что на него так гнетуще действует слякотная осенняя пора, потому что, когда заходил разговор о том, как разные поэты в разные времена возвышенно воспевали и воспевают осень: «Люблю я пышное природы увяданье...» или «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора: весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера...», Николай как бы недоумевал, рассуждая, что это именно очень краткая пора и поэтому ее и осенью-то назвать нельзя, это, скорее, конец лета. Осень же — самая унылая и долгая пора из всех времен года.

В середине октября того же года почти все вологодские писатели выехали в Архангельск на выездной секретариат. И там вечером второго дня собрались у нас в номере друзья, много говорили о том, какой прекрасный доклад сделал Сергей Павлович Залыгин, он как бы дал настрой всей работе секретариата, толковали, кто о чем собирается сказать с трибуны, а потом пошли разговоры разные. Запели «Вниз по Волге-реке». Запели и удивились: как складно повторяются две последние строчки каждого куплета! Так же ведь и у Кольцова, и у Некрасова... Да и у Пушкина «Вновь я посетил...» — белый стих, а этого не замечаешь. А у Рубцова — «Осенние этюды»! И в этот именно момент открылась дверь, вошел Коля в таком состоянии, когда «заговорило вновь его абсолютное безумие...»

Настроение испортилось, потому что после его ухода уже было трудно избежать разговора о Рубцове, о его

жизни. Я не стала бы писать об этом, если бы теперь не сожалела о том, что избегала тоже его пьяного, не терзалась бы, что сознательно сокращала время общения с ним. Но, наверно, психика наша так устроена, что, прежде чем «среагирует» ум, она уже защищает себя от «перегрузок» всякого рода, и мы медлим, а подчас и не думаем утруждать себя «дополнительными» нравственными обязанностями и либо легко прощаем человеку человеческие слабости, либо, если они изнурительны и докучливы, ограждаем себя от них и только позже, как бы издалека, когда ничего уже нельзя изменить и поправить, понимаем, как уязвим человек слабостями, будь он простой смертный или гений.

А между тем смутные за Колю тревоги и переживания делались уже постоянными, может, еще и оттого, что выглядел он часто усталым безмерно, будто очень пожилой и очень больной человек. В стихах он однажды скажет:

*О, моя жизнь! На душе не проходит волненье...*
*Нет, не кляну я мелькнувшую мимо удачу,*
*Нет, не жалею, что скоро пройдут пароходы,*
*Что ж я стою у размытой дороги и плачу?*
*Плачу о том, что прошли мои лучшие годы.*

Мне трудно определить, чего здесь больше: безысходности или слабости, усталости или отрешенности? Но здесь нет жажды жизни. А в стихотворении «Я буду скакать по холмам...» строка «Все понимая, без грусти пойду до могилы...» уже звучит как пророчество.

А Николай жил и жил дальше, с нами по соседству, жил, любил, страдал, играл в шахматы, пел под гармошку, писал стихи... Как-то провел он у нас три дня. Зашел, сказал, что плохо что-то себя чувствует, сердце что-то, и голова болит... Мы дали ему лекарство, напоили чаем горячим, устроили на раскладушке. Он попросил выпить, но Виктор Петрович (Астафьев.— Сост.) пододвинул ему стакан с чаем и сказал раздумчиво, что насчет выпить не выйдет, что весь ведь больной... так и погибнуть недолго... здоровье не богатырское, а ты вон... да еще не ешь ничего...

— Ну и что, и погибну! — с вызовом воскликнул Коля.— И погибну! И умру!.. И... похоронят меня...— со злорадной усмешкой продолжал он.

Через несколько дней после этого Николай зашел вечером и отчего-то не захотел раздеться, посидеть или хотя бы отойти от двери. Он долго стоял в нерешительности и наконец попросил денег в долг:

— Мне нужно расплатиться за машину, за грузовую... за перевозку вещей...— пояснил он.

Возвратить долг Коля пришел не один, а вместе со своей будущей женой. Оба пьяненькие, оба наспех одетые.

— Я пришел вернуть долг! — сказал он, уставившись на меня пронзительным, не очень добрым взглядом.

— Хорошо! — сказала я.— Теперь у тебя все в порядке? На житье-то осталось? А то не к спеху, вернешь потом.

— Нет, сейчас! Вот! — Вытащил из одного кармана скомканные рубли и трешки, порылся в другом, пальто расстегнул: — А можно или нельзя мне войти в этот дом? Чтоб долг отдать...— резко, с расстановкой заговорил он.

— Конечно, Коля! Проходи! — посторонилась я.

— А она — талантливая поэтесса! — кивнул он в сторону своей спутницы, оставшейся на лестничной площадке этажом ниже.

— Возможно.

— И она же — моя жена! — он опустил голову, что-то тяжело посображал и опять уставился на меня в упор: — Ничего вы не знаете! Я тоже ничего знать не желаю! — выпятился из прихожей на площадку и с силой закрыл за собой дверь.

Да, я уже знала, что она пишет стихи, что печаталась. Читала подборку ее стихов в журнале «Север»— простые, славные два стихотворения. Кроме того, в отделении Союза писателей как-то состоялось обсуждение стихов молодых поэтов, и ее в том числе. Читала она тогда, кажется, три или четыре стихотворения. Одно из них запомнилось мне особенно — о том, как люди преследуют и убивают волков за то лишь, что они и пищу и любовь добывают в борьбе, и что она (стихотворение написано от первого лица) тоже перегрызет горло кому угодно за свою любовь, подобно той волчице, у которой с желтых клыков стекает слюна... Сильное, необычное для женщины стихотворение.

Виктор Петрович толкнул легонько Колю в бок — они сидели рядом — и сказал: «А баба-то талантливая!»

— Ну что Вы, Виктор Петрович! Это не стихи, это патология. Женщина не должна так писать.

И оттого, наверное, что поэтесса читала свои стихи детски чистым, таким камерным голоском, это звучало зловеще, а мне подумалось: такая жестокость, пусть даже в очень талантливых стихах, есть нечто противоестественное.

И вот я подошла к тому, о чем больно и горько рассказывать.

19 января 1971 года не стало Николая Рубцова.

Было обычное зимнее утро, в меру морозное. Я вышла из дома и направилась на почту. В этом почтовом отделении меня знали. Бывало, увидят в очереди, подойдут, кто свободен, примут мои бандероли или оставят, чтоб после оформить.

В этот раз мне почему-то сказали: «Подождите немного. Мы только вот этих отпустим...»

Я подождала. Когда народу не осталось, самая молоденькая из работниц спросила:

— Вы знаете Рубцова? — а сама таращит на меня непривычно неулыбчивые глаза.

— Знаю.

— Он живет в шестьдесят пятой квартире? — допытывалась другая.

В это время подошли еще женщины.

— Точно не знаю номер квартиры, но расположение ее знаю, на пятом этаже.

— Его сегодня ночью убили...

В первый момент меня ошеломила эта ужасная весть, затем возникла спасительная мысль — ошибка!

— Девочки! Так шутить...— начала было я подавленно, повернулась и пошла к Рубцову.

Задумавшись, как объясню ему свой ранний приход, не заметила, что направилась не в ту сторону, дошла до угла, опомнилась, вернулась. Поднимаюсь спешно с этажа на этаж, дышится от волнения тяжело, но остановиться или хотя бы замедлить шаг не могу: скорей, как можно скорей разувериться...

Две соседки на лестничной площадке, заслышав шаги, уже открыли двери из своих квартир, смотрят на меня. Звоню сильно, долго.

И тогда они в голос:

— Вам кого?

— Николая Рубцова.

— А его только что увезли... в морг...

Прислонилась к пожарной лестнице, ведущей на чердак, закрыла глаза. «При чем тут морг?»

Одна из женщин принесла в кружке воды, дала мне попить.

Иду, плачу, хочу представить Колю, поверить... Слезы душат. Как скажу об этом своим?

Пришла домой, раздеваюсь, а рыдания рвут душу, ничего не могу с собой поделать. Прошла в кухню. Виктор Петрович услышал что я плачу, решил, что ходила в больницу — плохо себя чувствовала последнее время — и мне предложили ложиться, а я не хочу и вот реву.

— Что случилось? — спрашивает.

— Колю Рубцова убили.

— Кто?!

— Жена.

— Как?..— не поверил, ушел к себе, сел за стол, развернул газету, отбросил, вернулся. Начал звонить.

Собрались в отделении Союза писателей, собрали деньги, чтобы купить костюм, белье, обувь. Все были заняты хлопотами: кто в морг, кто оформлять документы, кто заказывать гроб, венки, могилу...

Гроб с телом поэта установили в Доме художников, в большом зале. Стены увешаны гирляндами из пихтовых веток, увитых и скрепленных красными и черными лентами. На фоне желтых штор, скрывших окна, спускаются черные полотна, и на них строфы из стихов покойного поэта. На одном:

*Но люблю тебя в дни непогоды*
*И желаю тебе навсегда,*
*Чтоб гудели твои пароходы,*
*Чтоб свистели твои поезда!*

А на втором:

*С каждой избою и тучею,*
*С громом, готовым упасть,*
*Чувствую самую жгучую,*
*Самую смертную связь.*

Два больших портрета: один — фото, другой взят с выставки — работа художника Валентина Малыгина. И музыка, музыка... Почетный караул меняется через каждые пять минут.

В 15 часов 15 минут началась гражданская панихида. Зал переполнен. Проститься с поэтом пришли люди, знакомые и незнакомые, которых он собрал вокруг себя в этот

горький час и объединил этим горем. Они все идут, идут, обходят вокруг гроба и отходят в сторону, уступая место другим... На короткое время все замерли в молчаливом прощании, не было слышно ни голосов, ни плача, ни движения.

Художники, писатели, друзья стали обращаться к покойному поэту со словами прощания. Виктор Петрович Астафьев сказал:

«Друзья мои! Человеческая жизнь у всех начинается одинаково, а кончается по-разному. И есть странная, горькая традиция в кончине многих больших русских поэтов. Все великие певцы уходили из жизни рано и, как правило, не по своей воле...

Здесь сегодня, я думаю, собрались истинные друзья покойного Николая Михайловича Рубцова и разделяют всю боль и горечь утраты.

У Рубцова был тяжелый путь, его судьба была трудна и горька. Это отразилось и в его стихах, полных печали и раздумий о судьбах русского народа. В этих щемящих стихах рождалась высокая поэзия. Она будила в нас мысль, заставляла думать...

...В его таланте явилось для нас что-то неожиданное, но большое и важное. Мы навсегда запомним его чистую пусть и недопетую песню».

Бывшая жена поэта, Генриетта Меньшикова, приехавшая из Тотемского района — ехала на грузовой машине всю ночь,— сидела по-русски красивая, скорбная и одинокая. Она долго-долго смотрела на лицо покойного мужа, не сдержалась, зашлась в рыданиях. После, поняв, что скоро все кончится, что скоро его совсем не будет, остановила в себе плач и уже не сводила с него взгляда.

Разобрали венки, подняли гроб и понесли. На кладбище было долгое прощание, короткие, горькие, клятвенные речи. Я все пыталась до конца понять, осознать, что вот ушел из жизни Николай Михайлович Рубцов. Чувство такое, будто не один он ушел из жизни, а много поэтов, прекрасных внешне и духовно, умных и интересных, ярких и содержательных, добрых, мудрых, сложных, наивных, нежных... И мысленно все повторяла: «Прости, дорогой Коля, за то, что мы, живые, так мало думаем и делаем для того, чтобы люди жили долго, жили чистой и достойной жизнью и сами были бы достойны ее, потому что не всегда способны понять, оправдать и научить добру даже ближнего своего... Прости меня...»

А потом было все: и плач, и споры, как уже повелось на Руси, все запоздало казнились, что не уберегли талант, не уберегли друга.

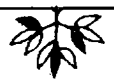
Горькие, тревожные, беспокойные пошли дни. Телефон не умолкал. Звонили знакомые и незнакомые, горевали, сочувствовали, спрашивали, что да как...

«Дорогой Виктор Петрович! — писал Николай Николаевич Яновский.— Сегодня у меня тяжелый день — ровно три года, как погиб мой сын. Сегодня же узнал из газет и из писем, что погиб Коля Рубцов. День этот для меня, как дурной сон. Я не решался написать тебе, зная, как ты его любил, как тяжело тебе что-либо говорить, когда свежа еще рана... Сейчас я решился, потому что мне больно и за сына, и за милого, большого русского поэта, полностью еще не раскрывшегося и унесшего тайну своего дара в безвременную могилу...»

«С большой скорбью узнали мы о смерти Коли Рубцова. Ударило прямо в сердце. Очень-очень жалко! — пишет из Калининграда Анатолий Соболев.— Вот и отлетело сразу все наносное, остался в памяти чистый и светлый поэт северной России. И стихи его, и песни, и гармошка, и сам он с «больным и маленьким организмом» стоит перед глазами. Боже мой! Боже мой! И по какому же такому случаю помирают истинные поэты! Жаль, очень жаль. Передай ребятам, что мы разделяем ваше горе...»

Мне думается, с годами он будет все больше и больше объединять вокруг себя своими стихами любителей и почитателей поэзии, и они не будут уставать удивляться и восхищаться его необыкновенным, большим талантом.

# ВИКТОР АСТАФЬЕВ



## «ТАМ, ЗА ДЫМОМ И РЕКОЙ...»

### Отрывки из интервью

...Коля делал обзоры поэтические для «Вологодского комсомольца», а редакция тогда была в здании горкома партии. Забрел как-то Коля пьяненький в горком, а там вахтер, дядя Вася, тоже кирюшник, пустил его. Он же знает — человек постоит, подремлет,— дальше пойдет. Тепло ведь немножко в горкоме. А тут бежит молодой доморощенный большевик, противные они, вологодские эти большевики — обязательно какие-то бачки отпустит, галстучек научится завязывать, крутится, маленький такой, выбился в начальство... И вот бежит сверху, а среди колонн мраморных стоит мужик, качается, в валенках черных. Ну, ходил Коля в валенках черных, что ты с ним сделаешь? Придет к нам, я ему: «Коля, сними валенки!». «Да у меня и носки грязные...». «И носки снимай, сейчас дам тебе сухие...».

Так вот, партиец на него, это же что такое? Среди колонн стоит пьяный человек и малость дремлет еще... «Ты кто такой? Вы почему здесь пьяный стоите?» Коля открыл глаза и говорит: «Пошел ты...» Послал, в общем. Выскочили комсомолята-то, отбивают, ничего не получается. Какого-то Восьмеркина-секретаря послал — что ты!.. Долго потом разбирались, потащили его к какой-то шишке, заведующему отделом агитации, тот начал ему права качать, а Коля: «Чего вы ко мне лезете? Я к нему не лез. Я стою и думаю, как примирить две идеологии: Учение Христа и Ленина, а он лезет...» За голову схвати-

лись: «...Две идеологии!» С Колей разбираться — это, Господи помилуй!

Потом его вообще было трудно взять, кирюшники отобьют его просто. Не посмеют его взять просто так.

— А сколько его мытарили с жильем...

— Да с жильем у него... Мы в молодости больше мытарились, чем он. С жильем было так. Ему сперва дали на той стороне реки с подселением комнатушку, и надо же — попался в соседи секретарь райкома. У того вся квартира, у Коли — комната. Поставил тот Ленина, книжки, иконку вологодскую повесил — уже модно было, ковришко прибил, побежал знакомиться с соседом, а тут лежит человек, у него одна раскладушка в комнате и та без матраса, и половины пружин, как видно, нет. Пол-литра тут же...

— Гармошка...

— Гармошка у нас была; то у нас, то у Васи Белова. Пока он еще не перевез. Так вот, прибегает знакомиться, а тут лежит пьяный человек. Но встал, как следует: «Рубцов». С первой встречи — конфликт. Он перестал в той квартире бывать. Всякий раз скандалы, ключи потеряет, пинает дверь: «Открывай, моя квартира!..» То бабу приведет и тогда — гармошка. Партийный деятель отдыхает, а он поет...

Как-то, мы на Урицкого еще жили, вышел я тут за булочную. Коля идет. В валенках этих вот. «А-а, Петрович, здорово!» — говорит. «Здорово». А он меня очень любил... «Пошли?» «Пошли, Коля, ты куда?». «Да-а, туда вот...». «Пойдем...». Цигарка у него торчит. «У тебя спичек нету?» «Коля,— говорю,— откуда они у меня? Ты же знаешь, я не курю...» «А-а-а, все курить бросили, пить бросили...» И вот тут с угла, где театр теперь, вырывается громила — телогрейка на голом теле, тут, на груди, татуировка: «Умру за горячую землю!» и чем-то возбужден. Коля его останавливает и говорит: «Мужик, у тебя спички есть?». Он говорит: «Есть...». И так, не глядя, подает. Ага... Коля это мог разыграть. Коля так берет, чиркает и бросает, чиркает и бросает. А громила куда-то вдаль смотрит, слава Богу. Я так думаю, нас сейчас обоих приделают, и я — цап у Коли коробок: «На, зараза, прикури!» Коля прикурил, я коробок — громиле: «Спасибо». Тот взял и пошел. Я говорю: «Коля, ты что делаешь? Ты видел, кто перед тобой?..» «А-а...» — говорит. «Он тебе бы,— говорю,— как дал бы, и мне, старику, твоему

сопровождающему, досталось бы, оба тут бы легли». «Ничего,— я бы тоже как дал!».

Чем тощей Коля становился, тем больше перился. Но интересно что... (Астафьев на несколько минут умолкает, вздыхает). И это удивительная вещь! На Коле многое можно было проверять. Это же ма-аленькое такое, ангелоподобное дитя где-то в середине него жило. И сверху — этот детдомовец. Ершистый, вредный бывал — спасения нет, со всеми отношения мог испортить, когда переберет...

Однажды, он, видимо, невыспатый был... Он страшно любил «поплавок». Не знаю, стоит ли он там, у речного вокзала в Вологде, ресторан на дебаркадере, в дерьме плавает... Стоит? Вот-вот. Там краснуху как-то давали — пока дождешься... Я говорю: «Коля-а, ну, пойдем к нам, моя Марья пельмени нам пожарит, а то будем тут до утра...» Нет, сидит. Ему романтика тут, герань какая-то хилая стоит, пальма скорченная. И вот однажды он пришел туда один...

Как рождались эти стихи, мои самые любимые-то, я хочу рассказать. «Вечерние стихи» они называются. Я их любил и люблю, потому что я знал историю эту...

Так вот заказал он вина и задремал. А тут сидели какие-то ребята в плащах, в резиновых сапогах, на перепутье. А он задремал. И эта вот официантка — стерва — она хоть красноярская, хоть вологодская — пришла и так его торкнула: «Ты чего, спать сюда пришел?» У него рука-то сорвалась, и он лицом об стол. Ну, это он не мог стерпеть, он ее толкнул, она там загремела: «А-а, бьют!» Конечно, прибежал мент, начали разбираться. И весь ресторанишко, какой тут был,— все за него, за Колю. Тут геологи вступились: «Так она сама ж виновата, зараза. Ну, он, дремал, чего она толкается? А он спросонья ее и толкнул...» Скандалили-скандалили, и его отпустили. И вот тогда он написал эти стихи вечерние. У посредственного поэта они были бы обязательно злые: я там разнесу до последнего венца, довели народ, все такие-сякие, официантка мордой об стол бьет и вообще... А нет, от этого у него стихи стали еще печальнее и пронзительнее, он в душе простил эту бабу. Как человек он, может, ее и шарашит: я тебе, мол, дам кулачишком!.. А в душе он ее простил. Потом его геологи к себе посадили за стол, он выпивал с ними, пел у них, потом которые ушли, которые уплыли, тут другие геологи нашлись... Стихи стали добрее, прон-

зительнее и печальнее. Только всего... Вот это первый признак большого поэта и писателя. Он не опустился до зла, до мести.

— Ни в одних стихах Рубцова даже тени нет озлобленности...

— Ни-ни... Я просто знаю первоначальный вариант, они от этого происшествия стали лучше и чуть-чуть длиннее. Какая интонация точная: «Когда в окно осенний ветер свищет и вносит в жизнь смятенье и тоску, не усидеть мне в собственном жилище, где в час такой меня никто не ищет.— Я уплыву за Вологду-реку». И вот потом: «Она спокойно служит в ресторане...» Нет, дальше так: «Перевезет меня дощатый катер с таким родным на мачте огоньком! Перевезет меня к блондинке Кате...» Она не Катя, Нинка ее зовут. Он мне потом показал ее, они помирились. А он ее назвал Катей... «Катя» — «катер», рифмуется хорошо. «И снова я подумаю о Кате...»

— Я всегда думал, что это стихи о любви...

— Да-а, о любви. «И снова я подумаю...» Прекрасные стихи... А человек, способный ожесточаться, с беспеременчивым, каким-то железобетонным злом в душе — он не должен браться за литературу, не должен. Русская литература в большом своем проявлении всегда была миροподобной, и она умела прощать. Даже своему народу умела прощать. Есть, конечно, вещи беспощадные, те же «Кому на Руси жить хорошо», «Деревня» бунинская, где народу этому достается. И у Гоголя достается. «Деревня» — это вообще такой мордобой русскому мужику, что недаром же на нее демократическая печать напала...

— А Рубцов многие свои стихи пел?

— Он пел последнее время «Журавли», «Я уеду из этой деревни», «В горнице», потом пел на смерть брата Тютчева, он очень Тютчева любил. Других я не помню. Но эти он пел прекрасно.

— Кажется, никто не записал его песни, ни одной...

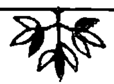
— Но кто думал, что так случится. Когда не думаешь, не готов, вот что получается... Был у нас еще такой случай с ним. Мы втроем сорвались на самолетик и улетели в Усть-Кубену — Витька Коротаев, он и я. С вином было плохо, какой-то напиток «Осенний», градусов семнадцать, взяли в Усть-Кубене и поплыли на лодке, уплыли на берег. Витька зарыбачил — клюет, а мы с Колей пили-пили, он упал по ту сторону бревна, я лег по эту. Комары нас чуть не съели. Встали утром. Витька

ругается: «Ой, вашу мать, рыбачить собрались раз в век, а вы...». А нас, с вечера начиная, вороны обобрали, все съели, утащили, сидят над нами, каркают. Хорошо, что вороны глаз не выклюнули мне последний — и то спасибо. Но окунишек Витька наловил, на уху хватит. Ну вот, опять давай ворочать кривым удилищем. Коля сидел-сидел, я уху сварил и осталась у нас одна бутылка и то под бревно закатилась. Но Витька где-то спрятал еще одну, достает: «Нате!» Наперчили уху, на колени встали, налили, выпили, уху похлебали. Они — купаться голые, оба хорошо плавают, а я только мылся. Вот вышли, Коля пригладил свои волосенки, а вдали там работающий собор был, так, на высотке стоит. Коля говорит: «Ну, ладно, вы рыбачьте, я пошел...» «Ну, давай...» И вот он ушел, долго нет его. Витька говорит: «Или он, падла, запил, или пропал, к кому-то затесался, и теперь нам его ждать...» А нам улетать вечером. Ну, говорю, поищем. Смотрим — идет. Ме-едленно так идет. Вологодский-то бережок, с травкой высокой. Благостное лицо, сияющие глазки такие, излучают какой-то свет, маленькие они у него были, выразительные, черненькие... И говорит: «Ребята! Как я погулял-то хорошо, в храме был, книжки старинные смотрел, с попом разговаривал, а на обратном пути началось во мне стихотворение...» «Коля, ну, давай, почитай...» И Коля прочитал четыре строчки изумительного совершенно начала... Но вот Витька не напрягся, не запомнил, я — с похмельем, записать мы их нигде не записали, и мы так их потом и не нашли. Вот так эти стихи ушли с ним. Они такие... Я ничего не помню.

— Мне кажется, он вообще очень много унес с собой.

— Ну да, ну да... Его же спрашивали: «Николай Михалыч, как вы пишете стихи?» «Очень просто. Ставлю наверху «Н. Рубцов» и столбиком записываю». Он слагал стихи. Так Кольцов слагал... После смерти стали говорить, что Рубцов пьяный писал стихи — это клевета. Он где-то уединялся и там писал. Как-то Бог руководит.

# ОЛЕГ КОРОТАЕВ



## ТЕМЫ ДУШИ

### Публикация

Поэту, известному еще с самых первых шагов своего вступления в литературу, Николаю Михайловичу Рубцову часто писали начинающие авторы. Писали, желая узнать именно его мнение о собственных стихотворных опытах.

И он всегда отвечал им. Одно из таких писем, исполненное глубокого такта и заинтересованности в судьбе человека, мы предлагаем вниманию читателей.

* * *

«Уважаемый Иван Игнатьевич! Добрый день!

Тема Вашего стихотворения — полет в космос — была уже использована во множестве стихотворений разных авторов, т. е. эта тема, как говорится, общая и старая.

Смысл стихотворения — прославление героев-космонавтов — также был выражен во множестве стихотворений такого же рода.

Слова, которые Вы употребляете в стихотворении для прославления этих героев, также были уже употреблены все в том же множестве стихов на эту тему.

Вашего **оригинального** (подчеркнуто Рубцовым) настроения в стихотворении — нет.

Вашего **оригинального** мировоззрения в стихотворении тоже нет.

Вот по всему по этому Ваше стихотворение не произвело на меня впечатления. А жаль. Жаль потому, что человеку, любящему стихи, любому такому человеку всегда бывает радостно, когда он находит в стихах поэзию, т. е. свежую тему, свежий смысл, свежее настроение, мировоззрение, мысли, свежие оригинальные слова. И всегда приходится огорчаться, когда всего этого нет в стихах.

Уважаемый Иван Игнатьевич! Я искренне написал здесь о главных недостатках Вашего стихотворения, ничуть не желая убедить Вас в верности моего мнения о нем, о Вашем стихотворении. Вполне, вполне возможно, что я ошибаюсь, когда думаю о нем так, и вполне возможно, что это Ваше стихотворение другим читателям понравится. И я от всей души желаю Вам этого.

Еще немного.

Когда я говорю Вам, что тема Вашего стихотворения старая и общая, это еще не значит, что я вообще против старых тем. Тема любви, смерти, радости, страдания — тоже темы старые и очень старые, но я абсолютно за них и более всего за них!

Потому я полностью за них, что это темы не просто старые (вернее, ранние), а это темы вечные, неумирающие. Все темы души — это вечные темы, и они никогда не стареют, они вечно свежи и общеинтересны.

В Вашем же стихотворении, как я уже говорил, нет оригинального настроения, т. е. нет темы души. Вы, очевидно, думаете, что достаточно взять какую-нибудь тему современного прогресса, особенно популярную, и уже получится поэтическое стихотворение. Но это не так. Хорошо, когда поэт способен откликаться на повседневные значительные события жизни, общества. Но надо сначала своими стихами убедить людей в том, что Вы поэт, чтобы к Вашим словам относились с вниманием и интересом, а потом уже откликаться на эти значительные события.

Так что главное для Вас, я думаю, попробовать сначала свои силы в умении выражать свои душевные переживания, настроения, размышления, пусть скромные, но подлинные. Поэзия идет от сердца, от души, только от них, а не от ума (умных людей много, а вот поэтов очень мало!). Душа, сердце — вот что должно выбирать темы для стихов, а не голова.

Коротко о подробностях стихотворения. Вот Ваши

эпитеты: «Небо голубое», «сильная грудь», «могучие крылья», «улыбка светлая и веселая», «знамена алые», «седая голова», «золотая звезда», «почтительное молчание», «великий подвиг». Неужели Вы не заметили, что все это очень, очень общие, распространенные, примелькавшиеся эпитеты, потерявшие свою выразительность.

А разве это не поверхностные выразительные средства, которые сразу же любому в таких случаях приходят в голову: «космический корабль несется быстрее птицы. Москва приветствует, были все потрясены» и т. д.

Кое-где у Вас совершенно отсутствуют рифмы, т. е. созвучия на конце строк. Например:

*В сияньи неба голубого,*
*В блеске солнечных лучей*
*Корабль «Восход» быстрее птицы*
*Плавно несся над землей.*

«Голубого — птицы», «лучи — земля» — разве это рифмы? Можно, конечно, писать стихи и без рифмы, но почему же тогда в других местах стихотворения они у Вас есть?

Где есть, где нет, и каждый раз бездумно — это не годится.

Вы пишете «быстрее птицы плавно несся...». Эту плавность при полете быстрее птицы невозможно представить. Да неужели ракета летит только быстрее птицы.

Вот так коротко о Вашем стихотворении, Иван Игнатьевич. Не могу судить вообще о Ваших стихах, т. к. Вы послали мне только одно.

А Вы ни разу не бывали в редакции местной газеты? Там есть люди, которые могли бы с Вами поговорить о стихах или с которыми Вы могли бы поговорить.

Еще раз повторяю, что не берусь судить о Ваших стихах вообще и что, возможно, я ошибаюсь в своем мнении о Вашем стихотворении.

От всей души желаю Вам всего самого доброго!

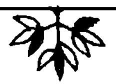
С искренним уважением *Николай Рубцов.*

Такие недостатки, которые есть, на мой взгляд, в Вашем стихотворении, сейчас довольно широко распространены в стихах и множества других авторов. Причем

частенько такие стихи все же печатают, и если Вы встречаете такого рода стихи в печати, то не думайте, пожалуйста, что так и надо писать. Всем надо нам учиться писать так, как писали настоящие, самые настоящие поэты — Пушкин, Тютчев, Блок, Есенин, Лермонтов. Законы поэзии одни для всех.

*Н. Р.*
12/I—64 г.»

# АЛЕКСАНДР РОМАНОВ



## ИСКРЫ ПАМЯТИ

### ПЕРВОЕ ИЗУМЛЕНИЕ

Это случилось глубокой осенью, когда обычно возвращаемся в город из своих деревень. Видимо, в 1964 году. И первым зашел ко мне на квартиру Николай Рубцов. Он при всех своих страстях был на удивление скромным и стеснительным человеком. Пройдет от дверей бочком, прямоугольно присядет на самый край старого дивана и на минуту-другую, морщась, как бы замкнется в молчании. Зная его такую побыть, спокойно ожидаю, что скажет. От расспросов он раздражался. Если, к примеру, заходил попросить в долг трешник или пятерку (больше не брал!), то молча подавал записку: «Прошу выручить» и т. п. Поначалу я дивился: зачем записка, если мы стоим «глаза в глаза». Потом понял: да, легче черкнуть, чем выговорить такую окаянную просьбу.

Вот и в тот вечер, когда он зашел ко мне да присел на какой-то закраек, да приобнял ладонями своими острые коленки — весь тихое напряжение, я сразу же направился кипятить чайник и собирать закуску. Но он остановил меня и попросил послушать стихи.

Я сосредоточенно притулился над столом. И вот слышу...

*Тихая моя родина!*
*Ивы, река, соловьи...*
*Мать моя здесь похоронена*
*В детские годы мои...*

Захолонуло душу нежной болью, и я изумленно оцепенел от чистоты речи, не обремененной красотами. От голой правды сиротства. От концовки, обжегшей меня, что молния.

*С каждой избою и тучею,*
*С громом, готовым упасть,*
*Чувствую самую жгучую,*
*Самую смертную связь.*

Я, не шевелясь, ждал, что будет дальше. А дальше слышу: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Звезда полей во мгле заледенелой», «Русский огонек» с его единственной в мире такой самоотверженностью — «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью»...

Боже мой, какие стихи! Вспыхнули они вот в этом молодом рано облысевшем человеке и теперь, слетая с его размашистой ладони, будут вечно сиять в сумрачных далях России. Такого изумления я еще не испытывал при встречах ни с одним поэтом. И понял: Рубцов — огромный, редкий поэт!

И обрадовался еще тому, что это открытие, слава Богу, не отозвалось во мне завистью. Лишь глубоко-глубоко, под сердцем, шевельнулось что-то жаркое — то ли еще не востребованная своя сила, то ли вспыхнувшая вдруг самоукоризна, то ли Божие озаренье, что всякому — свой путь... И тут я высказал Николаю Рубцову свое высокое мнение о его новых стихах. Он, похоже, принял мой отзыв как должное. Сам уже знал, какую ношу может поднять его талант.

## «ЕСЕНИН, ПУШКИН, ЛЕРМОНТОВ, ВИЙОН»...

— Как ты пишешь? — спрашиваем Рубцова.

— Сперва ставлю свою фамилию, а остальное является само собой,— отвечает он и отпивает глоток красного вина.

Мы сидим в уютном ресторанчике Вологды, называемом попросту «Поплавком». Это зеленый двухэтажный дебаркадер, приткнувшийся не только к людной пристани, но и к литературной жизни тех лет. Мы сидим у раскрытого окна и слышим-видим, как плещется-зыблется милая

река Вологда и как звонко вскипают на ней моторные лодки и катера. Мы не пьянствуем, а вдохновенно беседуем и содвигаем стаканы в честь поэзии и в знак дружбы. О, эти наши сидения в «Поплавке», так замечательно воспетые Николаем Рубцовым в «Вечерних стихах».

*...И, как живые, в наших разговорах*
*Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон.*

И не было ничего самонадеянного, странного или дерзкого в таком приближении к своему застолью этих гениев — ведь мы тогда были молоды, как и они в свои лета. И на кого же было равняться нам, как не на них! «Вологодская кучка» поэтов и прозаиков той поры, как явление самобытное и могучее, была одержима творческим соперничеством друг с другом и поисками свежих путей в русскую литературу.

И если Есенин, так любимый вологжанами, казался нам уже близким и свойским человеком (ведь Сергей Александрович гулял-хаживал по Вологде и по деревням Кадниковского уезда, будучи в гостях у нашего талантливого поэта, своего друга Алексея Алексеевича Ганина, злодейски расстрелянного большевиками в 1925 году), то к именам Пушкина и Лермонтова мы прикасались со священным трепетом. Понимая недостижимость их высот, мы, однако, чувствовали, что наше матерое мужичество, выпиравшее из стихов и повестей, сама Русь-матушка мало-помалу сближает с их отважным дворянством. Нас, выходцев из разгромленного крестьянства, пронизывало «силовое поле» их национального величия. Оттого и слово наше мужало быстрее, обретало свое лицо и достоинство.

Но как в такой русской компании оказался Вийон? Горькие мытарства этого француза отозвались сочувствием в бездомности самого Рубцова, и он запросто привел из XV века в наше застолье этого великого остроумца и гуляку...

*...Вещь дорога, пока мила,*
*Куплет хорош, пока поется,*
*Бутыль нужна, пока цела,*
*Осада до тех пор ведется,*
*Покуда крепость не сдается,*
*Теснят красотку до того,*
*Пока на страсть не отзовется...*

Так лихо сочинял неунывающий Вийон, а потом все же признавался: «Бедность нас преследовала по пятам», словно бы имея в виду не только одного себя, а всех честных поэтов мира. Вот и в Рубцове задел эту сокровенную боль. Ведь многим людям Николай Михайлович казался добровольно безработным и потерянным для оседлой жизни человеком. Он, конечно, чувствовал такое отчуждение даже среди родных и близких людей. А о молчаливом осуждении якобы праздного его существования уж и говорить нечего — люди не ведают, насколько лихорадочно изнурителен труд поэта.

...Рубцов сидит, подперев подбородок кулаком, и с любопытством поглядывает то на нас, то на ресторанных посетителей. По смуглой свежести лиц, по синеглазому простодушию, по певучему говору он узнает родных тотьмичей. Они веют на него грустной памятью... Но вот возникает в растворе буфета официантка Катя, миловидная и бойкая молодуха. На крепкой ладони у нее сияет круглый, заставленный бутылками поднос. Она ветром пролетает меж столиков, останавливается перед нами и улыбается Рубцову. Она, может, единственная из женщин, знакомых с ним, чует его смятенную душу. Она ласково называет его Колей и ставит перед ним пару бутылок дешевого (с ударением на втором слоге для лихости) кадýйского вина.

И наш разговор о жизни и поэзии течет дальше. Но, кажется, пора бы завершать свою вечерю. Да и средства наши исчерпаны. И поневоле припоминается моление Франсуа Вийона, только что гостившего здесь.

*Стихи мои, неситесь вскачь,*
*Как если б волки гнались сзади,*
*И растолкуйте, бога ради,*
*Что без гроша сижу, хоть плачь.*

## СОПЕРНИЧЕСТВО

Николай Рубцов знал французских поэтов и отзывался о них высоко, но опять-таки не взахлеб, как это случается у наших дураков и космополитов, а с той степенью восторга, за которой молча предполагаются и другие, еще более значительные высоты. В нем кипела озабоченность русской честью. И он всеми силами стремился соответствовать ей.

Я припоминаю, с какой внимательностью листал он сборники европейской поэзии. У меня накопилась целая полка таких книг. И чаще других он листал Франсуа Вийона, Артура Рембо, Шарля Бодлера, Пьера де Ронсара...

И Борис Чулков подтверждает ревнивое знание Рубцовым европейской поэзии. Всю зиму 1964 года они прожили бок о бок в чулковском старом доме, в котором было полно книг и поэтических преданий. Да, именно Борис Александрович в то тяжелое время приютил у себя бездомного Рубцова. Можно сказать, спас его от безысходности. Владея несколькими европейскими языками, Борис Александрович, помимо собственных стихов, занимался и переводами. Надо думать, ему с Рубцовым было о чем потолковать...

Я же слыхал, сейчас не припомню от кого, якобы Рубцов говаривал, что у Поля Верлена лишь одно гениальное стихотворение «Осенняя песня», но и оно все-таки слабее его, рубцовской, «Осенней песни». Я спросил у Чулкова, знает ли он что-нибудь о подобном отзыве. Нет, он помнит другое. Он помнит, как Рубцов рассказывал, что в Литературном институте им, студентам, было дано учебное задание перевести с подстрочника «Осеннюю песню» Верлена, но он переводить не стал, а написал свою «Осеннюю песню».

Удивительно здесь то, что к моменту этого разговора с Рубцовым верленовская «Осенняя песня» уже была переведена Борисом Александровичем. И он прочитал ему этот свой перевод.

Поль Верлен

**Осенняя песня**

*Стенанья, всхлипы*
*Осенних скрипок,*
*Так однозвучны,*
*Во тьме-тумане*
*Мне сердце ранят*
*Тоской докучной.*
*Я задыхаюсь,*
*В лице меняюсь,*
*Часам внимая,*
*А вспомяну я*
*Весну былую —*

*И вот рыдаю.*
*Открою двери —*
*И ветер зверем*
*Меня потащит,*
*Во мгле и мути*
*Завьет-закрутит,*
*Как лист пропащий.*

Я спросил, как отнесся Рубцов к его переводу. Борис Александрович, по своему обычаю, долго подыскивал подходящие слова да так и не нашел. Меня же его перевод Верлена тронул страшным одиночеством. Человек — по Верлену — настолько слаб, что не в силах управиться со стихией даже собственной судьбы. Его несет, «как лист пропащий»... Я предполагаю, что Рубцов, который слышал «печальные звуки, которых не слышит никто», вовсе не пренебрег Полем Верленом, а лишь оттолкнулся от знаменитого француза, чтобы посоперничать с ним. И вот его ответ.

**Осенняя песня**

*Потонула во тьме отдаленная пристань.*
*По канавам помчался, эх, осенний поток!*
*По дороге неслись сумасшедшие листья,*
*И порой раздавался пароходный свисток.*
*Ну так что же? Пускай рассыпаются листья!*
*Пусть на город нагрянет затаившийся снег!*
*На тревожной земле, в этом городе мглистом*
*Я по-прежнему добрый, неплохой человек.*
*А последние листья вдоль по улице гулкой*
*Все неслись и неслись, выбиваясь из сил.*
*На меня надвигалась темнота закоулков,*
*И архангельский дождик на меня моросил...*

Вглядитесь в эти две «Осенние песни». В них по три строфы. В них одинаково бушуют листья, плачут ветры, гнетут одиночества. Но как разно светятся две поэтические судьбы в потемках стихий! И насколько несхожа житейская устойчивость их на тревожной земле!

Поль Верлен во тьме-тумане слышит стоны скрипок. Они все больнее ранят его в беспутье жизни... Николай Рубцов в такой же мгле слышит отдаленную пристань. И чувство его так щемяще потому, что тревога в нем вовсе не за себя, как у Верлена, а за эту землю, тонущую в не-

настье. В песне Верлена слышен он сам, но не слышно Франции, а в песне Рубцова, наоборот, более слышна Россия, нежели он сам.

Конечно, рискованно сравнивать перевод с оригинальным стихотворением и делать заключения, подобные моим, однако хочется, чтобы и читатель поразмышлял над сопоставлением этих двух замечательных поэтов разных эпох и народов.

## ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ

Сквозь зелень сосняка шумно синело Рижское взморье. В кои-то веки выбрались мы сюда и распахнулись на три недели до беспамятства. Мы торопились к дюнам, к белому и теплому песку. И вдруг — откуда ни возьмись — завертелся, закружился передо мной желтый листок. Я поймал его и с радостным удивлением оглянулся назад: среди откачнувшихся от берега сосен золотились и березки. И напомнили, что на моей родине уже осень, моросят дожди, в перелесках пахнет грибами.

*И под каждой березой — гриб,*
*Подберезовик,*
*И под каждой осиной — гриб,*
*Подосиновик.*

Ах, Николай Рубцов! Стихи его настигают душу внезапно. Они не томятся в книгах, не ждут, когда на них задержится читающий взгляд, а, кажется, существуют в самом воздухе. Они, как ветер, как зелень и синева, возникли однажды из неба и земли и сами стали этой вечной синевой и зеленью... Я держал на ладони огневой лист березы и уже не замечал ничего вокруг. Гул моря отступал от меня, отодвигался, и в его удалении я расслышал шум вологодских лесов. И вспомнил далекое.

Была ранняя осень, кажется, 1966 года. Александр Яковлевич Яшин, вырвавшись из Москвы, задержался в Вологде и заболел. Я почти каждый день забегал в больницу. Когда ему стало получше, он сказал, что хорошо бы хоть на денек махнуть на рыбалку, куда-нибудь к Леже. Ну, я рыбак аховый, однако в Сухонском пароходстве достал легкий катерок и позвал с нами Колю Рубцова.

Нет большего приволья сердцу, как рано утром, по холодку, бок о бок с товарищами плыть на молодую

зарю! Яшин, в теплом спортивном костюме, в брезентовой куртке, побледневший от хвори, весело и широко поглядывал на нас, на рулевого, на реку, не отворачивал лица от брызг, и брови его крылато темнели. Рубцов поеживался, понадежней нахлобучивал вылинявший беретик и привычно втягивал шею в приподнятый воротник поношенного пиджака. Мы были по-мальчишески рады быстрому речному гону.

Город остался далеко позади. В реку уже лилось солнце, а с берегов доносился слабый дух застогованного сена. Мы почти не разговаривали. Лишь в одном месте, около устья Лежи, Яшин подсел к нам поближе, чтобы не напрягать голоса, и коротко рассказал, как несколько лет назад развеселые вологодские мужики, с которыми он напросился порыбачить, перевернули лодку вверх дном, и если бы не он, то вряд ли бы выплыли сами. Пока вытаскивал мужиков, весь улов и груз канул в глубину. Канула и новая японская кинокамера, купленная им в Москве за большие деньги. Нырял, искал, но глубина — что пропасть. Потом пришлось везти сюда водолаза. И водолаз долго искал, все-таки нашел, но оптика была уже испорчена.

Мы посочувствовали Александру Яковлевичу, хотя ни я, ни (предполагаю) Рубцов тогда не понимали необходимости покупать столь дорогие вещи: мы всегда жили на скудные деньги.

*Стукнул по карману — не звенит,*
*Стукнул по другому — не слыхать...*

Пронеслись в голове эти грустные, с мудрой усмешкой рубцовские строки, услышанные от него еще при первом знакомстве. Яшин показал нам это злосчастное место, хотел было тут задержать моториста, но махнул рукой, и мы помчались дальше.

Для остановки выбрали лесистый остров перед самой Сухоной. Здесь заливчики, навесные тени, красота. Договорились с рулевым, когда приехать за нами, и азартно выгрузились на остров. И не успели подняться повыше, как Рубцов бросил удочку и метнулся в сторону. Он с восторгом вскинул в руке крепкий, в темно-рыжей опалине подосиновик.

— Ну, ребята, не пропадем! — заулыбался, помолодел Александр Яковлевич.

— Да вы посмотрите, полюбуйтесь, парень-то какой! —

сиял Рубцов и показывал на ладони прекрасный гриб.— Мать моя богородица!..

И во мне закипело желание сразу же броситься в лесок, да и Яшин заколебался, но послеболезненная слабость удерживала на берегу.

— Вот что, ребята, я тут посижу, может, на ушицу поймаю,— разволновался он,— а вы как хотите.

Мы поначалу сдержали себя, накопали червяков и пошли за ним. С каким удовольствием, с затаенным ожиданием забрасывал он удочку и, такой высокий, сразу же приседал в траву, но и трава не скрывала его — тогда хоронился у ивняка. И вдруг, как солнечную полоску, вымахнул он из темной воды рыбину и, счастливый, потряс перед нами. Мы порадовались за него. У самих не клевало: рыба не попадалась не ленивый крючок.

Смотрю, Коля, приставив палец к губам, попятился к лесу. И я, наживив свою «невезучую» удочку хорошим червяком, воткнул покрепче в осоку (а вдруг язь!) и с ведром — тоже в лес.

Рубцов ожидал под березами.

— Давай,— говорит,— кто больше найдет.— Узкие, глубокие глаза лучились распахнутой волей всего его существа.

— Давай! — отвечаю, и мы враз нырнули в березовую прохладу.

Я замешкался в стороне: грибы открываются неторопливому шагу. Вдруг слышу: «Гол!» Рубцовский голос прозвенел победно и задел мое самолюбие. Я вытянул шею и зоркими прочесами закружил по березняку. Снова донеслось: «Гол!» — и показалось, что от этого веселого крика листья обрушились и желто покрыли траву. Ну где вы, грибы? Я кидался туда-сюда, и вот радость: по темным окрайкам высохшего бочажка сверкнули голенькие обабки. Ах, наконец-то! И, не срезав еще, закричал во весь голос: «Гол, гол, гол!» И с удовольствием прислушался: в отдалении метались и трещали рубцовские шаги.

Так мы, превратившись в ребятишек, долго перекликались друг с другом и в этой игре не заметили, как прочесали весь остров. Рубцов первый выскочил к песчаной косе. Я, раздвигая последние ветки, задержался: он стоял, раскинув руки и запрокинув лицо в небо, рубашка пузырилась облачком. И в сухой фигуре, в скуластых чертах сквозила готовая к взлету легкость. Лишь огромный лоб

утяжелял его, как бы пригнетал к земле. Я понял: душа его в этот миг пела высотой, синевой, солнцем. И замер в шаге.

Сколько я слыхал о нем разных наговоров: угрюмый, бездомный, неприкаянный — да мало ли что трепала молва! Такое впечатление создавалось потому, что Рубцов даже в многолюдстве бывал человеком совершенно одиноким. Он вроде бы и слушал чужой разговор, да не слышал его. Это многих обижало. Люди не догадывались, что, оказывается, и в самой шумной толчее можно внутренне работать, погружаться в свою мысль. Можно за поверхностными, обыденными голосами слышать трепет природы за окном.

Однажды он так сидел в моей квартире на громком празднике. Народ собрался весьма грамотный: журналисты, кое-кто из литераторов. Рубцова они еще мало знали. И потому любопытно поглядывали на него. А он молчал, а он любопытства не проявлял. Сидел, пил вино да думал о чем-то своем. Казалось бы, чего людям беспокоиться: ну, сидит — и пусть сидит. Так нет, задевало: молчит — а еще поэт! Воображала! Не стерпела одна знакомая, поманила меня из-за стола на кухню. «Ну что он сидит, как сыч? Веселиться мешает!» Вообще-то она по-своему была права: раз оказался в компании — будь со всеми заодно. Но, увы, и я не смог тогда расшевелить Рубцова.

В те встречи, присматриваясь к нему, я понял, что у человека могут быть одновременно как бы два слуха, два зрения, два потока существования — верхний и глубинный. Они не совпадают друг с другом. Верхний поток несет обыденность, а глубинный — истинность жизни. Рубцов был из «глубинных» людей. Не случайно он обронил: «Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто...» И это была не рисовка, а горькая, изнурявшая его самого внутренняя правда таланта.

И вот в тот миг на песчаной косе острова он, казавшийся одиноким на людях, был весь распахнут, растворен в окружавшей природе: в белых облаках, в солнечных бликах, в золотом кружении леса. Он очутился наедине с природой. Наедине — значит, слитно. Он был уже как бы и не он, а рассеянный свет. Вот счастливый миг полного единения души с лесом, водой и небом — со всем мирозданием!

Впоследствии мы прочитали такие его строки:

*Я так люблю осенний лес,*
*Над ним сияние небес,*
*Что я хотел бы превратиться*
*Или в багряный тихий лист,*
*Иль в дождевой веселый свист,*
*Но, превратившись, возродиться*
*И возвратиться в отчий дом,*
*Чтобы однажды в доме том*
*Перед дорогою большою*
*Сказать: — Я был в лесу листом!*
*Сказать: — Я был в лесу дождем!*
*Поверьте мне: я чист душою...*

Не тогда ли на острове сверкнули в нем эти строки?.. Но тогда я, конечно, их не знал, но представить уже мог, что появятся, ибо застал поэта в момент озарения. Он как бы очнулся, почувствовав, что я поблизости. Повернулся ко мне — вправду озаренный.

— Мать моя богородица, красота-то какая! — улыбался он, постепенно возвращаясь на землю.

Мы весело осмотрели грибы, подосиновики да подберезовики, в моем ведре и в его сумке. Примерно одинаково. И заторопились обратно к Яшину.

Александр Яковлевич встретил добродушно-укоризненно: убежали, не сказались,— и нам стало неловко.— «Да вы сами не захотели»,— оправдывались мы, а он смотрел нам в глаза с затаенно-пристальной улыбкой и был доволен, что мы в своем смущении совершенно искренни.

— Ну, показывайте, чего там? — переменил гнев на милость и, когда мы высыпали перед ним грибы, наклонился, зажмурился, вдыхая в себя шумно, глубоко чащобный свежий дух, а потом радостно вскинул голову: — Как на Бобришном! Только грибки там — не чета этим. Белые! — он распрямился, сияя.— Надо скорей туда...

В бидончике у него плескались рыбки. Мы глянули: маловато — и с чувством вины поспешили к своим удочкам. Моя хорошая наживка давно запуталась в осоке. «Язь — не про нас»,— подумал я, раздраженный сам на себя, и, пытаясь наверстать, закидывал удочку и до рези в глазах следил за поплавком. Лишь самая малая удача постигла меня в таком старании — одна-единственная сорожина. И я, смущаясь, принес ее и возложил в общий котелок. И утешен был тем, что Яшин поручил

мне воспламенить костер и приготовить к ухе все необходимое. Ну, тут уж я постарался!

Уха получилась у нас хоть и не тройная, но горячая. Брякали ложки-кружки, и мы, счастливые, сидели у веселого огня. О чем говорили — теперь уж не вспомнить всего. Память наша, что полянки да тропки в лесу, зарастает слишком быстро. Иной раз уверенно думаешь, что помнишь многое — как же, был очевидцем, был участником! — а станешь вспоминать — с трудом проталкиваешься в минувшее.

Твердо помню одно: стихов не читали. Поэты вообще редко читают свои стихи друг другу. Задержалось в памяти, как Александр Яковлевич внушал нам, что надо беречь здоровье.

— Сгораем раньше срока, ребята,— беспощадно говорил он.— А для писательства здоровье нужно железное. Как шахтеру! Обо всем печемся — о себе забываем...

Слушали мы Яшина и, поскольку тогда были здоровы, тут же забывали предостережения. Чужой опыт не учит, пока сам не споткнешься...

Еще помню, как радостно возвращались в Вологду. Моторист, заехавший за нами, успел отведать ухи и гнал катерок с ветром. День клонился к вечеру. Река горела предзакатно. Встречные суда плыли на Тотьму, и Рубцов провожал их долгим, задумчивым взглядом. А. Яшин посвежел, ожил и говорил, что надо давно бы так прокатиться: природа лечит лучше, чем доктора...

Вот он — весь день, проведенный вместе. Ничего особенного не было, не произошло, так почему же он помнится мне так долго?

...Я отряхнулся от воспоминаний — на песке лежал желтый березовый листок. А передо мной широко синело море, и на самой черте горизонта белели балтийские корабли, стоявшие на рейде. Я вглядывался в них, а волны шумно накатывались одна за другой и оттуда доносили знакомый голос.

*В жарком тумане дня*
*Сонный встряхнем фиорд!*
*— Эй, капитан! Меня*
*Первым прими на борт!*
*Плыть, плыть, плыть...*

Это опять слышались они, строки Николая Рубцова. Поэзия его и вправду вездесуща.

## «И БЫЛО ВСЕ ПОЛНО ПЕЧАЛИ»

Иду, бывало, в наше писательское пристанище, занимавшее сперва маленькую, а потом большую комнату в центре Вологды, а навстречу — Николай Рубцов. Так случалось часто, но всякий раз неожиданно. Возникнет то из липовой аллейки, то из-под речного подбережья, то из шумного многолюдья. Выступит вдруг бледный, замкнутый в себе и как-то тревожно окликнет...

Наособицу запомнился вот этот момент. Окликнул он и заторопился навстречу мне. «Скажи свое мнение. Вот только что сложилось...» Мы нашли в сквериќе тихую скамейку, засыпанную облетевшими листьями. Догорала осень 1967 года. И Коля прочитал только что возникшее стихотворение

*Идет старик в простой одежде.*
*Один идет издалека.*
*Не греет солнышко, как прежде,*
*Шумит осенняя река.*
*Кружились птицы и кричали*
*Во мраке тучи грозовой,*
*И было все полно печали*
*Над этой старой головой...*

Прочитал и, нахмурясь, часто-часто мигая, смотрит на меня, ждет, что скажу. А я в этот миг вспомнил стихотворение Некрасова «Влас». И некрасовский странник заслонил во мне новорожденного рубцовского странника.

*В армяке с открытым воротом,*
*С обнаженной головой,*
*Медленно проходит городом*
*Дядя Влас — старик седой.*
*На груди икона медная:*
*Просит он на божий храм,—*
*Весь в веригах, обувь бедная,*
*На щеке глубокой шрам...*

Вот эта навязчивая память помешала мне вглядеться в новое стихотворение Николая. Я был немногословен. Посчитал, что сам образ странствующего старика не нов в русской поэзии. А из-за крайней простоты изображения он у Николая предстает вовсе заурядным.

*...Не помнит он, что было прежде,*
*И не боится черных туч.*

*Идет себе в простой одежде,*
*С душою светлою, как луч!*

Такая концовка показалась мне излишне красивой, преувеличенно обобщенной. Что-то в этом духе говорил я тогда. Рубцов слушал меня тихо и грустно...

Теперь же, по прошествии четверти века, я чувствую некую укоризну, как вспомню тот резкий разбор рубцовского «Старика». Образ «душа, как луч» теперь не кажется мне лишь метафорой, а ощущается уже въявь энергией жизни. Такие духовные лучи благотворны в сумраке житейского распада. Сколько ныне нищих и сирых людей бродит по Руси! Может, Рубцов еще тогда, когда мы сидели на скамейке, засыпанной багряной листвой, уже предчувствовал такое время, когда будет «все полно печали» над русской старостью. Может, он предвидел уже это через свою житейскую неустроенность?..

И если каждому из нас растеплить бы свою душу до ответного луча, пусть даже до малого лучика, то отступила бы от нас стужа бездуховности и беспутья. Но души наши — потемки...

## СТАРЫЕ ВАЛЕНКИ

Будто откинется пелена лет и озарится один миг из далекой весны. Снег еще не сошел, но уже вовсю каплет с крыш, звенит по водостокам. А Рубцов, привыкший за зиму к валенкам, все забывает сменить их на ботинки. Выйдет из дома еще по холодку да так и бродит до мокроты. Идет по Вологде, как по своей Николе. Кое-кто оглядывается на его старые валенки: не по сезону обут, жалеют его...

Встречаемся у подъезда дома, в котором наша писательская комната. Он перехватывает и мой удивленный взгляд.— «Вышел-то по заморозку,— косится на свои разбухшие валенки,— а вон как распекло»... И щурится от солнечной капели.

В комнате нашей сумрачно и прохладно. Мы пока одни. Он мнется, не раздевается.— «У меня бутылка красного. Может...» — глядит выжидательно. Я согласно киваю. Раздевшись, притыкаемся к журнальному столику. Вино он пил нежадно, а как бы ради беседы, ради вольных

размышлений. В спорах бросался в разногласия. И был горяч, неуступчив...

Теперь уж не припомнить всего, о чем жарко толковали тогда. Но всякий раз — о поэзии. Николай Рубцов держался того мнения, что современность — это вечность. Не только нынешние черты быта и людских отношений, а прежде всего трагизм вообще всей жизни. В прошлом для нас — очарование, в настоящем — страдание, в будущем — искупление. Вот это и есть предмет поэзии, а не навязчивая социология и описательность трудовой героики... В те годы об этом говорили тихо, с оглядкой, ибо везде оказывались начеку защитники социалистического реализма — этого непреложного кодекса для литературы, идеологии и вообще всей жизни.

Я, признаться, долго метался на этих путях. Еще студентом писал поэму о знаменитой тогда Александре Евгеньевне Люсковой — свинарке из шуйского колхоза «Буденновец». Ездил к ней, и она, мудрая и даровитая женщина, принимала меня, как сына. Рассказывала, показывала, пирогами кормила, а, поди-ко, не верила, что стихами возможно написать о тяжком труде свинарки. И хотя главы из рукописи печатались в газетах, и ТАСС (телеграфное агентство) известило страну, что в Вологде создается поэма о Герое Социалистического Труда, ничего у меня не получилось. Да, много и напрасно было растрачено в те годы сил для одоления совершенно косного материала и ложного метода. Мы топтали жизнь, инстинктивно уходившую из-под наших ног, разбухшими валенками схем и догм.

Николай Рубцов счастливо миновал все это. Перешагнув политическую конъюнктуру, он сразу очутился наедине с отзвуками родных преданий, с порывистым шумом природы, с горькими путями жизни. Кое-кому из маститых поэтов тогда показалось, что Рубцов ринулся вспять, к «старой» поэзии (по языку и интонации), а на самом деле он шагнул вперед — в свежий мир лирических откровений. Поэтому и в стихах у него так много ветра и неба. И России...

## В ПЕТРЯЕВЕ

Моя мать так рассказала: «Только ты укатил в Вологду, а к вечеру, смотрю, какой-то паренек запостукивал

в крыльцо. Кинулась открывать. Он смутился, отступил на шаг. «Я к Саше,— поздоровался,— Рубцов я». Ведь его не видала, а только слыхала от тебя, и то, думаю, догадалась бы, что это он. Стоял на крыльце такой бесприютный, а в спину ему снег-то так и вьет, так и вьет. Ну, скорей в избу. Пальтишко-то, смотрю, продувное. Расстроился, конечно, что не застал тебя. А я и говорю ему: «Так и ты, Коля, мне как сын. Вот надень-ко с печи катанички да к самовару садись...» Глянула сбоку, а в глазах-то у него — скорби. И признался, что матушка его давно умерла, что он уже привык скитаться по свету...

И такая жалость накатила на меня, что присела на скамью, а привстать не могу. Ведь и я в сиротстве росла да вот во вдовстве бедствую. Как его не понять!.. А он стеснительно так подвинулся по лавке в красный угол, под иконы, обогрелся чаем да едой и стал сказывать мне стихотворения. Про детство свое, когда они ребятенками малыми осиротели и ехали по Сухоне в приют; про старушку, у которой ночевал, вот, поди-ко, как у меня; про молчаливого пастушка, про журавлей, про церкви наши христовые, поруганные бесами...

Я вспугнуть-то его боюсь — так добро его, сердечного, слушать, а у самой в глазах — слезы, а поверх слез — Богородица в сиянье венца. Это обручальная моя икона... А Коля троеперстием-то своим так и взмахивает над столом, будто крестит стиховорения... Теперь уж не забыть его... Перед сном все карточки на стене пересмотрел да и говорит: «Родство-то у вас какое большое!» Будто бы позавидовал. «Да,— говорю,— родство было большое, да не по времени. Извелось оно да разъехалось». «Везде беда»,— только и услышала в ответ...

Поутру он встал рано. Присел к печному огню да попил чаю и заторопился в Воробьево на автобус. Уж как просила подождать горячих пирогов, а он приобнял меня, поблагодарил и пошел в сумерки. Глянула в окошко — а он уж в белом поле покачивается. Божий человек...»

Так мать моя Александра Ивановна вспоминала о Николае Рубцове, а потом и сам он говаривал мне, как встречала да привечала она его в Петряеве. Это было за год или за два до гибели его, в предзимье, когда дорога на Двиницком волоку крепнет от первых морозов, и трогаются автобусы и всякие попутки в дальние места. Возможно, он пробирался в Тотьму, в свои палестины,

и вздумал взглянуть и на мою деревню, отстоящую всего в пяти верстах от Тотемского тракта. Бог весть...

Рубцов любил внезапность знакомств и расставаний. Он возникал в местах, где его не ждали, и срывался с мест, где в нем нуждались. Вот эта противоречивость скитальческой души и носила его, вела по Руси. Однако такая видимая всем свобода на самом деле являлась невидимой никому зависимостью его от Поэзии. Это он выстраданно изрек: «И не она от нас зависит, а мы зависим от нее». В ту государственно-самодержавную пору такое откровение прозвучало вызывающей и подозрительной новостью. А в стихах его забелели обезглавленные храмы, словно вытаяли они из-под страшных сугробов забвенья. Сама природа русского духа давно нуждалась в появлении именно такого поэта, чтобы связать полувековой трагический разрыв отечественной поэзии вновь с христианским мироощущением. И жребий этот пал на Николая Рубцова. И зажегся в нем свет величавого распева и молитвенной исповеди.

И мать моя, истовая богомолка, сразу ощутила и приняла в его стихах это давножданное милосердие. И у меня иной раз при встречах с ним возникало дивное впечатление, что Рубцов пришел к нам не из города Тотьмы, а из града Китежа. Вот взгляните хотя бы на эти строки: «И вместе с чувством древности земли такая радость на душе струится, как будто вновь поют на поле жницы...» «И древностью повеет вдруг из дола», «лежат развалины собора, как будто спит былая Русь». Ведь эти слова зарделись в душе, «которая хранит всю красоту былых времен». У Николая Рубцова зрение (в обычном понимании) было как ясновидение времен.

Вот он пишет в «Осенних этюдах»:

*...А возле ветхой сказочной часовни*
*Стоит береза старая, как Русь —*
*И вся она как огненная буря,*
*Когда по ветру вытянутся ветви*
*И зашумят, охваченные дрожью,*
*И листья долго валятся с ветвей,*
*Вокруг ствола лужайку устилая.*
*Когда стихает яростная буря,*
*Сюда приходит девочка-малютка*
*И робко так садится на качели,*
*Закутываясь в бабушкину шаль.*
*Скрипят, скрипят под ветками качели...*

Вот здесь слышно и зримо: свистящий холодок доски, щемящий восторг высоты и разноцветье теплой родины. Эти качели Рубцова пролетают сквозь века, связуя их воедино вскинутыми в небо ручонками. Какая извечная беззащитность жизни! Потому и задевает нас глубокой печалью ответ девочки на вопрос поэта:

*«...О чем поешь?» Малютка отвернулась*
*И говорит: «Я не пою, я плачу...»*

Да, такие слова ребенка о многом свидетельствуют в нашей безлюбной и безжалостной жизни... Пыль времен не касается таких стихов, в которых душа перекликается с душою и плывут, как облака, высокие раздумья о жизни и о родине.

## ЯРОСТЬ И ВОСТОРГ

Я припоминаю два случая, когда глаза Рубцова поразили меня обжигавшей энергией. Был какой-то праздник. У меня на квартире собрались друзья-товарищи из местных газет. Позвал я в гости и Николая Рубцова, тогда одиноко скитавшегося по Вологде. Кое-кому это не поглянулось: чужак. Я представил его, сказал о нем добрые слова — и началось застолье. Тосты, тары-бары, песни — молодая жизнь плеснулась через край. Но как взглянул на Рубцова, так и обомлел: в бледности вытянутого лица презрительно вспыхивали его сузившиеся глазки. Подошел к нему, чтобы раскачать, втянуть в праздник, но страшный дух неприятия чужого веселья так забушевал в нем, что в прищурах глаз заострились два черных шила. Такой злой черноты глаз я еще не видал ни у кого... Конечно, я понял, что Рубцову при его бездомности даже этот средний наш достаток показался обидным и враждебным. Бог ему судия...

Второй случай противоположен первому. Поехали вместе на пароходе (вернее, на теплоходе, но Рубцову больше нравилось «старое» слово). Он — в свою Николу, к дочери, а я — в Тотьму, по газетным делам. Погода стояла славная, сенокосная. Вышли на палубу — под белые облака! С берегов тянуло сладостью подсыхавших трав, земляники и вольной воли. Речные изгибы открывали все новые дали, и всякий поворот уже загодя волновал своей тайной.

Мы принесли из буфета по кружке пива, устроились за столиком, на котором были рассыпаны шахматы, но играть в окружении такой просторной, наплывающей красоты не могли. Мы поминутно озирались по сторонам. И я напрямую столкнулся со взглядом Рубцова. Черного прищура как не бывало! С переносья свеяна морщинка. В распахнутых глазах — смородиновый жар! И лицо — в небе, как в счастье!.. И я радостно замер от такого его преображения.

## АВТОГРАФЫ

В те уже давние, а для нас молодые годы проводить литературные вечера и встречи с читателями было делом самым обыкновенным. В писательской организации денег на поездки хватало, приглашений присылалось много. И мы выступали перед тысячами земляков, соприкасались с тысячами судеб и тысячи автографов оставили людям на своих книжках.

Вот так однажды мартовской порой приехали втроем — Николай Рубцов, Сергей Чухин и я — в Харовск. Нам предстояло выступить в двух школах, в клубе местного Дома отдыха, а на афишах, расклеенных по городу, был объявлен большой литературный вечер в Доме культуры. Помнится, как молчаливо и хмуро поглядывал на эти афиши Рубцов и весело успокаивал его, поблескивая очками, добродушный Сережа Чухин. А утренний морозок Харовска румяно бодрил нас, и шли мы тогда, где должны быть, уже вдохновенно.

Николай Рубцов стихи читал прекрасно. Встанет перед людьми прямо, прищурится зорко и начнет вздымать слово за словом.

*Взбегу на холм*
*и упаду в траву,*
*И древностью повеет*
*вдруг из дола!..*

Не раз слышал я из уст автора эти великие «Видения на холме», и всегда охватывала дрожь восторга от силы слов и боль от мучений и невзгод Родины. А потом — «Меж болотных стволов красовался восток огнеликий» — и воображение мое уносилось вместе с журавлиным клином в щемящую синеву родного горизонта. А затем — «Я уеду

из этой деревни» — и мне приходилось прикрываться ладонью, чтобы люди, сидевшие в зале, не заметили моих невольных слез... Вот какими были выступления Николая Рубцова!

Хорошо выступал и Сергей Чухин. Помахивая ритмически рукой, он стихами своими, словно теплом, обвеивал людей. Если от Рубцова исходила тайна, то от Чухина — ясность русской души...

Тогда в Харовске после выступлений мы, конечно, пошли в ресторанчик. Наутро в гостинице Николай Михайлович подает мне вчетверо сложенный листок. Разворачиваю, читаю.

*Романов понимающе глядит,*
*А мы коньяк заказываем с кофе.*
*И вертится планета, и летит*
*К своей неотвратимой катастрофе.*

С любовью *Н. Рубцов*

Ну что тут скажешь? Приобнял его по-братски, а Сережа похвалил, и пошли мы перед отъездом из Харовска взбодрить себя...

Шло время. Однажды заходит ко мне на квартиру Сережа Чухин и говорит, что написал стихотворение, которое хотел бы посвятить мне, но не уверен, понравится ли такое. Я постоянно следил за его крепнувшим творчеством и видел, что он вырастает в значительного русского лирика, близкого по запеву к Рубцову, но самобытного по своей ласковой печали. И этот его дружеский порыв был мне дорог.

*...О чем над нами шепчутся листы*
*И так согласно, не по-человечьи?*
*О, как бы я хотел перевести*
*Все шорохи осенней темноты,*
*На человечье косное наречье!*
*Как странен свет надмирного огня!*
*Ночное дерево вдруг надо мной вздыхает...*
*Не поняло ли, старое, меня?*
*Хочу я знать, чего никто не знает.*

Сережа прочитал это стихотворение и тревожно взглянул на меня. А я, растроганный и благодарный, обнял его, как когда-то Николая Рубцова.

## «ПОД ВЕТВЯМИ БОЛЬНИЧНЫХ БЕРЕЗ...»

*...В светлый вечер под музыку Грига*
*В тихой роще больничных берез*
*Я бы умер, наверно, без крика,*
*Но не смог бы, наверно, без слез...*

Нет, не летом 1970 года, когда вырвалось это щемящее признание, предстояло ему погибнуть. Оставалось еще полгода до той крещенской ночи, когда 19 января 1971 года он будет задушен женщиной. Всего полгода оставалось жить. И смутное предчувствие какой-то близкой беды (я был ответственным секретарем писательской организации) уже заставляло меня вздрагивать от телефонных звонков. И вот он раздался, и я услышал слабый голос Рубцова. Он в больнице. Он просит зайти и прихватить что-нибудь почитать. Я — тут же к нему. Помню, сдернул с полки книжку Константина Коничева «Из жизни взятое» — и вот жду выхода Николая в больничном вестибюльчике.

Открылась дверь, и белое, бескровное лицо захолонуло мою душу. Что случилось? Правая рука забинтована, висит на привязи... Николай силится улыбнуться, но это улыбка его мужской самозащиты. Он сердится, когда его жалеют. И не отвечает, когда назойливо расспрашивают. Задав всего один вопрос: что случилось? — жду, что скажет. Он сунул Коничева подмышку, взглянул в меня глубоко, а потом ответил, что был у Людмилы Дербиной в Троице — в деревеньке под Вологдой. Пришел к ней, своей любовнице, а дверь на крючке. Он — стучать! Она мелькнула в окне, а в комнату не впустила. Он с размаха стукнул так, что кулаком навылет пробил двойные рамы. Из вены плеснулась кровь. Он упал. Дербина выскочила из дома и вызвала «скорую помощь». И вот он здесь...

Через двадцать три года Людмила Дербина в своих воспоминаниях о Рубцове «Все вещало нам грозную драму» так опишет этот страшный случай (череповецкая газета «Речь» от 22 января 1993 г.):

«9 июня (1970 г.— А. Р.) Рубцов, как обычно, сидел у меня на диване, за круглым столом, выпивал, курил. Я была в огороде, поливала грядки. Я услышала звон разбившегося стекла в комнате. Открыла дверь, подбегаю, вижу — в окне дыра, на полу осколки стекла, Рубцова не

видать. Я приблизилась к окну и (о ужас!) увидела Рубцова с поднятой правой рукой, из которой фонтаном хлестала кровь. Оказывается он стукнул кулаком по окну и разбил оба стекла (у меня и летом были двойные рамы). Еще мгновенье, и Рубцов упал на цветочную клумбу. Я выскочила на улицу» и т. д.

Если бы Рубцов тогда в больнице не рассказал мне, пусть и скупо, об этом случае, то, возможно, и поверил бы я тому, что написано теперь Дербиной. Хотя поверить никак невозможно — вглядитесь-ка, что она утверждает: Рубцов сидел в ее комнате, а она была в огороде. Вдруг не с того, ни с сего он бьет рамы и... оказывается на клумбе. По какой такой причине вспыхнул его гнев, зачем ему понадобилось выбегать из комнаты, если «сидел на диване, за круглым столом, выпивал, курил»... Благоденствие — и вдруг беда!... Нет, Дербина тут неискренна! Что-то утаивает. Но безупречность своего поведения запоздалыми оговорками не доказать. Умаляя образ Николая Рубцова, не снискать ей прощения в потомках.

То, что у Людмилы Дербиной память схожа с воображением, я понял, когда в записках «Все вещало нам грозную драму» увидел и свое присутствие. Вот как оно изображено. «30 ноября (1970 г.— А.Р.) к нам зашел Александр Романов. «— Как? Разве вы живете вместе? Ведь это же противоестественно! Два медведя в одной берлоге не живут!..— Он провел у нас целый день и все восклицал: — Я ведь вышел из дому за хлебом, а сижу у вас! Ну, кто измерит всю степень моего преступления?..

...Рубцов играл на гармошке, а мы с Романовым как могли подпевали, а то и в пляс пускались. Но вот еще при Романове Рубцов начал задираться, налетать на меня... Я оторвала от себя руки Рубцова, не помню, что-то кричала в запальчивости. Романов не вмешивался... Стало ужасно противно».

Господи! Проясни мою память!.. То, что здесь написано, наполовину Людмилой Дербиной вымышлено. Ну, не мог же я укорять Рубцова и ее в противоестественности их сожительства — с какой стати! Они молодые, полуодинокие, потянулись друг к другу, а я бы вдруг — хлесть им: «Два медведя в одной берлоге не живут!» Нелепость да и только! Хотя теперь нелепость такая, право же, подтверждена самой Дербиной этими своими воспоминаниями.

Из того же ряда несуразностей и якобы мое самобиче-

вание за растраченный у них день: «Ну кто измерит всю степень моего преступления?» Да таких растраченных дней у меня была уйма, и они, конечно, сказывались в слезах жены и в моих долгих унылиях. Но речь-то, приведенная Дербиной,— не моя! Так высокопарно я не говорю. И уж вовсе стало грустно от утверждения, что я пускался в пляс, по той простой причине, что всю жизнь страдаю от неумения веселиться. Ну, видимо, топал-топтался под гармошку Рубцова. А что касается невмешательства в ссору между ними, так, наверно, подумал тогда: «Милые бранятся — только тешатся»...

Мне — в отличие от Дербиной — та встреча почему-то запомнилась другими моментами. Как зашел к Рубцову тогда, то удивился заботливой прибранностью квартиры и тихой просветленностью его самого. Показалось, что он обрадовался моему приходу и что ему любо оттого, что и Люда рядом, что он уже как бы семейный человек, а не одинокий и сирый жилец пятого этажа.

Возникла застольная суета доброго товарищества. И помнится, что Коля потом читал стихи о старухе, и образ «на лице ее землистом растет какая-то трава» поразил меня. Что-то еще читал. Кажется, стихи о Ферапонтове. Мне они показались особенно близки: я тоже соприкасался с Ферапонтовым монастырем в своей поэме «Северяновна»...

А потом, как всегда у Рубцова,— гармонь! Нога на ногу, да как-то по-особому завьет их, подожмет под стулом, а на колене встряхнет подарок Василия Белова — красномехую утеху Руси. И слушая жаркую игру, я вновь изумлялся необычайно певучей его талантливости... Вот что запало мне в душу из той встречи. Всяк помнит свое...

Когда Коля поправился и с забинтованным запястьем появился в нашей писательской комнате, там на ту пору оказались мы с Виктором Петровичем Астафьевым. Мы обрадовались, что он, слава Богу, выпутался из беды. Но заостренность лица, и взгляд измученный, оттого еще более пронзительный, тут же встревожили и вновь озаботили нас. Мы сели за шахматный столик, но не играли, а тихо разговаривали о всяких превратностях наших судеб. И тут Коля начал читать, видимо, только что законченное стихотворение.

*Под ветвями плакучих деревьев*
*В чистых окнах больничных палат*

*Выткан весь из малиновых перьев*
*Для кого-то последний закат...*
*Вроде крепок, как свеженький овощ,*
*Человек, и легка его жизнь,—*
*Вдруг проносится «скорая помощь»,*
*И сирена кричит: «Расступись!»...*

Меня обжег острый холодок этих строк, а Виктор Петрович, склонясь, охватил голову руками. И после этих стихов уже не могли ни о чем говорить...

## РЫЖЕЕ ПЛАМЯ

Людмила Дербина попросила обсудить на писательском собрании ее книгу стихов «Сиверко», вышедшую в 1969 году в Воронеже. Там она жила и работала до переезда в Вологду. И вот наша большая комната полнится народом. Мне с председательского места всех хорошо видно. Белов хмурится на диване, Астафьев весело озирается, Коротаев толкует с Чухиным, Фокина присаживается к ним сбоку. Сдвигают стулья Чулков, Полуянов, Гура. А Рубцов, как обычно, в углу за журнальным столиком.

В центре внимания — Людмила Дербина. Многие видят ее впервые. Что-то уже слышали о ней и вот любопытствуют, поглядывают. Она свободно сидит перед всеми. Молодая, смуглолицая, в рыжем пламени взвившихся по плечам волос. Короткое платье высоко вздернуто над ядрами колен. Вся — как вызов. Сжав в пальцах свое «Сиверко», вскидывает перед собой, и нам видно, как обложка книги белеет и синеет будто бы проступившей изморозью. А голос! Сперва — что сусло, а затем — что кипяток.

*...Когда-нибудь в пылу азарта*
*Взовьюсь я ведьмой из трубы*
*И перепутаю все карты*
*Твоей блистательной судьбы!*
*Вся боль твоя в тебе заплачет,*
*Когда рискнешь как бы врасплох*
*Взглянуть в глаза мои кошачьи —*
*Зеленые, как вешний мох...*

Все понимают, что это — умелые стихи, но смущает безудержность их дьявольской страсти. Дербина читает еще и еще, накаляя собрание.

К сожалению, мы не вели записи выступавших. Это обычная наша непредусмотрительность. Начинать пришлось мне. Я сказал, что поэзию нельзя путать с бабьей перепалкой. Она — вовсе не крик ревнивого исступления.

*...Чужой бы бабе я всю глотку переела*
*За то, что ласково ты на нее взглянул.*

Отметил я в ее стихах и есенинские интонации.

*Что ж? В любви, как в неистовой драке,*
*Я свою проверила стать,*
*И теперь: чем до одури плакать,*
*Предпочту до упаду плясать...*

Коротаев говорил резче меня. Что-то о «медвежьем рычании» в ее стихах.

*...Опять я губы в кровь кусаю*
*И, как медведица, рычу...*

Астафьев отстаивал полную волю в стихах, а Белов и Фокина ничего не сказали. Всего интересней было узнать мнение Рубцова. Он резко выступил против физиологизмов в поэзии Дербиной. И привел пример:

*Я по-животному, утробно*
*Тоскую глухо по тебе...*

На собрании том в далеком 1970 году было решено новую рукопись Людмилы Дербиной все-таки рекомендовать после доработки Северо-Западному книжному издательству. Но не суждено было второй книге выйти в свет. Убийство Николая Рубцова потрясло не только Вологду, но и Россию. И я не мог не написать такие стихи.

## ОНА

*От любопытных ей не скрыться,*
*А где появится, то там*
*Прозванье страшное — убийца —*
*Метется по ее следам.*
*И с этой славой окаянной*
*Возможно ль грешнице такой*
*Трудом, молитвой, покаяньем*
*Обресть хоть призрачный покой?*
*Какое ж самооправданье*
*Измыслить надо для людей,*

*Чтоб умалить в себе страданье*
*И муки совести своей.*
*И знать самой, что тщетно это,*
*Что непрощаема вина...*
*За убиение поэта*
*Она проклятьем казнена.*

## ДВА ПОРТРЕТА

Изо дня в день на всех нас смотрит Николай Рубцов в комнате писательской организации. Здесь он в одном ряду в Константином Батюшковым, Павлом Засодимским, Николаем Клюевым, Александром Яшиным и Сергеем Орловым. Эта портретная галерея — замечательная редкость русской графики. Создал ее Юрий Воронов, щедрый талантом и бескорыстием художник. Дивно то, что он по молодости не заставший Рубцова, так хорошо изобразил поэта, словно бывал его закадычным приятелем. Я спрашивал, как он угадал единственно верное выражение его лица, какое не всегда запечатлевает даже фотография. «А все светотени лица увидел я в рубцовской поэзии»,— ответил художник. И уловил тот поворот головы, тот прищур глаз, тот нахмур мысли, что поэт из ночной мглы города вновь предстал таким близким перед нами. Он возник из верно угаданного мига, из озаренности своего творчества, из сияния великого Софийского собора...

Изо дня в день смотрит Николай Рубцов и в моем домашнем кабинете. Смотрит из угла, где стоит письменный стол, следит, чем я занимаюсь. Его взгляд порой смущает, я даже забываю, что это взгляд с портрета, написанного Владиславом Сергеевым. Настолько он глубок и участлив, что, бывает, не выдержу такой зоркости и склоняюсь поскорей над бумагами, будто забуду о нем. И если пишется, то и рубцовский взгляд летит поверх меня, а если не ладится — вскину голову и наткнусь на его страдальческий укор...

Таинственен штрих обыкновенного карандаша! У чудодея Владислава Сергеева он расталкивает мглу забвения и заново оживляет родные нам лица, и виды природы, и образы милой родины. Вот и в рубцовском портрете, подаренном мне, художник настолько провидчески обнажает свои графические линии, что они как бы совпадают с линиями самой судьбы Николая Михайловича Рубцова. А за-

гадочностью своего штриха, похожего на зыбкий туманец, мастер выявляет то грустную улыбку поэта, то его прощальный поклон, то намек на незнаемую нами тайну его жизни и смерти.

## ПАМЯТНИК РУБЦОВУ

*Скульптору Вячеславу Клыкову*

Тотемский откос высок и крут. Над ним — тучи, под ним — Сухона. Сурова ее синева, ветрены дали. Рубцов любил это место. Поднимался с пристани в гору и садился на скамью. Скамьи там простецкие — крепкие тесины на врытых кругляшах. И народ всё свой, речистый — кто с теплохода, кто на теплоход. Вовек не бывало это место пусто. И с души поэта спадала усталость скитаний. Вокруг опять родина.

Рубцов понимал свое предназначение. Сближаясь с московскими поэтами, цепко вглядывался в них, будто взвешивал дарования. Его мучил не образ, а звук, не слышимый никем. «Незримых певчих пенье хоровое», неотступно возникавшее в нем, было столь несовместимо с криком, гамом и шумом поэзии тех лет, что он оставил столицу и надолго скрылся в тотемских лесах.

Леса встретили его поднебесным гулом, словно тоскуя о словах, могущих выразить колыбельные их вздохи. Тревожный полет облаков пел в каждой тростинке. А присухонская дорога и в запустенье шелестела для него следами древних пилигримов, оглашалась свадебными бубенцами, свистела санным полозом и веяла шепотом ромашек. Звуки, томившиеся в нем, совпадали с отзвуками радостей и утрат, и складывались слова, великие в своей простоте.

Рубцов принес в русскую поэзию свое состояние духа, которого так долго не хватало среди треска риторики, колдовства метафор и безоглядной одописи. Оно, потрясенное военным сиротством, было нетерпимо к бодрячеству, чутко к боли, отзывчиво на добро. Обнаженное до заклинания, наполненное любовью к Матери-родине, такое состояние духа удерживает в слове молитвенную чистоту звучанья, пучковый свет времен, бесстрашную правду пережитого. Оно не льстится на минутную смелость, потому что являет собою истинную тревогу гражданина. И, конечно же, такое состояние духа не тихое — оно многозвуч-

но по своей глубине. Поэтому слово Рубцова и упало в русскую душу. Поэтому оно и окрылилось песнею в народе.

*Отцветет да поспеет*
*На болоте морошка —*
*Вот и кончилось лето, мой друг!*
*И опять он мелькает,*
*Листопад за окошком,*
*Тучи темные вьются вокруг...*

Песня взметнулась с палубы теплохода так чисто, так широко, что сразу защемило сердце от близости родины. Песня летела над ветряной Сухоной, и, казалось, что чайки подхватывали ее белыми крыльями и уносили в просветы неба. А волны от теплохода, как вскипевшие припевы, катились к берегам и обнимали поникшие над рекой желтые ивы. Я тоже стоял на людной палубе и горячо подпевал — не столько своим слабым голосом, сколько сердцем. И это было счастливым единением природы и множества людей под размахом рубцовской песни.

Мы плыли вниз по Сухоне, к древнему городу Тотьме, на открытие памятника поэту. А вокруг по присухонским низинам бесконечно тянулись стога, позолоченные усталым осенним солнцем. Эти огромные картины человеческого труда, обрамленные багряными перелесками, зеленой отавой и темно-синими изгибами реки, были пронизаны раздольной и прохладной красотой северной России. Радость и печаль светились в ней одновременно, опахивая нас то теплом лесных поселков, то холодом покинутых деревень. И думалось о том, что поэт вот здесь почувствовал «самую жгучую, самую смертную связь» со своей родиной. Здесь набрел он в ненастных сумерках на огонек вдовьей избы — огонек русского привета. Здесь встретил доброго Филю и старика «с душою светлою, как луч», и поразился белокаменным храмом, подобным сну столетий. Незабываемые виды той Руси, которая была, и той, которая есть, таили в себе никем еще не выраженную поэзию и трепет никем не запечатленных красок. Всю землю Рубцов обнял душою на краткий миг своей жизни и растворился в ней.

И вот он, его откос. Мы поднялись по исхоженным ступеням и в осенней открытости города увидели стройную белизну церквей. Они выплывали из дождливой мо-

роси парусниками тотемских землепроходцев. Мерцали торжественно, многоярусно, узорно, и не было на Севере равных им по красоте. А люди шли и шли на откос к назначенному часу. И все теснее сближались вокруг памятника, накрытого трепетным полотном.

Прозвучал сигнал микрофона, и в многолюдной тишине стало слышно, как звенели под дождем сдвинутые зонты. Взволнованны и кратки были речи о Николае Михайловиче Рубцове. И вот этот миг, вобравший в себя всю трудную жизнь поэта. Мы, друзья его, спускаем с памятника покрывало, словно пелену разделявшего нас времени, и перед всеми людьми предстает дорогой облик.

Рубцов! Он сидит на простой скамье, скрестив на колене руки. На плечи накинуто легкое пальто с поднятым воротником и с ветряно захлестнутыми понизу полами. Как в жизни, как в свои молодые приезды сюда, на родину. Колышется взволнованное многолюдье, всматривается в лицо поэта, омытое дождем, как живой водой. Оно сосредоточено в раздумье, приветливо наклонено к людям. И к подножию, и на скамью, и на скрещенные руки ложатся цветы. Сколько их, пламенеющих радостью встречи! О, хотя бы малая толика такого тепла овеяла поэта при жизни! Но к чему пустые сетования: труден на Руси путь к признанию. Одно утешенье: мы скупо прозреваем, зато щедро спохватываемся. Как тут не вспомнишь: «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью...»

Перед отплытием мы еще раз поднялись на откос. Уже стемнело, и дождь стихал. Разорванные облака покачивали первую звезду. И мы подумали: вот она, звезда его полей. Трепетный луч касался лишь головы поэта, а нам виделось, что он весь облит звездным светом. Когда подошли поближе, нас поразило и вправду таинственное мерцание теней в облике друга. Он сидел перед нами, стоявшими совсем-совсем рядом — всего на один взмах для рукопожатия, но уже недоступно одинокий, как бы вовсе незнакомый и навсегда отстраненный от нас. И тогда мы поняли, что стояли на незримой черте, навсегда отдалившей нас от него, и взглядывались из своей жизни в уже иную жизнь друга, называемую бессмертием.

# ВИКТОР КОРОТАЕВ



## «ГИРЯ ДОШЛА ДО ПОЛУ...»

Очень долго казалось, что вот прозвенит звонок, я открою дверь и на пороге увижу его — тихого, похудевшего, с внимательным взглядом и почему-то виноватой улыбкой.

— К тебе можно? — спросит он настороженно.

А потом будет долго курить, кружить по комнате и говорить, говорить... И я пойму, как он, в сущности, одинок и как ему не хватает обыкновенного человеческого участья. Слова о том, что талант всегда одинок — мало кого утешают. Талант — прежде всего человек. То и дело в моем нынешнем дому названивает звонок, но я уже никогда не дождусь того заветного, раннего и осторожного,— звонка Николая Рубцова.

А он, бывало, придет с мороза, достанет из моей холостяцкой кладовки полосатый паролоновый матрас, положит его на пол поближе к длинной ребристой батарее, прижмется спиной и блаженно улыбнется:

— Почти как на русской печке!

Кто первый пустил это дурацкое прозвище «шарфик», которое с особым смаком повторяют столичные снобы в меховых шубах и теплых шапках — не знаю. Но это настолько бестактно и оскорбительно по отношению к Рубцову. Не замечают ревнители изящной словесности уничижительного оттенка в этом прозвище. А потом Рубцову просто-напросто всю жизнь не хватало тепла. Тем более при его скудных харчах. Вот он и ежился в вечном своем демисезонном пальтишке и кутался в неизменный простенький шарф. Но никогда не жаловался, стеснялся при-

знаться в своей необеспеченности и неустроенности. Если ему нужно было занять червонец-другой на прожитие, он мучился и не знал, как произнести это вслух и обычно, улыбаясь, предлагал:

— Давай будем переписываться.

И, приладясь к краешку стола, в самых застенчивых и неуклюжих выражениях излагал свою нужду: «Не можешь ли ты мне на некоторое время выделить...» И кто понимал его, тот никогда не отказывал.

Когда мы узнали о гибели Николая Рубцова и с разрешения следователя Меркурьева пришли с Василием Беловым и Александром Романовым в квартиру поэта, чтоб перебрать и унести рукописи, то неожиданно в письменном столе обнаружили последние его 22 рубля наличными и ни копейки на сберкнижке. Невольно подумалось, что если бы он остался жив, то именно с этой суммы ему пришлось бы начинать новый день.

Но его уже не было в живых, и новый день мы начинали без него. Начинали с горечью и ожесточением, стараясь не смотреть друг другу в глаза, а если и смотрели, то сурово и требовательно, словно спрашивали: как же мы допустили такое?

Этот же вопрос задавали много раз нам люди близкие и сторонние, но ставить вопросы — особенно такие — проще всего. Не то, что на них отвечать. И приходилось защищаться тоже вопросом: «А как же вся Россия не могла спасти от гибели Пушкина? А за ним — и Лермонтова?».

И начинался длинный и путаный разговор о том, что время другое, обстоятельства — тоже, и т. д. и т. п. Знаем мы эти разговоры!

Но чувство вины не истаяло до сих пор, поэтому снова и снова перебираешь в памяти годы, встречи, выискивая момент, где ты проглядел, не допонял, упустил.

А моменты такие, безусловно, были... Ведь приходил он в редакцию газеты и не однажды и не случайно спрашивал: когда пойдет его подборка? Значит, ее скорейшее появление было жизненно важно для него, и можно было — и нужно! — поторопить редактора с напечатанием, попросить бухгалтерию выплатить аванс. Да не какой-нибудь десятирублевый, а посолидней, как настоящему поэту, вполне показавшему свою состоятельность. Можно было это сделать? Безусловно! Но вечно мешает нам то ли врожденная невнимательность, то ли благоприобретенный фор-

мализм, то ли обыкновенное наплевательство на все, что лично нас не касается...

А разве нельзя было поостеречь от надвигающейся грозы? Ведь многие чувствовали по запаху ее приближение. Одна знакомая прислала поэту новогоднюю открытку с недвусмысленным текстом: «Береги свою голову...» А я даже стихи об этом начал. При его жизни... Они напечатаны теперь в книге «Солнечная сторона» да и в некоторых других:

*Потеряем скоро человека,*
*В этот мир забредшего шутя.*
*У законодательного века*
*Вечно незаконное дитя.*
*Тридцать с лишним лет как из пеленок,*
*Он помимо прочего всего*
*Лыс, как пятимесячный ребенок,*
*Прост, как погремушечка его...*

Сам испугался написанного: «Что это я раскаркался раньше времени?» И — бросил.

Дописывать пришлось вскоре. Но уже после смерти Рубцова.

Отчетливо виделось, что не по себе он выбрал «пассию». Слишком вспыльчива, неуступчива, яра. Да и неопрятна как-то вся, если говорить о чисто женских качествах. «Не то бы ему надо, не то...» — страдальчески морщились друзья. Но не полезешь же со своими советами в таком деликатном деле. Вот и доинтеллигентничали...

Больно говорить об этом, и лучше кончить. А вспомнить что-нибудь повеселее. Пусть даже с некоторыми временными перебоями.

Помню, как пришли в редакцию газеты «Вологодский комсомолец», где я работал литконсультантом, стихи Николая Рубцова. Быстро ответил ему, очень хорошо отозвавшись о стихах, и попросил при случае зайти в редакцию. После отзыва о стихах, которые готовились к обсуждению в скором времени на совещании молодых писателей нашей области, приписал чернилами: «Дорогой Коля Рубцов! Я уже много слышал о Вас хорошего и много (впрочем, так ли уж много?) читал Вас. Мне бы хотелось увидеться с Вами и поговорить. Буду надеяться,

что это когда-нибудь случится...» Хотелось познакомиться лично с автором уже тогда написанных строк:

*Взбегу на холм*
*и упаду*
*в траву.*
*И древностью повеет вдруг из дола!*
*Засвищут стрелы будто наяву,*
*Блеснет в глаза*
*кривым ножом монгола!*
*Пустынный свет на звездных берегах*
*И вереницы птиц твоих, Россия,*
*Затмит на миг*
*В крови и жемчугах*
*Тупой башмак скуластого Батыя!..*

Таков был ранний вариант этого ныне хрестоматийного стихотворения. А потом был семинар молодых литераторов в Вологде, где мы наконец и познакомились лично.

С людьми Николай Рубцов сходился непросто и не сразу, хотя за его плечами был детдом, который, казалось бы, должен приучить к большей контактности. А, возможно, эта трудная «сходимость» касалась только литераторов, к которым он относился зачастую подозрительно и даже недружелюбно. Ведь не однажды я видел, как он запросто подходил на улице к простым мужикам, прося прикурить, и так же запросто завязывал разговор и с явным удовольствием его продолжал и развивал. Но литераторы — это не простые мужики...

Мне повезло: мы сошлись быстро и оставшиеся его годы жили широко и дружно. Не скованные никакими цепями — ни семейными, ни бытовыми — могли легко подняться и покатить либо по грибы, либо на рыбалку. А еще он любил прийти ночью и предложить:

— Поедем к твоей маме...

Она тогда жила в Череповце, куда ходил пригородный поезд в три часа ночи. Я понимал его, не помнившего,— по существу, не знавшего,— что такое прикосновение материнской ладони к твоим волосам, плечу, щеке...

Мы объявляемся на пороге — и вот уже нас кормят горячим куриным бульоном, жарят котлеты и предлагают отведать вчерашних пирогов. Рубцов тает от переполняющего чувства благодарности и с горечью спрашивает:

— Александра Александровна, ну почему жены-то не могут вот так?

— Могут, Коля, да не хотят. Постарше будут — тогда поймут.

Но такие ответы его не устраивают...

— Пока они поймут, я уже, может, помру...

— Ну, что ты, Коля, что ты!

Матери хочется перед работой еще часок соснуть и она предлагает:

— Давайте укладываться, ребята. Ведь, наверняка, всю ночь не спали.

Это точно. Ночной пригородный поезд ходит всегда пустым. Редкий полуночник войдет в вагон и через остановку-две выйдет. И опять мы одни, и можно хохотать и резвиться, сколько влезет. Благо проводница спокойная и сама не прочь покемарить в собственном купе.

А Рубцов уже вошел во вкус и сыплет историю за историей, экспромт за экспромтом: на это был он большой мастак. Мы долго не можем угомониться. И матери приходится на нас прикрикнуть: «Спать!» И, переваливаясь через него, я плюхаюсь на широкий диван, который уже постелен для нас. Рубцов бурчит:

— Ну, медведь!

Предлагаю продолжить нашу ночную дорожную игру:

— Срифмуй со словом «балдеть».

— Тогда не мешай.

Он молчит несколько минут, потом читает:

*«Кто-то в верности партии клялся,*
*Кто-то резался с визгом в лото,*
*И стремительно в ночь удалялся*
*Алкоголик, укравший пальто,*
*В это время заснул Коротаев,*
*Как в берлогу залегший медведь,*
*Потому что у строгих хозяев*
*До утра не позволят... балдеть».*

Какой уж тут сон! Мы, повизгивая, хохочем, пока мать снова не выходит из соседней комнаты и не взывает к нашему благоразумию.

Когда она возвращается с работы, мы идем втроем гулять, и Рубцов — больше, конечно, для матери, чем для меня,— без конца рассказывает, как он служил на флоте, жил в детдоме, первый раз влюбился. И я понимаю: он с ней говорит так, как наверно, говорил бы со своей матерью; и когда слышу речи о том, что Рубцов ни

перед кем не раскрывался до конца,— всегда вспоминаю эти прогулки...

В 1969 году меня пригласили учиться в Москву на Высшие литературные курсы. Я передал свои немудрёные обязанности литконсультанта по газете — Николаю Рубцову:

— Конечно, Коля, сорок рублей не велики деньги, но все-таки твердый заработок... хотя бы на хлеб.

Он согласился. Но проработал не долго. Да не очень и держался за такое место: у него в Москве готовилась к печати новая книга «Сосен шум». Он просил меня зайти в «Советский писатель», где у меня тоже была на выходе книга стихов, и узнать, как там идут его дела. В рубцовском архиве каким-то чудом уцелело одно из моих писем той поры. Вот оно: «Коля! Заходил я тут на досуге в «Советский писатель». Спросил, как твои дела. Говорят, все нормально. Дело идет к набору. Передали тебе отпечатанные, но не вычитанные стихи, которые пойдут. Но предупредили, что это еще не окончательный вариант. Это посылают экземпляр просто тебе. Так что прочитывай. Большой привет тебе от Михаила Павловича Еремина*. Он жалуется, что у него украли подаренную тобой «Звезду полей». Если найдешь свободный экземпляр, то пошли. Уж больно хороший мужик. И любит он тебя по-настоящему. Я скоро приеду и сам подарю выправленный свой «Жребий». Так что до встречи.

Твой *В. Коротаев*. 26.11.69».

Я нарочно передаю текст письма так дотошно. Хочется во всех наших писаниях прежде всего точности. Потому что о Николае Рубцове и так наплетено слишком много. И наша задача — всеми силами противостоять этому мутному потоку. А средство у нас одно — правда, точность, документальность. Ведь не исключена возможность, что наши беглые заметки кому-то пригодятся и в будущем, потому что мы были живыми свидетелями могучего взлета русского таланта.

Наши встречи в Москве были редкими, но запоминающимися. Однажды Николай Рубцов ночевал у меня. Перед этим мы долго и радушно посидели в компании его поклонников, а наутро я должен был лететь в длительную командировку по Сибири, где до этого ни разу не бывал

* Преподаватель Литинститута.

и рвался туда. Уже были получены командировочные деньги и удостоверение. Наутро нам обоим так не захотелось прощаться, что мы решили: Сибирь никуда не уйдет, и рано или поздно мы ее посетим, а дружба — дело и редкое, и деликатное, и неизвестно долго ли нам дано ею наслаждаться. С этим мы и спустились неторопясь с седьмого этажа общежития Литинститута и отправились на поиски новых радостей.

Вспоминая теперь тот случай, я утешаюсь тем, что не улетел в Сибирь: нам действительно оставалось дружить очень недолго.

Накануне Нового 1971 года я приехал в Вологду на зимние каникулы. Рубцов поджидал свою дочку Лену с мамой в гости. Приготовил елку, хотя заранее не стал ее наряжать. Видимо, хотел этот праздник подарить самой девочке. Но праздника не получилось: дочь не привезли. И так вышло, что Новый год мы с Николаем Михайловичем встречали врозь. Наутро я со своей невестой пришел его проведать. Рубцов был не один. Они всю ночь просидели вдвоем со знакомым художником и были угрюмы. Но хозяин встретил нас радушно, достал свежего пива, угостил, старался развеселить. А мы пытались сделать вид, что нам действительно хорошо, и беззаботно болтали, но мешала веселиться ненаряженная елка, сиротливо стоящая в переднем углу. Но — ничего! Мы знали, что скоро пошумим на славу, поскольку нами были замыслены сразу две свадьбы и была договоренность: сначала он развертывает гармонь на моей, а потом я — на его. С этими радужными надеждами я вскоре уехал на недельку к матери в Череповец.

А дальше началась мистика...

На другой же день почувствовал странную и страшную тоску, не мог найти себе места и понял, что меня неодолимо тянет обратно в Вологду. На недоуменные вопросы встревожившейся матери я только ответил: «Надо!».

И уехал. Уже в поезде почувствовал облегчение, успокоился. Потом, после грянувшей трагедии, не однажды в мельчайших подробностях восстанавливал свои порывы, движения и, конечно, чувства и понял: что-то требовало, звало меня быть в роковую минуту поблизости, если уж ничего нельзя изменить.

На следующий день 19 января рано поутру ко мне позвонили. Вошел работник газеты «Вологодский комсо-

молец» Женя Некрасов, бледный, с трясущимися губами, с мученическим лицом:

— Ты пока ничего не знаешь?

И я ему, еще боясь поверить, но зная, что это так, почти утвердительно ответил:

— Рубцов...

— Да... сегодня ночью убили.

— ?

Все остальное прошло как в беспамятстве: вместе с друзьями укладывал в гроб, стоял в почетном карауле и не мог отвести взгляда от совершенно прекрасного не обезображенного смертью — с застывшей иронической улыбкой — лица, и рассеянно слушал, как художник Валентин Малыгин, тоже потрясенный этим живым выражением губ, персиковым цветом кожи, все повторял, глядя на такие чуткие всегда приподнятые рубцовские уши:

— Слышит... Все слышит!

Потом несли на руках гроб, говорили последние прощальные слова над могилой, поминали в Доме художников и читали его стихи...

И все это без отчетливого понимания, что — безвозвратно, что — навсегда.

...Уезжая в Москву, только об одном просил друзей: известить, когда будет суд над убийцей. И вот наконец телеграмма пришла.

Суд назначен на 6 апреля 1971 года. Здание старое, кирпичное, стоит на улице Батюшкова. Того самого, около могилы которого в Прилуцком монастыре когда-то Николай Рубцов, видимо, предчувствуя недальний конец, просил положить себя... Но — «на то не наша воля».

Он уже два с половиной месяца покоился на обычном городском неуютном кладбище, а женщина, лишившая его столь любимой им жизни, собиралась предстать перед строгим судом. Суд предполагался в закрытом заседании, а желающих присутствовать на нем было огромное количество. Почти все писатели здесь: и Белов, и Романов, и Астафьев... Но председатель суда говорит, что может допустить только одного, и то если он командировку от газеты принесет. Возможен журналист, а не писатель. Друзья это место уступают мне. Вскоре я возвращаюсь с бумажкой такого содержания: «В городской народный суд. Редакция областной газеты «Красный Север» направляет на судебный процесс по уголовному делу Л. А. Гр-ской

нашего корреспондента Коротаева В. В. Зам. редактора газеты «Красный Север» (А. Шорохов)».

Меня пропускают в зал заседания и первые полтора часа я сижу ни жив, ни мертв, боюсь шелохнуться,— чувствую, что порядки здесь строгие, и все может произойти. Ни о каких записях, конечно, и речи быть не может; лишь бы усидеть, все самому услышать и увидеть, а на память я пока не жалуюсь, главное потом восстановлю!

Но в перерыве мне говорят, что журналисту, разумеется, можно делать записи, и странно, почему я до сих пор их не делаю...

Теперь мне легче, я достаю блокнот и пристраиваю его на колене. Свидетелей предупреждают, что они должны говорить только правду, и предлагают дать подписку. Люди не привыкли к такой обстановке, волнуются и забывают даже обмакнуть ручку в чернильницу и подолгу скребут по бумаге сухим пером, пока не догадаются, почему оно не пишет.

Подсудимая сидит за барьером, под охраной серьезного пожилого милиционера. Молодая еще, пышноволосая, глаза по луковице, грудастая, бедрастая, а голос мягок, чист и глубок. Как у ангела.

И все-таки этот ангел совершил дьявольское дело — сгубил редчайший русский талант, лишил всех нас светлого друга, осиротил близких и родных. Да и всю нашу землю — тоже. И если мы не произносили пока вслух имя этого ангела-дьявола, то лишь из жалости к его родителям, дочери, из простого чувства сострадания, а может, и излишней деликатности.

Но рано или поздно имя это придется произнести. И вслух, и печатно.

А пока я смотрю на подсудимую, которая часто перебивает (а по существу направляет) свидетелей, и размышляю: до конца ли она понимает, что́ совершила? Глубоко ли мучает ее содеянное? И по тому, как она энергично защищается, вижу: нет, истинного раскаяния не произошло. Раскаявшийся человек не может быть столь настырен, рационален и логичен! Или это работает чисто материнский инстинкт самосохранения (ведь у нее — дочь)?

Но мне-то что за дело, какие у нее мотивы. Меня интересует перво-наперво: раскаивается или нет? На словах — да, а на деле?

Она себя и суду представляет как ангела: вина не пьет, любит кошек и собак (одну даже как-то подобрала на улице и вылечила), почитает родителей (они здесь, могут подтвердить), до сих пор чужих мужей не отбивала, не воровала чужого добра, нежно и заботливо любила свою дочь... Право, ангел.

Но поэта Николая Михайловича Рубцова все-таки убила! И не просто убила (мало ли в горячке бывает — ножом, молотком, поленом), а — задушила...

И тут уже обычной аффектацией трудно что-нибудь объяснить.

Чтобы задушить мужчину, кроме силы, нужно время. Время, в течение которого можно одуматься, разжать пальцы, а после устыдиться своего бесовского порыва, сорвать с вешалки пальто и выбежать на мороз, остынуть, прийти в себя.

Но ничего такого не было. Она до конца доделала свое черное дело, бросила в ванну валявшееся на полу грязное белье, ополоснула руки (хотя и утверждает, что — нет; бог с ним, это не столь важно), спокойно открыла дверь и пошла сдаваться в милицию. В пятом часу утра. Но странно — спокойно открыла дверь... Она же только что утверждала обратное, когда ее спрашивали судьи, почему не ушла сразу, в самом начале разыгравшегося скандала? Она ответила, что хозяин запер дверь, и она не могла выйти. Но почему же не могла выйти сразу тогда, если сделала это запросто, когда он лежал бездыханным на полу? Она же не шарила в его карманах, не искала ключа. Значит, ключ был в дверях с самого начала и нужно было его просто повернуть. Наверняка, на это достало бы силы, коль хватило, чтобы справиться (вернее, расправиться) с мужчиной.

Один за другим выступают свидетели — ее свидетели. Мертвые их не имеют. И рассказывают, как хорошо она работала в библиотеке, уважала сослуживцев, занималась общественной работой. А покойника поносят кто как хочет. И некому его защитить.

Нам в свое время предлагали выставить общественного обвинителя, но мы, люди малоопытные, решили, что это ни к чему, только лишние нарекания в субъективности, пристрастии и т. д. Мы сказали, что верим в наш советский суд, там люди ученые, со специальным образованием, во всем разберутся, все решат.

Оно так и произошло в конечном счете; но подсу-

димая-то вот имеет и защитника, и свидетелей, а умерший насильственной смертью поэт Рубцов не может за себя постоять, не имеет возможности.

Слабые попытки прежней жены его вспомнить о нем как о поэте ни к чему не приводят. Не тот уровень изложения. К тому же ее осаждает адвокат: «Мы здесь говорим не о поэте, а о гражданине Рубцове». Ловко срезала! Но когда ей надо строить свою защиту, она — очень опять же ловко — вставляет в продуманную речь его стихи:

*В твоих глазах —*
*Любовь кромешная,*
*Немая, дикая, безгрешная!*
*И что-то в них*
*Религиозное...*
*А я — созданье несерьезное —*
*Сижу себе*
*За грешным вермутом,*
*Молчу, усталость симулирую...*
*— В каком году*
*Стрелялся Лермонтов? —*
*Я на вопрос не реагирую!*

Стихи незадолго до суда опубликованы в газете «Вологодский комсомолец», в посмертной подборке, и дальновидный адвокат, конечно же, приберег их к случаю.

Далее следует риторический вопрос: чему могут научить такие стихи подрастающее поколение? Словно все поэты только и делают, что пишут для подростков. И главное — всех учат, наставляют. И, разумеется, нажим делается прежде всего на слово «вермут».

Горю желанием ответить вопросом на вопрос: а чему могут научить, в таком случае, наверняка известные ей с детства стихи:

*Выпьем, добрая подружка*
*Бедной юности моей,*
*Выпьем с горя, где же кружка?*
*Сердцу будет веселей.*

Но я лишен права голоса, и на этот раз с откровенным ханжеством мне не удается повоевать. Я даже не могу возразить, когда она, утверждая, что перед законом все равны — и поэт, и рабочий — вскоре сама себе противоречит: «Он поэт, с него особый спрос...»

Однако я забежал вперед, еще не все свидетели допрошены. И вот выступает сосед, над квартирой которого жил Рубцов; зовут соседа Алексей Иванович. Он обстоятелен, нетороплив, отвечает только на вопросы, которые ему задают.

— Что вы можете рассказать по делу?

— Хотели жениться. Я говорю: ну, Коля, вы хорошая пара. Радовался: люди хорошие, хотят вместе жить вечно...

Следует вопрос о причастности подсудимой к алкоголю.

— Было. Зашел к ним, он был трезвый, она — косая.

— Что вы, Алексей Иванович,— возмутилась из-за перегородки подсудимая.

— А я скажу... Вы вот на кухне стояли с распущенными волосами, вот в таком стиле,— и Алексей Иванович расставил ноги и слегка изогнулся в талии, изображая нетрезвую гостью Рубцова.

Ну вот, хоть немножко оживил ее образ, а то предыдущие показания почти засахарили бедную женщину.

Она, видимо, не ожидала нового поворота дела и порядком расстроена. Но это еще не все. На запросы следователя Меркурьева пришли характеристики на подсудимую, и опять-таки не все розового цвета.

Вот, например, из Подлесской сельской библиотеки, где она трудилась в последнее время: «...к работе относилась недобросовестно: в отчетах давала ложные показания по читателям и книговыдаче. Систематически не являлась на семинары, имела за это время выговора. В библиотеке всегда был беспорядок: кругом грязь, книги раскиданы. Из наглядной агитации в библиотеке ничего не было оформлено. На замечания инструктирующих лиц не реагировала.

Зав. отделом культуры Вологодского
райисполкома *Цветкова* 12.11.71 г.»

Я не то, чтобы злорадствую, но чувствую, как потихоньку выравнивается обстановка. А судья расставляет положенные акценты; и на жалобу подсудимой: «Вы меня упрекаете», довольно резко и весомо отвечает:

— Мы вас не упрекаем, мы вас судим!

И добавляет:

— И вопросы здесь будут задавать: не вы — нам, а мы — вам.

Не случайно впоследствии — в кассационной жалобе — она о судье будет отзываться не самым лестным образом. (Мы любим судить сами, но не любим, когда судят нас).

И тем не менее, подсудимой нельзя было обижаться на недостаток заинтересованного внимания к себе. Я уж не говорю о поведении женщины-адвоката, в обязанности которой входила прямая защита виновной,— и поэтому ею было сделано все, чтобы втоптать в грязь имя бесчеловечно угробленного поэта Рубцова. Она всяческими способами, методами и стараниями пыталась обелить, увенчать ореолом жертвенности, терпеливости, чуть не святости личность убийцы и договорилась до того, что просила для обвиняемой всего лишь год условно!

Недорого же она оценила жизнь безвременно погибшего таланта, уже тогда всенародно признанного и решительно причисленного к разряду выдающихся деятелей русской поэзии.

Но меня еще больше удивляла речь прокурора. Вместо того, чтобы выдвигать и обосновывать обвинение, он пенял подсудимой, разведшейся с первым мужем только потому, что тот не сумел вовремя обеспечить ее квартирой. Блюститель закона доказывал, что в таких случаях надо добиваться жилья настойчивее. И собственные мысли для большей убедительности подкреплял народной мудростью: «Не зря сказано — под лежачий камень вода не течет». Потом он почувствовал необходимость по-отечески пожурить молодую женскую неосмотрительность и нетерпеливость и опять прибег к спасительному отечественному фольклору, вспомнив и огласив другую пословицу. «Был бы милый по душе, проживем и в шалаше»,— он процитировал и, похоже, остался доволен своей памятью! Иногда, правда, вспоминал, что он все-таки обвинитель и, спохватившись, начинал повышать голос. Но почему-то опять не на подсудимую, а на вологодских писателей, которые, по его мнению, недостаточно строго воспитывали Рубцова, и обязанности воспитателя пришлось взять на себя рабочему классу. (Это он имел в виду соседа, жившего под Рубцовым, который приходил к поэту с выговором за то, что тот однажды залил его водой. Но с кем чего не бывает? Открыл кран — вода не идет. Оставил открытым, чтоб услышать, когда воду дадут. Закрутился, забыл закрыть, вышел из дому, а в это время она и пошла...).

И все же прокурор понимал, что жизни-то человек

лишен. И расчет подсудимой и адвоката на аффектацию — наивный расчет. Предыдущие экспертизы подтвердили психическую полноценность обвиняемой. Значит, остается одно: умышленное убийство, за которое, как все понимают, дают на полную катушку. Но у нас случай особый: убийца женщина, сама явилась с повинной, искреннее раскаяние, преступление совершила впервые, имеет малолетнего ребенка и престарелых родителей... Таким образом, обвинение уже звучит так: «умышленное убийство без отягчающих обстоятельств». Эти обстоятельства из общего количества причитающихся лет выбирают семь, остается — восемь. (Забегая вперед, могу сказать, что она и того не отсидела в связи с Годом женщины. В общей сложности у нее вышло 5 лет и 7 месяцев).

Многое прояснилось в ходе разбирательства, остается дослушать последнее слово обвиняемой.

Судебный процесс обвиняемую, конечно, утомил. Решалась ее нынешняя и дальнейшая судьба. По-видимому, адвокат внушил слишком радужные надежды, а тут подсудимая воочию убеждалась, что все не так просто. И от ее последнего слова зависело очень многое.

Если она сумеет пронять судью и народных заседателей... Заметное напряжение чувствовалось и среди немногочисленных свидетелей, пожелавших дослушать процесс до конца. У нее, видимо, не однажды, как и у меня, всплывала в памяти фраза, которой пользовались в зависимости от обстоятельств, работники юстиции: «Гиря дошла до полу». Да, дошла! И подсудимая это понимала.

Сейчас, просматривая свои записи ее последнего слова, я понимаю, как они убоги по сравнению с тем, что говорилось. Уже не восстановишь жеста, выражения глаз, оттенков голоса. Да и не полны эти записи, потому что стенографией я не владею, к великому сожалению, могу только ручаться за одно, смысл выступления — точен.

Гр-ская некоторое время помолчала, склонив пышные кудри, негромко обронила: «То, что случилось — страшно, непоправимо. Николай Рубцов — талантливый поэт, и я ценила его, преклонялась перед его талантом». Потом она подумала и продолжала: «Меня обвиняли в том, что я приехала сюда, разыскала и сблизилась с Рубцовым для собственной корысти, для карьеры (а такие мысли действительно проскальзывали в некоторых выступлениях) — я это полностью отрицаю. Корысти не было. Я сблизилась с ним на почве поэзии. Это оказалось для меня

роком. Он имел надо мной огромную власть, я не могла противиться ему — и поэтому многое прощала, понимая, что он тоже боится потерять меня; и отсюда его ревность, подозрительность и подчас грубость со мной. Но он очень искренний человек,— сказала она. Потом словно опомнилась и добавила.— Был... Он этим меня приковал. Он один был близок мне, у меня здесь больше никого не было. Когда мы пошли с ним в ЗАГС, меня давило ощущение, что я ставлю свою жизнь на карту. Но Николай Рубцов убеждал, что я единственная женщина, без которой он не может жить. Он любил меня, я это знала. Знала я, что он был и несчастен как человек, всю жизнь скитался, не имел своего угла. Он сам загубил свой талант потому, что не берег его, расточал в компаниях, с бесконечными друзьями и товарищами. Это меня нервировало, злило. Но я не умышленно его убила, и все-таки убила я, и от этого никуда не денешься...

И себя этим погубила. Как поэтесса (я, кажется забыл сказать, что подсудимая писала стихи, издавалась, и пишет до сих пор). И до конца жизни буду считаться убийцей Рубцова...»

На какое-то мгновение она опять замолчала, словно вдумываясь в смысл собственных слов. Да, будет считаться до конца.

Однажды я был на ее родине в городе Вельске, где она после отсидки жила и работала по прежней специальности. Пришлось выступать перед библиотекарями, ее коллегами. Сама она, разумеется, не присутствовала. После рассказа о наших писателях, чтения стихов, естественно, последовали вопросы. И, в частности, меня — в то время ответственного секретаря Вологодской писательской организации — стали пытать, как мы относимся к творчеству Гр-ской, будем ли ее издавать. Я ответил со всей определенностью и категоричностью, что относимся мы к ней не как к поэтессе, а как к убийце поэта Николая Михайловича Рубцова и, конечно же, издавать ее не собираемся.

— Но она же свое получила,— последовало возражение.

— Вы считаете, что пять с небольшим лет — это плата за жизнь такого поэта?

— Столько было определено...

— Мы считаем, что наш суд бывает иногда слишком гуманен.

— И вы должны быть гуманными: вы же писатели.

— Ах, вы решили зайти с этой стороны! Тогда да-

вайте заодно простим Дантеса, застрелившего Пушкина. Да и Мартынова — тоже.

— Ну, зачем вы так,— не понравилось заведующей библиотекой.— Нечего сравнивать. Там совсем другое дело.

— А почему другое? То же убийство. Но там оставляли жертве выбрать жребий, встать к барьеру, приготовиться внутренне к роковому исходу. Можно было даже выстрелить в противника, что и сделал смертельно раненный Пушкин. А тут? Поэт лежит, поваленный на пол, кричит трижды: «Я люблю тебя» (об этом говорили и свидетели — соседи, которые слышали этот ночной возглас, и сама подсудимая), он и не думает, что его давят на смерть. А его давят!.. Тут не было никакого выбора. Давайте смотреть правде в глаза. Я понимаю, что вам дорога честь мундира, но ничего не могу сказать в утешение. Простите меня.

Многие разделили мою точку зрения, однако при заведующей не посмели выразить это открыто. Им с ней работать, и я не осуждаю их. Жаль, что и с заведующей мы расстались более, чем холодно.

Но пора снова вернуться в зал судебного заседания. Уже в последний раз. Подсудимая обрела равновесие, речь ее движется стройно, логично, даже напористо. Ей теперь необходимо убедить суд, что она совершила преступление в целях самозащиты. Поэтому Рубцов в ее рассказах появляется то с молотком, то с лопатой, притащенной с балкона, то он ищет нож, который она предусмотрительно зарыла в его рукописи, беспорядочно валяющиеся на подоконнике. Она взывает в памяти ребят-журналистов, которые в тот вечер были в гостях у Рубцова и которые нынче сидят в зале заседания, терпеливо и несколько недоуменно выслушивают ее логические построения насчет ножей, нападений и прочее, и прочее. Никто, конечно, всерьез не может представить Рубцова в роли нападающего физически. Иное дело — если словом. Задеть за живое, уязвить, а коли потребуется — и раздавить этим самым словом — это он мог. Допускаю. А, чтобы ножом или молотком, тем более — лопатой... Это поэт-то Рубцов? Да, никогда! К тому же и свидетели опровергают подобные измышления, и никто из них никакого ножа возле него не видел. А подсудимая утверждает, якобы ей именно один из них, свидетелей-журналистов, и посоветовал спрятать куда-нибудь подальше этот самый нож.

Но Гр-скую не смущает опровержение свидетелей. Она строит свои логические фигуры, и ей нет дела до остального: «Страх Рубцова потерять меня обострился, когда мы подали заявление в ЗАГС. Он нервничал и только повторял: как бы нам дожить до регистрации. Мы решили никому не сообщать. Я даже родителям не писала. В ту роковую ночь, когда ушли ребята из газеты, он, проводив их, вернулся с криками, что я такая и сякая, и мне якобы понравился Задумкин. «Но он просто журналист, а я — первый поэт»,— кричал он и дал мне оплеуху. Я ему сказала, чтобы он ложился спать, но он бегал, кричал, без конца прикуривал и бросал в меня горящие спички. Это было глумление. Если бы он был жив, он бы подтвердил. (Напрасный зов: он, к сожалению, не мог ни подтвердить, ни опровергнуть ее слов).

Я хотела убежать, но он закрыл дверь на второй ключ (об этом мы уже рассуждали. Она беспрепятственно вышла из дому после совершенного преступления. Значит, могла сделать это и раньше). Я две ночи до этого не спала, и нервы были напряжены до предела. И никакой надежды на хорошую совместную жизнь уже не оставалось. Я пыталась уснуть, но он стащил с меня одеяло и раскрыл балкон. У меня внутри натягивалась пружина. Когда я пыталась уйти, ему показалось, что легче убить меня, чем со мной расстаться, отпустить меня. И он сказал:

— Ты хочешь меня оставить, унизить и сделать для всех посмешищем? Нет, сначала я раскрою тебе череп. У меня возникла смертельная опасность, меня эта фраза лишила рассудка, и я поняла: либо он погубит меня, либо я его... Он подошел ко мне, я свалила его на пол и взяла двумя пальцами за горло и потеребила. (Ничего себе «потеребила»! На фотографиях, имеющихся в деле, все горло пострадавшего в ужасных кровоподтеках и грубых широких царапинах. Есть одна фотография, крупным планом дающая эти следы варварства — на нее невозможно смотреть.) В это время он кричал «Я люблю тебя», это верно. Он, видимо, почувствовал, что ему конец, и молил меня пощадить, а я не почувствовала. И поняла все только тогда, когда у него волосы на висках вдруг встали дыбом. Раньше я ему никогда не давала отпора, и он меня не опасался, а тут понял, что я невменяема и взмолился... Я увидела его синюю щеку и расцепила пальцы, он глубоко вздохнул, словно охнул, перекинулся всем телом и ничком упал в валявшиеся простыни и затих. Я стою над ним,

не верю своим глазам. Трагедия произошла. Я признаю свою вину. Но это произошло не умышленно. Я полностью погубила себя, а этого я сознательно не могла сделать.

(Как видим, подсудимой не откажешь в умении строить свою защиту.) Хочу сказать, что до сих пор я считала себя честным и добрым человеком по отношению к обществу, начиная с самого детства. Никогда не было у меня звериных выходок. Я счастлива тем, что не разорила ни одного гнездышка, подбирала больных кошек и собак и лечила. (Тогда становится непонятным: если она убивала Рубцова не умышленно, то почему не пыталась даже сделать искусственное дыхание, когда поняла, что удушила его. Ведь порой удается спасти висельников, утопленников, продолжительное время пробывших под водой. Это же утверждают и врачи.)

Я ни с кем никогда не дралась, и никто меня не бил. В нашей семье ничего такого не было, отец подтвердит. Муж меня никогда пальцем не трогал. Но так получилось, что мы разошлись, и дочь теперь остается без отца и матери... Муж мой был добр ко мне, а Рубцов все время как-то и духовно... все-таки... принижал меня. (Вот, видимо, чего она не могла ему простить: того, что он был недосягаем, недоступен, непонятен... Обыватели этого не прощают!) Ему нравились мои стихи, но он хотел видеть во мне просто женщину, которая бы стирала, варила... Он ущемлял меня как поэтессу, мешал мне сосредоточиться, серьезно работать. (Вот видите: мешал...) Но он был умный человек и на многое открыл мне глаза, с другими мужчинами мне будет уже неинтересно...»

Потом она снова уверяла, что не хотела убивать и все сваливала на рок, судьбу, какую-то неведомую темную силу.

Судьи внимательно выслушали ее и отправились в совещательную комнату. Судя по тому, что они не заставили себя долго ждать, особых разногласий среди них не возникло. Убийство было признано умышленным. Без отягчающих обстоятельств. Определено восемь лет общего режима.

Позднее возникли кассационные жалобы адвоката и подсудимой, но областной суд решение городского оставил в силе. А пока все вздохнули. Кто с облегчением, кто с сожалением, кто с затаенной угрозой и неутоленным желанием мести,— кто как! Но прежде всех, видимо, вздохнули судьи. Они — с облегчением. Для них это темное и малоприятное дело было закончено. Для нас оно только начиналось...

# ВЯЧЕСЛАВ БЕЛКОВ



## ЖИЗНЕОПИСАНИЕ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

Какой-то голос мне подсказывает: «Пиши биографию Рубцова». Да, я знаю, что есть у людей потребность в биографии поэта. Об этом говорят, например, письма читателей. Некоторым из них (прежде всего учителям литературы) биография Рубцова просто необходима для работы.

Но биографию выдающегося человека можно написать по-разному. Как, в какой форме писать ее сегодня? И надо морально приготовить себя к такой работе. И, конечно, писать биографию следует только тогда, когда накопится определенная сумма точных фактов. Кажется, для биографии Рубцова такой момент наступил. И я делаю первую попытку написать более-менее полную биографию поэта. Она будет построена только на фактах — в том числе новых и уточненных фактах. Лишь иногда я буду отклоняться от повествования в сторону лирики или голого документа...

### 1

Николай Рубцов родился не на родине предков в деревне Самылкове (ныне — Сокольский район), не в Вологде, куда семью выгнала коллективизация. Он родился чуть позже — 3 января 1936 года в селе Емецке Архангельской области. Семья приехала туда из Вологды за три месяца до рождения будущего поэта. Коля стал четвертым ребенком у Александры Михайловны и Михаила Андрияновича, после него было еще двое детей.

Семья Рубцовых занимала две небольшие комнаты в деревянном двухэтажном доме. Этот дом и по сей день стоит на знаменитом старом архангельском тракте, по которому Михайло Ломоносов шагал некогда в Москву. Недалеко от дома и река Емца, впадает она в Северную Двину. Отец будущего поэта работал начальником ОРСа леспромхоза, а мать была домохозяйкой.

В 1937 году отца перевели на новое место работы, и семья переехала в Няндому, а к началу 1941 года Рубцовы снова оказались в Вологде.

26 июня 42-го года умирает мать. К этому времени семья уже потеряла двоих дочерей — старшую и самую младшую. Этим же летом Коля сочинил, видимо, самое первое свое стихотворение:

*Вспомню, как жили мы*
*С мамой родною —*
*Всегда в веселе и в тепле.*
*Но вот наше счастье*
*Распалось на части —*
*Война наступила в стране...*

По сообщению Сергея Багрова, отец Рубцова с 1942 по 44 год был на фронте. Беседы с родственниками поэта пока это не подтверждают. К началу войны Михаилу Андрияновичу было уже за сорок, у него была ответственная разъездная работа. Старших детей после смерти матери взяли родственники — тетя Соня и бабушка Раиса. Младшие — Коля и Боря — попали в Красковский детский дом.

В октябре 1943 года Николай Рубцов переведен в другой детдом — в село Никольское Тотемского района. Начинает учиться в школе. Летом следующего года Колю наградили Похвальной грамотой за успехи в учебе и примерное поведение. Такие же грамоты были вручены ему после окончания 3-го и 4-го классов. Позднее поэт вспоминал: «Я хорошо учился, отличником был. На Новый год отличникам давали два подарка. Однажды мне не дали два, а всего — один. Моя очередь подошла, мне дают один, я говорю: «Мне два», а та, которая давала, отвечает: «Хватит одного!» Я ушел с одним, но ревел, сильно ревел от обиды. Но вообще-то воспитатели добрые были. Меня одна воспитательница сильно любила. Она потом уехала от нас. Так вот, когда она от нас уезжала, я как раз по кухне дежурил, посуду мыл. Она

подошла ко мне, поцеловала в голову и обняла сзади. Я вывернулся от нее и убежал. Вот ведь дурак, даже «до свидания» не сказал...»

Сохранился автограф одного из первых стихотворений Рубцова «Зима». Написано оно в 1945 году под сильным влиянием стихотворения И. Сурикова «Детство».

В 1950-м Николай закончил семилетку и в июне сделал попытку поступить в Рижское мореходное училище. К концу месяца вернулся в Николу. 30 июля зачислен в Тотемский лесотехнический техникум. В следующем году несколько раз приезжал в Николу на каникулы. Летом 1952 года, закончив два курса и получив паспорт, Рубцов оставляет лесотехникум и начинает странствовать.

В школьные годы Коле очень нравилась Нина Алферьева. А первой юношеской его любовью была Татьяна Агафонова. Рубцов познакомился с ней в конце 51-го года, когда учился в лесотехникуме. Таня училась тогда в Тотемском педагогическом училище. Были встречи, размолвки, признания в любви... Последняя встреча — в 1954 году в поезде, встреча не случайная, потому что Николай еще питал надежды. Но... Она ехала на работу в Азербайджан, а он, почувствовав отчуждение, поехал куда глаза глядят. Глаза глядели в Ташкент...

Впрочем, мы забежали вперед.

Еще раз попытался Николай поступить в мореходку, на сей раз в Архангельскую. Не вышло. Он устраивается на работу. Сохранились документы:

«Начальнику тралфлота т. Каркавцеву И. Г. от Рубцова Н. М. Заявление. Прошу Вас устроить меня на работу на тральщике в качестве угольщика. Просьбу прошу удовлетворить. К заявлению прилагаю: 1. Карточку медосмотра. 2. Две автобиографии. Н. Рубцов. 12.09.52 г.»

«Автобиография. Я, Рубцов Н. М., родился в 1936 году в Архангельской области в с. Емецк.

В 1940 г. переехал вместе с семьей в Вологду, где нас и застала война. Отец ушел на фронт и погиб в том же 1941 году. Вскоре умерла мать, и я был направлен в Никольский д/д Тотемского района Вологодской области, где окончил 7 классов Никольской НСШ в 1950 г. В том же 1950 году я поступил в Тотемский лесотехнический техникум, где кончил 2 курса, но больше не стал учиться и ушел. Подал заявление в Архангельскую мореходную школу, но не прошел по конкурсу.

В настоящий момент подаю заявление в Тралфлот. Н. Рубцов 12.09.52 г.»

Николай Рубцов стал работать подручным кочегара (угольщиком) на тральщике РТ-20 «Архангельск». Капитан судна А. П. Шильников позднее рассказывал: «...Я почему его запомнил. Маленький уж очень он был, щупленький, волосы светлые... Ростом самый низкий в команде. Помню, это, когда мы уже в Мурманске в ремонт встали, боцман наш Голубин Николай ему робу выдал. Так он буквально утонул в ней. Тут кто-то из наших жен, из Архангельска прибывших, подогнал ее наскоро, да недолго он проходил в этой робе. Приходит однажды, заявление на увольнение приносит».

Успел Коля на тральщике и поваром, и уборщицей поработать, успел и в ледовый затор попасть в Белом море в мае 53-го. Работа была тежелая, и мальчишка решил учиться.

«Заявление. Прошу вашего разрешения на выдачу мне управлением тралфлота расчета ввиду поступления на учебу. Н. Рубцов».

Это написано в июле 53-го года. Вскоре будущий поэт начинает учиться в горно-химическом техникуме заполярного города Кировска. В этом же году написано стихотворение «Деревенские ночи».

Из воспоминаний товарища по техникуму: «Рубцов был неизменным участником веселых студенческих вечеринок, проходивших обычно с чтением стихов Есенина и Бернса, хоровым исполнением под аккомпанемент купленной учащимися в складчину гармошки песен и куплетов, воспевающих морскую романтику... Потом он стал пропадать по целым дням, как выяснилось позже — он проводил время в городской библиотеке за чтением философских трудов Гегеля, Канта, Аристотеля, Платона...» (Н. Шантаренков).

Вероятно, летом 1954 года, в каникулы, поэт побывал в Ташкенте, в Вологде (встречался с отцом, тетей, сестрой?) и других местах. В Ташкенте написал стихотворение «Да! Умру я! И что ж такого?..» Это время тяжелых раздумий о жизни, о «Земле, не для всех родной...» В приступе отчаянья Рубцов называет себя «рожденным по ошибке»...

В Кировске поэт прожил около полутора лет, в январе 1955 года он оставляет техникум. Вновь у Рубцова появляется возможность побывать в Николе, в Вологде, у брата

Альберта в Ленинградской области. По сообщению С. Багрова, у Николая хранилась фотография отца с надписью: «На долгую память дорогому сыночку Коле. Твой папка. 4 марта 1955 г. М. Рубцов».

## 2

Видимо, в 1954—55 Николай уже сочинил немало стихотворений, до нас почти не дошедших... Итак, он живет в селе Приютино под Питером. Устроился сначала у брата, потом в общежитии. Работает слесарем-сборщиком на артиллерийском испытательном полигоне. Знакомится с Таей Смирновой и Н. Беляковым (герой стихотворения). «— Ну, как жили?.. Бродили, колобродили, по ночам не спали. Рубцов много рассказывал, стихи читал, вспоминал детство свое, какое оно у него было плохое — рано остался без родителей...»

Осенью 55-го Рубцов призывается для службы на флоте. Пишет письма Тае, посылает ей фотографии. К этому же времени относят стихотворение «Первый снег».

После учебного подразделения поэт попадает на боевой корабль Северного Флота. В учетной карточке члена ВЛКСМ записано: с марта 56-го года по ноябрь 58-го Рубцов — матрос в/ч 62656.

Знакомится с Валентином Сафоновым и другими пишущими моряками. Осенью 56-го в мире — высокая напряженность. Рубцов пишет заявление с просьбой направить его в Египет на помощь арабам. Как и другим морякам, ему отказывают.

«Рука небольшая, аккуратная, и пальцы сухие, тонкие, а рукопожатие сильное. Роста морячок не выдающегося, но скроен крепко, влито лежат на плечах погончики с литерами «СФ». Пышные усы, лоб с изрядными залысинами, бережная — волос к волосу — прическа. И внимательный цепкий взгляд» (В. Сафонов).

База флота — в заполярном городе Североморске. Современники вспоминают, что в то время Рубцов был общительным человеком, читал вслух стихи, говорил о поэзии... В 1955 году в Москве вышел двухтомник Есенина. Спустя год или два «моряки двух эсминцев, моего и Колиного, узнавали Есенина по этим книжкам» (В. Сафонов). В годы службы Николай посещает литературное объединение при флотской газете «На страже Заполярья», начинает печататься.

Осенью 1957 года свой армейский отпуск Рубцов провел у брата в Приютине, написал здесь несколько стихотворений: «Березы», «Морские выходки», «О собаках», «Воспоминание» и др. В эти же дни поэт убедился окончательно, что Тая не ждет его возвращения. Рубцову уже 21 год, происходит резкое творческое взросление, он пишет стихи, которые отличаются от его флотских опытов жизненностью и поэтичностью. Интересно, что, вернувшись на корабль, поэт снова впадает как бы в творческую спячку — в 1958—59 годах пишет мало, и в основном — схематические газетные стихи. В сборник «Волны и скалы» он не включил ни одного стихотворения 58-го года, и только два стихотворения 59-го, написанные уже после демобилизации. В 1960—62 годах — новый творческий взлет поэта.

В 1958 году стихи Николая Рубцова публикуются в коллективном сборнике «На страже Родины любимой», а в феврале следующего года — в первом номере флотского альманаха «Полярное сияние». 2 февраля в письме Валентину Сафонову высказывается о поэзии Сергея Есенина. Рубцов дает точный и глубокий анализ есенинской лирики, показав себя истинным поэтом и знатоком поэзии. Видимо, в эти месяцы Рубцов много читает, служба подходит к концу. В мае 59-го поэт попадает в мурманский госпиталь — видимо, с аппендицитом. Все чаще задумывается о том, что будет делать на гражданке. «Ни черта не могу придумать! Неужели всю жизнь придется делать то, что подскажет обстановка? Но ведь только дохлая рыба (так гласит народная мудрость) плывет по течению!» В это время формируется одна из главных страстей поэта — вырваться из тесноты и обыденности жизни, выразить себя с наибольшей полнотой, добиться признания, достичь именно своей цели, исполнить свое предназначение на этой земле. А то, что его предназначение — поэзия, станет окончательно ясно через два-три года.

## 3

Осенью 59-го закончилась четырехлетняя служба Рубцова на флоте. Возможно, сразу после демобилизации побывал в родных вологодских местах. В воспоминаниях двоюродной сестры поэта есть эпизод, где Рубцов одет в морскую форму. Заезжает и к брату Альберту, который

теперь живет в Невской Дубровке (поселок под Ленинградом). Пишет здесь несколько стихотворений.

30 ноября Николай начал работать на Кировском заводе в Питере. 1960-й год — работает на заводе кочегаром, живет в общежитии. «...Работать устроился на хороший завод, где, сам знаешь, меньше семисот рублей никто не получает. С получки особенно хорошо: хожу в театры и в кино, жру пирожное и мороженое и шляюсь по городу, отнюдь не качаясь от голода. Вообще, живется как-то одиноко, без волнения, без особых радостей, без особого горя...» (из письма В. Сафонову). С интересом посмотрел Рубцов в кинотеатрах фильмы «Рапсодия», «Алексей Кольцов» и др. Знакомится с некоторыми ленинградскими поэтами — Н. Кутовым, Э. Шнейдерманом и другими. Начал заниматься в литобъединении «Нарвская застава», здесь 14 декабря 1960 года обсудили и стихи самого Рубцова. В этом году он написал стихи: «Взбегу на холм и упаду в траву...», «Утро утраты», «Левитан», «Разлад», первый вариант «Доброго Фили» и др. В этом же году поступил в вечернюю школу.

В 1961 году перешел работать шихтовщиком в копровый цех завода. Вышел коллективный сборник «Первая плавка» с пятью стихотворениями Рубцова. Вместе с другими молодыми поэтами постоянно выступает на вечерах различных лито, в домах культуры, в общежитиях, поэтических кафе, библиотеках, в НИИ и т. д.

Один из современников вспоминает: «У него — в общаге на Севастопольской — я бывал нечасто. Обстановка там мало подходила для поэтических бесед: в комнате на четверых, где он обитал,— постоянные возлияния, всегда накурено, затхло, вечно кто-то пьяный, в верхней одежде и сапогах, грозно храпя, дрыхнет на койке. Все это он ненавидел люто...»

В конце 61-го года Рубцова пригласили заниматься в центральном лито при Ленинградском отделении Союза писателей. В течение года он написал стихи: «В океане», «Ах, что я делаю?», «Утро перед экзаменом», «Эх, коня да удаль азиата...» и др.

## 4

Настал год 62-й. С этого времени о жизни поэта удобнее рассказывать по годам. 24 января Рубцов выступил с чтением своих стихов на вечере молодой поэзии

в ленинградском Доме писателей. Имел большой успех, стихи читал в основном шуточные. Вскоре знакомится с ленинградским поэтом Борисом Тайгиным. 1 июня начитал на магнитофон Тайгину 10 своих стихотворений. В июне окончил среднюю школу № 120 рабочей молодежи и 21 числа получил аттестат зрелости. Часто бывает у поэта Глеба Горбовского. Много работает над стихами для первой книжки. 13 июля с помощью Б. Тайгина выпустил свою машинописную книжку «Волны и сказы» (6 экземпляров, 38 стихотворений). Рубцов очень любил эту книжку.

До 4 августа побывал в Николе, где «знакомится во второй раз (после детдома) со своей будущей женой Генриеттой Михайловной Меньшиковой... В августе она тоже уезжает из Николы и устраивается работать почтальоном в городе Ораниенбауме под Ленинградом» (Н. Коняев).

В это время Николай Рубцов побывал в Вологде у отца. Отец болел. У Николая начинаются сплошные разъезды. 4—10 августа он сдает вступительные экзамены в московский Литературный институт. 23 августа поэт зачислен на первый курс института. 4 сентября он в Питере, навещает Тайгина и других. Видимо, и Генриетту. Получает письмо от отца с жалобами на здоровье.

Вернувшись в институт, сразу попал «на картошку». 21 сентября пишет письмо Э. Шнейдерману:

«Эдик, привет, привет! Только что вернулся в Москву из колхоза, где мы работали на картошке. Деревня нам досталась очень подлая. Без одной гармошки, без магазина, без самогонки, без девок... Деревня была даже без петухов. Дожди шли беспрерывно, и дул сильный ветер...

Живу я в комнате с одним дагестанским поэтом. До сих пор не могу заучить наизусть его фамилию и имя. Что-то такое туземское. Занятий еще не видел, ни разу на них не был. Буду в семинаре у Сидоренко.

Вчера, с Макаровым, заходил к Кореневу. Встретил нас дружелюбно. Много говорил о стихах. Мне он понравился, что говорить. Был рад знакомству с ним.

Эдик, стихи для «Оптимы» пошлю немного позднее. Вот только успокоюсь после колхоза. Пока все у меня. Как живешь ты? Какие новости? Передавай привет университетским, кого я знаю, всем. Будь здоровым и счастливым. С большим дружеским приветом. Н. Рубцов».

Успокоиться поэту не удалось. Через несколько дней его известили о смерти отца.

«Свидетельство о смерти... Гражданин Рубцов Михаил Андриянович умер 29 сентября 1962 года в возрасте 63 лет... Причина смерти — рак желудка. Место смерти — г. Вологда...»

Вероятно, поэт успел на похороны. Или побывал на могиле несколько дней спустя (сохранилась фотография).

Еще в августе Рубцов познакомился в редакции журнала «Знамя» с поэтом Ст. Куняевым. Позднее он познакомился с А. Передреевым, и, видимо, с Б. Примеровым, И. Шкляревским, В. Кожиновым, Вл. Соколовым и др.

В конце октября навестил питерских друзей и Генриетту Михайловну в Ораниенбауме. Узнает, что у нее будет ребенок.

Затем окончательно возвращается в Москву на учебу. В начале декабря опять побывал в Питере. «В самом конце декабря появился снова, и Новый год мы встречали в большой компании, в мастерской художника В. на Невском...» (Э. Шнейдерман).

Как видим, год был для Рубцова непростым, печальным и очень насыщенным, и во многом удачным. В течение года он написал стихи: «Поэт», «Фиалки», «Сергей Есенин», «Я весь в мазуте...», «Соловьи», «Репортаж» и др. Стоит привести здесь стихотворение «Расплата». До сих пор его публиковали в сборниках поэта в сильно усеченном виде. Это стихотворение показывает психологическое состояние, которое в последуюшие годы будет едва ли не основным у Рубцова. Думаю, что есть в этом стихотворении 62-го года и некая тайна, не разгаданная еще биографами поэта. Итак...

*Я забыл, что такое любовь.*
*Не любил я, а просто трепался.*
*Сколько выпалил клятвенных слов!*
*И не помнил, когда просыпался.*
*Но однажды, прижатый к стене*
*Безобразьем, идущим по следу,*
*Словно филин, я вскрикну во сне,*
*И проснусь, и уйду, и уеду,*
*И пойду, выбиваясь из сил,*
*В тихий дом, занесенный метелью.*
*В дом, которому я изменил*
*И отдался тоске и похмелью...*
*Поздно ночью откроется дверь.*

*— Бес там, что ли, кого-то попутал? —*
*У порога я встану, как зверь,*
*Захотевший любви и уюта.*
*Побледнеет и скажет: — Уйди!*
*Наша дружба теперь позади!*
*Ничего для тебя я не значу!*
*Уходи! Не гляди, что я плачу!*
*Ты не стоишь внимательных слов,*
*От измен ты еще не проспался,*
*Ты забыл, что такое любовь,*
*Не любил ты, а просто... трепался!*
*О, печальное свойство в крови!*
*Не скажу ей: «Любимая, тише»,*
*Я скажу ей: «Ты громче реви!*
*Что-то плохо сегодня я слышу!»*
*Все равно не поверит она,*
*Всем поверит, но мне не поверит,*
*Как надежда бывает нужна,*
*Как смертельны бывают потери.*
*И опять по дороге лесной,*
*Там, где свадьбы, бывало, летели,*
*Неприкаянный, мрачный, ночной,*
*Словно зверь, я уйду по метели...*

5

Итак, первого января 1963 года Рубцов проснулся в Ленинграде. А 7-го января он в Москве, пишет заявление ректору Литературного института о том, чтобы его допустили к экзаменам.

После сессии, в конце января и начале февраля,— каникулы. Во время каникул побывал в Николе. Вовремя вернуться в Москву не сумел, поэтому пришлось (в который уже раз!) писать объяснительную записку ректору.

Одно из важных событий этих месяцев — 20 апреля 63-го года родилась дочь Лена.

Второго мая — первая встреча в Москве с Л. Дербиной.

25 июня Рубцов завершил очередной семестр в институте и, получив за все лето стипендию (62 рубля 50 копеек), отправился в село Никольское. Здесь он отдыхает, пишет стихи, нянчится с дочерью, ходит за грибами и ягодами. В июле, например, написал первый вариант гениального стихотворения «В горнице». В течение года написал также стихотворения: «Я буду скакать по хол-

мам...», вероятно, «Прощальную песню» (см. воспоминания В. Карпущенко) и другие. Вообще 63-м годом помечены немногие стихи поэта. Но могло быть так: стихи писались, но уже не удовлетворяли его вполне, откладывались на будущее и потом дорабатывались. А дату получали по времени публикации — скажем, в 64-м или 65-м году.

В поэте шла огромная внутренняя работа, в следующем году она даст новые замечательные плоды. Вероятно, в 63-м году Рубцов познакомился с Александром Яшиным. Во всяком случае, в конце года отправил Яшину письмо, из содержания которого ясно, что поэты уже знакомы лично.

29 октября состоялось обсуждение стихов Рубцова на занятиях в литинституте. В том числе стихотворений, которые раньше датировались неправильно, более поздним временем: «Тихая моя родина...», «А между прочим, осень на дворе...» и др.

4 декабря Рубцова отчислили из института за нехорошее поведение в Центральном доме литераторов. 25 декабря восстановлен в институте.

## 6

В июне 64-го года журналы «Юность» и «Молодая гвардия» публикуют стихи Рубцова. После ряда взысканий поэт в конце июня отчислен из Литературного института. Уезжает в Николу, надеясь, что все утрясется и он снова будет учиться. Дочке Лене привез заводного цыпленка, нянчится с ней. Ходит за ягодами, пишет стихи. Лето 64-го — вероятно, самая урожайная для Рубцова-поэта пора. «Здесь за полтора месяца написал около сорока стихотворений. В основном о природе, есть и плохие, и есть вроде ничего. Но писал по-другому, как мне кажется. Предпочитал использовать слова только духовного, эмоционально-образного содержания, которые звучали до нас сотни лет и столько же будут жить после нас...» (из письма Рубцова А. Яшину в августе 64-го).

Несколько стихотворений поэта опубликовано в августовском номере журнала «Октябрь», в том числе — «Звезда полей», «Взбегу на холм и упаду в траву!..», «Русский огонек» (первоначальное название — «Хозяйка»). Это первая крупная, серьезная публикация Рубцова

в центральном авторитетном издании. Это заявка на поэтическое признание.

В конце ноября Рубцов приезжает в Вологду на областной семинар молодых литераторов. Временно поселился у Бориса Чулкова на улице Гоголя (дом не сохранился). Знакомится с будущим поэтом Сергеем Чухиным и другими. В конце года приезжает в Москву, чтобы восстановиться в литинституте.

Новый 1965-й год Рубцов встретил вместе с А. Передреевым, В. Кожиновым в общежитии Литературного института.

15 января поэт восстановлен в институте, но лишь на заочном отделении. Вологодские писатели хлопочут о восстановлении Рубцова на 4-м курсе очного отделения. Но поэту не везет — в апреле по оговору он попадает в 19-е отделение милиции Москвы. Оттуда, естественно, «сигнализируют» в институт...

Жить Рубцову негде, выручают студенческие общежития. Там он пропадает иногда неделями.

Кажется, время начинает бежать быстрей. Уже сдана в набор в Северо-Западном издательстве первая книжка Рубцова «Лирика». А 9 июня этого же года поэт подписал договор с издательством «Советский писатель» на свою книгу «Звезда полей».

«Лирикой» Рубцов недоволен — малюсенькая книжка, исковерканные стихи, небольшой тираж... Наверно, поэту больше грела душу новая подборка в «Октябре» (10-й номер) — «Памяти матери», «На вокзале», «Добрый Филя», «Тихая моя родина!..» и др.

А лето и начало осени он прожил в Николе. Потом едет в Москву, встречается в Яшиным, больше месяца живет в «общаге» литинститута в комнате Сергея Чухина.

В декабре посылает запрос в Череповецкий горотдел милиции о розыске своей сестры Галины. В течение года написал стихотворения «Журавли», «Осенние этюды» и другие.

## 7

В январе 66-го побывал в Вашках (Липин Бор). «Приказ № 10 по редакции газеты «Вологодский комсомолец». Внештатный корреспондент Рубцов Н. М. с 27 по

31-е января сего года командируется в Вашки. Редактор — Л. Фролов».

Для отчета о командировке написал заметку о В. Чаловой, первом секретаре Вашкинского райкома комсомола. Опубликована 8 марта в «ВК». А 2 февраля газета публикует статью Рубцова «Подснежники Ольги Фокиной».

Май — июнь проводит в общаге литинститута. Видимо, идет весенняя сессия. В июне поэт едет в Сибирь, пишет там стихотворения «Шумит Катунь», «Весна на берегу Бии», «В сибирской деревне»... Посылает письмо А. Романову.

В стихах Рубцова появляется особая философская глубина:

*...Грозный рев поднимают быки.*
*Говорю вам: — Услышат глухие! —*
*А какие в окрестностях Бии —*
*Поглядеть — небеса голубые!*
*Говорю вам: — Прозреют слепые,*
*И дороги их будут легки...*

Библейские мотивы его поздних стихотворений еще не вполне поняты и приняты читателями и критиками.

В Барнауле Рубцов остановился в деревянном домике на улице Радищева, 161 — у сестры поэта В. Нечунаева Матрены Марковны Ершовой. Несколько недель жил в предгорном райцентре Красногорском у поэта Г. Володина, встречался с другими литераторами Алтая.

Вернулся в Вологду, видимо, в августе. Побывал с С. Чухиным в двух деревнях близ города. Написал там стихотворения «Зеленые цветы», «В старом парке»... В начале осени Рубцов жил в Вологде, встречался с Яшиным, Романовым и др. 28 сентября «Вологодский комсомолец» публикует два стихотворения поэта.

5 ноября Рубцов едет в Сокол (по воспоминаниям А. Рачкова). Стихи поэта публикуют журналы «Знамя», «Юность»... В течение года он написал «Грани», «Душа хранит», «В минуты музыки...» и другие.

Немного осталось точных сведений о жизни поэта. Мало дат, мало подробностей. Короткие воспоминания о Рубцове написали 30—40 человек. А когда пишешь биографию, то видишь, что иногда белые пятна захватывают целые полугодия.

1967-й год поэт провел в основном в Вологде. Видимо, в этом году или в конце предыдущего поэт полу-

чил место в общежитии, что для не работающего нигде человека было делом непростым.

С начала года Рубцов часто бывает в редакции «Вологодского комсомольца», встречается с Чухиным, Оботуровым и др. Кстати, в сквере напротив редакции (это ул. Ленина) сделаны в это время самые известные фотографии поэта. Снимал фотокорреспондент газеты А. Кузнецов.

В редакции «мы травили какие-то анекдоты, перемывали кости общему начальству, а из дальнего угла просторной комнаты глядел пристально худенький молодой человек, в голубенькой застиранной бобочке и с какой-то явно не модной и даже слегка поломанной шляпой на стриженой голове. Человек этот упорно молчал и только изредка как бы прожигал очередного зубоскала взглядом черных прищуренных глаз...» (Из воспоминаний В. Степанова).

К лету вышла книжка стихов «Звезда полей», поступила в продажу. В это же лето Рубцов участвует в поездке писателей по Волго-Балту; встречи с читателями.

В сентябре выступает в Вологодском городском Доме культуры на поэтическом вечере вместе с А. Яшиным, В. Беловым, А. Романовым и другими. В октябре побывал в Шексне (командировка от газеты «Вол. комсомолец»). В декабре попал в вытрезвитель. Сообщение номер 11230: «7 декабря 1967 года в медицинский вытрезвитель города Вологды... был доставлен член Вашего коллектива Рубцов Николай Михайлович — писатель... Просим обсудить недостойное поведение гражданина Рубцова и о принятых мерах сообщить...» Бумага эта направлена была в писательскую организацию. Ну, по крайней мере, человек в тепле переночевал, да еще сфотографировали его на память, да по имени-отчеству назвали... А вскоре и Новый год подошел.

## 8

В течение года поэт написал несколько прекрасных стихотворений. В наступившем 68-м в журналах появились рецензии на его книгу «Звезда полей», книга встречена почти с восторгом. Она стала дипломной работой автора в Литинституте. 19 апреля Рубцова приняли в Союз писателей СССР.

Весной был в Москве, в общежитии Литературного института (по воспоминаниям В. Кузнецова).

Осенью получил комнату в квартире с подселением на Набережной 6-й Армии в Вологде. 6 ноября получил извещение: «В Тотемский райнарсуд обратилась гражданка Меньшикова Генриетта Михайловна о взыскании алиментов на содержание ребенка, поэтому просим Вас выслать справку о Вашем семейном положении и о заработке».

Стихи поэта публикуются в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Юность». В течение года написал — «До конца», «Ласточка», «Прощальное» и др. В рецензиях на «Звезду полей» были и ошибки. Ошибались даже талантливые критики. Скажем, явно поспешный вывод делает Анатолий Пикач в журнале «Звезда»: «Размышление «о своей судьбе», которое сулило нам стихотворение, открывшее книгу, не состоялось, оно лишь наметилось. Но это первая книга Рубцова. Одаренность его несомненна. И мы вправе ждать от него серьезного углубления в мир».

Тут ошибка критика не в том, что «Звезда полей» — уже вторая книга. Просто критики к 60-м годам отвыкли от настоящей поэзии, они считали, что о человеке и его душе можно поведать только прямым сюжетным стихотворным рассказом. Как видим, Рубцов-лирик стал понятен Пикачу не сразу.

## 9

«...Его унижали, он иногда надоедал, был суетлив... О смерти с 1969 года начал говорить. У моей мамы спрашивал: Анастасия Александровна, пойдешь за моим гробом?..» (Н. Старичкова).

Ранней весной 69-го побывал Рубцов в Рязани и на родине Есенина в селе Константинове. 2—3 мая в Вологду к нему приезжала Гета из Николы. Семья пока не складывалась, но в ближайшие месяцы вполне могла бы сложиться. Примерно в конце мая или в начале июня поэт получил, наконец, отдельную однокомнатную квартиру на улице Яшина.

Именно в эту квартиру 23 июня к нему постучалась Л. Дербина. Позднее она напишет воспоминания, и по ним мы можем более-менее полно представить жизнь Рубцова в последние полтора года. В краткой биографии всего не напишешь, но две—три цитаты из Дербиной

я приведу. Цитировать буду по подлинным воспоминаниям, по тексту, который она опубликовала недавно в одной из питерских газет.

В тот же день, 23 июня, поэт поплыл с Дербиной на пароходе в Тотьму...

*Я — богатырь, я — витязь,*
*Но встал не с той ноги.*
*Явитесь мне, явитесь,*
*Друзья, а не враги...*

В начале июля побывал на реке Ветлуге (г. Варнавино Нижегородской области). В августе-сентябре в Тимонихе у Белова написал поэму-сказку «Разбойник Ляля» — по варнавинской легенде.

...В 69-м поэт закончил Литинститут, выпустил книжку «Душа хранит», охотно сотрудничал с газетами. По некоторым воспоминаниям Рубцов некоторое время работал литконсультантом в «Вологодском комсомольце». Но, видимо, в штате редакции он не был, документального подтверждения в архиве газеты я не нашел.

Василий Белов подарил Рубцову свою книжку «Катюшин дождик». Стихи поэта публикуются в центральных журналах — по-прежнему это основной источник его существования. В течение года написал — «Привет, Россия...», «Поезд», «Выпал снег» и др.

В октябре — декабре постоянно встречается с Дербиной в Вологде и в пригородной деревне Троице, где она поселилась...

## 10

Подошел последний год жизни поэта... Вышла у Рубцова четвертая книжка стихов — «Сосен шум». Верстку ее Николай Михайлович прочитал, видимо, в марте. 27 марта в «Вологодском комсомольце» опубликован обзор стихов молодых поэтов, автор обзора — Рубцов.

9 июня Рубцов в доме Дербиной сильно порезал правую руку, потерял много крови и попал в больницу. «...О, тут за мной ухаживают! Я даже им стихи в стенгазету написал. Ну, вроде благодарности.

— Ну-ка, ну-ка, почитай!

— Пойдем на улицу.

Мы вышли на больничный двор, который выходил на реку Вологду. Сели на лавочку над рекой. Он прочитал мне стихотворение. Нет, это не было «Под ветвями больничных деревьев». Оно появится потом...» (Л. Дербина).

В августе Рубцов получил гонорар за книжку «Сосен шум». Открыл счет на сберкнижке, положив туда ровно тысячу рублей. В этом же месяце самодеятельный композитор и певец А. Шилов записал и подарил поэту грампластинку с песней «Журавли» на его слова. В октябре Рубцов побывал в Архангельске на выездном секретариате правления СП РСФСР. На этом заседании стихи Рубцова высоко оценил С. Орлов.

Крупными суммами снимал деньги со сберкнижки, и к Новому году там осталось пять рублей.

В течение года публиковался в «Нашем современнике», «Молодой гвардии». Написал стихотворения «Судьба», «Ферапонтово», «Я умру в крещенские морозы...» и др. В начале ноября написал рецензию на рукопись стихов Л. Дербиной. Отметил в ней и такие грозные строки:

*...Когда-нибудь в пылу азарта*
*Взовьюсь я ведьмой из трубы*
*И перепутаю все карты*
*Твоей блистательной судьбы!..*

Перед Новым годом Л. Дербина уехала на свою родину.

## 11

На Новый год поэт ждал Г. Меньшикову с дочкой Леной. Но они не приехали. 5 января вернулась Дербина. 8 и 9 ходили в загс, регистрацию брака назначили им на 19 февраля. Примерно 12 января съездили в ближайшую деревню за картошкой. Потом Рубцов запил. А тут знакомая рассказала Дербиной о своем муже, поделилась опытом, так сказать: «...Теперь отдельно живем, приходит, упрашивать начинает, чтобы снова сойтись. Я — ни в какую, так он на меня драться! Он меня за руку, а я его — за горло.

— За горло? Как это?

— А так! Как за горло схватишь, так сразу отцепится, как миленький!..»

Развязка наступила в ночь на 19 января 1971 года. Оборвалась жизнь поэта, улетела в небо его бессмертная душа... А тело похоронили в Вологде на городском кладбище.

Рукой Рубцова водила неземная сила. За последние 60 лет в русской поэзии не было таких божественных и живых глаголов...

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПОСВЯЩЕНИЯ



## ВОСПОМИНАНИЯ

Составитель и вся творческая группа благодарит областной Совет, администрацию Вологодской области, а также производственно-коммерческую корпорацию «Русьпромсервис» за финансовую помощь при издании настоящего двухтомника.

Составитель и автор предисловия
**Виктор КОРОТАЕВ**

Сдано в набор 13.01.94. Подписано в печать 12.02.94. Формат 84×108/32. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Академическая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,52+2,1 вкл. Уч.-изд. л. 21,95+1,7 вкл. Тираж 25 000. Заказ 82. Цена свободная.

Коммерческо-издательская фирма «Вестник».
160008, г. Вологда, ул. Ленина, 16.

Производственная фирма «Полиграфист».
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

Народный Комиссариат Внутренних Дел СС[illegible]
ОТДЕЛ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

# ЗАПИСЬ АКТА О РОЖДЕНИИ №

(первый экземпляр)

Подлинность [illegible] заверяю [illegible] Хахлогор... [illegible] 1936 г.

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ

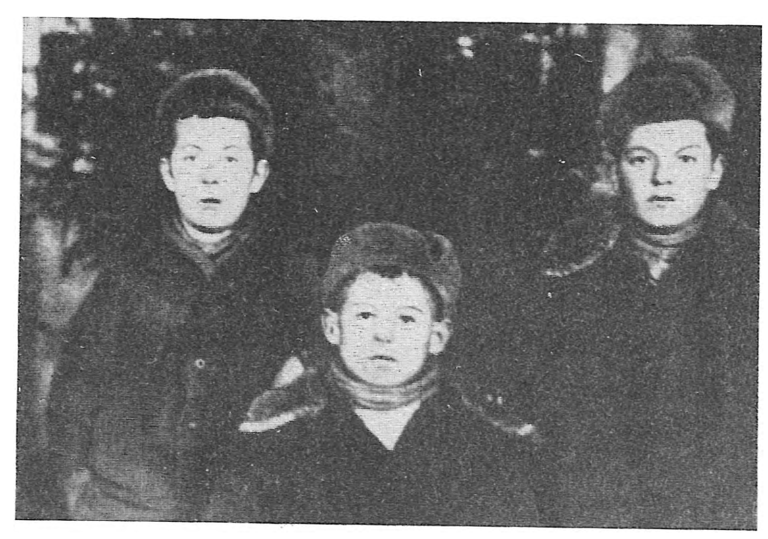
| | | |
|---|---|---|
| 1 Фамилия | Рубцов | 2 Имя: Николай · 3 Пол: муж. |
| 4 Время рождения | 3 число января месяца 1936 г. | |
| 5 Отметка о близнецах | нет | Двойня, тройня (подчеркнуть) |
| 6 Отметка о мертворождении | Живой | |

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ

| | Отец | Мать |
|---|---|---|
| 7 Фамилия | Рубцов | Рубцова |
| 8 Имя | Михаил Андреянович | Александра |
| 9 Отчество | | Михайловна |
| 10 Национальность | русский | русская |
| 11 Возраст | Исполнилось 32 лет | Исполнилось 35 лет |



Отец поэта



Н. Рубцов ( в центре). Детский дом в с. Никольское, Тотемского р-на, Вологодской обл. 1947 г.

Н. Рубцов (второй в первом ряду справа). Детский дом с. Никольское. 1950 г.

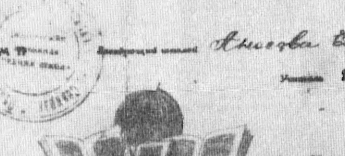




Детские годы



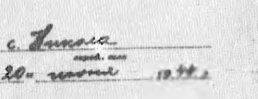
Детский дом в с. Никольское. Тотемского р-на. Вологодской обл., где в 1942—1950 гг. жил Н. Рубцов (дом после реставрации)





НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОСВЕЩЕНИЯ

# ПОХВАЛЬНАЯ ГРАМОТА



Выдана ученику первого класса Никольской Н.С. школы

Вологодской области, Тотемского р-на, с. Никола

Рубцову Николаю

ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ И ПРИМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

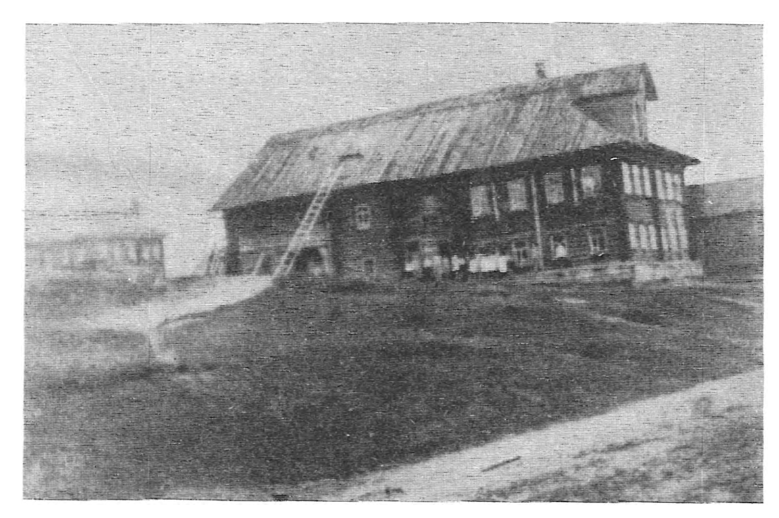
с. Никола

„20“ июня 1944 г.

№

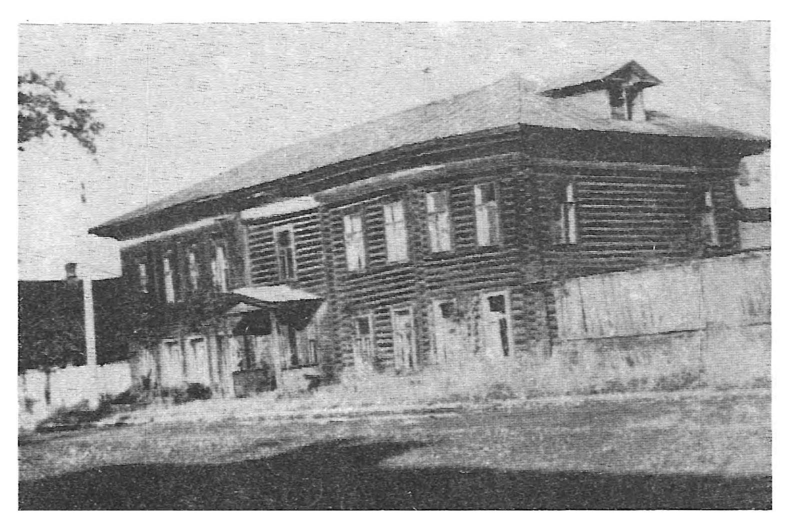
Директор школы Анисова Е.А.

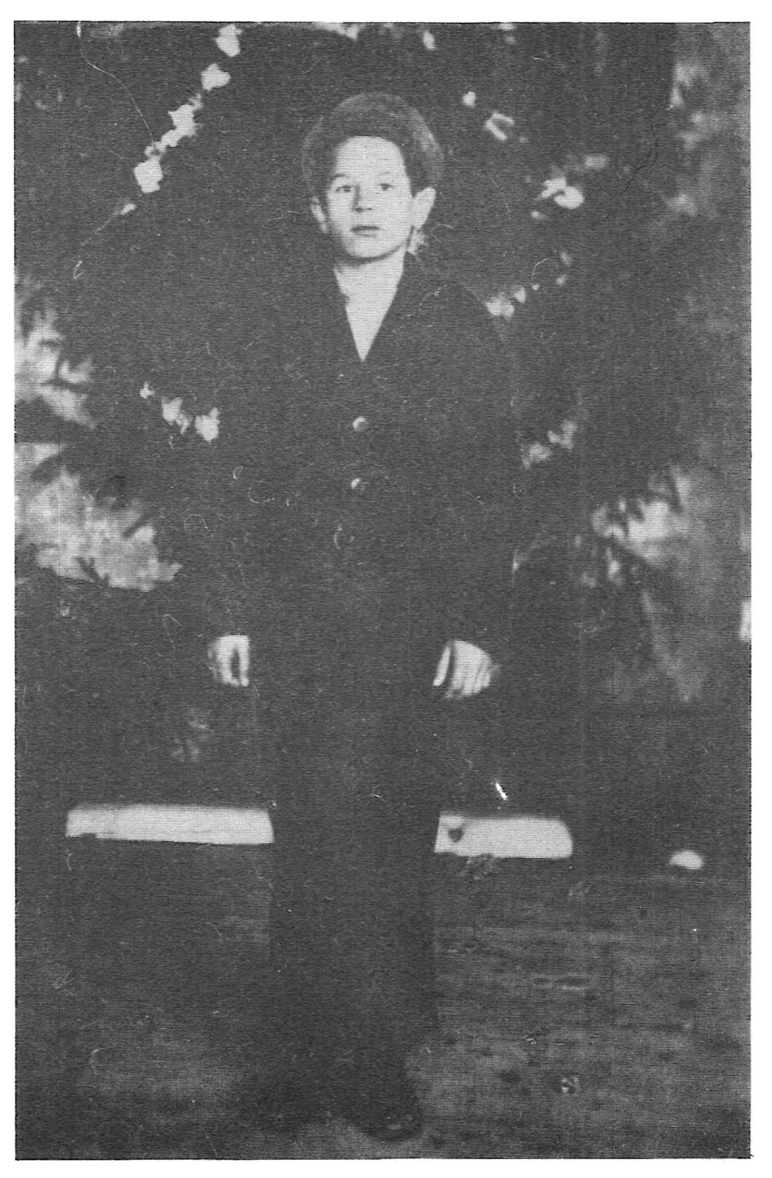
Учитель



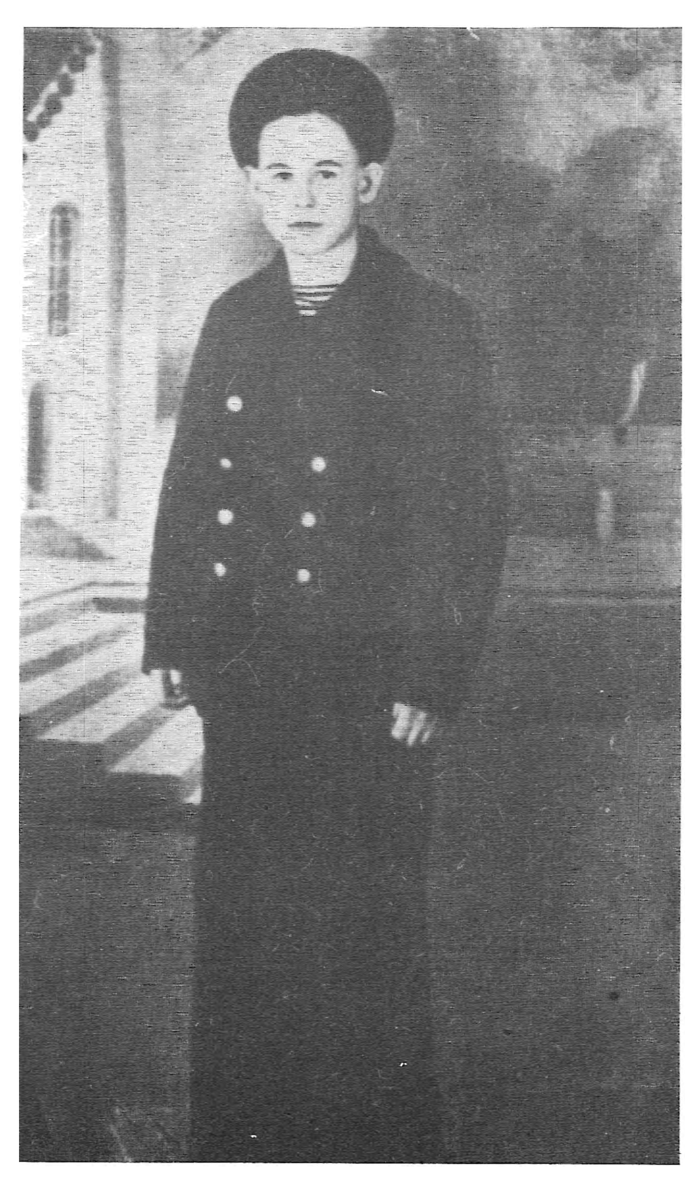
Детский дом в с. Никольское, где в 1942—1950 гг. жил Н. Рубцов

Дом на ул. Ворошилова, где жила семья Рубцовых в 1942 г. Вологда





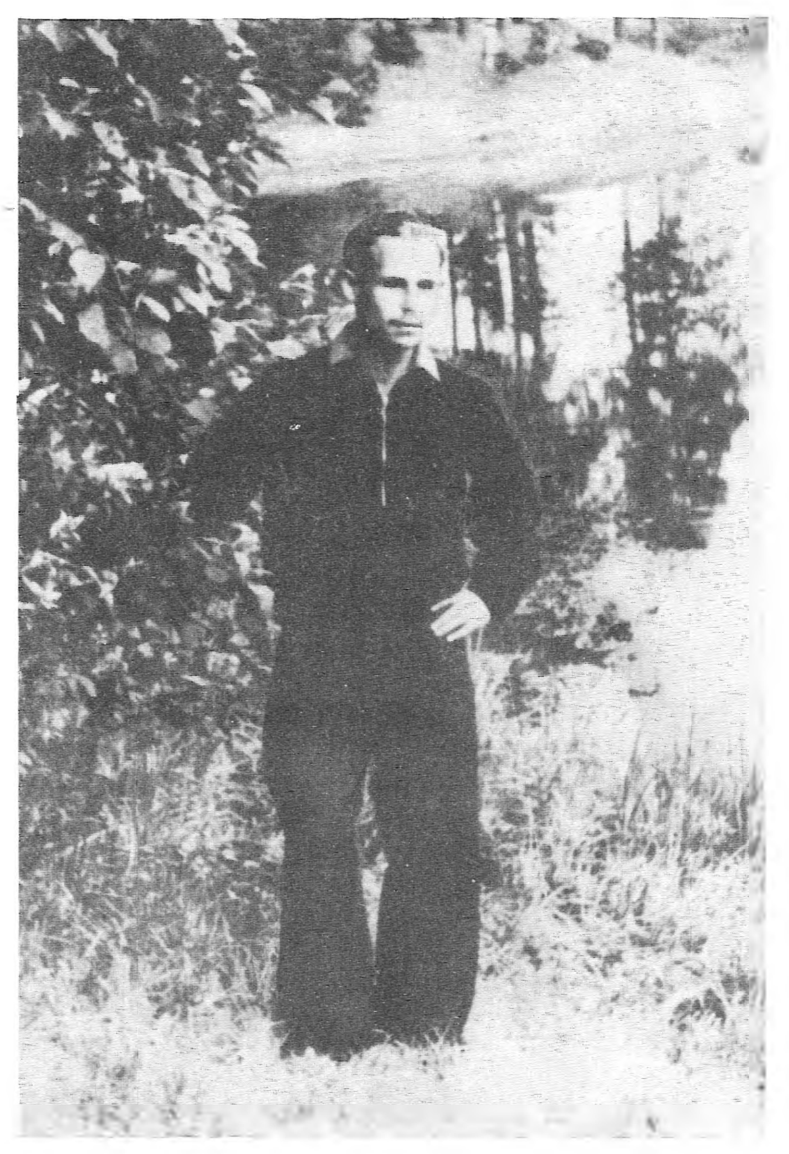
Под Новогодней детдомовской елкой



Тралфлот. 1953 г.



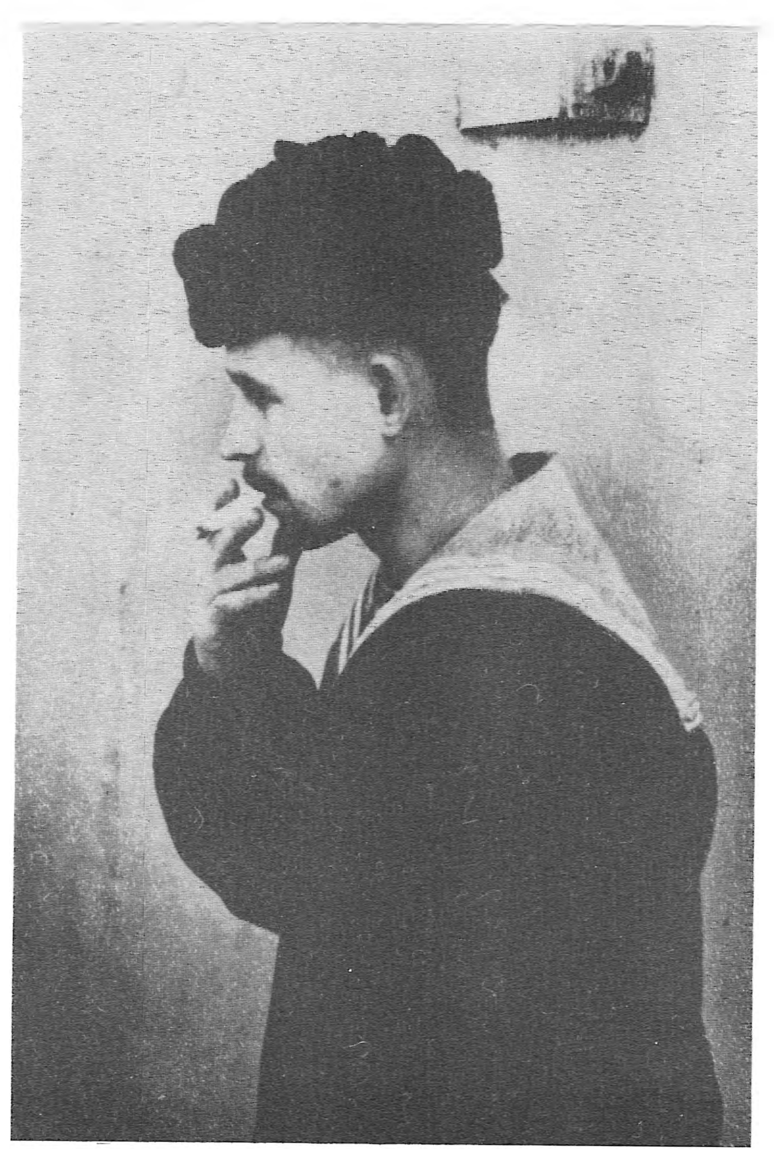
На тралфлоте — такие ребята... 1953 г.



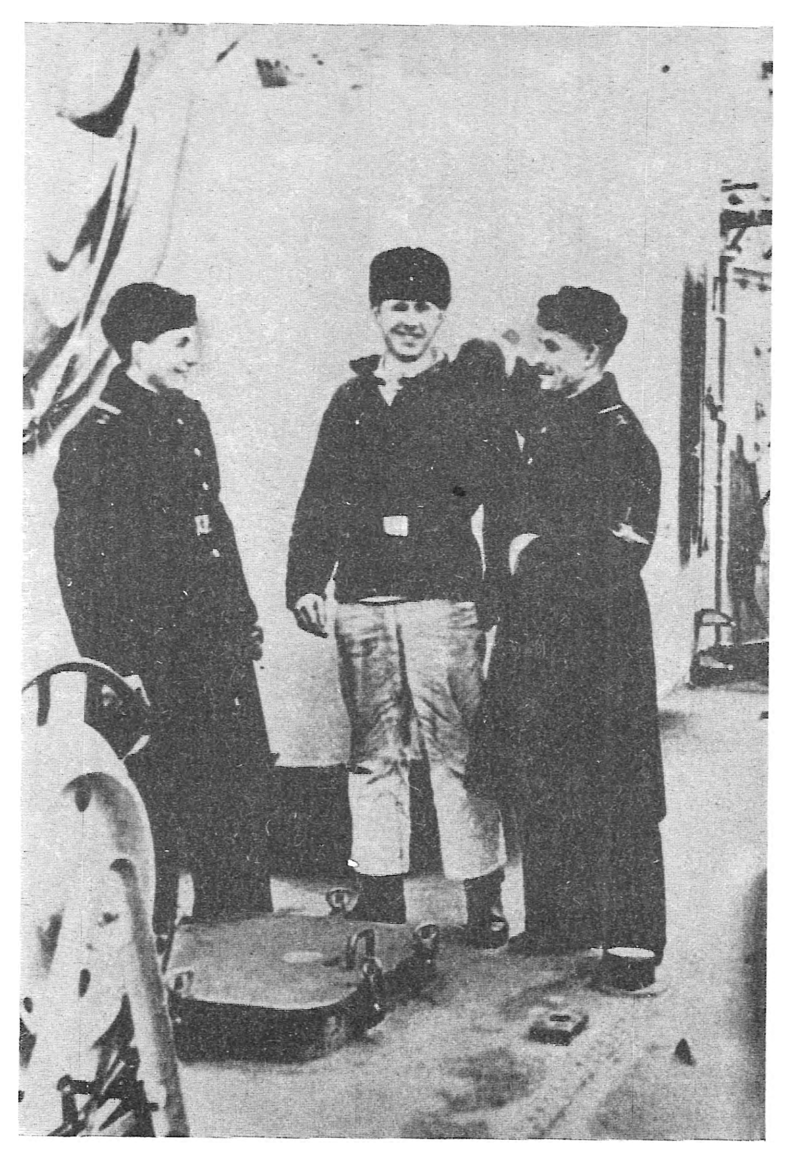
Приютино под Ленинградом. 1955 г.



«Фартовая вельветочка, навыпуск воротник». Приютино. 1955 г.



Наконец мы добрались до флота...



Среди флотских товарищей. Н. Рубцов крайний справа.



«Рабочая роба нам тоже к лицу...» Северный флот. 1955—1959 гг.



На вахте



После вахты. Н. Рубцов в центре с гармонью

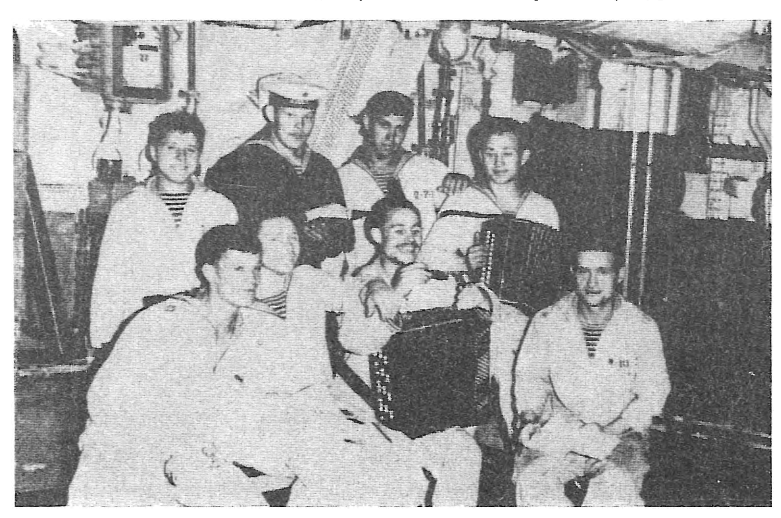
Н. Рубцов стоит справа





Старший матрос Н. Рубцов не «сачковал» на службе...

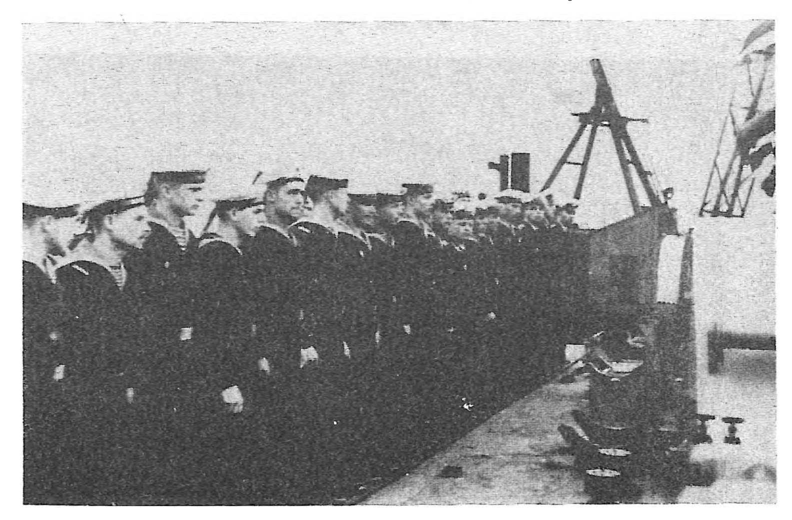
Н. Рубцов сидит в центре с баяном во время перекура

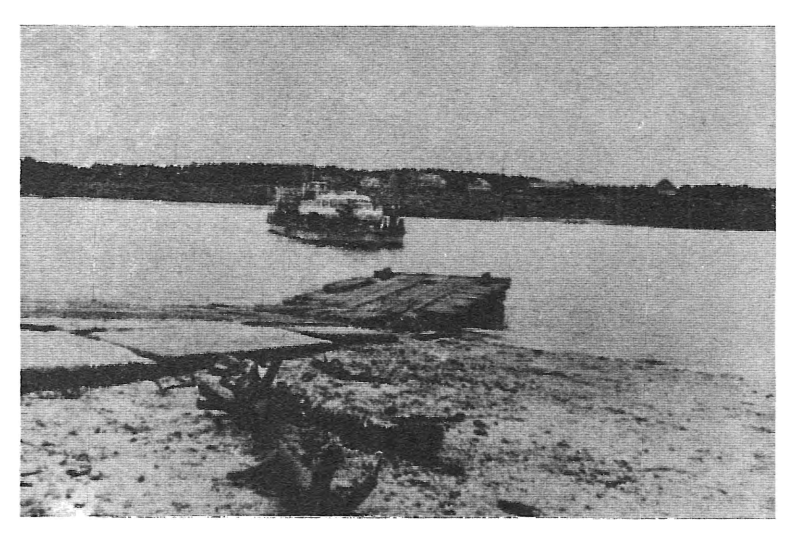




А «дембиль» уже видно...

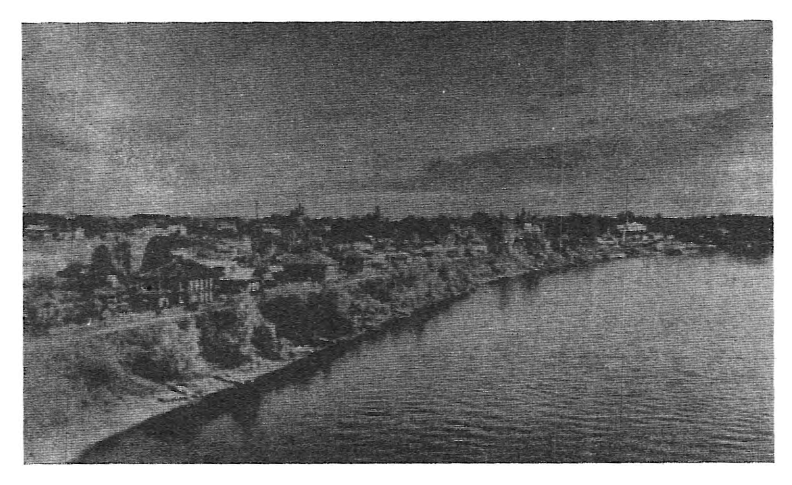
«В строю одни мужчины». Н. Рубцов второй слева

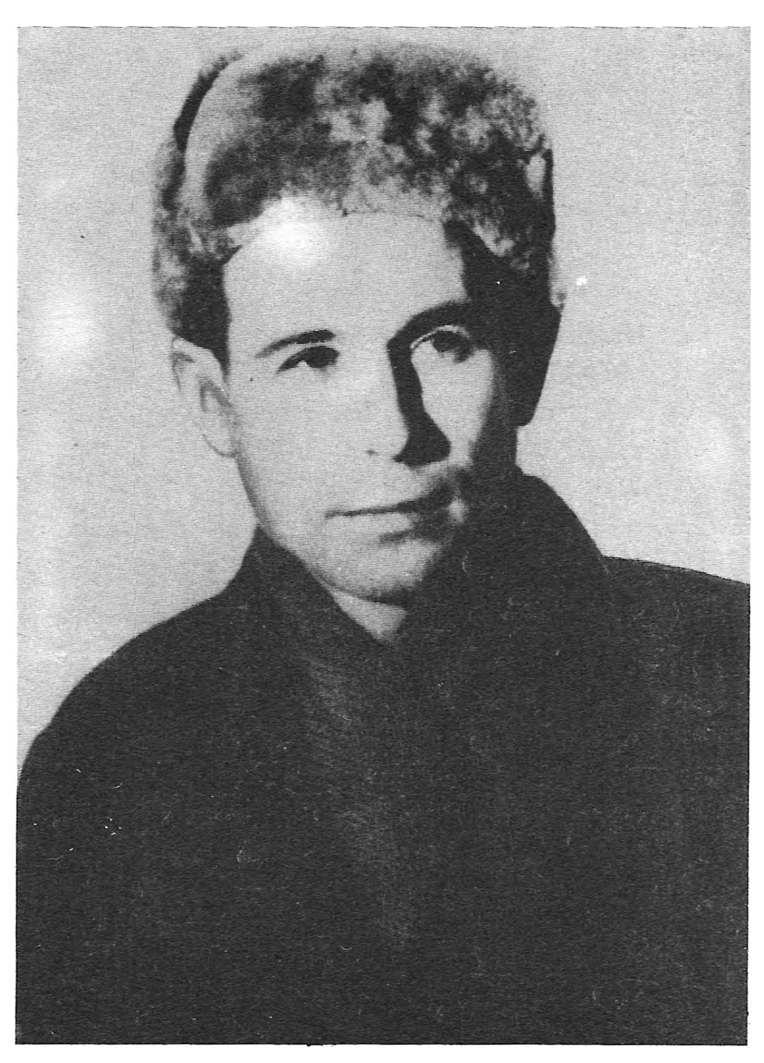




И снова родная Тотемская переправа

Тотемский берег





«Тревожно всматриваясь в дали...»

# ДИПЛОМ

У № 835829

Настоящий диплом выдан Рубцову Николаю Михайловичу в том, что он в 1962 году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького СП СССР и в 1969 году окончил полный курс названного института

по специальности литературная работа

Решением Государственной экзаменационной комиссии от „22" мая 1969 г. Н. М. Рубцову присвоена квалификация литературного работника

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь Л. Василькова

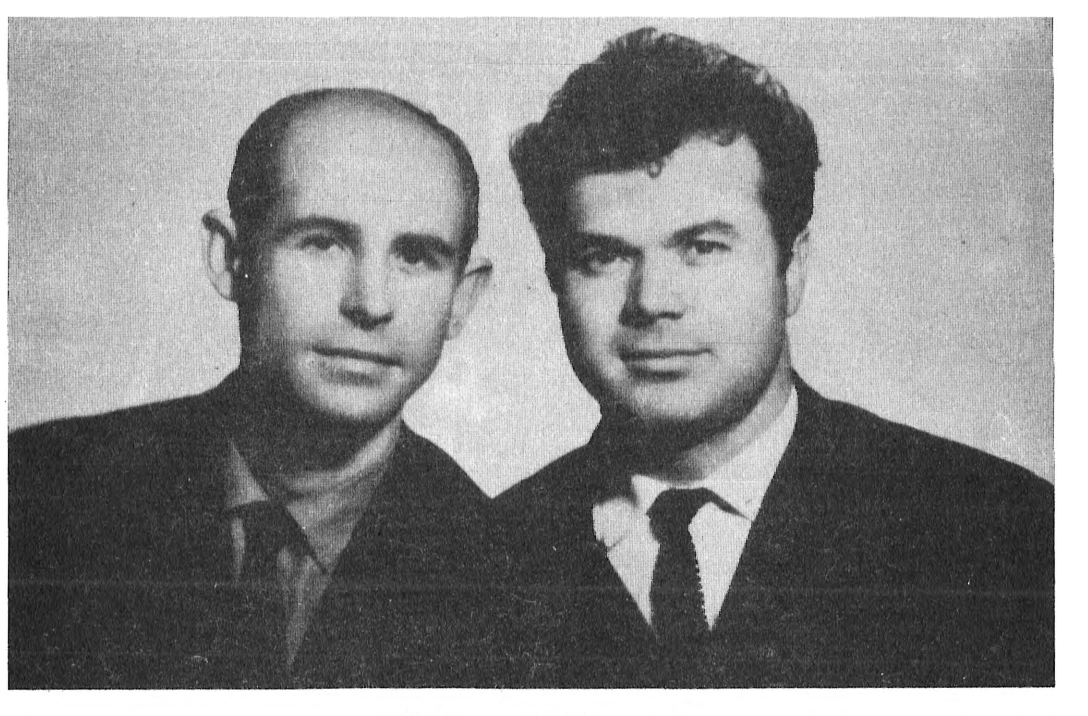
М. П. Город Москва „23" мая 1969 г.

Регистрационный № 1246

Московская типография Гознака 1963.



В. Лидин вручает диплом об окончании Литературного института Н. Рубцову. 1969 г. Москва



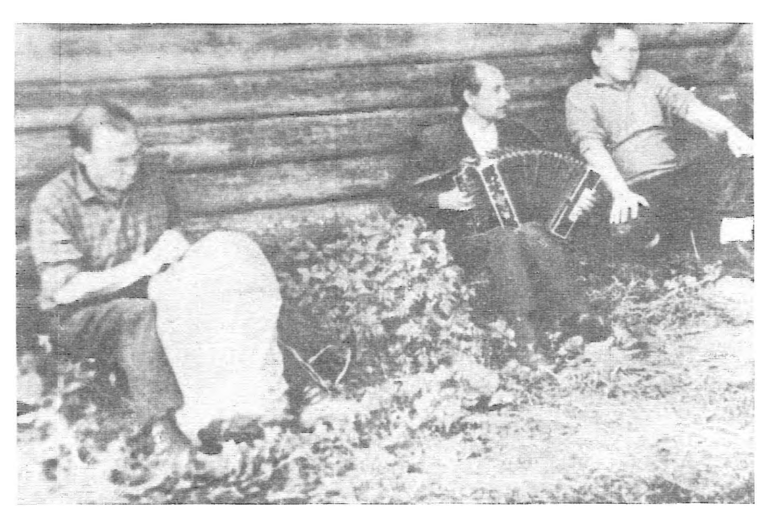
Н. Рубцов и В. Коротаев



А. Передреев и Н. Рубцов

Н. Рубцов среди жителей с. Никольское Тотемского р-на Вологодской обл. 1964—1965 гг.

Э. Федосеев, Н. Рубцов, Е. Уханов





А. Романов, Н. Рубцов, В. Астафьев

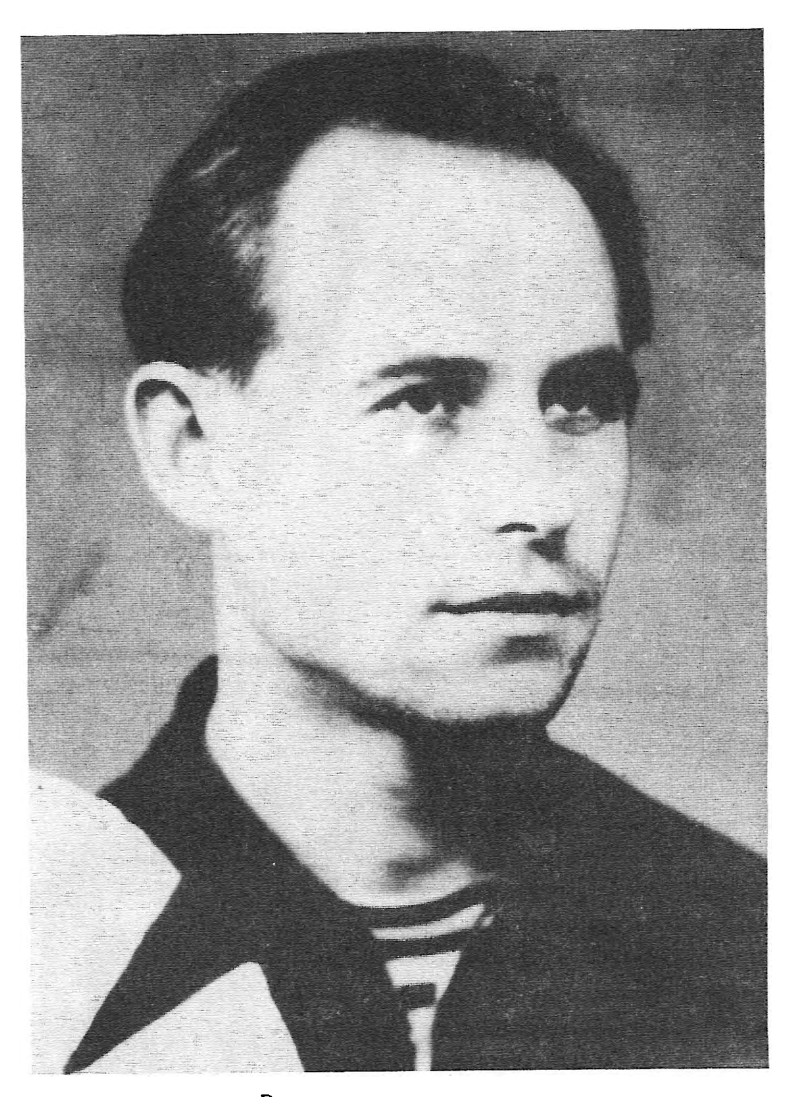
В. Коротаев, Н. Рубцов, В. Невзоров, В. Оботуров



Н. Рубцов и С. Чухин

А. Сушинов, А. Шилов, Н. Рубцов





Воспоминания о молодости



Н. Рубцов и С. Чухин



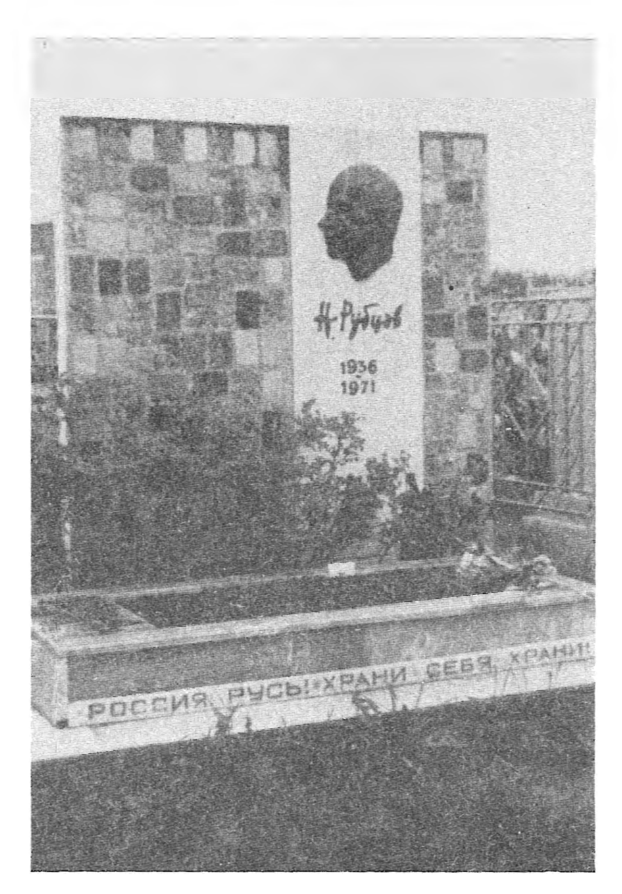
В больнице



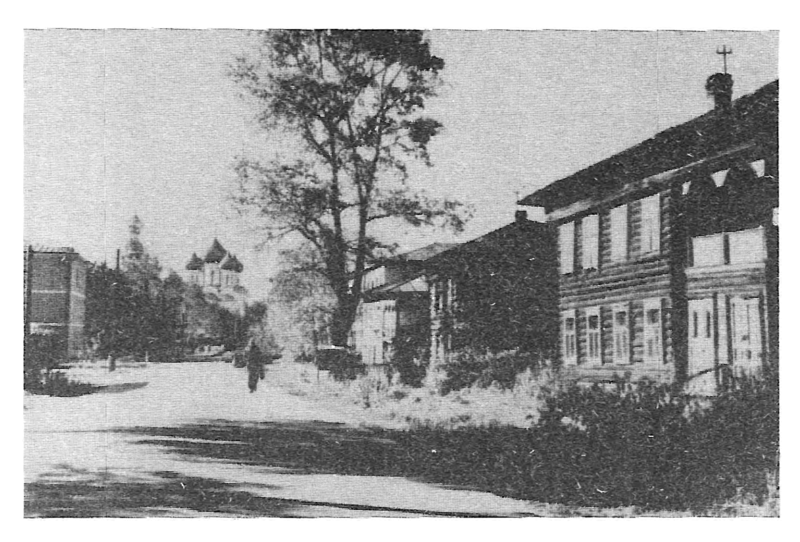
Н. Рубцов с отцом В. Астафьева — Петром Павловичем

Н. Рубцов крайний справа. Около 1968 г. Вологда



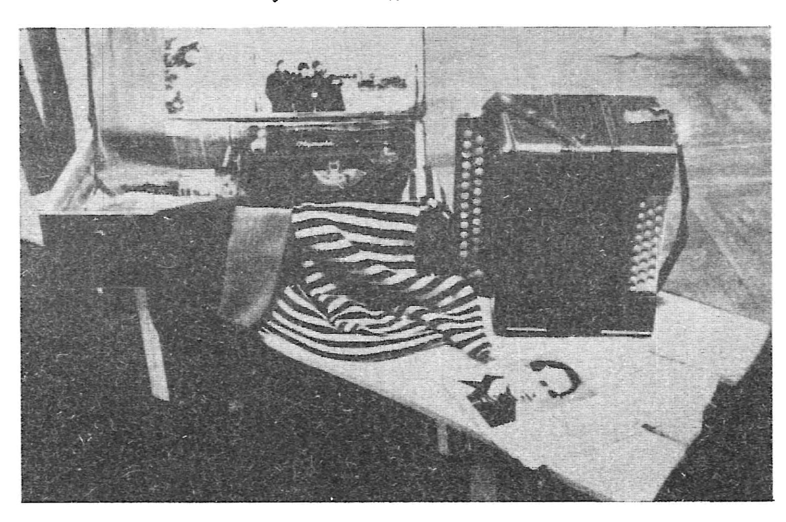



Могила Н. Рубцова



Улица имени Н. Рубцова в Вологде

Экспозиция, посвященная Н. Рубцову в Вологодском государственном музее-заповеднике. 1986 г.





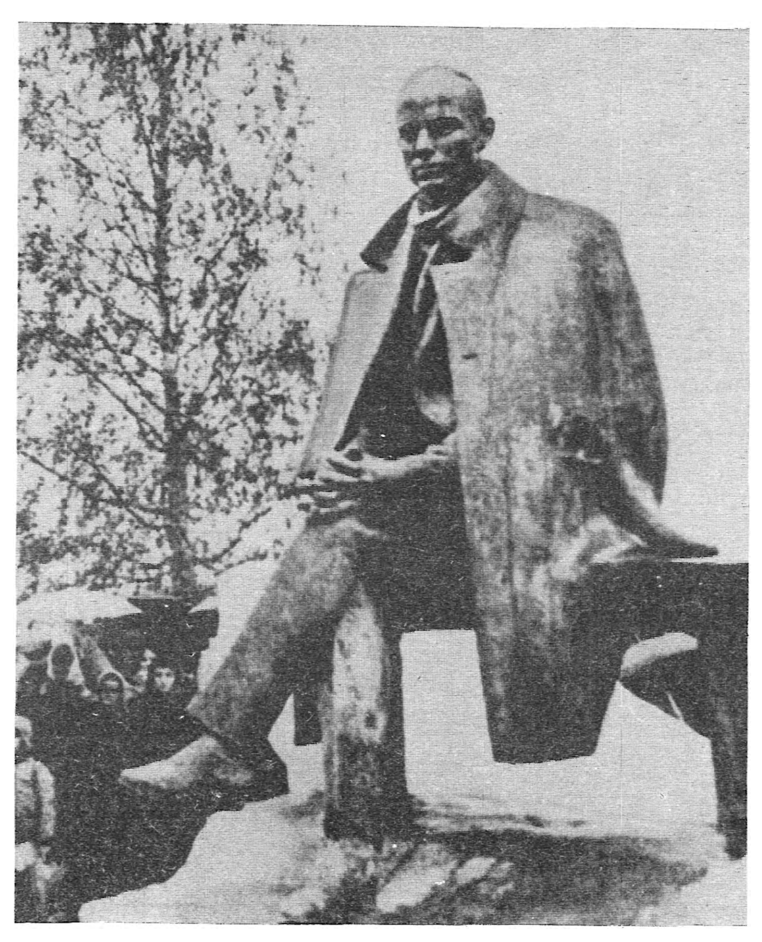

Мемориальная доска на улице Н. Рубцова



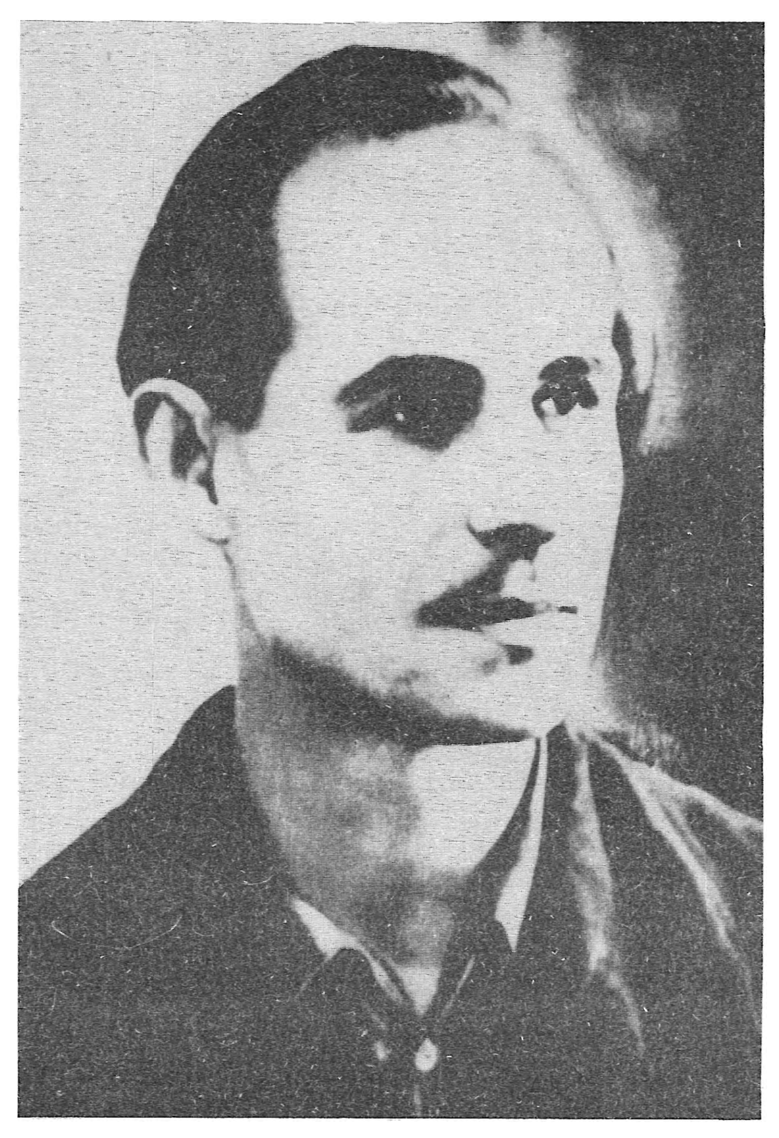
Н. Рубцов в графике (работа В. Сергеева)



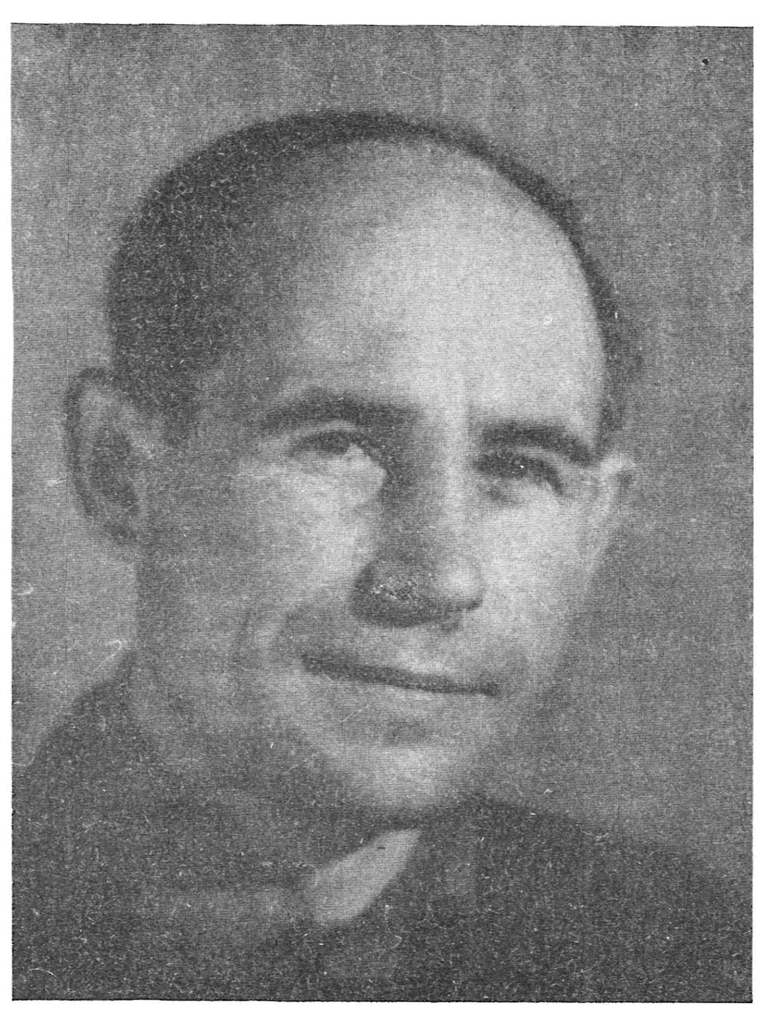
Н. Рубцов в живописи (работа Е. Соколова)



Н. Рубцов в бронзе (работа В. Клыкова)



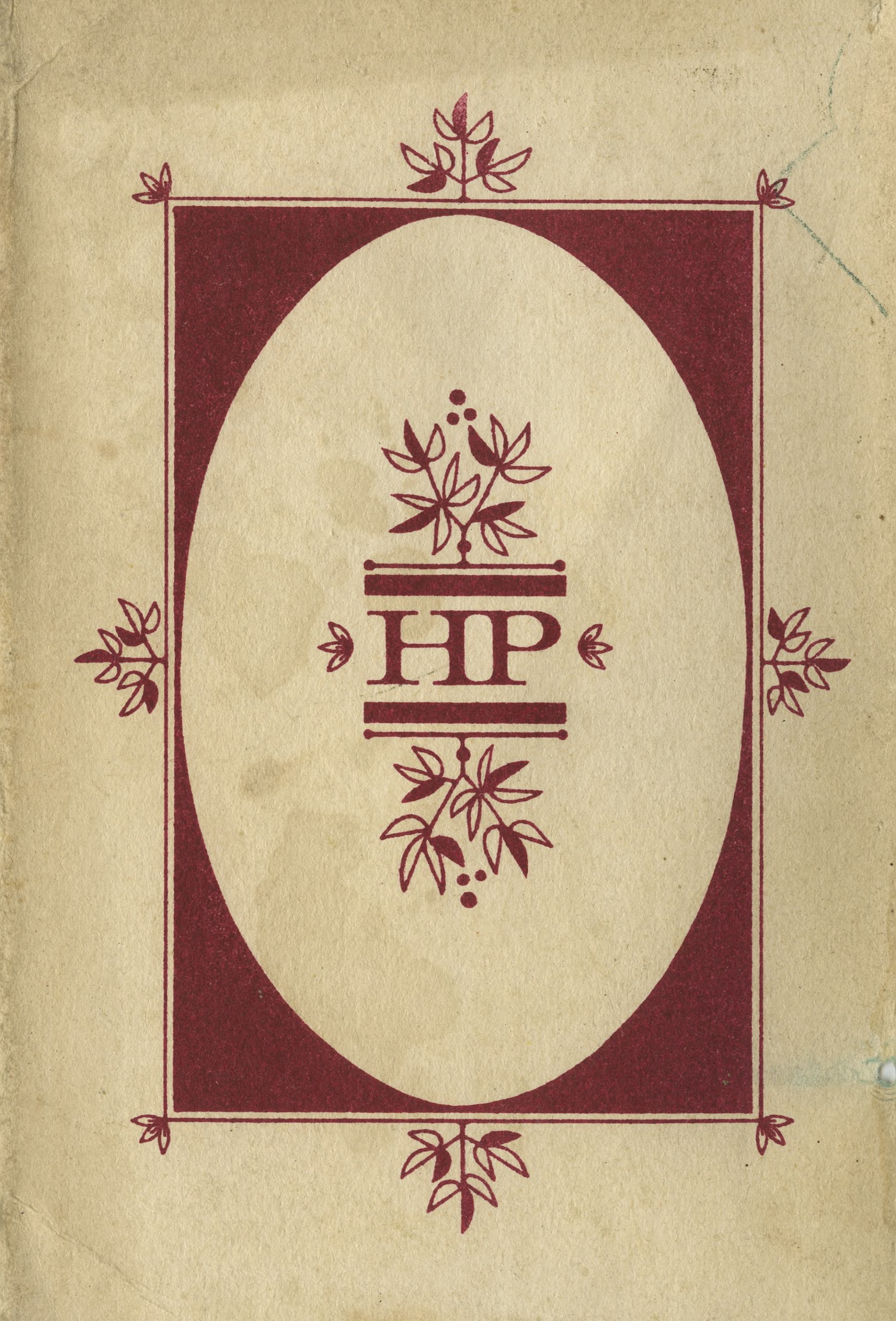
Таким ты был до нашего знакомства...



Таким ты останешься с нами...

Отложу свою скудную пищу.
И отправлюсь на вечный покой.
Пусть меня ещё любят и ищут
Над моей одинокой рекой.

Пусть ещё всевозможное благо
Обещают на той стороне.
Не купить мне избу над оврагом
И цветы не выращивать мне...


HP